



# Миф о 1648 году:

*класс, геополитика  
и создание современных  
международных  
отношений*

Бенно Тешке

СЕРИЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ  
ТЕОРИЯ  
ВЫСШАЯ  
ШКОЛА  
ЭКОНОМИКИ

С Е Р И Я  
С О Ц И А Л Ь Н А Я  
Т Е О Р И Я

# THE MYTH OF 1648:

*Class, Geopolitics,  
and the Making of Modern  
International Relations*

BENNO TESCHKE

*Verso*

LONDON AND NEW YORK

# МИФ О 1648 ГОДЕ:

*класс, геополитика  
и создание современных  
международных отношений*

БЕННО ТЕШКЕ

*Перевод с английского*  
ДМИТРИЯ КРАЛЕЧКИНА



*Издательский дом  
Государственного университета — Высшей школы экономики*  
МОСКВА, 2011



УДК 327(09)  
ББК 66.4(4)'6-6  
Т38

*Составитель серии*  
**ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ**

*Научный редактор*  
**АРТЕМ СМИРНОВ**

*Дизайн серии*  
**ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ**

**Тешке, Б.**

**Т38** Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. — 416 с. — (Социальная теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0827-5 (в пер.).

Настоящая книга опровергает распространенное представление о том, что Вестфальские мирные соглашения 1648 г. не только положили конец Тридцатилетней войне в Европе, но и ознаменовали собой рождение нового международного порядка, основанного на взаимодействии суверенных государств. Автор показывает, что внутригосударственные «общественные отношения собственности» оказывали определяющее влияние на международные отношения по меньшей мере до начала Великой французской революции. Династические монархии, правившие в это время, отличались от своих средневековых предшественниц степенью и формой персонализации власти, но не ее основополагающей логикой. Действительные перемены произошли относительно недавно и были связаны с развитием современных государств и капитализма. Современная система международных отношений возникла только после того, как правительства начали править безлично, ограничив свои функции осуществлением монополии на насилие.

Книга адресована историкам, социологам, политологам.

УДК 327(09)  
ББК 66.4(4)'6-6

First published by Verso 2003.

ISBN 978-5-7598-0827-5 (рус.)  
ISBN 978 1 85984 693 9 (англ.)

© Benno Teschke 2003  
© Перевод на рус. яз., оформление.  
Издательский дом  
Государственного университета —  
Высшей школы экономики, 2011

# СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.....	12
БЛАГОДАРНОСТИ .....	20
ВВЕДЕНИЕ .....	22
<b>I. НАЧАЛА И ЭВОЛЮЦИЯ НОВОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВ: СПОР В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ .....</b>	<b>38</b>
1. ВВЕДЕНИЕ: ОТ СТРУКТУРЫ К ИСТОРИИ.....	38
2. СТРУКТУРНЫЙ НЕОРЕАЛИЗМ .....	39
3. ИСТОРИЗИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗМ .....	43
4. ИСТОРИЗИРУЮЩИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ.....	57
5. НЕОЭВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ.....	64
6. НЕОМАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ МО.....	74
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К НОВОЙ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	78
<b>II. ТЕОРИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ .....</b>	<b>82</b>
1. ВВЕДЕНИЕ .....	82
2. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ В ФЕОДАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ ...	85

3. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СУБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ В ФЕОДАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ .....	98
4. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ «МЕЖДУНАРОДНЫХ» ИНСТИТУТОВ .....	104
5. ФЕОДАЛЬНЫЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ»: ПО ТУ СТОРОНУ АНАРХИИ И ИЕРАРХИИ.....	115
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ .....	120
<b>III. ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОАКТОРНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ .....</b>	<b>122</b>
1. ВВЕДЕНИЕ: ОТ ИЕРАРХИИ К АНАРХИИ .....	122
2. КАРОЛИНГСКАЯ ИМПЕРИЯ.....	127
3. ОБЪЯСНЕНИЕ ПЕРЕХОДА ОТ ИМПЕРСКОЙ ИЕРАРХИИ К ФЕОДАЛЬНОЙ АНАРХИИ .....	133
4. НОВЫЙ СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	138
5. ПОСТКРИЗИСНАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ (XI—XIV вв.) .....	150
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОАКТОРНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ....	170
<b>IV. ПЕРЕХОДЫ И НЕПЕРЕХОДЫ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ: КРИТИКА КОНКУРИРУЮЩИХ ПАРАДИГМ .....</b>	<b>175</b>
1. ВВЕДЕНИЕ: ВОЗВЫШЕНИЕ ЗАПАДА?.....	175
2. МОДЕЛЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ...	177

3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ .....	194
4. МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ .....	197
5. КАПИТАЛИЗМ, НОВОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО И НОВОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВ: РЕШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ. ....	211
<b>V. «L'ÉTAT, C'EST MOI!»: ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ АБСОЛЮТИСТСКОГО ГОСУДАРСТВА .....</b>	<b>222</b>
1. ВВЕДЕНИЕ: ИДЕАЛИЗАЦИЯ АБСОЛЮТИЗМА .....	222
2. СПОРЫ ВОКРУГ АБСОЛЮТИЗМА: ПЕРЕХОД ИЛИ НЕПЕРЕХОД? .....	224
3. РАЗВИТИЕ И ПРИРОДА ФРАНЦУЗСКОГО АБСОЛЮТИЗМА .....	246
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ АБСОЛЮТИЗМА. ....	278
<b>VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ: МЕРКАНТИЛИЗМ И СОЗДАНИЕ МОРСКИХ ИМПЕРИЙ .....</b>	<b>285</b>
1. ВВЕДЕНИЕ: «ДОЛГИЙ XVI ВЕК» И МЕРКАНТИЛИЗМ .....	285
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: МЕРКАНТИЛИЗМ КАК ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛИЗМ. . .	286
3. КЛАССОВЫЙ ХАРАКТЕР МОРСКОЙ ТОРГОВЛИ И ЕЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ .....	290
4. ПРИВЕЛ ЛИ МЕРКАНТИЛИЗМ К РАЗВИТИЮ КАПИТАЛИЗМА? .....	296

5. ЗАКРЫТЫЕ ТОРГОВЫЕ ГОСУДАРСТВА: ЕДИНООБРАЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ? .....	303
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «БОГАТСТВО ГОСУДАРСТВА» ПРОТИВ «БОГАТСТВА НАРОДА» .....	304
<b>VII. ДЕМИСТИФИКАЦИЯ ВЕСТФАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВ .....</b>	<b>309</b>
1. ВВЕДЕНИЕ: ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ, ДЕЙСТВИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ .....	309
2. СТРУКТУРА И СУБЪЕКТ ДЕЙСТВИЯ В ВЕСТФАЛЬСКОМ ПОРЯДКЕ .....	315
3. ВЕСТФАЛЬСКИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КАК СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ДИНАСТИЙ .....	321
4. ЦИРКУЛЯЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИНЦЕВ .....	331
5. ДИНАСТИЧЕСКОЕ ХИЩНИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И БАЛАНС СИЛ .....	336
6. ДЕМИСТИФИКАЦИЯ ВЕСТФАЛЬСКОГО МИРА ...	343
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КОНЕЦ КОНЦЕПЦИИ 1648 г. ....	353
<b>XVIII. ПО НАПРАВЛЕНИЮ К НОВОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ПЕРЕХОДЕ ОТ АБСОЛЮТИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ .....</b>	<b>355</b>
1. ОТ «СТРУКТУРНОГО РАЗРЫВА» К «СМЕШАННОМУ СЦЕНАРИЮ» .....	355

2. ПЕРЕХОД ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ В АНГЛИИ.....	357
3. СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НОВОВРЕМЕННОЙ СУВЕРЕНИТЕТ.....	359
4. УНИКАЛЬНОСТЬ БРИТАНИИ: КАПИТАЛИЗМ, НОВОВРЕМЕННОЙ СУВЕРЕНИТЕТ И АКТИВНОЕ УРАВНОВЕШИВАНИЕ .....	365
5. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ КОМБИНИРОВАННОЕ И СОЦИАЛЬНО НЕРАВНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ .....	375
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДИАЛЕКТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	385
ЛИТЕРАТУРА .....	391

*Моему отцу*

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ<sup>1</sup>

Настоящая работа представляет собой попытку теоретической реконструкции генезиса и эволюции системы европейских государств в период от империи Каролингов до раннего Нового времени — реконструкции, понимаемой как исследование архитектоники и структурной трансформации международных порядков. Первоначально автор мыслил ее как критическое вторжение в преимущественно англо-американский дискурс теории и истории международных отношений, но в ходе исследовательской работы, захватывавшей смежные дисциплины и страны, он все чаще начал обращаться к исторической социологии и историографии для адекватного (как в эмпирическом, так и в методологическом отношении) изучения своего обширного предмета. После окончания «холодной войны» работа над проектом совпала с периодом растущей неопределенности в сфере нашего объекта исследования — «международных отношений» (МО). На ключевой вопрос — вопрос о новом миропорядке — вплоть до сегодняшнего дня ответа не найдено: к такому выводу приходишь, рассматривая понятийные группы типа «глобализация», «глобальное управление», «глобальное гражданское общество», «многоуровневое управление», «гегемония», «интернационализация государства», «империя», которые после падения Берлинской стены были порождены дискурсом МО, а затем отброшены. Но все эти понятия связаны с представлением об упадке, если не о кончине национального государства эпохи модерна и системы классического государства, которые, опираясь на международно-правовые принципы суверенитета, территориальности и равенства, со времен Вестфальского мира (1648 г.) структурировали геополитический порядок модерна<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Издатели обратились к Бенно Тешке с просьбой написать предисловие к русскому изданию книги. В ответ Тешке прислал текст, служивший предисловием и к немецкому изданию [*Teschke B. Mythos 1648. Klassen, Geopolitik und die Entstehung des europäischen Staatensystems. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2007. S. 12–16*], с пояснением, что, на его взгляд, именно здесь содержится все, о чем он хотел бы поговорить с русским читателем.

<sup>2</sup> См., например: *Buzan B., Little R. Beyond Westphalia? Capitalism after the 'Fall' // Review of International Studies. 1999. Vol. 25. No. 5. P. 89–104;*



Кроме того, возникла угроза утраты МО как самостоятельной дисциплины, которая (по крайней мере в англо-американских странах) после окончания Первой мировой войны институционально выделилась из политологии и легитимировала свой статус в качестве независимой научной дисциплины, ссылаясь на свою специфическую предметную область «международного».

В контексте кризиса данной дисциплины автор рассматривает настоящую работу как вклад в начавшийся в середине 1990-х годов «исторический поворот» в МО, стремясь четче зафиксировать на понятийном уровне современные геополитические изменения. Что такое нововременное государство? Когда оно возникло и каковы его конституционные предпосылки? Когда и как возникла система нововременных государств? Как можно концептуализировать геополитические отношения в безгосударственных обществах? Но подобным обращением к истории чаще всего подтверждалось, а не подвергалось критике центральное значение, придаваемое Вестфальским мирным договором в МО. Этот миф об истоках — *fons et origo*<sup>3</sup> международных отношений — ничуть не пострадал от значительных историографических публикаций<sup>4</sup>, которые в изобилии появились в связи с отмечавшимся в 1998 г. 350-летием Вестфальского мирного договора и внесли существенные разграничения в корпус исследовательских работ, а также от ревизионизма, вот уже более двух десятилетий господствующего в изучении абсолютизма<sup>5</sup>. Хотя в

Cox M., Dunne T., Booth K. Introduction // M. Cox, T. Dunne, K. Booth (eds). *Empires, Systems and States: Great Transformations in International Politics*. Cambridge, 2001. P. 4. См. также: Siegelberg J., Schlichte K. (Hrsg). *Strukturwandel Internationaler Beziehungen: Zum Verhältnis von Staat und Internationalem System seit dem Westfälischen Frieden*. Wiesbaden, 2000.

<sup>3</sup> Источник и начало, источник и причина (лат.). — Примеч. пер.

<sup>4</sup> Duchhardt H. (Hrsg). *Der Westfälische Friede: Diplomatie — Politische Zäsur — Kulturelles Umfeld — Rezeptionsgeschichte*. München, 1998; Idem. *Westphalian System. Zur Problematik einer Denkfigur* // *Historische Zeitschrift*. 1999. No. 269. S. 305–315; Asch R., Voß W., Wrede M. (Hrsg). *Frieden und Krieg in der Frühen Neuzeit: Die Europäische Staatenordnung und die Außereuropäische Welt*. München, 2001; Burkhardt J. *Der Westfälische Friede und die Legende von der Landesherrlichen Souveränität* // J. Engelbrecht, S. Laux (Hrsg). *Landes- und Reichsgeschichte: Festschrift für Hansgeorg Molitor*. Bielefeld, 2004.

<sup>5</sup> Последним был обзор Уильяма Бейка: *Beik W. The Absolutism of Louis XIV as Social Collaboration* // *Past & Present*. 2005. No. 188. P. 195–224.

исследованиях конструктивистского и постструктуралистского толка предпринималась попытка разработки более точных исторических генеалогий международных институтов, все же их авторы в основном сходятся во мнении, что абсолютистская Франция XVII в. являет собой классическую модель первого успешного опыта формирования территориального суверенитета, а статья 8.2 Оснабрюкского мирного договора (*ius foederis* и *ius belli ac pacis*<sup>6</sup>) по-прежнему рассматривается как юридическая кодификация переноса суверенитета на германские сословия, что якобы означало конец Священной Римской империи германской нации. В этой перспективе понятие «Вестфалия» мутирует, превращаясь в шифр, порождающий концепцию нововременного миропорядка на основе модели территориально ограниченного, политически автономного и суверенного национального государства, которому противопоставлена поствестфальская текучая, аморфная и детерриториализованная геополитическая конфигурация, лишенная фиксированного центра политической власти. В таком сценарии «Вестфалия» возвещает о начале Нового времени или модерна, а «пост-Вестфалия» — о начале постмодерна.

Книга «Миф о 1648 году» — это в первую очередь критика данной основной нормы, определяющей дисциплину, — нормы, которая структурирует периодизацию и концептуализацию международных отношений в современном дискурсе МО. Однако главное новшество не исчерпывается эмпирической коррекцией какого-то исторического недопонимания, но заключается в проекте теоретической реинтерпретации долгосрочной эволюции европейской системы государств, реинтерпретации, которая призвана теоретически прояснить структуру, способ функционирования и трансформацию различных (по конкретным историческим условиям) геополитических систем. При этом данное исследование не только дистанцируется от литературы МО, но и создает двойной интеллектуальный фронт: во-первых, против неовеберианского ренессанса в исторической социологии, который объясняет процессы образования государств, происходившей в раннее Новое время, в первую

<sup>6</sup> Право вступать в союз и право начинать войну и заключать мир (*лат.*). — *Примеч. пер.*

очередь с помощью модели модернизационного и рационализационного давления, вызванного военной и геополитической конкуренцией; во-вторых, отмежевываясь от ортодоксального марксизма, который объясняет образование государств прежде всего коммерциализацией и заморской торговлей и утверждает, что не только возникновение нововременного государства, но и вообще существование всей системы государств — а именно, множественности государств — могут быть выведены из торгового капитализма.

В противоположность этому вводится и разрабатывается программа так называемого политического марксизма. Он подчеркивает специфику различных для конкретных регионов общественных отношений собственности, которые обуславливают характерные для них антагонистические стратегии воспроизводства и социальные конфликты. Последние приводят к большому разнообразию форм экономического развития, политического кооперирования, а также существующих геополитических связей. В итоге появляется возможность не только представить подтверждения фундаментального разброса геополитических динамик в различных режимах собственности для разных исторических эпох, но и объяснить регионально дивергирующие пути развития отдельных обществ, которые не подчиняются никакой обобщающей логике развития и тем не менее не должны отдаваться на произвол идеографическому вердикту об их случайности. И наконец, можно также показать, что европейский «плюриверсум» государств не является функцией капитализма и не может быть выведен из него, но обусловлен накопившимися последствиями средневековых и ранних новоевропейских классовых конфликтов, возникавших вокруг прав собственности и прав господства, которые в конечном счете по-разному дифференцируются на различных династических территориях. Этот феномен описывается на уровне понятий концептом политического и геополитического накопления. Таким образом, Европа как территориальный плюриверсум является историческим наследием докапиталистической эпохи, в котором капитализм позднее развивается и расширяется — первоначально в Англии. Но с возникновением отношений капиталистической собственности происходит также трансформация персонализированных прав господства в формы деперсонализированной государственности, которая заявляет о себе первично в разграничении политического — как абстрактной и публичной сферы

власти — и экономического — как частной сферы гражданского общества. Территориальное разделение «внешнего» и «внутреннего» исторически предшествует таким образом общественному разделению политического и экономического. Тем самым система государств и капитализм оказываются никак не связанными со структурным когенезисом и структурной логикой, которая должна была бы подчинить их отношения исторической инвариантности<sup>7</sup>. Более того, в капиталистическую эпоху они остались соотнесенными друг с другом в исторически изменяющихся конфигурациях благодаря исторически изменчивым стратегиям территориализации капиталистических государств. Ковариантность между различными проектами политического устройства пространства и капитализмом в истории нововременных международных отношений — от британского *Pax Britannica* с его фритредерским империализмом, эпохи неоимпериализма с его колебаниями между формальной и неформальной империей до протекционизма эпохи между мировыми войнами и национал-социалистической геополитики, преследовавшей цель создания автаркического экономического пространства, японского проекта формирования крупной восточно-азиатской сферы роста, вплоть до контролируемой США, однако мультилатеральной и либеральной системы свободной торговли и проекта европейской интеграции — демонстрирует широкий спектр капиталистических стратегий специализации — распространения в пространстве. Эти стратегии должны быть исторически объяснены с помощью используемого при рассмотрении социальных конфликтов подхода, основанного на теории действия и описывающего образование и реализацию геополитических стратегий, и не могут быть выведены ни из реалистической системной теории, которая опирается на механику стратегического распределения власти в анархической системе государств, ни из «логики капитала». Но это также означает, что эволюционистские гипотезы о переходе классической системы государств к безгосударственности эпохи глобализации или глобальному государству, опреде-

<sup>7</sup> Так полагают, например, Джон Ругги: *Ruggie J.G. Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist Synthesis // R.O. Keohane (ed.). Neorealism and its Critics. N.Y., 1986. P. 131–157*; Джастин Розенберг: *Rosenberg J. The Empire of Civil Society: A Critique of the Realist Theory of International Relations. L., 1994.*

ляемому как империя либо «глобальное управление», чересчур тривиальны и не позволяют осмыслить диалектику де- и ретерриториализации<sup>8</sup>.

Настоящая работа связана с теоретической программой политического марксизма, а именно с так называемым тезисом Бреннера, касающимся перехода от феодализма к капитализму, который порывает с телеологическими гипотезами ортодоксального марксизма и показывает специфику возникновения капитализма в Англии в начале Нового времени, а не просто допускает ее<sup>9</sup>. Столь же важны работы Хайде Герстенбергер<sup>10</sup>, которая, как и Роберт Бреннер, Эллен Мейксинс Вуд и Джордж Комнинель, на базе исторических материалов убедительно продемонстрировала, что линии развития в Англии и Франции в раннее Новое время серьезно различаются<sup>11</sup>. Вместе с тем «Миф о 1648 годе» показывает и пределы политического марксизма и работ Герстенберг, которые опираются преимущественно на компаративный метод, а потому не только мало освещают международные отношения в целом, но и недостаточно учитывают в эмпирическом плане значение международных отношений для путей развития, по-разному реализующихся в различных регионах, а главное — не осмысляют его теоретически.

За четыре года, прошедшие с момента выхода первого английского издания «Мифа о 1648 годе», широкая критическая рецепция и многочисленные дискуссии продемонстрировали растущий интерес к феномену поначалу европейской, а затем и мировой системы государств в исторической перспективе, в особенности при учете генезиса и распространения капитализма. В этот период я в

<sup>8</sup> См. также новую работу на эту тему: *Lacher H. Beyond Globalization: Capitalism, Territoriality and the International Relations of Modernity*. L., 2006.

<sup>9</sup> *Brenner R. The Agrarian Roots of European Capitalism // The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe* / T.H. Aston, C.H.E. Philpin (eds). Cambridge, 1985.

<sup>10</sup> *Gerstenberger H. Die Subjektlose Gewalt: Theorie der Entstehung Bürgerlicher Staatsgewalt 2. Überarbeitete Auflage*. Münster, 2006.

<sup>11</sup> См. также: *Comminel G. English Feudalism and Origins of Capitalism // Journal of Peasant Studies*. 2000. Vol. 27. No. 4. P. 1–53; по Нидерландам см. работы Бреннера: *Brenner R. The Low Countries in the Transition to Capitalism // Peasants into Farmers? The Transformation of Rural Economy and Society in the Low Countries (Middle Ages — 19<sup>th</sup> (Century)) in the Light of the Brenner Debate* / P. Hoppenbrouwers, J. Luiten van Zanden (eds). Turnhout, 2001. P. 275–338; *Wood E.M. The Question of Market Dependence // Journal of Agrarian Change*. 2002. Vol. 2. No. 1. P. 50–87.

своей лекции по случаю присуждения мне в 2003 г. Мемориальной премии имени Исаака и Тамары Дойчер<sup>12</sup> сильнее подчеркивал теоретические импликации книги, касающиеся понятия «буржуазной революции» в ортодоксальной марксистской историографии, и доказывал, что идеально-типическое образование понятия, лежащее в основе конструкта «буржуазная революция», не годится для понимания специфики различных для разных стран исходных условий, особенностей протекания и последствий революционных эпох. В противовес этому я выступал за использование не обремененного историко-философскими коннотациями понятия «переходов к капитализму»<sup>13</sup>. Далее я подверг критике сравнительный метод, широко распространенный как у марксистов, так и у немарксистов, который исходит из предпосылки, что пути национального развития следует в принципе объяснять вне их международного контекста. Протестуя против помещения путей национального развития в геополитический вакуум, я предложил ввести понятие неравномерного в социополитическом и пространственно-временном отношении и геополитически трактуемого развития (в книге это развитие тоже характеризуется как социально неравномерное, но геополитически комбинированное), чтобы теоретически еще раз подчеркнуть динамическую взаимосвязь между внутривнутриполитическими и внешнеполитическими силами, характерными для процессов протекания «национального» развития<sup>14</sup>. Ибо без социополитической расшифровки международных отношений и мультилатеральной дипломатии в их обратной связи с внутривнутриполитическими процессами никакая история Европы, опирающаяся на постулат диалектической целостности, не может быть

<sup>12</sup> Исаак Дойчер (1907–1967) — известный польский троцкист (с 1939 г. жил в Великобритании), историк-марксист, автор трехтомного исследования о Троцком. Британская премия The Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize присуждается ежегодно (с 1969 г.) за новую книгу в марксистской традиции на английском языке. — *Примеч. пер.*

<sup>13</sup> *Teschke B. Bourgeois Revolution, State-Formation and the Absence of the International // Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory. 2005. Vol. 13. No. 2. P. 3–26.* В нем. пер.: *Teschke B. Bürgerliche Revolution, Staatsbildung und die Absenz des Internationalen // Prokla: Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft. 2005. Bd. 35. No. 4. S. 575–600.*

<sup>14</sup> В связи с этим понятием см. также и новую работу: *Rosenberg J. Why is There no International Historical Sociology? // European Journal of International Relations. 2006. Vol. 12. No. 3. P. 307–340.*

написана. В конечном счете таким же образом должны быть понятийно интегрированы социология и геополитика.

В ходе обсуждения «Мифа о 1648 году»<sup>15</sup>, материалы которого опубликованы в английском журнале *International Politics*, и в ряде рецензий<sup>16</sup> развернулась многоплановая дискуссия по комплексу тем из области международных отношений, политической географии, истории раннего Нового времени, исторической социологии и марксизма. Повода к принципиальному пересмотру моей теоретической позиции или эмпирических реконструкций до сих пор, на мой взгляд, не выявилось. Более того, критическая рецепция предоставила мне возможность предварительно прояснить ряд неверных трактовок, уточнить основные положения и точнее изложить дальнейшую исследовательскую программу этого подхода<sup>17</sup>.

Берлин, 7 января 2007 года

<sup>15</sup> *Spruyt H. Genealogy, Territorial Acquisition and the Capitalist State // International Politics. 2006. Vol. 43. No. 5. P. 511–518; Axtmann R. The Myth of 1648: Some Musings of a Sceptical Weberian // International Politics. 2006. Vol. 43. No. 5. P. 519–525; Agnew J. The English Road to Modern International Relations: Benno Teschke's "The Myth of 1648" // International Politics. 2006. Vol. 43. No. 5. P. 526–530. См. также: Morton A. The Age of Absolutism: Capitalism, the Modern States-System and International Relations // Review of International Studies. 2006. Vol. 31. No. 1. P. 495–517.*

<sup>16</sup> *Schroeder P.W. Class and the Making of the Modern International System // European History Quarterly. 2005. Vol. 35. P. 119–125; Miller S. The Myth of 1648 // Journal of Social History. 2004. Vol. 38. No. 1. P. 213–215; Little R. The Myth of 1648 // International Affairs. 2004. Vol. 80. No. 3. P. 535–536; Mansbach R. In Search of the Real State // International Studies Review. 2004. Vol. 6. P. 315–317; Vanaik A. Has Academe Got it Wrong? // The Book Review. Vol. 28. No. 2. P. 14–16; Balakrishnan G. The Age of Warring States // New Left Review. 2004. Vol. 26. P. 148–160; Durchhardt H. <http://www.sehepunkte.de/2004/03/4630.html>; Kiely R. The Myth of 1648 // Journal of International Relations and Development. 2005. Vol. 8. P. 218–221; Agnew J. The History of States and Their Territories // Geopolitics. 2005. Vol. 10. P. 184–187; Fichtner P.S. The Myth of 1648 // The American Historical Review. 2004. Vol. 109. No. 4. P. 1302–1303; Byres T. The Myth of 1648 // History of European Ideas. 2004. Vol. 30. P. 522–524; Rabb T. More IR Than H // Times Literary Supplement. 21 May 2004. P. 27.*

<sup>17</sup> *Teschke B. Debating the "Myth of 1648": State-Formation, the Interstate System and the Rise of Capitalism — A Rejoinder // International Politics. 2006. Vol. 43. No. 5. P. 531–573.*

## БЛАГОДАРНОСТИ

Эта книга написана на основе моей докторской диссертации, защищенной на отделении международных отношений в Лондонской школе экономики и политических наук под руководством Джастина Розенберга, которому я благодарен за интеллектуальное вдохновение и неослабевающую моральную поддержку. В той академической среде, которая выступает против масштабных и долгосрочных проектов, относящихся к области социальных наук, если их экономическая прибыльность и целевая аудитория неясны, такая поддержка вовсе не может считаться само собой разумеющейся. Семинары Джастина Розенберга «Новое время и международные отношения», «Исторический материализм и международные отношения», проводимые им в ЛШЭ, задали основной контекст развития и проверки многих идей, предлагаемых в этой книге. В равной степени я весьма обязан Роберту Бреннеру, который дал проекту новый импульс и повлиял на его направленность, когда я проходил стажировку в Центре социальной теории и сравнительной истории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Моему рассуждению весьма способствовали как проницательные вопросы Саймона Бромли, заданные на докторском экзамене, так и письменные комментарии Питера Гована к моей рукописи. Свою глубокую признательность иного рода я выражаю Кристиану Хайне и Ханнесу Лахеру за многочисленные и весьма ожесточенные интеллектуальные споры в ЛШЭ. Некоторые из идей, представленных в этой книге, были коллективно развиты нами, а в работе Лахера о глобализации они были дополнительно разработаны. На мои выводы также повлияли благожелательные советы Герфрида Мюнклера, которые я получил в период исследовательской работы в Институте политической теории Берлинского университета имени Гумбольдта. Также я признателен факультету международных отношений ЛШЭ за предоставленную мне стипендию памяти Р.Дж. Винсента, а также Центру социальной теории и сравнительной истории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе за грант на исследования от Фонда Эндрю Меллона. Я хотел бы выразить благодарность Перри Андерсону, Гопалу Балакришнану, Себа-



стьяну Беджену, Алехандро Коласу, Алану Финлейсону, Фреду Холлидею, Хаджо Кромбаху, Тому Мертсу, Дилану Райли, Хеннинг Тешке, Кису ван дер Пейлю, Ачину Ванаику, Эллен Мейксинс Вуд, а также сокурсникам по ЛШЭ и Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, вместе с которыми я посещал семинары. В равной мере я хотел бы признать эффективность советов и терпеливость моего издателя Тима Кларка в издательстве Verso, а также в высшей степени добросовестную редактуру Джеймса Инграма из Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке и Миранды Чейтор из Лондона. Наконец, я должен поблагодарить свою жену Мариам как за многолетнюю поддержку и ободрение, так и за бесчисленные поправки, внесенные ею в рукопись. Первоначальная версия второй главы была опубликована под заглавием «Геополитические отношения в европейском Средневековье: история и теория» в журнале «Международная организация» [*Teschke Benno. Geopolitical Relations in the European Middle Ages: History and Theory // International Organization. 1998. Vol. 52. No. 2. P. 325–358*]. Отдельные части седьмой и восьмой глав публиковались в качестве статьи «Теории вестфальской системы государств: международные отношения при переходе от абсолютизма к капитализму» в «Европейском журнале международных отношений» [*Teschke Benno. Theorising the Westphalian System of States: International Relations from Absolutism to Capitalism // European Journal of International Relations. 2002. Vol. 8. No. 1. P. 5–48*]. Я благодарен издательствам MIT Press и Sage Publications за разрешение повторно опубликовать эти статьи в переработанной форме. *Habent sua fata libelli*<sup>1</sup>.

Эта книга посвящена фундаментальным социально-политическим и геополитическим трансформациям. Но некоторым трансформациям еще только предстоит произойти.

<sup>1</sup> «У книг своя судьба» — часть латинского выражения «*Pro captu lectoris habent sua fata libelli*» («У книг своя судьба, зависящая от того, как их принимает читатель»), принадлежащего римскому грамматiku Теренциану Мавру (Terentianus Maurus). — *Примеч. пер.*

# ВВЕДЕНИЕ

## МИФ О 1648 ГОДЕ

**И**мперия, «новое средневековье», многоуровневое глобальное управление, республиканский мир — вот некоторые из понятий и метафор, к которым современная теория международных отношений (МО) и международная политическая экономия (МПЭ) обращаются для осмысления изменений, недавно произошедших в структуре международной системы. Сторонники различных теоретических подходов двух этих дисциплин, разумеется, редко соглашаются друг с другом относительно причин, природы и масштаба этих изменений. Если реалисты заявляют о простом сдвиге баланса сил, связанном с теми изменениями в распределении влияния между элементами системы, которые затрагивают лишь соотношение полюсов в неизменной анархической системе государств, то лагерь не-реалистов практически единодушно приходит к выводу, что традиционный суверенитет государств находится под угрозой. Классическая вестфальская система, построенная на ключевом значении современного, территориально ограниченного суверенного государства, якобы замещается посттерриториальным, постсовременным глобальным порядком. Старая логика геополитического порядка ставится в зависимость от геоэкономики, многоуровневого глобального управления или же требований международного гражданского общества, включающего множество акторов. На наших глазах разворачивается фундаментальная трансформация структуры международной системы вместе со всеми ее правилами разрешения конфликтов и сотрудничества. И хотя реалисты и нереалисты расходятся в своих оценках современной всемирно-исторической ситуации, исследователи в области МО и МПЭ едины в определении вестфальской системы государств в качестве исходной точки для изучения современной структуры мировой политики.

Неясность относительно направленности и последствий современных тенденций вынудила исследователей МО снова обратиться к более широкой проблеме общей природы трансформаций, осуществляющихся как внутри международных систем, так и при переходе от одной системы к другой. И здесь

в качестве более надежного средства для построения теории выступает история. Исторический поворот в МО создал новый список вопросов. Если суверенитет и система государств, возникшие в эпоху Нового времени, вступают в период упадка, какие уроки можно извлечь из более ранних геополитических трансформаций? Если этот новый порядок может стать угрозой для государственного суверенитета, базирующегося на принципе исключительной территориальности, являющемся основным строительным элементом межгосударственных отношений, теряет ли сама эта дисциплина свой статус независимой социальной науки, подтвержденный существованием отдельной сферы «международного»?

Обычно вопрос о формировании нововременного (modern) международного порядка связывается с Вестфальскими мирными договоренностями, которыми завершилась Тридцатилетняя война. Общее мнение, разделяемое и американской политической наукой, и британской теорией международных отношений, и немецкой социальной философией, состоит в том, что вестфальское соглашение выстроило европейский порядок на основе суверенных государств, придерживающихся нововременных принципов разрешения конфликтов и сотрудничества. Междисциплинарное и межпарадигмальное согласие относительно 1648 г. как истока нововременных международных отношений наделило теорию МО как дисциплину собственной направленностью, тематическим единством и исторической легитимностью. Нить подобного молчаливого согласия пронизывает все работы в этой дисциплине, переходя от одного поколения теоретиков МО к другому. Даты не способны лгать, а чем отдаленнее они от нас, тем меньше желания вскрывать их социальный контекст, социальное содержание и значение. Однако периодизация — это не невинное занятие, не просто педагогический или эвристический инструмент для расстановки меток в неразмеченном потоке истории. Такой инструмент влечет за собой предпосылки относительно длительности и содержания определенных эпох и геополитических порядков и одновременно склоняет теории МО к усвоению определенных критериев, используемых для теоретизации непрерывности или слома международных режимов. Следовательно, согласие в вопросе о нововременном характере 1648 г. предполагает более развернутые суждения о непрерывном существовании Вестфальско-

го порядка с середины XVII в. до наших дней. Хотя немногие специалисты по МО станут утверждать, что европейскую политику XVII в. можно напрямую сравнивать с международной политикой века XX-го, большинство согласятся с тем, что фундаментальные принципы геополитического порядка не изменились 340 лет, хотя в течение последних одного-двух десятилетий они, возможно, и были поставлены под вопрос<sup>1</sup>.

В соответствии с этим общепринятым описанием, разделяемым в равной степени реалистами, представителями английской школы и конструктивистами, вестфальские договоренности были поворотным пунктом в истории международных отношений. После 1648 года формализованные отношения между нововременными суверенными государствами пришли на смену перекрестным отношениям между разнородными феодальными акторами, иерархические претензии которых венчались Империей и Церковью. Упрочение исключительного суверенитета, покоящегося на внутренней монополизации средств насилия, отразилось в исключительном контроле правителей над инструментами внешней политики — армией, дипломатией, договорной системой. К середине XVII в. субъектами международного права, основанного на взаимном признании и соответствующем исключении соперничающих центров власти, могли быть только правители, обладающими подобными прерогативами. Благодаря присвоению средств насилия множеством суверенов и сопутствующим этому процессу установлению системы ограниченной территориальности само поле политики было формально разбито на отличные друг от друга внутреннюю и внешнюю сферы, которые основывались соответственно на внутренней политической иерархии и внешней геополитической анархии. После вестфальского соглашения не-территориальные политические акторы — города-государства, союзы городов, феодальные сеньоры, а также иные корпоративные образования «выпали» из международной политики. Международные отношения были институционализированы благодаря постоянно

<sup>1</sup> В отсутствие более точного термина я пользуюсь термином «геополитика» как общим обозначением всех отношений между публичными носителями политической власти. Обсуждение особого значения немецкой традиции *Geopolitik*, существовавшей между двумя мировыми войнами, см.: [Teschke. 2001].

действующим посольствам, координирующим международные дела посредством периодических дипломатических контактов, управляемых кодифицированными и обязательными для исполнения дипломатическими протоколами. Кульминаций подобных контактов стали регулярные созывы многосторонних конгрессов. В то же самое время политический суверенитет и дискурс *raison d'État*<sup>2</sup> секуляризировали международные отношения, подорвав претензии религии как легитимирующей инстанции и уменьшив универсалистские амбиции Римской католической церкви. Разделение политики и религии, а также возникшая вместе с ним идея самоопределения, ввели принцип мирного сосуществования равных в правовом отношении членов международного общества. Он был воплощен в кодексе международного права, которым устанавливались принципы взаимного признания, невмешательства и толерантности. Универсальные концепции империи и папские стремления к нравственному верховенству в контексте *res publica christiana* уступили место балансу сил как естественному регулятору конкурентных международных отношений в многополярной анархической среде. В период между Вестфальским миром (1648 г.) и Утрехтским миром (1713 г.) международная система государств (*state-system*) начала приближаться к современным международным отношениям.

Со временем такая интерпретация вестфальского соглашения стала конститутивным мифом в теории МО. В противовес ей в этой книге доказывается, что 1648 г., ни в коей мере не отмечая прорыв в сторону современных межгосударственных отношений, на самом деле был апогеем эпохи формирования абсолютистского государства: он зафиксировал признание и упорядочение международных, или — если говорить более точно, — междинастических отношений абсолютистских, династических политических образований (*polities*). Однако для обоснования этого тезиса было бы недостаточно указать на внешние качества политических феноменов — суверенитет, ограниченную территориальность, множественность государств — или же на «анархию» как системный структурирующий принцип между-

<sup>2</sup> *Raison d'État* (фр.) — государственный интерес, принцип обоснования того или иного политического курса ссылкой на интересы данного государства. — *Примеч. пер.*

народного порядка. Напротив, следует вскрыть *общественные отношения суверенитета*, определившие вестфальский порядок, чтобы продемонстрировать его доновременную природу. Такая задача требует социального и исторического подхода. Неореалистская логика «анархии» практически ничего не может сказать о порождающих источниках и содержательных практиках — войнах за наследование, политических браках, династических союзах, меркантилистских торговых войнах и элиминативном равновесии (*eliminatory equilibrium*) — международных отношений периода раннего Нового времени. Однако одно дело изучать современную историографию, которая исправляет эмпирические дефекты, и совсем другое — разрабатывать теоретическую схему, позволяющую по-иному задать значение 1648 г. в более широком историческом континууме эволюции европейской системы государств. Данное исследование стремится демистифицировать Вестфалию, предлагая пересмотреть развитие и динамику европейской системы государств в период с VIII по XVIII в., опираясь на диалектический историко-материалистический подход. Моя интерпретация вращается вокруг пяти следующих исследовательских осей.

1. *Сравнительная историческая социология*, которая стремится выяснить различия между разными геополитическими порядками. Если все больше исследователей сходятся во мнении, что в разные времена международная политика не управлялась одним «общим законом», значит нам нужно определить отдельные наборы «правил игры». В какой степени отличаются друг от друга международные отношения разных исторических периодов, будь то классическая эпоха, Средневековье, Возрождение, раннее Новое время, Новое время и Новейшее время? Каковы были природа и значение таких основных геополитических институтов, как политическая власть и публичная власть, война и мир, границы и территориальность, легитимация и принуждение, создание империй и геополитическая фрагментация, образование альянсов и разрешение конфликтов, в разные исторические периоды?

2. *Причинно-следственное исследование*, которое изучает фундаментальные детерминанты этих системных изменений. Как понимать связь между геополитикой, политической властью и социальными силами? Хотя сложные, масштабные макроисторические феномены непросто согласовать с социально-

научными требованиями причинно-следственной строгости и систематичности, уход в чистое описание также не является бесспорным методом. Следовательно, вновь встает задача определения причинных связей и/или оснований — или даже оснований, скрытых за основаниями, — приводимых коллективными и индивидуальными акторами для оправдания собственных действий. А это требует разработки и прояснения основных переменных объяснения, используемых в реалистском, конструктивистском и критическом направлениях теории МО.

3. *Динамический подход*, который стремится определить и теоретически объяснить главные действующие силы и процессы системных геополитических трансформаций. Является ли геополитическое изменение производным от расцвета и падения великих держав, их гегемонистских проектов и неравномерного распределения власти между конфликтующими элементами системы или же оно направляется более глубокими органическими структурами и параметрами социально-экономической истории? Рождается ли оно из процессов обучения, идущих внутри дипломатического сообщества, и соответствующих навыков искусного государственного управления или же определяется коллективными изменениями ментальности и самовосприятия коллективных акторов, а также переносом идей? Следуют ли трансформации изменениям в балансе классовых сил, которые приводят к крупным изменениям режима и реструктуризации международных порядков или же изменения классовых структур и политических режимов сами следуют геополитическому давлению и геополитическим трансформациям? Являются ли эти процессы изменений постепенными, эволюционными и практически незаметными или же они проявляют себя внезапно и неотвратимо в ключевые периоды системных кризисов?

4. Исследование *хронологических и географических причин нововременных международных отношений*. Следует ли нам предположить, что можно дать адекватное концептуальное описание происхождения нововременной международной системы в терминах «сдвига от Средневековья к Новому времени» или же необходимо откорректировать эту излишне упрощенную точку зрения, доказывая наличие промежуточных этапов между и внутри различных геополитических порядков, кумулятивным эффектом которой как раз и стала нововременная геополитическая конфигурация? Если мы должны разобраться

с несколькими значительными переходами, как это повлияет на определение генезиса нововременного порядка? Если он, в противоположность общей предпосылке, складывается не в XVII в. после Вестфальского мирного соглашения, можем ли мы определить более позднюю системную цезуру, будь она договорами Раштатта-Утрехта, Венским конгрессом или даже мирным Версальским договором? Какова связь между развитием нововременного государства — и, *a fortiori*, множества государств — и капитализмом? Когда в международных отношениях началось Новое время (*modernity*)?

5. *Переоценка и проверка теорий МО* на предмет их внутренней логической обоснованности, политических выводов, объяснительной силы, оцениваемой в соответствии с историческими данными. Хотя в дидактических целях можно объединять в одну группу весьма разных исследователей, прищипывая к ним общий ярлык, различия внутри конкурирующих теоретических школ часто выражены столь же сильно, как и различия между ними. Даже если межпарадигмальное согласие вряд ли возможно, а для плюралистического научного сообщества его можно признать даже нежелательным, целью является максимальное прояснение как наших расхождений, так и пересечений, поскольку оно позволит провести конструктивную критику при оценке эмпирической точности, внутренней логичности, объяснительной силы и эпистемологических предпосылок.

Я использую два способа изложения. Во-первых, применяю сравнительный и хронологический методы для проработки и сопоставления разных исторических логик «международных» отношений, представляемых средневековой, ранненоввременной и нововременной геополитическими системами. Этот *сравнительный подход* позволяет нам выявить фундаментальные различия в соответствующих этим системам схемах сотрудничества и конфликта. Во-вторых, я принимаю хронологический метод, предполагающий скорее повествовательное, хотя и управляемое определенной теорией, изложение внутренней и международной динамики, повлекшей системные трансформации. Такой *процессуальный подход* позволит нам также рассмотреть ключевой вопрос причин перехода от одного геополитического порядка к другому. Однако концепция истории как процесса демонстрирует при этом, что эти трансформации никогда не были теми событиями, охватывавшими всю систему,



которые могли бы оправдать представление мировой истории в виде четкой последовательности различных геополитических порядков. Поскольку изменения государственных форм осуществлялись в региональном и хронологическом отношении весьма неравномерно, нам нужно выстроить теорию международных отношений различных сосуществующих друг с другом политических акторов в системах «смешанных акторов».

Теория МО идеально подходит для совмещения сравнительных исследований с объяснениями развития, поскольку одна из аксиом этой дисциплины состоит в том, что политические сообщества никогда не являются замкнутыми на себя единствами, ведь сами их формы и пути развития всегда уже взаимодействуют и взаимодетерминированы многочисленными взаимодействиями внутри более широкой геополитической среды. Однако относительно скудный вклад, сделанный теорией МО в историческую социологию, требует привлечения литературы из других дисциплин, изучающих общее историческое развитие. В исторической социологии ключевая проблема определяется давними спорами о возникновении нововременного государства. К этой проблематике относятся все теории о средневековом и ранненовременном формировании государства, а также о возникновении нововременных экономических отношений, включая литературу о докапиталистических экономических системах и о рождении капитализма. Все они весьма тесно связаны с неовеберовской исторической социологией, которая на протяжении последних двух десятилетий создала наиболее влиятельные объяснения воздействия военной конкуренции в многополярной системе государств на формирование государства, общественные революции и общее историческое развитие. Цель не в том, чтобы выработать наиболее полную экзегезу «священных» текстов Карла Маркса, а в том, чтобы проанализировать самые свежие результаты современной историографии, когда они значимы для теории МО, рамками которой выступает диалектическое понимание исторического развития.

## ОСНОВНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ

Любое сочетание теории МО как социальной науки и истории должно начинаться с той посылки, что не существует всеобщего закона, который объяснял бы международное поведение во все

времена, так же, как не существует общей объяснительной теории истории. Однако такой тезис не служит оправданием для методологического плюрализма, интеллектуального отречения в пользу предельной случайности и отступления к насыщенным повествовательным описаниям. Задача — определить социальный праксис, формирование, разрушение и перестройка которого опосредуют метаболизм взаимодействующего с природой человечества, задействуя в первоочередном порядке политику и геополитику, то есть определить общественные отношения собственности. Мой основной теоретический аргумент, развитый благодаря разработке принципов политического марксизма, состоит в том, что формирование, работа и трансформация геополитических порядков обосновываются изменяющейся природой составляющих их единиц<sup>3</sup>. Общественные отношения собственности, опосредующие отношения между крупными классами, первоначально определяют *формирование* и природу этих политических единиц. Вписанные в определенные временные рамки балансы сил находят выражение в политически выстроенных институтах — окаменелых праксисах, которые задают параметры специфичных для данных классов и потому антагонистичных правил воспроизводства. Политические институты фиксируют режимы общественных отношений собственности, предоставляя правила и нормы, а также силу и санкции для воспроизводства исторически специфичных классовых отношений. Стратегии воспроизводства, в свою очередь, определяют внутренние и международные отношения, выступая обоснованием для различных *способов действия* разных геополитических порядков. Хотя политически выстроенные режимы собственности институционализируют социальные конфликты и задают пределы специфичных для определенных классов стратегий, во времена общих кризисов они сами могут оспариваться.

Однако невозможно наложить на исторические данности транзисторическую теорию общего кризиса. Напротив, усло-

<sup>3</sup> К основным текстам этой парадигмы относятся: [Brenner. 1977, 1985a, 1986, 1989, 1993, 2001; Wood. 1991, 1995, 2002; Comninel. 1987]. См. также: [Андерсон. 2006; Андерсон. 2010; Gerstenberger. 1990; Rosenberg. 1994]. В метатеоретическом смысле теория отношений общественной собственности совместима с диалектическим мышлением; см.: [Heine, Teschke. 1996, 1997; Teschke, Heine. 2002]. Ключевыми текстами по диалектике являются: [Kosik. 1976; Bernstein. 1972; Schmidt. 1981].

вия, общий ход и исходы этих кризисов могут быть установлены только в историческом исследовании. История не телеологична, но в ретроспективе она интеллигибельна. *Геополитические трансформации* управляются изменчивым, но не случайным разрешением тех социальных конфликтов, которые порождают новые режимы собственности и отношения власти, фиксируя новый *status quo* посредством выработки новых правил и норм его воспроизводства. Изменения режимов собственности реструктурируют природу политических сообществ, присущие им формы конфликта и сотрудничества. Поддержание правил и обсуждение правил — с применением насилия или без него — это активные сознательные процессы, осуществляющиеся как внутри государств, так и на международном уровне.

На протяжении всего данного текста эта элементарная теоретическая идея будет называться *теорией общественных отношений собственности*. Эта альтернативная отправная точка порождает серию содержательных результатов, которые ставят под вопрос центральные послылки теории МО и исторической социологии.

## СТРУКТУРА РАССУЖДЕНИЯ

Следствия теории общественных отношений собственности для теории МО и исторической социологии развиваются в восьми главах. В первой главе дается обзор шести влиятельных в среде МО интерпретаций исторического развития европейской системы государств. Она начинается с краткого описания антиисторических посылок неореализма и его неспособности осмыслить системные геополитические трансформации и изменения в международном поведении. Затем в ней дается критический обзор двух новаторских конструктивистских теорий, которые исходят из той посылки, что международные системы не могут быть отделены от истории. Главную проблему теории МО они видят в возникновении и возможном преодолении нововременной международной системы. Далее в главе оцениваются сильные и слабые стороны недавно возникшей неомарксистской интерпретации. В ее заключении кратко обсуждается то, как переоформить наш теоретический подход, чтобы появилась возможность изучения проблемы долгосрочной и широкомасштабной трансформации геополитических порядков. Цель —

поддержать исторический поворот в теории МО, выработав критическую теорию международных отношений.

Вторая глава начинается с реконструкции истоков и развития европейской системы государств, что требует выработки критического отношения к продолжающемуся в среде теории МО спору о Средневековье. Теория общественных отношений собственности развивается здесь благодаря сравнению и сопоставлению взглядов Макса Вебера и Карла Маркса на отношение между политическим и экономическим; здесь же мысль Маркса о докапиталистических обществах встраивается в новую концепцию, опирающуюся на работы Роберта Бреннера. Затем на этом основании в главе выстраивается новая интерпретация средневекового геополитического порядка. Рассуждение сводится к тому, что отношения условной феодальной собственности управляли противоречивыми стратегиями воспроизводства двух главных классов (феодалных сеньоров и крестьян). Эти стратегии определяли территориальные и административные свойства средневековой политической организации как совокупности сеньорий, также они объясняют экономический застой и вскрывают характер средневековой геополитики как военной культуры, подвижной систематическим реинвестированием в средства принуждения и (гео)политическое накопление. Феодальная геополитика объясняется не системой-структурой (анархия/иерархия) или же модусами территориальности, а именно общественными отношениями собственности.

Третья глава обращается к истории общественных отношений сеньории. Начинается она с краткого описания проприетарного основания империи Каролингов, затем в ней выстраивается теория перехода от имперской иерархии к феодальной фрагментации в период кризиса начала тысячелетия, ставшего результатом изменений классовых отношений. Далее дается объяснение центробежного движения в XI в., состоявшем из четырех элементов (норманнское завоевание, немецкое *Ostsiedlung*<sup>4</sup>, испанская реконкиста и крестовые походы), как результата земельного дефицита у бывших франкских рыцарей, случившегося после установления права первородства, ограничившего доступ знати к политическим средствам присвоения. Затем в главе показыва-

<sup>4</sup> *Ostsiedlung* (нем.) — поселение на востоке, обозначение германской колонизации Восточной Европы. — Примеч. пер.

ется, как возрождение городов в XII в. было связано с феодальными классовыми отношениями и почему растущая торговля между городами не стала ни капиталистическим явлением, ни двигателем европейского «экономического взлета». В заключении дается теория новой консолидации феодальных королевств в период Высокого Средневековья как процесса геополитического накопления, также демонстрируются средневековые начала расходящихся траекторий формирования государства/общества во Франции и в Англии — эти линии развития заложили территориальные параметры Европы как многоакторной системы государств.

В четвертой главе историческая реконструкция прерывается ради нескольких теоретических пояснений фундаментального характера. Она начинается с оценки трех влиятельных историко-социологических теорий перехода к Новому времени — неовеберовской геополитической модели конкуренции, неомальтузианской демографической модели и неомарксистской модели коммерциализации. Утверждаю, что все три модели неудовлетворительны как в теоретическом, так и в эмпирическом отношении. Затем, опираясь на работы политических марксистов, я развиваю альтернативную концепцию капитализма, которая демонстрирует связь между капиталистическими общественными отношениями собственности и собственно нововременным государством. Также обращаю особое внимание на то, что, хотя нововременное государство включено в капиталистическое отношение, нововременная система государств (множественных территорий), в которой позднее возник капитализм, была наследием классового конфликта внутри правящего класса докапиталистических правителей. Принимаемая здесь концепция капитализма порывает с тем общепринятым взглядом, что развитие капитализма было общесистемным и общеевропейским событием, движимым возрождением городов и распространением торговли (либо в XII, либо в XVI в.). Отвергая неосмиттовские послышки, которые лежат в основе значительной части литературы, посвященной распространению капитализма, я утверждаю, что экономическое и политическое развитие в средневековой и ранненовременной Европе было весьма неоднородным в региональном отношении, особенно во Франции и в Англии, что привело к весьма различным отношениям государства и общества, которые имеют ключевое значение для понимания при-

роды и динамики ранненовременных и современных систем государств. Эта совокупность тезисов задает новую отправную точку для осмысления неравномерного перехода к экономическому и (гео)политическому Новому времени.

В пятой главе на основе достигнутых результатов историческая реконструкция завершается благодаря исследованию развития и природы абсолютизма во Франции — главном государстве, подписавшем Вестфальский мир. Я начинаю с обзора регионально дифференцированного перехода от феодализма к абсолютизму и исследую связь между сохранением докапиталистических общественных отношений собственности, экономическим застоём и логикой персонализированного династического суверенитета. Затем мною показана картина явно доновременной природы основных абсолютистских институций — продажи должностей, постоянной армии, налогообложения, правовой системы и природы войн, приводящая к заключению, что воинственная природа абсолютистских государств была крайним выражением политических стратегий накопления, укорененных в режиме общественных отношений собственности, характеризуемом государством налогов/постов, получающим от крестьянства, владеющего средствами собственного выживания, принудительно извлекаемую ренту. Абсолютизм, вовсе не подготавливая переход к капитализму, укрепил докапиталистические аграрные режимы собственности посредством чрезвычайного по объёму налогообложения, которое ограничивало производительность и технологический прогресс. Связь между докапиталистическим режимом собственности и карательным налогообложением периодически подрывала и в конечном счёте исчерпала производительные силы французской аграрной экономики, которая на протяжении всего ранненовременного периода продолжала управляться типично докапиталистическими эко-демографическими циклами. В то же время абсолютизм вызвал гипертрофированный рост дисфункционального, небюрократического государственного аппарата, нацеленного на войны вовне страны и принудительное изъятие прибавочного продукта внутри нее. Абсолютистское государство не было новременным, рационализированным или «эффективным». В заключении главы утверждается, что «Старый порядок» не только был совершенно неновременным — его общественный режим собственности препятствовал переходу и к капита-

лизму, и к рационализированному государству. В долгосрочной перспективе слом абсолютистского наследного государства налогов/постов был спровоцирован «извне», первоначально задаваясь экономическим и военным давлением со стороны капиталистической Британии.

В шестой главе исследуется природа и динамика ранненовременной международной политической экономии, что приводит к критике тезиса, согласно которому «долгий XVI век» учредил нововременную миросистему. Рассуждение сводится к тому, что и торговые империи итальянских городов-государств, и меркантилистские империи ранненовременных династических государств при получении коммерческой прибыли зависели от территориальной демонстрации политической и военной власти. Это породило логику игры с нулевой суммой, присущую милитаризованным международным торговым монополиям, которые препятствовали устойчивому экономическому росту. Экономическое создание империй и властно-политический охват оказались равнообъемными и потому несоизмеримыми с капиталистической логикой экономической конкуренции, управляемой ценовым механизмом, реализуемым свободной торговлей на открытых рынках. Социальная логика меркантилизма базировалась на «обращенном в прошлое» классовом альянсе раздающих привилегии монархов и привилегированных купцов, собирающих и распределяющих прибыли от неравных обменов. В заключении главы говорится о том, что капитализм был не результатом распространения торговли, подталкиваемой торговым капитализмом или меркантилизмом, и что международная экономика XVI в. оставалась тесно связанной с архаическими коммерческими практиками в духе «купить подешевле — продать подороже».

В седьмой главе проводится критика основного мифа теории МО, гласящего, что с вестфальского соглашения началась эра нововременных международных отношений. В главе развивается объяснение междинастических отношений в период Вестфальской эпохи, основывающееся на доказательстве неновременной природы династического суверенитета. Здесь показывается, как и почему династический суверенитет выражался серией «непонятных» практик геополитического конфликта и сотрудничества, специфичных для ранненовременного геополитического порядка. Логика международных отношений ха-

рактизовалась династическими союзами, скрепляемыми королевскими и аристократическими политическими браками и разрываемыми войнами за престолонаследие. Территории оставались приложениями к планированию королевских браков и войнам за престолонаследие. Хищническая логика династического равновесия была несовместима с реалистским балансом сил. В заключении главы дается новая текстуальная интерпретация пунктов вестфальских мирных договоренностей, которая демонстрирует, каким образом 1648 г. стал выражением и кодификацией социальных и геополитических отношений абсолютистского суверенитета.

В последней главе доказывається, что начала нововременных международных отношений связаны с развитием капитализма в ранненовояременной Англии. Однако, не предполагая внезапного «структурного разрыва», постигшего логику международных отношений при переходе от ранненовояременной к новояременной геополитике, я, скорее, подчеркиваю странную комбинацию различных государственных/общественных комплексов в ранненовояременной Европе, которые должны быть теоретически осмыслены как «смешанный» сценарий. Сначала выписывается влияние становления аграрного капитализма в Англии на трансформацию английского государства XVII в., ставшую сдвигом от династического суверенитета к парламентскому, закрепленным Славной революцией 1688 г. Затем я показываю, каким образом принятие нового постреволюционного и парламентского курса внешней политики — политики «открытого моря» — было связано с реорганизацией экономической и политической власти в Британии и как оно привело к отмене докапиталистических императивов геополитического накопления. Затем я извлекаю соответствующие следствия для европейской геополитики XVIII в. Мой аргумент состоит в том, что заданный Британией баланс сил установился в «смешанной» системе государств, на фундаментальном уровне все еще определяемой докапиталистическими государствами, занимающимися геополитическим накоплением. Активная балансировка сил привела к тому побочному эффекту, что государства стали сталкиваться друг с другом до тех пор, пока не истощились в военном и экономическом отношениях. Хотя эндогенное развитие капитализма было характерным только для Англии, его распространение не являлось транснациональным, а стало *геополитически опосре-*



дованным процессом, который превратил династические государства континента в нововременные государства, вынужденные пройти путь комплексного в геополитическом отношении и неравномерного в социально-политическом смысле развития. Европу интересовало главным образом управление модернизирующим давлением, создаваемым британским комплексом государства/общества, который поставил европейских соседей в невыгодное в плане конкуренции и экономики положение. Это вынудило управляющие государством классы применить контрстратегии, которые привели к цепочке «революций сверху», то есть к введению капитализма. Этот долгий период трансформации длился в Европе с 1688 г. по Первую мировую войну, а в остальном мире — и после. Международные отношения в этот период были не нововременными, а модернизирующимися. Однако хотя распространение капитализма оказало широкое влияние на классовые и режимные изменения в Европе (переход от абсолютизма к капитализму и от династического суверенитета к нововременному), оно не могло изменить территориальной раздробленности Европы как геополитического плюриверсума. Многие территории были явным результатом конфликтов докапиталистических правящих классов. Но именно этому докапиталистическому наследию могут сегодня угрожать глобализация и глобальное управление независимо от того, как именно они реализуются — в имперско-односторонней или многосторонней форме.

В заключении подводятся итоги исследования и выводятся более обширные следствия для теории МО и исторической социологии. Также дается набросок программы исторического и теоретического исследования, подчиняющейся тому динамическому подходу, что был развит в предыдущих главах. Такая программа стремится осмыслить политически и интеллектуально вредоносное воздействие «рационализма» теории МО и защищает диалектику как верную метатеорию осмысления международных отношений.

# *1. Начала и эволюция нововременной системы государств: спор в теории международных отношений*

## 1. ВВЕДЕНИЕ: ОТ СТРУКТУРЫ К ИСТОРИИ

Попытки ввести историческое измерение в теорию МО чаще всего блокируются методологическими параметрами неореализма, сохраняя признаки специфических принципов последнего. Начну с обсуждения антиисторической природы неореализма и критики самореферентной логики его теоретических построений. Затем попытаюсь показать, что последующая интеллектуальная траектория историзации теорий МО определяется постепенным теоретическим освобождением от понятийных структур неореализма. Обратное соотношение между интеллектуальной преданностью основной теории МО и объяснительной силой проясняется на примере историзирующего реализма Роберта Гилпина, интерпретации вестфальских мирных договоренностей, осуществленной Стивеном Краснером, историзирующего конструктивизма Джона Джерарда Рагги, неэволюционной исторической социологии Хендрика Спрута и марксистской теории Джастина Розенберга. Четыре первых автора, представляющих достаточно широкие течения в современной теории МО, либо принадлежат традиции реализма/неореализма, либо борются с ней. И если Гилпин стремится обогатить реализм, включив теорию рационального выбора, объясняющую социальное действие и изменение, в, по существу, системную теоретическую схему, то Стивен Краснер разлагает вестфальский порядок на серию исторических случаев, которые не поддаются теоретическому осмыслению. Поэтому он заново утверждает реализм в качестве единственной осмысленной теории МО. И если Рагги осуществляет последовательный сдвиг в сторону социального конструктивизма, Спрут с самого начала принимает позиции постнеореалистического конструктивизма. Эта интеллектуальная традиция заканчивается на Джастине Ро-

зенберге и его сильной марксистской теории, прямо атакующей объяснительную слабость реализма и его идеологическую нечистоплотность. При столкновении с конкретными историческими вопросами теория МО вынуждена диверсифицировать и расширить свои методологические установки.

Благодаря критическому анализу этого процесса смены парадигмальной ориентации мы увидим, что вся область теории МО сместилась от жесткого позитивизма, делавшего особый акцент на структуре, к более широкой социальной и, в конечном счете, критической теории макроисторических процессов. В этом смещении академическая теория МО прошла через глубокую самокритику собственных методов, наладив связи с современной социальной наукой. Однако эта реструктуризация столкнулась с теоретическими и эмпирическими проблемами. Хотя исторический поворот в МО привел к отказу от позитивистской фактичности неореализма, широкомасштабной и охватывающей большие исторические промежутки теории, которая убедительным образом совмещала бы сравнительный подход с систематическим исследованием системных трансформаций, так и не появилось.

Но почему же история, несмотря на литературу о «международном обществе» (International Society), связанную с «Английской школой», была вычищена из современной теории МО? Почему теория МО в тени гегемонии неореализма превратилась в дисциплину без истории?

## 2. СТРУКТУРНЫЙ НЕОРЕАЛИЗМ

*Кеннет Уолц: история как вечная структура*

Решительно разорвав с донаучными моралистическими предпосылками классического реализма, Кеннет Уолц в качестве абсолютных пределов международной политики указал на доминирующие императивы анархии, являющиеся фундаментальным структурным принципом международной системы. С этой точки зрения качественные трансформации систем сводятся к чередованию двух структурных принципов — анархии и иерархии [Waltz. 1979. P. 114–116]. Этот шаг дал сомнительное преимущество: он ограничил историю двумя рубриками. Пока система государств содержит множество функционально не-

различных акторов, преобладает анархия; как только выделяются империи или иные формы центральной власти, начинает править иерархия. Хотя Уолц допускал, что внутри системы могут происходить изменения, обусловленные распределением власти между ее элементами, они сводились лишь к переходам от многополярности к биполярности, не затрагивая глубинную логику анархии. В подобной системе выживания элементы вынуждены вести себя, полагаясь лишь на собственные силы и при этом пытаясь максимизировать собственную власть. Баланс сил и создание союзов приносят стабильность, безопасность и порядок<sup>1</sup>. Жесткие поведенческие закономерности выводятся из доминирующей логики анархии. Политика балансирования, а не присоединения к лидеру, должна иметь место в случае выраженной властной асимметрии между государствами. Структуралистская модель Уолца, хотя в ней и признаются внутренние причины изменений властных возможностей, не может сказать ничего определенного относительно будущего или прошлого, если отбросить сохранение самой анархии, то есть в смысле исторического объяснения она бессильна. При объяснении того, почему один актор выбрал в определенной ситуации вариант создания союза, а другой — войну, она полагается на «внешние переменные» [Waltz. 1988. P. 620]. Обе крайности (как и бесконечное число промежуточных решений) приемлемы, пока благодаря балансу сил выполняется системная цель равновесия. Выживание системы важнее выживания любого из ее компонентов.

Благодаря таким предпосылкам история перестает быть проблемой. Анархия в причинном отношении сужается до факкультативной причины, иерархия заслоняет саму потребность

<sup>1</sup> Теория систем Уолца, конечно, подкрепляется микроэкономической теорией свободного выбора в условиях свободного рынка. Хотя и классическая политическая экономия, и неореализм укоренены в либеральных традициях мысли, гармония как баланс работает на основе встроеной предпосылки, утверждающей, что целые национальные государства могут исчезнуть в процессе «динамического приспособления» точно так же, как и отдельные фирмы. В самом деле, Уолц приходит к выводу, что оптимум безопасности достигается в биполярной ситуации, то есть в исторической констелляции, неслучайно совпадающей с дуополистическим состоянием советско-американских отношений во времена публикации книги, так что ее вывод похож на толкование Панглосса.

в теории МО, а вариации на уровне отдельных элементов не вызывают вариации на уровне наблюдаемых результатов. Уолц лаконично заявляет: «Логика анархии не изменяется в зависимости от своего содержания... Логика анархии выполняется независимо от того, из чего состоит система — из племен, наций, олигополистических фирм или уличных банд» [Waltz. 1990. P. 37]. Аргумент в пользу истории как извечно анархической структуры кажется вполне завершенным.

Внутренняя связность аргументации Уолца кажется безупречной. Критика заранее устраняется благодаря определению того способа задания теории, которого придерживается Уолц: «Теории должны оцениваться внутри тех рамок, в которых действуют их объяснения» [Waltz. 1979. P. 118]. В результате этой стратегии иммунизации вопросы, нацеленные на проблемы, которые не попадают в поле действия неореалистических объяснений, исторгаются вовне и обесцениваются [Halliday, Rosenberg. 1998. P. 379]. Поэтому критика должна сначала и главным образом идти на метатеоретическом уровне. Отмычкой к теоретической башне Уолца оказывается исследование герметичной, самореферентной эпистемологической структуры неореализма, которая в качестве априорного определения приписывается нормальной теории МО. Уолц выделяет свою собственную область исследования (международную систему), отмежевывая ее от всех иных областей человеческой деятельности, вводит макроэксплананс (анархию), дедуцирует международную политику из ограничений, налагаемых этим экспланансом, а все остальные подходы обвиняет в том, что они не соответствуют его определению «научной» теории МО<sup>2</sup>. Исключение человеческой воли (сознания, выбора, курса действий) и отрицание самой возможности разных результатов задает критерий научного статуса неореализма. Поэтому часто цитировавшееся высказывание Уолца — «устойчивый характер международной политики объясняет поразительное постоянство качеств международной жизни на протяжении тысячелетий» [Waltz. 1986. P. 53] — представляется не столько результатом исторических наблюдений, сколько следствием теоремы, наложенной на исто-

<sup>2</sup> Тогда как неореализм образует науку, остальные теории, рассматривающие те же самые вопросы, низводятся до уровня философии или исторической интерпретации [Halliday, Rosenberg. 1998. P. 381–382, 386].

рические данные, но не проверенной ими. Поскольку человеческое поведение выводится их анархической логики системы, навязывая проблему рационального выбора, рассогласование с теорией не фальсифицирует неореализм; скорее, оно определяется в качестве несистемного, нерационального и потому вне-теоретического поведения<sup>3</sup>. Система карает отклонение, но отклонение не карает теорию. Это естественно переворачивает с ног на голову научные стандарты подтверждения и логики. «Поведенческие аномалии» не заставляют Уолца откорректировать неореализм так, чтобы он учитывал «иррациональное» и при этом целенаправленное поведение; они просто выбрасываются из поля рассмотрения, что позволяет сохранить статус неореализма. Никакое число эмпирических случаев никогда не сможет опровергнуть или подтвердить его теоремы; все рассуждение в нем принимает круговой характер, становясь аутореференциальным и самоподтверждающимся. Международная политика объективируется, история замораживается, а теория реифицируется: *mors immortalis*<sup>4</sup>!

Фундаментальной ошибкой неореализма является утверждение анархии (в отсутствие мирового правительства) как транс-исторической данности. Анархия выступает в качестве некритически принимаемого исторического условия собственного превращения в теоретический принцип. Анархия как история и анархия как теория сплетаются воедино, оставляя одну лишь тавтологию: анархия преобладает всякий раз, когда выполнены условия ее существования. Соответственно, для критики неореализма естественно начать с перехода к историческим условиям анархии, то есть с теории формирования нововременной системы государств. Этот переход, организующий логику исследования, снова наделяет историю статусом законного и необходимого для теории МО исследовательского поля. В то же время он

<sup>3</sup> Миршаймер допускает то же самое переворачивание опытного доказательства и валидности теории, когда замечает, что поведение государства, не соответствующее структурному реализму, является «глупым» и, следовательно, представляет собой теоретическую «аномалию» [Mearsheimer. 2001. P. 10–12].

<sup>4</sup> Маркс язвительно отметил, что «непрерывно совершается движение роста производительных сил, разрушение общественных отношений, возникновение идей, неподвижна лишь абстракция движения — “бесмертная смерть”» [Маркс, Энгельс. Т. 4. С. 133].

отменяет оправдание неореализма как «не-редукционистской» теории, в которой бремя причинно-следственного объяснения поведения государств лежит исключительно на системе как первичном уровне детерминации. Анархию нужно историзировать.

### 3. ИСТОРИЗИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗМ

*Роберт Гилпин: изменение как рациональный выбор*

Роберт Гилпин выдвигает реалистическую теорию международных изменений, которая исходно не подпадает под действие теоремы Уолца о каузальном преобладании структуры, не разделяет его аксиомы трансисторичности анархии и не прибегает к скудным антиисторическим объяснениям. В результате объединения теории рационального выбора и структуралистской системной теории главной в его работе «Война и изменения в мировой политике» становится проблема международных изменений. Однако несмотря на этот сдвиг, в своих окончательных выводах Гилпин сходится с Уолцом, утверждая, что «природа международных отношений на фундаментальном уровне не менялась на протяжении тысячелетий» [Gilpin. 1981. P. 211].

Как обосновывается это утверждение? Гилпин различает три типа изменений, ранжируемых по росту их частотности и по уменьшению их структурного влияния. *Изменение системы* — это «изменение природы акторов или иных элементов, которые составляют международную систему». *Системное изменение* означает изменение «формы контроля или управления международной системы». *Международное изменение* — это изменение «формы регулярных взаимодействий или процессов между элементами актуальной международной системы» [Gilpin. 1981. P. 39–40]. Первое означает изменение самой системы, второе — изменение внутри системы, а третье — изменение способов взаимодействия в данной системе. В своей работе «Война и изменения в мировой политике» Гилпин основное внимание уделяет двум первым типам трансформации.

Мировая история делится на доновременной цикл империй и нововременную систему баланса сил национальных государств, для которой характерна смена одних гегемоний другими, например *Pax Britannica* был сменен *Pax Americana*. Разрыв произошел в XVII в. Гилпин заявляет, что им разработана уни-

версальная теория, объясняющая динамику, управляющую циклами империй, развитием в позднем Средневековье нововременного национального государства и нововременной сменой гегемоний. Его подход, за исключением некоторых осторожных оговорок, предполагает модель, выстроенную в рамках строгой теории рационального выбора, прилагаемой как к изменению системы, так и к системному изменению [Gilpin. 1981. P. 74–75]. В первом случае коллективные акторы начинают стремиться к оптимизации своей политической организации, как только они замечают расхождение между выгодой и издержками на поддержание *status quo*. Во втором случае «государства» стремятся изменить управление системой, пока не устанавливается равновесие между ожидаемой выгодой и издержками от дальнейших изменений [Gilpin. 1981. P. 10–11]. Исходный мотив, скрывающийся за их нарушающими равновесие амбициями, обеспечивается дифференциальным ростом возможностей применения силы, который сам является функцией изменяющихся внешних (технологических, военных и экономических), а также внутриполитических факторов. Разрыв между новым распределением сил и направленными на поддержание системы интересами доминирующей силы порождает геополитический кризис, который в обычном случае разрешается войной за гегемонию. Такие войны восстанавливают равновесие на основе нового *status quo*, регулируемого новым гегемоном.

Как эта модель изменения, обосновываемая подсчетом выгоды и издержек, связанных с преследованием собственных интересов, переводится в историческое объяснение циклической смены империй (то есть системного изменения) и трансформации средневековой геополитики в нововременные международные отношения (изменения системы)?

Рассмотрим сначала цикл империй. Гилпин начинает с того, что связывает возникновение и падение империй непосредственно с их экономическим устройством. «Принципиальным детерминантом этого цикла империй была поддерживающая их общественная формация, определяемая сельским хозяйством. В период эры империй... благосостояние обществ и сила государств покоились на эксплуатации крестьянского и рабского труда в сельском хозяйстве» [Gilpin. 1981. P. 111]. Затем он переходит к выведению доминирующей динамики имперского расширения из этого экономического базиса.



Фундаментальной чертой эры империй была относительно постоянная природа благосостояния. В отсутствие заметных технологических прорывов аграрная производительность оставалась на достаточно низком уровне, а главным определяющим фактором экономического роста и благосостояния была доступность земли, а также соотношение земли и населения. По этой причине рост благосостояния и власти государства был главным образом связан с контролем, осуществляемым над той территорией, которая могла дать экономический прибавочный продукт. Если исключить ограниченные и непродолжительные периоды реального экономического роста, динамика международных отношений определялась постоянным дележом территории и захватом рабов (или покорного крестьянства), необходимых для заселения земель. Поэтому пока сельское хозяйство оставалось базисом благосостояния и силы, рост силы и благосостояния был почти всегда синонимом завоевания территории [Gilpin. 1981. P. 112].

Итак, сельское хозяйство, основанное на труде рабов и крепостных, порождает систематическую потребность в горизонтально-территориальном расширении, управляя динамикой до-новременных имперских международных отношений.

Однако Гилпин не извлекает дальнейших выводов из связи между максимизацией прибавочного продукта и территориальным расширением. Цепочка причинно-следственной детерминации не идет от специфической экономической структуры к специфической форме государства, выражаясь в специфической геополитической динамике. Напротив, имперское территориальное расширение — это побочный эффект природы имперских командных экономик, в которых безопасность важнее экономических интересов.

Поскольку империи создаются военными, бюрократами и автократами ради достижения их собственных интересов, первичная функция имперской экономики — увеличение благосостояния и власти этих господствующих элит. Экономика и экономическая деятельность подчинены соображениям безопасности, а также экономическим интересам государства и правящей элиты. Главная функция экономического обмена — повышение боеготовности государства [Ibid.].

Получается, что отсутствие роста аграрной производительности и технологического прогресса не являются необходимыми

следствиями трудоемких, основанных на рабском и крепостном труде способов производства, которые препятствуют систематическому инвестированию в производство, подталкивая к территориальному расширению. Скорее экономическое развитие является производной от связанных с безопасностью интересов военных элит. Следовательно, само существование имперских командных экономик и стратегий территориального расширения представляется решением случайной проблемы экономического и технологического дефицита — решением, отстаиваемым воинственными элитами. Благодаря такому перевертыванию причин и следствий, реалистический примат политической и военной силы снова восстанавливается.

Как в таком случае рождаются и умирают доновременные империи? Не пытаясь сопоставить свою модель с отдельными примерами падения империй, Гилпин просто заново выводит свой основной тезис о «военном перенапряжении»: затраты на военную безопасность растут быстрее, чем экономический прибавочный продукт, порождаемый территориальным расширением [Gilpin. 1981. P. 115]. Оставаясь на этом уровне обобщений, Гилпин не способен объяснить момент, обстоятельства и исход того или иного конкретного случая подъема империи или ее упадка.

Обратимся теперь к логике изменения системы. Замещение доновременного цикла империй системой нововременных государств произошло в результате трех «взаимосвязанных» и «усиливающих друг друга» тенденций: триумфа национального государства, возникновения устойчивого экономического роста и рождения мирового рынка. Национальные государства возникли потому, что они были «наиболее эффективной формой политической организации для того набора внешних условий, которые возникли в ранненовременной Европе» [Gilpin. 1981. P. 116]. Соответственно, политически фрагментированная феодальная система стала возможна вследствие отсутствия ряда вещей; Гилпин выделяет отсутствие международной торговли и слабость центральной политической власти, замыкая свою аргументацию в круг. Когда эти дефициты были устранены «между 900 и 1700 гг.» [Gilpin. 1981. P. 118], правители ответили на стимулы, данные возрождением торговли и «Военной революцией», покрыв растущие военные затраты расширением налогооблагаемой базы и определив «оптимальный размер» в терминах

военной и экономической эффективности. Одновременно началась конкуренция между оптимизирующими масштаб элементами, в которой недостаточно оптимальные акторы — например феодальные землевладельцы, города-государства и империи — были вытеснены. К XVII в. родилось нововременное государство, характеризуемое классическими вестфальскими свойствами: строгая центральная власть, отправляемая бюрократией на основе единообразных законов, осуществляет исключительный контроль над строго определенными непрерывными территориями, пользуясь при этом монополией на легитимное применение силы [Gilpin. 1981. P. 121–122]<sup>5</sup>.

Насколько убедительным является это описание происхождения нововременной системы государств и как оно согласуется с гилпиновским подходом публичного выбора? Во-первых, описание изменение системы начинается у Гилпина с весьма спорного утверждения:

...существуют локальные общественные формации первобытно-общинного, феодального и просто мелкотоварного типа. Такие экономики характеризуются неспособностью общества породить достаточно большой экономический прибавочный продукт, необходимый для инвестирования в экономическую или политическую экспансию; часто подобные экономики вообще не выходят за пределы задачи простого выживания. Например, такова ситуация большинства племенных обществ; те же условия были и в феодальной Европе до возрождения международной торговли в XII–XIII вв. Поскольку подобные локальные типы обществ редко играют значительную роль в международных политических изменениях, здесь они подробно рассматриваться не будут [Gilpin. 1981. P. 108–109].

Эта гипотеза противоречит тому, что Гилпин говорил раньше о связи экономического прибавочного продукта и территориального завоевания внутри основанных на крепостном аграрном труде империй. История полна примерами безостановочного феодального геополитического расширения — Каролингская империя, Ангевинская держава, Германская империя при Оттонах, Салической династии и Штауферах. Постоянство феодальной экспансии было при этом неслучайным; как будет показано

<sup>5</sup> Согласно Гилпину национальное государство возникло в XVI в. (см.: [Gilpin. 1987. P. 4]).

позже, такая экспансия была встроена в режим общественных отношений собственности феодальных политических образований, выражая их *raison d'être* как военных культур. Эти феодальные империи расширялись не потому, что их экономический прибавочный продукт был достаточно большим для его вложения в военную сферу, а потому что пределы роста производительности в трудоемких, основанных на крестьянском труде аграрных экономиках сделали завоевание территорий вторым — после усиления внутренней эксплуатации — из наиболее рациональных способов увеличения дохода феодальных сеньоров.

К тому же, если классовые противоречия феодальных обществ порождали систематическое стремление к горизонтальной территориальной экспансии, средневековые общественные режимы собственности тяготели к порождению циклических неомальгузианских кризисов, опосредуемых изменением соотношения земли и рабочей силы. Наиболее известным из них стал общий кризис XIV в., ключевое значение которого для формирования «нововременного» государства позже признается и Гилпином. Отвергая феодализм в качестве объяснительного фактора изменения международной политики, Гилпин теряет возможность показать, как возникновение ранненовременной системы государств связано с лежащей в основе феодальной системы динамики кризисов, кульминацией которой стал кризис XIV в.

Недостаток внимания к вопросу феодализма не остается безнаказанным. Фоновые условия, необходимые для триумфа национального государства — кризис феодализма, возрождение торговли, рост монетарной экономики, «военная революция», — на теоретическом уровне остаются отделенными от феодальной экономики. Они вводятся как «набор условий среды», которые действуют извне. Это теоретическое отторжение условий, внутренних для процесса формирования ранненовременного государства, противоречит амбициозной исследовательской позиции Гилпина:

характер международной системы в значительной степени определяется типом государства-актора — городами-государствами, империями, национальными государствами и т.д. Фундаментальная задача теории международных политических изменений — изучить факторы, которые влияют на тип государства, характерный для определенной эпохи и международной системы [Gilpin. 1981. P. 26–27].

Но этого изучения мы не видим. Эти «факторы» выходят на историческую сцену, действуя как гром с ясного неба.

Гилпин также не замечает того, что правители, в период между XIV и XVI вв. превратившиеся в территориальных королей, начинали как феодальные сеньоры: «Изменение экономических и политических порядков — дело затратное, поскольку индивиды должны принуждаться к такому изменению своего поведения, которое кажется им противоречащим их собственным интересам. Задача организационной инновации лежала за пределами военных и финансовых возможностей феодальных сеньоров» [Gilpin, 1981. P. 119]. В этом утверждении обнаруживаются три проблемы. Во-первых, если Гилпин сохраняет приверженность теории общественного выбора, феодальные сеньоры не могут принуждаться действовать вопреки собственным интересам, поскольку они должны были выбрать новый набор институтов, основываясь на рациональной оценке уменьшающейся прибыльности и растущих издержек господствующего «общественного института» — феодального землевладения. Во-вторых, кто же в таком случае мог решить задачу организационной инновации? По Гилпину, это были короли позднего Средневековья. Однако феодальные короли стали всего лишь *primi inter pares*<sup>6</sup>, которые сталкивались с той же проблемой несоответствия доходов и военных расходов, что и другие феодалы, не являвшиеся королями. Как же удалось выработать организационные средства, позволившие им превратиться во что-то иное? Этот вопрос отсылает к третьей и наиболее серьезной слабости теории Гилпина: феодальные короли превратили свои территории не в нововременные национальные государства, а — по крайней мере в западной континентальной Европе — в абсолютистские королевства, основанные на непроизводительных аграрных экономиках, которые стремились к территориальным завоеваниям как источникам королевского дохода. В этом процессе они конкурировали с имевшими более низкий ранг феодальными сеньорами (и обычно выигрывали у них), стремясь получить контроль над крестьянством как базой налогообложения. Следовательно, логика общественного выбора терпит поражение; принятый Гилпином результат — триумф национального государства — оказывается миражом. В силу неверной концепции и

<sup>6</sup> *Primi inter pares* (лат.) — первые среди равных. — Примеч. пер.

периодизации ранненовременного государства Гилпин присоединяется к основному направлению теории МО, которое интерпретирует Вестфальские мирные договоры как конституционную хартию новременной системы суверенных государств.

Обоснованность этого вывода подтверждается при более внимательном рассмотрении логики возникновения национального государства. «Национальное государство одержало победу над иными формами политической организации, поскольку оно решило проблему фискального кризиса феодализма» [Gilpin. 1981. P. 123]. Безотносительно к вопросу о причинах этого кризиса, который так и не был поставлен, схема Гилпина предполагает единообразие посткризисных результатов формирования государства, что весьма сложно согласовать с историческими данными. Если бы успех национального государства покоился на достижении оптимального размера, согласовании фискальных доходов с военными расходами и эффективностью, тогда можно было бы ожидать того, что почти в одно и то же время возникнут похожие государства сходного размера. Однако век абсолютизма свидетельствует о существовании не только абсолютистских политических образований с совершенно различными территориальными основами и военными возможностями, но и весьма различных политических режимов: Голландская торговая олигархия, Британская конституционная монархия после 1688 г., Швейцарская конфедерация, Германская конфедеративная империя, а также Польская аристократическая республика вполне могут служить доказательством этого тезиса. Более того, действительно полная теория образования государства в ранненовременной Европе должна была бы также объяснить неспособность некоторых политических образований, например Бургундии, выжить в тех условиях, где еще меньшие образования, в частности западно-немецкие абсолютистские мини-государства, сохранились. Общая теория общественного выбора, объединенная с неозволюционной теорией конкурентного отбора, неспособна истолковать эти «дисфункциональные аномалии». Короче говоря, модель Гилпина не может объяснить, почему решение проблемы кризиса XIV в. привело в различных регионах Европы к разным политическим результатам.

Эта историческая проблема требует переоценки теории общественного выбора, прилагаемой к построению обществен-

ных институтов. Если экономическая теория общественных институтов предполагает единство интересов, функциональность и единообразие исходов, различные ответы на одинаковые условия указывают на то, что социальное формирование коллективных социальных акторов и взаимодействие между ними опосредует тождественные стимулы или воздействия, переводя их в различные последствия. Независимо от того, как решать более мелкую проблему — а именно, можно ли вообще эмпирически продемонстрировать рациональный расчет индивидуальных акторов, которые предвидят свои выгоды и издержки, располагая определенным знанием об альтернативных стратегиях действия, — теория общественного выбора требует изучения тех процессов, благодаря которым индивидуумы видят, что их интересы поддерживаются коллективные акторы. Вариации принимаемого курса, основывающиеся на неравных сделках, определяют вариации в институционализации агрегированных частных интересов. И это Гилпину как раз не удастся показать. «Выбор» сеньоров выводится просто из более позднего существования более «эффективных» институтов. В таком случае нет никакого выбора, а есть простая детерминация. Круговой характер аргументации подобного рода, ее крен в сторону функционализма и детерминизма подверглись критике, выявившей ошибку *post hoc, ergo propter hoc*<sup>7</sup> [Spruyt. 1994a. P. 26]. Для Гилпина каузальная связь между интересом и исходом остается непроблематизированной, поскольку его внимание априори нацелено на феодальный правящий класс, словно бы он действовал в социально-историческом вакууме с нулевым трением. Не встроив логику коллективного действия в более широкий социальный контекст и не замечая расхождения в ранненовременных институциональных исходах, гилпиновский подход общественного выбора достигает лишь весьма поверхностного правдоподобия.

Как в таком случае Гилпин связывает в своей схеме два иных макрофактора изменения системы — начало экономического роста и возникновение мирового рынка? Вначале он подчеркивает уникальный характер нововременной экономической организации: «Рыночная система (и то, что сегодня мы называем

<sup>7</sup> *Post hoc, ergo propter hoc* (лат.) — после этого, следовательно, по причине этого. — Примеч. пер.

международной экономической взаимозависимостью) столь радикально противоречит большей части человеческого опыта, что только весьма необычные изменения и новые обстоятельства могли привести к ее возникновению и ее победе над иными средствами экономического обмена». Затем в числе этих новых обстоятельств называются «быстрое и внезапное усовершенствование коммуникаций и транспорта; политический успех набирающего силу среднего класса, открытие Нового света», а также «монетизация экономических отношений, появление такого “новшества”, как частная собственность, структура европейского государства» [Gilpin. 1981. P. 130]. Гилпин избавляет себя от хлопот, связанных с демонстрацией логической и исторической связи трех крупнейших изменений в среде — триумфа национального государства, начала устойчивого экономического роста и возникновения мирового рынка, — и дополнительных вторичных факторов. Его нестрогая плюралистическая схема приводит к заключению о взаимном усилении трех этих независимых макрофеноменов, которые связаны друг с другом, по большому счету, только внешне. Эта взаимосвязь больше описывается, а не теоретизируется. Повествовательная логика соединения берет на себя функцию теоретической логики социальных отношений.

Это указывает на более глубокую эпистемологическую проблему. Хотя привлечение Гилпином обширного ряда факторов создает впечатление, что он занимается «тотальной историей» — одновременно подтверждая богатство реализма, — эти факторы на самом деле отделены от своих социальных условий. Им, как социально обескровленным феноменам, дается задача объяснить изменение, развить свою собственную динамику, изменяя при этом ход истории. Но каковы социальные условия устойчивого экономического роста? Каковы социальные условия монетизации экономических отношений? Почему ранненовременная структура европейской системы государств была многополярной, а не однополярной? Эти немаловажные вопросы демонстрируют более широкую дилемму. Хотя Гилпин пытается «объединить изучение международной экономики с изучением международной политики с целью углубления нашего понимания сил, действующих в мире» [Gilpin. 1987. P. 3], он постоянно предполагает, что политическое (государство) и экономическое (рынок) — это две сферы, разделенные на протяжении всей истории: «Государства и рынки, каково бы ни было



их происхождение, существуют независимо друг от друга, у них есть свои собственные логики, хотя они и взаимодействуют друг с другом» [Gilpin. 1987. P. 10fn.]. Теоретическое объединение поэтому ограничивается ретроспективным прояснением изменяющихся связей между двумя этими гипостазированными сферами детерминации, устанавливающими плюралистическое поле множественных нередукционистских каузальностей. «Политическая экономия, — заявляет Гилпин, — обозначает набор вопросов, которые следует исследовать при помощи эклектической смеси аналитических методов и теоретических подходов» [Gilpin. 1987. P. 9]. У нас остается впечатление, что изменение системы стало результатом совпадения принципиально открытого списка случайных факторов<sup>8</sup>. Хотя все может измениться когда угодно, ничто не меняется по той или иной определенной причине. Обращение к плюрализму освобождает социолога от задачи построения теории.

Неопределенность Гилпина в плане теории приводит к тому, что он не замечает хронологической неравномерности институциональных инноваций, как и их неравномерного в географическом отношении распределения. Сначала он утверждает, что

...соотношение между богатством и властью стало меняться в период позднего Средневековья. Именно тогда Европа начала обгонять конкурирующие цивилизации по экономическому росту. Превосходство Европы основывалось на технологическом развитии ее морских сил, совершенствовании ее артиллерии и ее социальной организации, а также на ее общем экономическом прогрессе [Gilpin. 1981. P. 125].

Двумя абзацами ниже он заявляет, что «первичное создание эффективной экономической организации и прорыв к устойчивому экономическому/технологическому развитию произошли в Нидерландах, а спустя небольшое время после этого — в Великобритании» [Gilpin. 1981. P. 126]. Явное противоречие решается благодаря преподнесению ранненовременного меркантилизма и нововременного экономического либерализма в виде двух стадий одного и того же процесса — создания мирового рынка.

<sup>8</sup> «Современное государство и система национальных государств возникли благодаря особому стечению экономических, технологических и иных обстоятельств» [Gilpin. 1986. P. 314]. Но если таковы были обстоятельства, что заставило их состояться?

В нововременной период провал некоторых попыток объединить Европу политически дал шанс распространению международной экономики рыночного типа. Отсутствие имперской власти, которая могла бы организовывать и контролировать производство и обмен, ослабило пути, сдерживающие рыночные силы. В результате рыночная система, возникнув в XVII в., начала свое шествие по земному шару. Моментом первого проявления мировой рыночной экономики стала меркантилистская эпоха XVII–XVIII вв. [Gilpin. 1981. P. 133].

Однако допущение, что меркантилизм освобождал рыночные силы, является некоторой экономической натяжкой. Если меркантилизм на самом деле предполагал экономическую конкуренцию, регулируемую ценовым механизмом, основывающимся на спросе и предложении, как объяснять усиление геополитической борьбы между меркантилистскими государствами за контроль над торговыми империями? Если меркантилизм на самом деле развивал производство, став толчком для устойчивого экономического роста, как объяснять возникновение мальтузианских кризисов в XVII в. в континентальной Европе и сохранение низкого уровня аграрной производительности во всех странах Европы, кроме Британии, до середины XIX в.: Гилпин утверждает, что

...главной целью британской внешней политики стало создание мировой рыночной экономики, основанной на свободной торговле, свободе движения капитала и унифицированной международной валютной системе. Достижение этой цели требовало, главным образом, создания и применения свода международных правил, защищающих права частной собственности, что отличает ее от более затратной и менее прибыльной задачи завоевания империи [Gilpin. 1981. P. 138].

Если так, не требует ли это изучения качественного изменения британской экономической организации? А если этот радикальный разрыв в структуре экономической организации фундаментально изменил природу международных отношений в XIX в., какое это имеет значение для общепринятой периодизации, относящей возникновение нововременной системы государств к XVII в.?

Хотя Гилпин отмечает этот разрыв между Британией и Францией, а также рождающееся из него напряжение, он уклоняется от теоретизации его социальных оснований. Как раз потому, что ему не удастся понять, что различия Англии и Франции за-

вязаны на разрыв между докапиталистическим аграрным режимом собственности Франции и капиталистическим режимом собственности Британии, в его периодизации возникновение нововременных международных отношений колеблется между XVII и XIX столетиями.

Как оценить общие выводы Гилпина в плане теории МО, если отвлечься от недостатков и преимуществ его описания системного изменения и изменения системы? Напомним, что, по мнению Гилпина, «на фундаментальном уровне природа международных отношений не менялась на протяжении тысячелетий». Затем этот тезис получает дополнительные обертоны благодаря заявлению, что «один из второстепенных сюжетов этой книги состоит в том, что, на самом деле, нововременная и доновременная структура государств отличаются весьма значительно», но только для того, чтобы в конечном счете вернуться к исходному реалистическому тезису: «тем не менее, мы утверждаем, что фундаментальные параметры не изменялись» [Gilpin. 1981. P. 7]. Поскольку этими фундаментальными параметрами является «постоянная борьба за богатство и власть между независимыми акторами, находящимися в состоянии анархии» [Ibid.], а война за гегемонию служит главным механизмом этой борьбы, перегруппирующим позиции растущих сил в международной системе, его тезис об «отсутствии фундаментальных изменений» сохраняется лишь ценой исключения из теории МО вопроса относительно уже установленных различий и специфических черт исторических сообществ и соответствующих им международных отношений. Поскольку эти различия никак не меняют стародавнюю логику международной анархии и связанную с ней неореалистическую тему восхождения и падения «великих держав», реализм кажется вполне доказанным. Однако на таком уровне абстракции теоретические заключения оказываются или тривиальными, или бессмысленными. После кавалерийского наскока Гилпина на мировую историю соображение, будто чем больше она меняется, тем больше остается той же самой, представляется интуитивно неправдоподобным.

*Стивен Краснер: подрыв Вестфалии и восстановление анархии*

Позиция «отсутствия глубоких изменений» утверждается Стивеном Краснером в рамках более классического реалистиче-

ского подхода. По Краснеру, Вестфальские соглашения не отмечают начала системы суверенных государств. Формирование суверенного правления в различных частях Европы было, по существу, случайным и диахроническим в региональном отношении процессом; он противится любой теоретизации. Формы нововременной суверенности встречаются и до Вестфалии, а доновременные формы правления сохранились и после нее [Krasner. 1993, 1995]. Однако и тогда, когда система суверенных государств фактически сложилась, ее основные правила (исключительная власть над территорией и т.д.) многократно нарушались или оспаривались. Реалистическая «логика последствий» (рациональное властно-политическое государственное поведение) одерживает верх над «логикой правомерности» (государственное поведение, согласующееся с интересубъективными нормами) благодаря фундаментальной логике анархии. В результате Краснер приходит к выводу, что суверенитет является организованным лицемерием, а также к более широкому заявлению, гласящему, что правители, независимо от специфических черт их политических образований, стремятся править [Krasner. 1990]. Это универсальное утверждение предполагает также, что теории системного изменения остаются неэффективными, поскольку геополитические порядки всегда выстраиваются анархией, асимметрией сил и силовой политикой.

Однако Краснеру не удается извлечь теоретические выводы из своих эмпирических поправок. Он растворяет теорию МО в истории. Его наблюдение относительно того, что «нововременные» институты государственного суверенитета иногда предшествовали Вестфальскому соглашению, тогда как феодальные институты иногда сохранялись и после него, не освобождает его от объяснения этих региональных различий. Они слишком легко приписываются «беспорядку» истории и диахроническим временным рядам формирования государств, шедшего в разных регионах по-разному. Чтобы осмыслить эти различия, мы должны задать три вопроса. Какова была генеративная грамматика феодальных форм политической власти? Какова была генеративная грамматика нововременного суверенитета? И как мы можем понять регионально расходящиеся и диахронические траектории формирования государств в Европе? Краснеру не удастся распознать генеративную грамматику нововременного суверенитета так же, как и доновременных форм политиче-

ской власти<sup>9</sup>. В период перехода к нововременной системы государств «именно разнородность и неупорядоченные изменения, а не выработка некоей генеративной грамматики, характеризовали институциональное развитие в Европе» [Krasner. 1993. P. 247].

Это пренебрежение совпадает с отрицанием того, что вообще можно объяснить регионально-специфичные переходы от средневековых к ранненовременным и нововременным способам организации международной политической власти и геополитического пространства: «Удача и сила, *fortuna* и *virtù*, заданные локальными историческими траекториями, особенно в Англии и северной Италии, — вот что привело на практике к политическим структурам, которые могли обеспечить практический контроль над данной территорией» [Krasner. 1993. P. 257]. Хотя здесь делается намек на две крупные макросоциологические парадигмы возникновения нововременного государства — на тезис военно-технологического детерминизма и тезис коммерческого развития, — Краснер видит четыре по существу мало чем отличающихся столетия споров и борьбы, в ходе которых складывается нововременной суверенитет, так что, например, основание Европейского Содружества должно, видимо, подчиняться все той же самой логике, присущей более ранним историческим попыткам выйти за пределы принципа государственного суверенитета посредством международных соглашений, контрактов, системы принуждения и налогообложения [Krasner. 1993. P. 246, 261]. Поэтому Краснер призывает к отказу от широкомасштабных теорий изменения системы, требуя вернуться к тезису об исторической случайности: «В разнородном и подвижном политическом порядке со времен Средневековья до наших дней не обнаруживается никакой глубинной структуры» [Krasner. 1993. P. 261].

#### 4. ИСТОРИЗИРУЮЩИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ

В основном из-за собственных методологических оснований неореализм и реализм были подвергнуты серьезной критике исследователями, представлявшими разные интеллектуальные традиции (см.: [Cox. 1991; Ashley. 1984; Walker. 1987; Bromley. 1991. Ch. 1; Rosenberg. 1994. Ch. 1; Agnew, Corbridge. 1995]; эмпирическую

<sup>9</sup> Средневековый мир не обладает «глубинной генеративной грамматикой» [Krasner. 1993. P. 257].

критику см.: [Schroeder. 1994a, 1994b]). Сохранение реализма и неореализма связано главным образом не столько с теоретической строгостью или объяснительной силой, сколько с тем, что философы науки называют расходящимися «интересами, управляющими знанием» [Habermas. 1987] и теоретической инерцией институционализированных парадигм, позволяющих социализировать молодых исследователей и поощрять повторение, наказывая за критику [Кун. 1975]. Однако даже внутри реалистической традиции возникали возражения, основывающиеся не столько на метатеоретических вопросах, сколько на содержательных проблемах.

*Джон Джерард Рагги: права собственности, эпистемы, случайность*

Джон Джерард Рагги выдвигает два фундаментальных возражения неореалистической теории международной политики Кеннета Уолца [Ruggie. 1986, 1993, 1998]. Во-первых, он доказывает, что хотя неореализм и может выстроить теорию способов действия нововременной системы государств, ему не удастся объяснить специфику геополитического порядка, существовавшего до Вестфалии. Во-вторых, он заявляет, что в неореализме есть только «репродуктивная», а не «трансформативная» логика, то есть он не способен выработать широкомасштабную теорию системного изменения, которая объясняла бы «наиболее важное контекстуальное изменение в международной политике этого тысячелетия — переход от средневековой к нововременной международной системе» [Ruggie. 1986. P. 141].

Критика Рагги была сформулирована в следующем виде. Если анархия является определяющей чертой различных геополитических систем, она недостаточна для радикального объяснения различающихся схем международного конфликта и сотрудничества. Однако если мы принимаем каузальную неопределенность анархии, нам нужно будет выработать несистемную теорию МО, которая будет объяснять эти вариации. Это предполагает, что наше внимание сдвигается от узко определенной политической науки к более широкой социальной науке, которая устанавливает более масштабные социальные силы, задающие и воспроизводящие политические сообщества и геополитические системы. Из-за существования глубоких геополитических различий, нам нужна макротеория системного изменения, которая не скры-

вает массивные трансформации в преобладающих формах политической власти и территориального порядка, а начинается с того предположения, что эти внутриполитические изменения связаны с долгосрочными и широкомасштабными переходами от одной системы к другой. Это означает, что следует рассматривать социальные источники политических трансформаций. Короче говоря, нам требуется историческая социология формирования нововременной системы государств.

Согласие с основными возражениями, предъявленными Рагги неореализму, не означает, однако, согласия с его конструктивистской альтернативой. В целом критика Уолца у Рагги не выполняет его собственных конструктивистских требований. Эмпирические и теоретические пробелы предложения Рагги демонстрируют недостаточность конструктивистских объяснений и потребность в альтернативной теоретической схеме.

Рагги заявляет, что различия геополитических систем могут объясняться через права собственности. Если средневековая система определялась условной собственностью, порождавшей гетерогенные формы территориальности, нововременная система определена исключительными, абсолютными правами частной собственности, порождающими гомогенные формы территориальности. «Ранненововременное переопределение прав собственности и реорганизация политического пространства высвободили одновременно межгосударственные политические отношения и капиталистические отношения собственности» [Ruggie. 1986. P. 148]. Далее он утверждает, что сдвиг от средневековой условной к нововременной частной собственности может объясняться как случайное стечение трех «несводимых друг к другу» элементов коллективного опыта.

К этим областям относятся материальные среды (эко демография, производственные отношения, силовые отношения); матрица ограничений и возможностей, внутри которой взаимодействуют социальные акторы (структура прав собственности, расхождение между всеобщим и индивидуальным уровнем доходности, возможности создания коалиций между крупнейшими социальными акторами); социальные эпистемы (политические доктрины, политические метафизики, пространственные конструкты). Каждая из этих областей претерпевала изменения в соответствии со своей собственной внутренней логикой [Ruggie. 1993. P. 168–169].

Хотя отношение между этими феноменами в причинном смысле остается неопределенным, Рагги подчеркивает последствия глубоких изменений в ранненовременных эпистемах, то есть в коллективных представлениях о субъекте и социальной реальности [Ruggie. 1993. P. 169]. Рагги отмечает возникновение нововременного понятия субъективности как решающую эпистемную инновацию ранненовременного (само)сознания. Субъект Нового времени и концентрация политической власти через понятие неделимого суверенитета над пространственно отграниченной территорией — это два феномена, в историческом отношении параллельных. Независимо от того, насколько убедителен в теоретическом отношении предложенный Рагги набросок описания связи между возникновением режима частной собственности, нововременной субъективностью и нововременным территориальным суверенитетом, ему не удастся определить тех социальных агентов, которые поддерживали те или иные права на собственность, изменяли их или жили благодаря им — не просто как формальные институты, но как социальные отношения, которые поддерживаются политически, являясь предметом спора. Эта десоциализация и деполитизация прав собственности выражается в неспособности распознать их внутренне конфликтную природу, а также рассмотреть те социальные конфликты, которые их преобразовали.

Из-за недостаточного теоретического осмысления социальной природы отношений собственности встречаемые у Рагги соображения относительно процессов, породивших режим частной собственности, его исторической периодизации, географически неравномерного распространения или влияния на абсолютистский суверенитет, остаются всего лишь сомнительными намеками. Рагги достаточно осторожен и потому воздерживается от конструирования четких каузальных связей между изменениями в материальных средах, стратегическом поведении и социальных эпистемах. Хотя он настаивает на том, что три упомянутых сферы несводимы друг к другу и относительно автономны, он всего лишь допускает возможность случайных взаимодействий между ними: «Однако эти изменения также влияют друг на друга — иногда по цепочке, иногда функционально, иногда просто через механизм распространения, то есть сознательного или бессознательного заимствования» [Ibid.]. Другими словами, они совпадают друг с другом во временном и



пространственных отношениях. Любая попытка поставить под вопрос этот мягкий аддитивный анализ системной трансформации означал бы возвращение к искушениям «большой теории», которая навлекает на себя цензуру, отсеивающую любые тотализации [Ruggie. 1993. P. 169]. Новое время оказывается по самой своей сути случайным — как любопытное стечение логически разделенных феноменов.

Любимая эпистемологическая позиция Рагги, отдающая предпочтение «локальному и случайному», имеет смысл лишь в случае уже произведенного признания их антонимов — тотального/глобального и структурного/определенного [Ruggie. 1993. P. 171]. Его концепция истории как ряда географически неравномерно распределенных случайных событий требует хроники в качестве собственного модуса изложения. Однако, по его собственным заявлениям, Рагги занимается теорией, а не рассказами. Следовательно, нечетко связанные друг с другом три относительно автономные сферы Рагги не могут объяснить того, что он намеревается объяснить, — взаимную детерминацию частной собственности и нововременного суверенитета. Эта неспособность выйти за пределы временных и пространственных случайных событий уже была неявно заложена в тех историографических протоколах, которые Рагги перенял у школы «Анналов». Последняя разделила исторический процесс на три уровня исторического времени — на неизменные структуры, циклические конъюнктуры и случайные события, — которые были связаны с конкретными сферами истории, обладающими отдельными ритмами и независимыми логиками развития [Ruggie. 1989; Бродель. 1977, 2002, 2003]. Однако то, что в исходной схеме Броделя было аналитическим и эвристическим различием, для Рагги становится онтологическим разрывом между независимыми сферами детерминации, которые никогда не могут объединяться в конкретных исторических объяснениях (критику см.: [Hexter. 1972; Groh. 1973. P. 79–91; Gerstenberger. 1987]).

Хотя каузальность попирается случайностью, Рагги ясно размещает сдвиг от Средневековья к Новому времени между Ренессансом и Реформацией, указывая, что завершился он эпохой абсолютизма. То, что эта трансформация была осуществлена не ранненововой Англией, а Францией XVII в., проясняется цитатой, заимствуемой Рагги у Перри Андерсона: «Эпоха, в которую распространилась “абсолютистская” публичная власть,

была также эпохой, в которой быстро укреплялась «абсолютная» частная собственность» [Ruggie. 1986. P. 143]. По Рагги, ранне-новоевропейская Франция была новым государством с исключительной территориальностью и внутренней иерархией. Здесь описание Рагги смыкается с общим консенсусом в теории МО, поскольку оно предполагает, что начало новых межгосударственных отношений связано с Вестфальским миром, который стал выражением и кодификацией этой ранее осуществившейся политической трансформации<sup>10</sup>. Хотя 1648 г. не возводится в ранг катаклизма и окончательного разложения изживших себя средневековых международных отношений, он признается в качестве «обычного маркера зарождения новых международных отношений» [Ruggie. 1993. P. 167]. В его повествовании трансформация организации политического пространства явно относится к Ренессансу, а иногда даже к более раннему периоду, например к временам после Столетней войны [Ruggie. 1993. P. 147]. Новоевропейское государство, по словам Рагги, «было изобретено ранне-новоевропейцами. На самом деле, оно изобреталось ими дважды — первый раз в лидирующих городах итальянского Ренессанса, а второй — какое-то время спустя в королевствах севернее Альп» [Ruggie. 1993. P. 166].

Смешивая абсолютистский суверенитет с новым европейским, Рагги выделяет только один важный системный сдвиг от Сред-

<sup>10</sup> Подобным образом, две другие конструктивистские теории не различают формирование ранне-новоевропейских государств Франции и Англии. Родни Брюс Холл (Rodney Bruce Hall) предполагает, что Франция и Британия XVIII в. являются вариантами одного и того же «территориально-суверенного» типа [Hall. 1999. P. 100]. Касательно Вестфалии, он сначала заявляет, что в общем пространстве после 1648 г. государство уравнилось с собственной династией. Позже утверждает, что Соглашение стало толчком для кризиса династийной легитимации, заменив династийную легитимность территориальной, то есть *raison d'État* и «институтом современного государства» [Hall. 1999. P. 60–63, 99]. Курт Берч (Curt Burch), в свою очередь, предлагает конструктивистскую теорию современного суверенитета Англии XVII в., которая вращается вокруг дискурса прав частной собственности. Он считает, что подобные процессы происходили и во Франции XVII в. А это приводит его к разногласиям со стандартной теорией МО, предполагающей, что «Тридцатилетняя война на самом деле отмечает этот переход [от династийной власти к суверенному государству] на континенте» [Burch. 1998. P. 89].

невековья к Новому времени. Поэтому он не способен увидеть, во-первых, что сама средневековая геополитическая система прошла через серьезные трансформации, и, во-вторых, что сначала она дала место ранненовременной абсолютистской династийной системе, которая затем сама претерпела значительную трансформацию, прежде чем приобрести явно новременные атрибуты. Это сведение двух системных трансформаций к одной приводит к тому, что он не замечает особой природы ранненовременной системы династийных государств, к смешению Вестфальской системы с новременной системой государств и к неспособности выделить и объяснить социальные процессы, которые определили возникновение последней.

Независимо от того, где именно впервые утвердились капиталистические режимы частной собственности — в Англии или во Франции, простого существования прав частной собственности недостаточно для объяснения множественности государств в новременном геополитическом порядке. Хотя права частной собственности поддерживают отделение новременной политической власти от частного капиталистического владения, то есть горизонтальное разделение между государством и гражданским обществом/экономикой, само по себе оно не делает более понятной вертикальную фрагментацию множества взаимоисключающих единиц власти. Частная собственность не может объяснить территориальную дифференциацию функционально схожих государств. Вполне можно представить одно всеобщее государство, существующее на основе всеобщего режима частной собственности.

Эмпирические промахи и теоретические провалы невозможно отделить от конструктивистского подхода Рагги. Недостаточно понимать права собственности или суверенитет только как интерсубъективные и потому добровольные и основанные на консенсусе соглашения или конститутивные правила, поскольку они основаны на асимметричных социальных отношениях, включающих насилие и принуждение, то есть конфликт и навязывание. Мы не можем просто рассматривать изменения в системе-структуре, инновации в формировании режима или само формирование новременного суверенного государства вне ряда интерсубъективных переговоров и соглашений политических элит, независимо от того, имеют они внутривполитическое происхождения или же являются результатом ряда между-

народных мирных конгрессов. Напротив, мы должны выявить более масштабные социальные силы с антагонистическими интересами, которые питают политическое и геополитическое изменение в конфликтных, зачастую силовых, внутренних и международных процессах. Деполитизированный подход, принятый в конструктивизме, как и его объяснительные принципы, не исчерпывает важные эмпирические и теоретические вопросы. Чтобы их рассмотреть, нам нужно оставить неореализм, реализм и конструктивизм и обратиться к той теоретической традиции, в которой собственность, понимаемая не как абстрактная юридическая категория, но как социальное отношение, располагается в центре социального исследования.

## 5. НЕОЭВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

*Хендрик Спрут: социальные коалиции, институциональные вариации и неэволюционный отбор*

Хотя ответы Рагги недостаточны, его критика весьма существенно изменяет неореалистическую парадигму. Хендрик Спрут, в свою очередь, извлекая радикальные теоретические выводы из новой исследовательской повестки Рагги, показывает, что неореалистическая парадигма просто устарела. В макротеоретическом описании изменения системы у Спрута с самого начала постулируется, что «изменение конститутивных элементов системы означает изменение структуры этой системы» [Spruyt. 1994a. P. 5]. Поскольку за определяющие черты элементов нововременной системы государств принимаются исключительная территориальность и внутренняя иерархия, новый центральный *экспланандум* теории МО определяется так: «В конце Средних веков международная система прошла через драматическую трансформацию, в результате которой пересекающиеся юрисдикции феодальных сеньоров, императоров, королей и пап начали уступать территориально определенным властям. Феодальный порядок постепенно замещался системой суверенных государств». В то же самое время Спрут со всей определенностью заявляет, что позднесредневековое суверенное государство по своему понятию было тождественно нововременному государству.

Новым элементом, введенным позднесредневековым государством, было понятие суверенитета. В политической организации позднего Средневековья именно это стало критическим поворотом, а не особый уровень монархического управления или королевский доход, не физический размер государства. Именно понятие суверенитета изменило структуру международной системы, обосновав политическую власть принципом территориальной исключительности. Нововременное государство основывается на этих двух ключевых элементах — внутренней иерархии и внешней автономии, возникших в первый раз в позднем Средневековье [Spruyt. 1994a. P. 3].

Как мы можем, учитывая эту эпохальную трансформацию, понять формирование и утверждение суверенного территориального государства в ранненовоявременной Европе? По Спруту, изменения, затрагивающие тип элементов, весьма редки, поскольку институциональная структура выражает совокупность имущественных прав, защищаемых господствующей коалицией социальных сил. Из-за этого поддерживающего систему перекоса для создания новой структуры стимулов, изменяющих действия и, соответственно, институты, требуется «масштабное экзогенное изменение — разрыв» [Spruyt. 1994a. P. 24]. Спрут дает достаточно новый поворот проблеме «сдвига от Средневековья к Новому времени», утверждая (и неявно критикуя при этом Гилпина), что «расширение торговли было критическим внешним изменением, которое запустило этот процесс в период Высокого Средневековья» [Spruyt. 1994a. P. 25]. Вызванный торговлей распад неисключительной феодальной территориальности породил регионально *расходящиеся социальные коалиции* между королями, знатью, бюргерами и церковью. Это привело к появлению трех конкурирующих позднесредневековых конфликтных элементов: суверенных территориальных государств, городов-государств и союзов городов. Отвергая любое одностороннее или функциональное объяснение формирования государства и выступая за институциональную вариативность, он смещает фокус исследования к механизму, который породил эти институциональные вариации, а также к тому механизму, который обеспечил победу новоявременного государства над его соперниками. Спрут, основываясь на версии дарвиновской теории, предложенной Стивеном Джей Гулдом, выдвигает двухэтапную модель, в которой задается происхождение ново-

временного государства и его последующий *системный отбор* в поле конкурирующих альтернатив.

Подъем нововременного государства, образцовым примером которого служит Франция, стал, по Спруту, результатом коалиции между бюргерами и монархом, порождающей согласованный юридический и институциональный контекст для позднесредневекового распространения торговли, привязанной к городам и обеспечивающей монархию новыми фискальными ресурсами. Основывающееся на общем налогодобложении и рациональном управлении территориальное государство сменило феодальные формы общественной организации, снизив транзакционные издержки, уменьшив возможности «безбилетничества»<sup>11</sup> и наделив собственных граждан более строгими обязательствами. Формирование французского государства привело к эффективному, рационализированному и конкурентно успешному способу экономической, политической и военной организации. Схемы выстраивания коалиций в Германии и Италии были иными. В Германии города оказались экстратерриториализованы благодаря восстановлению отношений между знатью и монархом, допускающему городскую самоорганизацию в союзах городов. Политическая власть оставалась территориально фрагментированной. В Италии из-за слабости территориальных правителей и провала попытки германского императора ввести итальянскую имперскую политику, городские элиты, подключая знать к торговой деятельности, организовались по территориальному принципу, дав толчок системе городов-государств. Как только эти внутренние организационные изменения были завершены, начался процесс конкурентного институционального отбора из трех господствующих форм ранненовременного политического сообщества, в котором сохранение нововременного территориального государства и его повсеместное утверждение стали результатом его экономического и военного превосходства, исключительной легитимности, обеспеченной взаимным международным признанием, а также недостатков его конкурентов и институционального подражания с их стороны.

<sup>11</sup> «Безбилетничество» (free riding) — имеется в виду экономическая прибыль того или иного рода, получаемая за чужой счет благодаря участию в каких-либо организациях/коллективах, производящих совместные распределяемые блага. — *Примеч. пер.*

Выдвинутая Спрутом двухэтапная модель геополитической трансформации — расходящихся классовых альянсов, за которыми следует отбирающая государства конкуренция, — еще больше радикализирует параметры теории МО, восстанавливая связь между субъектом действия и вариациями институциональных исходов, основанную на мотивированных разными интересами выборах по-разному позиционированных социальных агентов и сделках между ними. В этом отношении Спрут в значительной мере преобразует односторонние заключения гилпиновской модели общественного выбора. Однако его теория международной трансформации несвободна от некоторых теоретических и эмпирических проблем.

Хотя Спрут вполне справедливо обращает внимание на качественное различие между геополитикой в период европейского Средневековья и нововременной межгосударственной системой, его исследование феодализма не продвигается далее институционального описания средневекового порядка, вращающегося вокруг межличностных связей вассальной зависимости. Поэтому ему не удается объяснить причины и следствия условной феодальной собственности, которую Рагги справедливо выделил как принцип территориального неразличения. Описание феодализма у Спрута как системы нетерриториального правления является абсолютно сравнительным. Другими словами, хотя он достаточно подробно прорабатывает вопрос о том, *чем* феодальная геополитическая система отличалась от нововременной, ему не удастся определить, *почему* такое отличие имело место. Поэтому он не может не только объяснить структуру средневековой геополитической системы, но и выстроить теорию ее ориентированного на насилие модуса действия, то есть закономерности поведения, встречающегося между элементами системы. Соответственно, специфическая склонность к войнам и социополитическая динамика феодальной геополитики остаются необъясненными.

Это упущение ведет прямоком к неверной интерпретации позднесредневековой коммерциализации как движущей силы распада феодальной социальной организации. Подъем городов и его последствия, расширение рыночного обмена, рост разделения труда, — короче говоря, обычная «модель коммерциализации» — это некий необъяснимый демиург, «внешняя» и «независимая переменная», создавшая те экономические трансформации, которые выразились непосредственно в том новом

политическом спросе на более эффективную реорганизацию политического пространства, предъявленного гражданами городов [Spruyt. 1994a. P. 6]. Объяснению Спрута присущи все недостатки модели коммерциализации, которая, как мы покажем в четвертой главе, сама по себе не способна объяснить распад феодализма, происхождение капитализма или подъем новременного государства.

Для начала стоит заметить, что в интеллектуальном отношении не совсем честно вводить расширение торговли в качестве внешней независимой переменной, заявляя при этом, что «причины этого экономического подъема не должны нас сейчас заботить» [Spruyt. 1994a. P. 61], тогда как центральный вопрос, относящийся к экономическому возрождению начала тысячелетия, состоит именно в том, было ли это возрождение внутренне определено экономической динамикой феодализма или нет [Sweezy, Dobb et al. 1976; Aston, Philpin. 1985; Katz. 1989]. Действительно, существуют весомые аргументы в пользу того взгляда, что этот общий подъем стал внутренним следствием феодальной экономики. Однако если этот подъем в период Высокого Средневековья определялся именно самим феодализмом, тогда спрутовская неэволюционная модель изменения как «пунктированного равновесия», опирающаяся на массивные внешние толчки, вообще ничего не объясняет.

Кроме того, в случае Франции Спрут предполагает наличие долговременного столкновения интересов между поднимающимся слоем городских бюргеров и находящимися в упадке феодальными сеньорами, но ему не удается показать, как и почему рост городов противостоял феодальному способу производства и политической организации: «В этой главе я предположил, что города по своей сути противостояли феодальной аристократии. Удивляет то, что неомарксистские теории допускают это, но все равно стремятся вписать города в феодализм» [Spruyt. 1993a. P. 107]. Независимо от того, существует такая единая неомарксистская теория или нет, Спрут, видимо, просто неправильно понимает сам аргумент. Джон Меррингтон проясняет этот вопрос, показывая, что города на самом деле были внутренне вписаны в феодализм, что прежде всего означает их зависимость от аграрных ритмов спроса и предложения, и в то же время они политически выходили за пределы контроля феодальных сеньоров [Merrington. 1976]. Это совмещение политической эмансипации



от аграрной феодальной экономики и экономическая включенность в нее объединяли феодальных сеньоров и городские общины в общей эксплуатации зависимого от них крестьянства; обе группы пользовались прямой внеэкономической рентой, получая доход от политически навязанных монопольных цен. В то же время два этих класса были разделены разногласиями относительной той доли прибавочного продукта, произведенного крестьянством, которая приходилась каждому из них. Причина их антагонизма заключалась не в отношении к природе экономической системы — в отличие от конфликта между восходящей буржуазией, господствующей на зарождающемся городским капиталистическим рынком, и ослабевающей знатью, защищающей разлагающуюся феодальную экономику, — а в распределении продукта крестьянского труда.

Независимо от того, было ли средневековое экономическое возрождение внутренне связано с феодализмом или нет, данное Спрутом объяснение институциональных различий в случае Франции, Германии и Италии оказывается неполным без предварительного исследования *более широких классовых отношений* между монархией, знатью, бюргерами и, главное, крестьянством. Специфичные для определенных регионов коалиции монархии, знати и городов во всех трех случаях получали дополнительное определение со стороны борьбы крестьянства за его регионально дифференцированный правовой статус, то есть со стороны классового конфликта. Спрут утверждает, что французский альянс бюргеров и короля сохранился, поскольку знать была слаба. Однако нельзя понять слабость знати без рассмотрения успешной борьбы французского крестьянства против крепостничества, поддержанной королевской политической защитой крестьянства, перекрывающей местным сеньорам доступ к прибавочному продукту крестьянского труда, — это столкновение между режимом ренты, поддерживаемым знатью, и королевским налоговым режимом стало особым французским сценарием. В ходе этого процесса французская монархия пыталась получить контроль над доходами, порождаемыми городами, не столько путем создания коалиции между бюргерами-торговцами и королем, сколько благодаря насильственному навязыванию королевской власти ранее полунезависимым городским общинам. Поэтому здесь не было ни схождения предпочтений, ни близости интересов, ни взаимовыгодной сдел-

ки — имелся лишь внутренний для самого правящего класса конфликт по поводу политически заданных процессов циркуляции средств, и победу в нем одержал король<sup>12</sup>.

Другими словами, центральным мотивом ранненовременного формирования французского государства был не развиваемый городами национальный рынок, а установление расширенной базы налогообложения для монархии. Также этот крайне конфликтный процесс создания городского самоуправления не потребовал установления административно централизованного и юридически рационализированного пространства игры, в котором, предположительно, были заинтересованы торговцы [Spruyt. 1994a. P. 86–94, 99–108]. И он привел к сложной политической экономии, определяемой отличающимися по регионам законами, в высшей степени неравномерным уровнем налогов, путаницей внутренних таможен и пошлин, валют, привилегий, не-бюрократических и приобретаемых за деньги постов, а также получаемых в частном порядке монополий, которыми торговал король. Французское абсолютистское государство оставалось абсолютно неновременным по своим институтам и в высшей степени неэффективным в плане экономической производительности.

Спрут описывает, но не объясняет расширение и упрочение французского государства в период с Капетингов до Бурбонов [Spruyt. 1994a. P. 77–108]. Хотя он справедливо отвергает ту функционалистскую предпосылку, будто военно-технологический прогресс определил размер и организацию политических единиц, простая отсылка к королевско-бюргеровскому альянсу также не в состоянии ответить на вопрос о том, как и почему

<sup>12</sup> Например, Дэвид Паркер (David Parker) утверждает, что «там, где меркантилистский курс оказал какое-то влияние, весьма сомнительно, чтобы этот результат был поддержан буржуазией или же был ей выгоден. Напротив, автономия французских городов стала одной из очевидных жертв утверждения королевской власти» [Parker. 1996. P. 28–29]. Автономия городов (во Франции и вообще везде) не ставилась под вопрос, пока монархи оставались бесспорными правителями (1100–1450), но вскоре после централизации королей была утеряна. Следовательно, отношения города и короля не вели к капиталистической рационализации, просто бюргеры «увидели прибыли, которые можно извлечь из игры, связанной с подчинением короне — количество должностей, налоговые привилегии, а также ренты с общественных долгов, — вот что стало залогом их интереса друг к другу» [Blockmans. 1994. P. 237].

французская монархия расширяла и укрепляла сферу своего влияния на протяжении столетий. Из-за такого упущения создание королевского государства представляется неким естественным процессом роста государства. Как мы покажем позднее, решающим фактором в случае Франции стала не столько политическая сделка между жителями городов и королем, сколько борьба между режимом ренты, поддерживаемым независимыми сеньорами, и общим налоговым режимом, который продвигался монархией и ее наследными чиновниками.

Однако поскольку Спрут, как и Рагги, отстаивает идею модернизационного потенциала занятых торговлей бюргеров, а также выделяет исключительную территориальность и внутреннюю иерархию в качестве решающих критериев нововременной государственности, он ошибочно признает в позднесредневековых и ранненовременных королевствах нововременные государства: «Возможно, это чересчур — считать, что в 1300-х годах мы уже можем найти нововременную Францию. Ведь еще будет затяжная война с Англией, годы религиозной смуты, внутреннее противостояние городов, знати, духовенства. Однако уже в этом периоде мы обнаруживаем существенные черты нововременной государственности» [Spruyt. 1994a. P. 79]. Такое равенство не только противоречит выделенному Максом Вебером идеальному типу нововременного государства, центрированному вокруг собственного безличного характера и рациональной бюрократии, оно приводит к совершенно неверной интерпретации персонализированной природы позднесредневекового и ранненовременного королевского суверенитета. Хотя логика феодально-политической и территориальной фрагментации была и в самом деле подорвана после кризиса XIV в., рождающееся абсолютистское государство просто попыталось централизовать ренты как «гигантский землевладелец» [Rosenberg. 1994. P. 135], навязывая, если соглашаться с Хайде Герштенбергер, режим «обобщенной личной власти» [*verallgemeine personale Gewalt*] [Gersteberger. 1990. P. 510–522]. Территориальность, в свою очередь, стала функцией наследственной династийности. Она не была ограниченной в современном смысле, как и не управлялась она ясной внутренней иерархией. Неверно интерпретируя абсолютистский суверенитет, Спрут выстраивает радикально неверную периодизацию сдвига от Средневековья к Новому времени. Поэтому он, следуя Гилпину и Рагги, полностью поддерживает

тот миф, что Вестфальский мир стал основополагающей хартией нововременной системы суверенных государств<sup>13</sup>.

Хотя, по Спруту, коммерциализация привела в Европе к трем регионально различным ответам (суверенное территориальное государство, города-государства и союзы городов), эта трехчленная классификация не исчерпывает всего объема политических альтернатив, существовавших в ранненовременной Европе. Сведение институциональных отличий к двум базовым альтернативам, территориальной и нетерриториальной, не соответствует весьма неравномерному и разнообразному, то есть темпорально синхроническому, но качественно диахроническому развитию ранненовременных политических сообществ в Европе. Это не требование исторической полноты, а аргумент, серьезно ослабляющий тезис Спрута о конкурентном отборе на основе институциональной эффективности.

Как согласуется с этой моделью институционального отбора Священная Римская империя, которая объединяла множество децентрализованных и полуавтономных акторов под одним имперским зонтиком и которая просуществовала до 1806 г.? Она не уступила якобы большей экономической, военной и политической эффективности классических территориальных государств, а с другой стороны — не стала и «имитировать» их институты, не подвергаясь при этом и делегитимации как участник международных конвенций. Напротив, Вестфальские соглашения признавали ее уникальную конфедеративно-имперскую конституцию и закрепили этот ее статус в международном праве. Как объяснить размножение таких территориальных государств, как Голландская олигархическая торговая республика, Швейцарская крестьянская конфедерация, Польская аристократическая республика, которые не только не соответствовали классическому «западному» образцу формирования территориального государства, но и выдержали — если исключить Польшу, — конкурентный натиск и институциональную привлекательность их «более эффективных» западных соседей? Даже если ограничиваться абсолютистскими государствами, важно отметить, что западные абсолютистские режимы, основанные на «втором издании

<sup>13</sup> «Я завершаю изложение на моменте Вестфальского мира (1648), который формально признал систему суверенных государств» [Spruyt. 1994a. P. 27].

крепостничества», явно демонстрировали институциональные особенности, весьма серьезно расходящиеся с «западной» моделью, так что лишь в конце XIX или в начале XX столетия они подверглись структурной трансформации [Андерсон. 2010]. Другими словами, критерий «ограниченная территориальность плюс внутренняя иерархия» не исчерпывает вариации в европейском построении государств, а также не объясняет, почему некоторые ранненовременные государства, территориально определенные, однако обладающие весьма различными политическими режимами, успешно конкурировали и сосуществовали с Францией и Англией, ни в чем им не подражая. Следовательно, логика неэволюционного отбора нуждается в серьезном пересмотре.

Эта слабость объяснений особенно хорошо проявляется в вопросе о ранненовременных Франции и Англии. Поскольку Спрут главным образом интересуется суверенитетом и ограниченной территориальностью *per se*, а не различиями в формировании режимов, он сводит ранненовременные Англию и Францию в одну группу успешного суверенного территориального государства. Однако два этих политических образования радикально различались, в долгосрочной перспективе их траектории серьезно разошлись, а все их сферы общества, экономики и политической организации демонстрировали существенные несовпадения. Высказывания Спрута об Англии остаются эпизодическими и поверхностными: «Суверенные территориальные государства содержали окончательный источник власти. Хотя я ссылался главным образом на Францию, то же самое верно и в случае других государств, например Англии. Суверенитет не обязательно предполагает абсолютизм» [Spruyt. 1994a. P. 153]. Верно, суверенитет не обязательно предполагает абсолютизм, но и абсолютизм не обязательно предполагает новременной суверенитет. Суверенитет *per se* оказывается слишком неопределенным понятием, чтобы можно было провести различие между ранненовременными Францией и Англией. И главное, если Англия XVII в. превратилась в парламентско-конституционное государство, основанное на расширяющейся капиталистической экономике, Франция начала совершенствовать свою наследственно-династическую государственную форму, основанную на некапиталистической аграрной экономике, хотя олицетворением суверенитета и стал король. Опять же, понятия «ограниченная территориальность» или «суверенитет»

скорее затемняют, а не проясняют суть дела. Предположение всего лишь одной фундаментальной трансформации в структуре системы не соответствует радикальному геополитическому разрыву между Средними веками и Новым временем. Нам нужна именно теория международного изменения, в которой рассматривался бы и этот переход от средневековой к ранненововойременной (гео)политической организации, и последующий переход от ранненововойременных к явно нововойременным международным отношениям. Второй сдвиг требует понимания случая Англии. Однако Англия, как и крестьянство, почему-то не встречается в исследовании Спрута.

И наконец, если мы внимательнее изучим эмпирический базис утверждения Спрута о том, что ранненововойременное территориальное государство, за пример которого принимается Франция, обеспечило развитие эффективных нововойременных институтов, что способствовало его отбору из нетерриториальных альтернатив, неэволюционная логика конкурентного институционального отбора проваливается. Если, как это в действительности было, в ранненововойременной Франции отсутствовала централизованная рациональная бюрократия, стандартизированное национальное налогообложение, управление и судопроизводство, логика относительного превосходства Франции в XVII в. и ее последующего упадка по отношению к Британии после 1688 г. должна быть пересмотрена на основе некоей иной теории. Более того, процесс, благодаря которому первому нововойременному государству — Англии — удалось сделать свою государственную форму и свою логику международных отношений универсальной, должен стать основанием для новой теоретической проработки и новой периодизации, которые отсылали бы к совершенно иным социальным основаниям и иной политико-экономической динамике.

## 6. НЕОМАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ МО

*Джастин Розенберг: Новое время как «структурный разрыв» и Новое время как процесс*

Критические исследователи МО полагают, что различия международных схем конфликтов и сотрудничества связаны с меняющимися способами производства. Структурный разрыв между

доновременными и нововременными международными отношениями коренится в развитии капитализма и в цепочке революционных изменений режима. Установление капитализма привело к дифференциации политики, порождающей систему государств, и экономики, порождающей транснациональную «империю гражданского общества». Только после того, как процесс извлечения прибавочного продукта был деполитизирован, суверенитет был сведен в публичное государство, располагающееся над саморегулирующейся капиталистической экономикой и гражданским обществом отдельных граждан. Затем это могло стать отправным пунктом для дискурса и практики *Realpolitik*, скрывающей второй уровень частной власти — становящийся в силу своей внутренней природы все более универсальным мировым рынком.

В этом отношении работы Джастина Розенберга стали настоящим прорывом. Он показывает, как особые геополитические системы — классическая греческая полисная система, итальянская ренессансная система городов-государств, ранне-нововременные империи и нововременная система суверенных государств — были структурно связаны с различными способами производства. «Геополитические системы не формируются независимо от более широких структур производства и воспроизводства общественной жизни, и их невозможно понять отдельно от этих структур» [Rosenberg. 1994. P. 6]. Далее Розенберг доказывает, что хотя для большинства геополитических порядков характерна анархия, все докапиталистические системы отделены от нововременного капиталистического международного порядка «структурным разрывом». Этот фундаментальный разрыв виден по различию между личным господством в докапиталистических отношениях производства и безличным нововременным суверенитетом, исходящим из посылки о разделении экономического и политического. По Розенбергу, этот структурный разрыв объясняет совместный генезис и совместимость системы ограниченных (но проницаемых) суверенных государств и транснациональной международной экономики. Капиталистическая анархия рынка повторяется на уровне международной анархии системы государств. Далее Розенберг приходит к выводу, что в этом кроется причина некоторого отличия нововременного баланса сил от невидимой руки рынка, постулированной Адамом Смитом; баланс сил —

«это вторая половина», механический и поверхностно десоциализированный регулятор абстрактного понятия политического [Rosenberg. 1994. P. 139, 155]. В равной степени совмещение капитализма, нововременного государства и нововременной системы государств — это условие возможности нововременной силовой политики и ее реалистического дискурса. А поскольку нововременной капиталистический суверенитет не равен абсолютистскому суверенитету, значение Вестфальского соглашения как отправной точки нововременных международных отношений радикально подрывается.

Исследования Розенберга для теории МО оказались весьма прогрессивными в плане как метода, так и содержания. Однако они отмечены определенным противоречием между остатками структуралистского понимания марксизма и вниманием к историческому развитию. Структуралистские обертоны становятся особенно заметны, когда Розенберг воссоздает европейскую историю, по существу, как цепочку следующих друг за другом, дискретных и замкнутых геополитических порядков. Поэтому он не занимается теоретическим осмыслением переходов между ними, как и социальных конфликтов, кризисов, войн, которые подталкивали эти трансформации. Субъект действия представлен в его объяснениях недостаточно. Хотя это упущение не столь значимо для докапиталистических геополитических порядков, если ограничиваться целями теории МО (но не марксизма), оно становится более проблемным, когда встает вопрос о социальном, географическом и хронологическом происхождении капитализма, его отношении к системе государств и определении нововременных международных отношений. Розенберг убедительно доказывая пусть и чисто аналитически, структурную взаимосвязь и функциональную совместимость территориально разделенной системы государств и частного, транснационального мирового рынка, не дает динамического объяснения совместного развития капитализма, нововременного государства и нововременной системы государств. Два последних феномена аналитически выводятся из первого, хотя все три рассматриваются в качестве структурно и хронологически равных аспектов Нового времени. Этот тезис снижает объяснительную силу капитализма, оставляя сложный комплекс совместного исторического развития (но не совместного происхождения) капитализма, государства и системы государств



недостаточно исследованным. Этот пробел между теоретическим заявлением и исторической демонстрацией становится очевидным только к концу изложения. Замечания Розенберга относительно происхождения капитализма носят неокончательный характер, указывая на необходимость отследить в высшей степени неравномерные процессы, благодаря которым родственные движения «первоначального накопления» и утверждения нововременного суверенитета распространились по Европе в период XIX–XX вв.

Здесь возникают две проблемы. Во-первых, открывается провал между тем утверждением Розенберга, что «структурный разрыв» отделил доновременную геополитику от нововременной, и признанием, выраженным в его исследовательской программе, что установление Нового времени в сфере международных отношений не охватывало сразу всю систему, не было одномоментным или же равным наступлению капиталистической анархии в частной сфере, являясь, скорее, долгосрочным и широкомасштабным процессом, который во многих отношениях все еще продолжается. Нововременные международные отношения не просто пришли на смену доновременной геополитике, они сосуществовали наряду с ней, пытаясь ее преодолеть, не разрушая всех ее атрибутов, среди которых особое место занимают множественные территории. И обратно, докапиталистические государства, находящиеся под международным давлением, побуждающим их к модернизации, разработали контрстратегии, которые ударили по капиталистической Британии, что позволило «замарать» веру в ее непорочную либерально-капиталистическую культуру. Новое время — это не структура, а процесс.

Во-вторых, эта дилемма порождает ряд вопросов. Когда, где и каким образом впервые возник капитализм? Каково было его влияние на образование нововременного государства? Учитывая, что капитализм возник в ходе неравномерного процесса, разворачивавшегося на протяжении трех столетий в различных регионах Европы, как нам следует понимать сосуществование гетерогенных политических сообществ в «смешанном сценарии» международного порядка? Как выстроить теорию этого долгого перехода? Поскольку баланс сил впервые был реализован Британией в контексте докапиталистической геополитической системы, в какой мере он является абстрактным капи-

талистическим механизмом международной регуляции? Если капитализм возник в ранненовременной Англии в контексте системы государств, которая, согласно собственным утверждениям Розенберга, уже не была имперской, но представляла собой систему территориально оформленных абсолютистских государств [Rosenber. 1994. P. 130, 137], как объяснить формирование этой докапиталистической системы государств? А если система территориальных государств предшествовала связке капитализма и нововременного суверенитета, можем ли мы по-прежнему утверждать, что нововременная система разделенной политической власти является производной капитализма, его неизменным продуктом?

Короче говоря, предположение четкого структурного разрыва хотя и является теоретически весьма обнадеживающим, в историческом плане должно быть ослаблено, если мы хотим реконструировать процесс образования нововременной системы государств.

## 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К НОВОЙ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Недавние шаги в теории МО существенно изменили ее исследовательскую повестку. После того как Уолц вывел историю за пределы поля МО, новая совокупность вопросов дала толчок новаторским теоретическим и метатеоретическим подходам. Хотя критика антиисторического структурализма Уолца объединила многих исследователей в области теории МО, пытающихся заново историзировать собственную дисциплину и стремящихся к пониманию долгосрочных и крупномасштабных геополитических трансформаций, они пошли разными путями.

Предложенная Гилпином типология изменений серьезно переопределяет введенное Уолцом бинарное различие анархии и иерархии, фокусируясь на происхождении нововременной системы государств, а также на взлетах и падениях государств внутри этой системы. Однако его комбинация модели рационального общественного выбора и структуралистских рецептов неореализма прививается к историческому процессу, который противоречит ее утилитаристским предпосылкам и функционалистским выводам. Историческое многообразие загоняется в модель публичного выбора, которая остается привязанной к

явно нововременному понятию инструментальной рациональности. Как только это обеззараженное понятие принимается за вневременной принцип социального действия, непредвиденные последствия и «дисфункциональные аномалии» просто исчезают из поля зрения. Поскольку стимулы изменения действий исходно выносятся вовне и отождествляются с внешними факторами, а потом уже институциональные результаты выводятся из коллективных выборов, основанных на рациональном расчете ожидаемой выгоды и издержек, международное изменение следует универсальной однобокой схеме. Однако, хотя Гилпину не удается продемонстрировать этот процесс коллективного рационального выбора в том или ином конкретном случае, исторические данные доказывают наличие серьезных различий в формировании ранненовременного государства, которые он никогда не рассматривает. После установления нововременной системы государств история международных отношений сжимается до механического, функционалистского описания иерархических сдвигов в среде держав, набирающих силу, и тех, что вступают в период заката, причем сам сдвиг в иерархии опосредуется соперничеством за положение гегемона — этот вывод затем преобразуется в некую теорему, которая выдается за закон.

Предложенная Краснером новая интерпретация Вестфальских мирных соглашений отрицает за ними значимость поворотного пункта в международных отношениях. Однако Краснер, не занимаясь собственно изучением неравномерного развития политических сообществ, составлявших Вестфальское общество государств, просто заявляет, что, независимо от суверенитета как основного международного правила, правители действуют в соответствии с собственными рациональными интересами, которые на фундаментальном уровне управляются анархией и силовой политикой.

Конструктивистская теория Рагги восстанавливает связь между правами собственности как принципами территориальной дифференциации и различающимися формами политического и геополитического порядка. Хотя акцент на социальном характере изменяющихся форм международных отношений проясняет природу перехода от Средневековья к Новому времени, его объяснение не может выйти за пределы неопределенного, многофакторного плюрализма. Такое отступление к случайности проистекает из нежелания Рагги интерпретировать

собственность как нечто большее, чем простой юридический институт или конструктивное правило. За обращение к темам Вебера приходится платить определенную цену: трансформация средневекового условного держания в нововременную частную собственность утрачивает связь с регионально отличными социальными конфликтами по поводу земли и рабочей силы, рассматриваясь скорее как часть общеевропейской эпистемной революции. Эти теоретические слабости сразу же порождают неверные эмпирические оценки. Поскольку природа ранненовременных международных отношений в Европе в значительной степени экстраполируется из якобы архетипичного случая Франции, Рагги серьезно ошибается при определении хронологических и географических истоков геополитического Нового времени. Его предпочтение локального и случайного диаметрально противоположно тому, что он считает универсальностью абсолютной индивидуации и ограниченной территориальности, — что это, если не *coincidentia oppositorum*?

Спрут еще больше историзирует теорию МО, меняя неореалистическую логику на шкалу определяющих политику «образов». Но как только главная каузальная роль приписывается задающим систему элементам и социальным силам, действующим между ними, Спрут оказывается вынужденным вернуться к коммерциализации как «внешнему воздействию». Избегая гилпиновского функционализма и каузальной неопределенности Рагги благодаря объяснению ранненовременных различий как результата действия регионально расходящихся социальных коалиций, природа этих социальных альянсов все равно не объясняется теорией, поскольку более широкие классовые отношения не рассматриваются. Его неявная отсылка к марксистской, но весьма устаревшей интерпретации коалиции между французскими бюргерами и монархами домов Валуа или Бурбонов приводит к тому, что он переоценивает эффективность и современность ранненовременного французского государства. Когда же аргумент в пользу организационного превосходства «Старого порядка» становится сомнительным, его теория последующего конкурентного отбора из качественно различных конфликтующих элементов просто проваливается.

Наконец, исследование Розенберга оказывается прорывом в теории МО, осуществленным на многих уровнях, но оно сталкивается с трудностями при переводе понятийной абстракции,

то есть «капитализма», в историческую реконструкцию его происхождения внутри уже территориально определенной системы государств и его воздействия на эту систему. В его структуралистской интерпретации подчеркивается радикальный разрыв между доновременной и новременной геополитикой — но именно этот разрыв скрывает весьма сложную динамику международных отношений в период между 1688 г. и Первой мировой войной и после нее, когда осуществлялся длительный переход к новременным международным отношениям.

Чтобы двинуться дальше этих несовершенных попыток объяснить происхождение и развитие новременной системы государств, мы должны разработать полную и связную, исторически обоснованную и теоретически выверенную интерпретацию, которая была бы способна (а) предложить теорию природы средневекового геополитического порядка и системных трансформаций в нем; (б) определить динамику, которая повлекла зарождение множественных и отличных друг от друга политических образований в ранненовременной системе государств; (в) установить, несмотря на эти различия, принципы вестфальских международных отношений; (г) объяснить возникновение капитализма и первого новременного государства, а также то, как ему удалось сделать всеобщей свою логику политической организации и международных отношений в плюриверсуме, созданном процессом формирования абсолютистского государства. Такова задача следующих глав этой книги.

## II. Теория геополитических отношений в европейском Средневековье

Ясно, во всяком случае, что Средние века не могли жить католицизмом, а античный мир — политикой. Наоборот, тот способ, каким в эти эпохи добывались средства к жизни, объясняет, почему в одном случае главную роль играла политика, в другом — католицизм.

*Маркс, Энгельс. Т. 23. С. 92*

### 1. ВВЕДЕНИЕ

В этой главе предлагается особый подход к теории изменения геополитических порядков. Центральный тезис состоит в том, что природа и динамика международных отношений управляются характером элементов, их составляющих, которые, в свою очередь, покоятся на особых отношениях собственности, преобладающих между ними. Средневековые «международные» отношения и их изменения на протяжении столетий до возникновения капитализма должны интерпретироваться на основе изменяющихся общественных отношений собственности. Однако динамика средневековых изменений была связана с противоречивыми стратегиями воспроизводства, действующими между и внутри двух главных классов — феодальных сеньоров и крестьянства.

Наше рассуждение заключается в следующем: поскольку крестьяне обладали жизненными средствами, феодальная знать могла получить доступ к крестьянскому продукту лишь с помощью военных и политических средств. Поскольку каждый феодальный сеньор воспроизводил себя не только политически, но и индивидуально, то есть на основе своей сеньории, контроль над средствами насилия не был монополизирован государством, он был олигополистически распределен среди владеющего землей нобилитета. Средневековое «государство» состояло из политического сообщества феодальных сеньоров, облаченных правом на вооруженное сопротивление. Отношения между сеньорами по своей природе были воинственными

и конкурентными. Силовое перераспределение прибавочного продукта крестьянского труда и конкуренция за земли разворачивались по трем осям: (1) между крестьянами и сеньорами; (2) среди сеньоров; (3) между объединением сеньоров (феодалным «государством») и внешними акторами. Соответственно, геополитическая система характеризовалась постоянным военным соперничеством сеньоров за территорию и рабочую силу — как внутри феодальных «государств», так и между ними. Геополитическая динамика средневековой Европы подчинялась логике территориального завоевания как игры с нулевой суммой. Форма и динамика международной системы родились непосредственно из структуры отношений общественной собственности.

Значение теории общественной собственности для всей области МО выходит далеко за пределы Средних веков. Она применима ко всем геополитическим порядкам, будь они племенными, феодальными, абсолютистскими или капиталистическими. В любом случае определенный набор отношений собственности порождает особые отношения власти, управляющие разворачиваемыми между акторами практиками обоснования и ограничивающими их. Поэтому я стремлюсь не просто обозначить соответствие между отношениями собственности и международными системами, а обнаружить динамику этих систем в классовых стратегиях воспроизводства, действующих как внутри определенных политических образований, так и между ними. Отношения собственности объясняют институциональные структуры, обуславливающие конфликтные отношения присвоения, которые, в свою очередь, объясняют изменения. «Внутренние» изменения в отношениях собственности, сами подверженные «внешнему» давлению, изменяют геополитическое поведение. В этом подходе объединяется содержательная теория общественных и международных взаимодействий с теорией социально-политической структуры. Такое соединение достигается благодаря историческому описанию соотношения ограничительных структур собственности и власти и их влияния на целеориентированные жесткие и антагонистические практики, оживляющие и изменяющие эти общественные отношения<sup>1</sup>. Таким образом, я задаю отправной пункт для теории широкомасштабной геополитической трансформации.

<sup>1</sup> Связанные эпистемологические вопросы см.: [Heine, Teschke. 1996, 1997; Teschke, Heine. 2002].

Такой подход к социальным изменениям стремится переписать дискуссию о том, «детерминирует» ли экономика политику, «детерминируют» ли внутренние отношения международные или наоборот. Проблема в том, что осмысление взаимодействия между этими сферами или «уровнями» обычно начинается уже после того, как они были исторически сформированы, то есть после того, как они были отличены друг от друга в капиталистических обществах. Распространенное методологическое искушение состоит в том, что одну овеществленную сферу стремятся столкнуть с другой — обычно или в экономистском «марксистском», или в политизирующем «веберианском» описании, — не задаваясь вопросом о том, как эти сферы вообще возникли и как они встроены в воспроизводство общества как целого. Исследования докапиталистических геополитических систем точно также обычно проецируют на иначе структурированные эпохи прошлого словарь, состоящий из хорошо знакомых терминов, в числе которых — государство и рынок, внутренние отношения и международные.

В средневековом общественном устройстве не обнаруживается ни различие между внутренней сферой и международной, ни разрыв между политикой и экономикой, хотя этот разрыв и это различие столь характерны для нововременной международной системы. Эти различия воспроизводятся нововременным государством, которое, основываясь на собственной монополии на средства насилия, осуществляет внутреннюю политику посредством закона, а внешнюю политику реализует через применение силы. Они поддерживают реалистическую концепцию международной анархии и внутренней иерархии, а также соответствующие ожидания поведения: баланс сил и следование за лидером. Для средневекового мира, в котором отсутствует эта двойная дифференциация, фундаментальной проблемой оказывается определение природы (гео)политического и выделение акторов, наделенных правом вести «международные» отношения. Средневековая (гео)политика не была ни полностью анархичной, ни полностью иерархичной, она включала и вертикальные, и горизонтальные отношения подчинения и координации, связывающие в высшей степени дифференцированных носителей политической власти. Поэтому неверно подводить все эти различные политические власти — папу, императора, королей, герцогов, графов, епископов, города, сеньоров — под одну рубрику «конфликтной едини-



цы», поскольку никто из них не владел монополией на средства насилия, которые гарантировали бы исключительный контроль над некоей ограниченной территорией. Реалистическая стратегия применения вечных категорий к обществам, не имеющим государства, приводит к понятийным анахронизмам, которые находят отражение в ошибочном анализе [Fischer. 1992] (критику см.: [Hall, Kratochwill. 1993; Teschke. 1998. P. 328–336]). Чтобы избежать этих ошибок, нам требуется исследовать природу и социальные детерминанты феодальной политической власти. Короче говоря, мы должны осмыслить средневековую (гео)политику в ее собственных терминах.

Настоящая глава разбита на четыре раздела. Во втором разделе сравниваются теории феодализма Макса Вебера и Карла Маркса, в ней также заново оценивается в контексте докапиталистических обществ понятие «производственных отношений». В третьем разделе дается объяснение того, как проблема соотношения структуры и субъекта действия может быть использована при изучении средневекового общества, если продемонстрировать диалектическую связь между средневековой условной собственностью и результирующими стратегиями воспроизводства, развертываемыми в двух главных классах. В четвертом разделе намечается феноменология средневековых международных «институтов» (государство и господство, территория и границы, война и мир), для чего проводится систематическое сопоставление их *политической формы* и их *общественного содержания*. В последнем разделе проясняются расходящиеся структурирующие принципы геополитической организации в Раннем, Высоком и Позднем Средневековье, а также доказывається, что, хотя эти сдвиги в структуре системы могут объясняться на основе изменений в отношениях общественной собственности, они не связаны с феодальным геополитическим поведением.

## 2. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ В ФЕОДАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

*Вебер против Маркса: тип господства против внеэкономического принуждения*

Один из способов подойти к дебатам вокруг феодализма — выстроить теорию отношения между «экономическим» и «поли-

тическим» в средневековом обществе. Господствующий в литературе метод рассуждения, черпающий вдохновение главным образом в работах Макса Вебера и Отто Хинце, определяет феодализм как особый политический феномен [Weber. 1968a. P. 255–266, 1070–1110, особенно 1090–1092; Hintze. 1968]. Вебер, следуя примеру Маркса, который придавал особое значение обладанию средствами производства, настаивал на политическом значении обладания средствами управления для децентрализованного наследственного государства:

...все государственные устройства можно разделить в соответствии с тем принципом, который лежит в их основе: либо этот штаб... является самостоятельным *собственником* средств управления...; либо штаб управления «отделен» от средств управления... Политический союз, в котором материальные средства управления полностью или частично подчинены произволу зависимого штаба управления, мы будем называть «сословие» (*standisch*) расчлененным союзом. Например, вассал в вассальном союзе покрывал расходы на управление и правосудие в округе, пожалованном ему в лен, из собственного кармана, сам экипировался и обеспечивал себя провиантом в случае войны; его вассалы делали то же самое. Это, естественно, имело последствия для могущества сеньора (*Herr*), которое покоилось лишь на союзе личной верности и на том, что обладание леном и социальная честь (*Ehre*) вассала вели свою «легитимность» от сеньора [Вебер. 1990. С. 649].

Феодализм как особая система управления или иерархически-военных отношений между носителями политической власти попадает, следовательно, под юрисдикцию политической науки, конституциональной истории или социологии типов господства. «[Западный] феодализм [*Lehensfeodalität*] — это граничный случай патримониализма, который тяготеет к стереотипным и зафиксированным отношениям между сеньором и вассалом» [Weber. 1968a. P. 1070] (см. также: [Axtmann. 1990. P. 296–298])<sup>2</sup>. При всей своей эрудированности и щепетильности понятийных различий, эти объяснения оказываются абстрагированными от аграрного общественного базиса феодальной политической власти. Хотя Вебер, конечно, не мог не знать об экономическом

<sup>2</sup> Вебер, как известно, различает традиционный, легально-бюрократический и харизматический типы господства. Феодализм и патримониализм являются подвидами традиционного господства.

содержании феодализма<sup>3</sup>, экономические вопросы и, в особенности, правовой статус и сознательные действия крестьянства в его теории оставались эпифеноменом. В частности, традиция Вебера-Хинце отделяет формы управления и господства от процессов феодального воспроизводства, с которыми они были явно связаны. Это наблюдение не призвано защитить в равной степени абстрактное рассмотрение «экономики». Скорее, оно служит для напоминания о том, что под политическим «уровнем» отношений между сеньорами в феодальном обществе обнаруживается второй «уровень» политических отношений между сеньорами и крестьянами, от которых зависели особые способы присвоения прибавочного продукта.

Более широкая эпистемологическая проблема, связанная с этими вопросами, состоит в том, что введенный Вебером метод построения идеальных типов, если понимать его строго методологически, не только никогда не доходит до исследования социального содержания феодального господства, но и внутренне неспособен отразить более значительную проблему исторического изменения. Идеальные типы конструируются посредством рассмотрения исторических данных и выбора на основе априорного субъективного отнесения к ценности (*Wertbezug*), которое само не может быть выведено из материала, то есть на основе культурно значимого (*Kulturbedeutung*) социального макрофеномена. Затем его отличительные типологические черты интерполируются и группируются в процессе абстрагирования, что дает очищенный идеальный тип [Вебер. 1990]. Его «идеальность» не имеет нормативного значения. В практических исследовательских задачах такие дистиллированные идеальные типы выполняют эвристическую функцию, поскольку используются либо для измерения дистанции между конкретным эмпирическим случаем и его чистым «идеалом», либо для сравнения идеального типа А с идеальным типом В (например феодального наследственного и современного бюрократического).

<sup>3</sup> «Полный феодал всегда является производящим ренту комплексом прав, владение которыми может и должно поддерживать сеньора и свойственный ему образ жизни. Первично сеньоральными правами и приносящими доход политическими полномочиями, то есть правами, производящими ренту, облакается воин. В феодальном Средневековье *gewere* участка земли принадлежало получателю ренты» [Weber. 1968a. P. 1072-1073].

тического способов управления), что позволяет подчеркнуть их различия. Однако из этой процедуры проблема социального изменения в любом случае исключается. Теодор Адорно, как и многие другие, отмечал:

...Если я беру понятие идеального типа в том строгом виде, в каком оно было задано Максом Вебером в его эссе о категориях (*Kategorienaufsatz*), относящемся к его теории социальной науки, тогда идеальный тип оказывается неспособным превратиться в какой-то иной идеальный тип, поскольку он является изобретением *ad hoc*, созданным как нечто совершенно монадологичное, дабы под него можно было подвести некоторые феномены [Адорно. 2010. С. 207]<sup>4</sup>.

Веберовский анализ феодализма просто предлагает идеальный тип господства, по определению статичный и некаузальный, встроенный в социологию организации управления, абстрагированной от общества и истории<sup>5</sup>.

Другими словами, историческая социология в основном и прежде всего служит для сравнения путем построения идеальных типов, под которые могут быть подведены самые разные исторические и географические данности и в которых они могут фиксироваться. Это, конечно, имеет определенную научную ценность, но при этом предполагает превращение истории из открытого процесса в историю как базу данных, поставляющую доказательный материал для цепочек систематизированных таксономий. Это означает смерть истории как становления. Конечно, Вебер-историк [Вебер. 2001] не всегда выполнял методологические обязательства, взятые на себя Вебером-социологом. В исторических разделах «Хозяйства и общества» мы обнаруживаем много намеков и замечаний относительно переходных

<sup>4</sup> См.: [Mommsep. 1974, 1989]. Идеальные типы противостоят принципам диалектического образования понятий, которое дается *Bewegungsbegriffe* (понятиями движения), которые, именно потому, что они содержат динамические противоречия, тяготеют к преодолению самих себя. См.: [Heine, Teschke. 1996].

<sup>5</sup> Макс Бройер (Max Breuer) предположил, что веберовская концепция современной бюрократии является «организационно-, а не социально-центричной; она исходит не из теории общественных структур и процессов, а из закрытой и определенной управленческой системы, которая сравнивается с менее закрытыми системами» [Breuer. 1991. P. 25].

моментов между одним типом господства и другим. Однако эти проходные замечания не играют систематической роли в его теории социальной науки, и потому у них нет метатеоретического обоснования, которое позволило бы выписать принципы исторического и социального изменения. Это приводит к тому утверждению Вебера, что структуры социального действия следуют «своим собственным законам» (*Eigengesetzlichkeit*) [Вебер. 1990; Weber. 1968a. P. 341]. Поэтому любая реконструкция европейской истории должна заниматься исследованием *независимых логик развития* различных социальных сфер (политической, экономической, правовой, религиозной и т.д.), которые никогда не входят друг с другом в какое-либо отношение совместного формирования, проявляя в лучшем случае те или иные разновидности «избирательного родства»<sup>6</sup>. Историческое развитие приобретает форму неограниченного умножения и комбинирования внешне взаимодействующих социальных измерений одного эмпирического целого, не обладающего никаким фундаментальным единством. Поэтому-то Вебер и не может дать никакой общей концепции феодализма, генетически, содержательно и в плане воспроизводства понимаемого как диалектически противоречивая и подвижная целостность. Именно такая слепота к внутренним пробелам веберовской методологии превращает столь многие англо-американские неовеберовские работы по социологии, посвященные всеобщей истории, в слабо теоретизированную эклектику [Poggi. 1978; Giddens. 1985; Colins. 1986; Mann. 1986].

Некоторые направления марксизма интерпретируют феодализм, напротив, чисто экономически, как статичный аграрный способ производства. Отсутствие устойчивого экономического роста объясняется через недоразвитые производительные силы, неэффективное использование земли и низкой уровень торговли. Однако такое одностороннее выделение экономических вопросов, среди которых, к примеру, долгосрочная тенденция к понижению ставки феодальной ренты [Vois. 1984; Kula. 1976], не дает понять политические и военные аспекты средневекового общества, которые могли оборвать эту тенденцию. Поэтому

<sup>6</sup> Роланд Акстман демонстрирует эту методологическую позицию, задействованную в веберовской теории формирования современного государства [Axtmann, 1990].

некоторые последователи Альтюссера пересмотрели неверный акцент на экономических вопросах, выступая за «трактовку государства как независимой социальной силы», действующей в феодальных обществах [Gintis, Bowless. 1984. P. 19; Haldon. 1993]. Но независимо от того, на чем именно делается акцент в марксистских традициях — на «экономическом» или на «политическом», — сама эта упрощенная поляризация заставила многих усомниться в том, способен ли марксизм объединить «политическое» и «экономическое» в связной теории феодального общества как особой тотальности [Poggi. 1988. P. 212].

Накануне англо-американского вебериянского ренессанса некоторые современные вебериянские социологи пришли к общему выводу, согласно которому Маркс, вероятно, верно указал на то, что первичный источник общественной власти в капиталистическом обществе лежит в собственности на средства производства [Giddens. 1985]. Однако в традиционных обществах место общественной власти определяется обладанием средствами насилия. Это замечание обычно соседствует с типологией источников общественной власти — как правило, политических/военных, экономических, идеологических/нормативных и культурных. Исторический процесс соответственно объясняется в плюралистическом, мультикаузальном описании, основанном на такой типологии [Mann. 1986. P. 379–399; Poggi. 1978. Ch. 2; Collins. 1986]. Неовебериянцы поэтому согласны в том, что в феодальном обществе главную роль играют политические, управленческие и военные аспекты. Напротив, марксистские исследования принято считать редукционистскими, детерминистскими, монокаузальными, функционалистскими, или же они просто отбрасываются как недостаточные, иррелевантные или несовместимые при всей их общей озабоченности «экономикой».

Вопреки этой мнимой несоизмеримости в споре о переходе от феодализма к капитализму внимание было перенаправлено к работам Маркса о докапиталистических обществах [Sweezy, Dobb et al. 1976]. Здесь Маркс выделил конститутивную роль политической власти, выражаемой в различных формах «внеэкономического присвоения прибавочного продукта», встречающихся, когда жизненные средства принадлежат непосредственному производителю.

Далее, ясно, что во всех формах, при которых непосредственный работник остается «владельцем» средств производства и условий труда, необходимых для производства средств его собственного существования, отношение собственности должно в то же время выступать как непосредственное отношение господства и порабощения, следовательно, непосредственный производитель — как несвободный; несвобода, которая от крепостничества с барщинным трудом может смягчаться до простого оброчного обязательства. Согласно предположению, непосредственный производитель владеет здесь своими собственными средствами производства, предметными условиями труда, необходимыми для осуществления его труда и для производства средств его существования; он самостоятельно занят своим земледелием, как и связанной с ним сельской домашней промышленностью... При таких условиях прибавочный труд для номинального земельного собственника можно выжать из них только внеэкономическим принуждением, какую бы форму ни принимало последнее... Итак, необходимы отношения личной зависимости, личная несвобода в какой бы то ни было степени и прикрепление к земле в качестве придатка последней, необходима крепостная зависимость в подлинном смысле этих слов [Маркс, Энгельс. Т. 24. Ч. II. С. 373–374].

В этом отрывке выделяется ключевая связка, опосредованная внеэкономическим принуждением, благодаря которой как раз и можно понять феодальное отношение между «экономическим» и «политическим», то есть, на самом деле, их слияние. Оно резко отличается от конфигурации политического и экономического, выделенных в качестве государства и рынка, в капиталистическом обществе:

Абстракция государства как такового характерна лишь для нового времени, так как только для нового времени характерна абстракция частной жизни. Абстракция политического государства есть продукт современности. В средние века существовали крепостные, феодальное землевладение, ремесленная корпорация, корпорация ученых и т.д.; то есть в средние века собственность, торговля, общность людей, человек имеют *политический* характер; материальное содержание государства определено здесь его формой. Всякая частная сфера имеет здесь политический характер или является политической сферой; другими словами, политика является также характером частных сфер. В средние века политический строй есть строй частной собственности, но лишь

потому, что строй частной собственности является политическим строем. В средние века народная жизнь и государственная жизнь тождественны [Маркс, Энгельс. Т. 1. С. 254–255].

В феодальном обществе отношения собственности таковы, что знать воспроизводит себя главным образом благодаря силовому присвоению прибавочного продукта крестьянского труда, используя административные, военные и политические средства. С этой точки зрения первостепенное значение, которым в традиции Вебера—Хинце обладает политическая сфера, покоится на абстрагировании, в котором политическая форма освобождается от своего экономического содержания и наделяется автономным каузальным или типологическим статусом. Однако именно в этой политической сфере разворачивается борьба за прибавочный продукт.

Таким образом, тезис о несоизмеримости, как мы видим, покоится на иллюзии. Построение теории тождества экономического и политического в рамках концепции тотальности не просто предлагает альтернативу веберовским идеальнотипическим или плюралистским описаниям. По сравнению с односторонними абстракциями оно оказывается действительным приростом в объяснительной силе и эпистемологической строгости. «Внеэкономическое принуждение» в форме особых политических способов присвоения прибавочного продукта — это центральный аналитический принцип, необходимый для понимания феодальных обществ.

### *От логики производства к логике эксплуатации*

Восстановление идеи внеэкономического принуждения требует дальнейшего прояснения одного из центральных понятий Маркса, а именно производственных отношений, как и их места в теории государства. В одном своем ключевом тексте Перри Андерсон систематически разворачивает все моменты внеэкономического принуждения как *differentia specifica*, отличающего некапиталистические общества от капиталистических:

*Все способы производства в классовых обществах, предшествующих капитализму, извлекают прибавочный продукт труда от непосредственных производителей средствами неэкономического принуждения. Капитализм — первый способ производ-*



ства в истории, в котором средство по изъятию прибавочного продукта у непосредственного производителя является по форме «чисто» экономическим, трудовым контрактом; равный обмен между свободными агентами, ежечасно и ежедневно воспроизводящий неравенство и угнетение. Все иные предшествующие способы эксплуатации осуществлялись с помощью внеэкономических способов: родовых, традиционных, религиозных, юридических или политических. Вот почему, в принципе, невозможно объяснить их из собственно экономических отношений. «Надстройки» родства, религии, права или государства с необходимостью входят в основополагающую структуру способа производства в докапиталистических общественных формациях. Они *прямо* внедряются во «внутренние» связи процесса извлечения прибавочного продукта, в то время как в капиталистических общественных формациях, впервые в истории отделивших экономику как формально самодостаточный порядок, они, напротив, обеспечивают его «внешние» предпосылки. Следовательно, докапиталистические способы производства могут быть определены *исключительно* через их политические, юридические и идеологические надстройки, поскольку именно они определяют тип внеэкономического принуждения, который придает им особый характер. Конкретные формы юридической зависимости, отношений собственности и верховной власти, которые характеризуют докапиталистическую общественную формацию, вовсе не второстепенные или случайные сопутствующие явления; наоборот, они составляют главные индикаторы, указывающие на доминирующий способ производства. Поэтому детальная и точная систематизация таких юридических и политических форм является необходимой предпосылкой для составления всеобъемлющей типологии докапиталистических способов производства [Андерсон. 2010. С. 373–374].

Этот необычный текст привел к теоретическому сальто-мортале в марксистской теории докапиталистических общественных формаций, который, оказавшись освободительным, принес с собой в то же время некоторые нерешенные теоретические проблемы.

С одной стороны, новая теоретизация Андерсона ставит на голову ортодоксальную марксистскую теорему — сколь бы вульгарной, тривиализированной или искаженной она иногда и оказывалась, — согласно которой экономические структуры определяют политическую надстройку. Одним взмахом кисти Андерсон делает возможным дать всей политической истории средневековых обществ марксистскую интерпретацию — как в

институциональном плане так и в отношении развития. В институциональном плане собственность отныне становится *principium medium*<sup>7</sup> между экономическим и политическим, или, скорее, институциональным выражением политической конструкции экономического.

Непосредственные производители и средства производства, включая орудия труда и объекты труда, например землю, всегда находились в руках класса эксплуататоров посредством преобладавшей системы собственности, основного пересечения между правом и экономикой. Но поскольку отношения собственности сами по себе артикулируются политическим и идеологическим порядком, который в действительности часто открыто управляет их распределением (например, ограничивая землевладение аристократией или исключая дворян из торговых операций), весь аппарат эксплуатации всегда простирается в сферу надстройки [Андерсон. 2010. С. 374].

В плане развития Андерсон напоминает, что «вековая борьба между классами в конце концов разрешается на политическом, а не на экономическом или культурном уровне общества. Другими словами, именно создание и разрушение государств закрепляет фундаментальный сдвиг в отношениях производства до тех пор, пока существуют классы» [Андерсон. 2010. С. 10–11].

С другой стороны, если феодальные общества на самом деле характеризовались слиянием политического и экономического, осуществляемым через общественные отношения собственности, из этого должно следовать, что весь терминологический аппарат, включающий базис и надстройку, производственные отношения и способы производства, становится весьма сомнительным<sup>8</sup>. Учитывая эти нерешенные вопросы, можно предположить, что большей аналитической точности можно достичь благодаря дополнительному понятийному переходу от «производственных отношений» к «отношениям эксплуатации», что в то же время позволит избежать явно «политизирующего» прочтения докапиталистической истории Европы. Классовые отношения в докапиталистическом обществе никогда не бывают

<sup>7</sup> *Principium medium* (лат.) — средний термин. — Примеч. пер.

<sup>8</sup> Некоторые проблемы применения альтюссерианской интерпретации марксизма исследуются в: [Wood. 2005]. Проблемы андерсоновского анализа французского абсолютизма я демонстрирую в пятой главе.

экономическими (экономическими они являются только в капитализме). Лучше всего определять их с точки зрения собственности на средства насилия, которые структурируют отношения эксплуатации. Любая попытка спасти термин «производственные отношения» в случае докапиталистических обществ сталкивается с серьезными затруднениями в «выведении» формы государства из существующих производственных отношений, поскольку докапиталистическое «государство» поддерживает их<sup>9</sup>. Эта дилемма раскрывается в следующей цитате:

Та специфическая экономическая форма, в которой неоплаченный прибавочный труд выкачивается из непосредственных производителей, определяет отношение господства и порабощения, каким оно вырастает непосредственно из самого производства, и, в свою очередь, оказывает на последнее определяющее обратное воздействие. А на этом основана вся структура экономического строя [Gemeinwesen], вырастающего из самых отношений производства, и вместе с тем его специфическая политическая структура. Непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям — отношение, всякая данная форма которого каждый раз естественно соответствует определенной ступени развития способа труда, а потому и общественной производительной силе последнего, — вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу всего общественного строя, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства [Маркс, Энгельс. Т. 25. Ч. II. С. 373–374].

<sup>9</sup> Например, феодальные общественные отношения в Бургундии X в. и в англо-нормандской Англии XII в. в равной степени определялись отношением крепостного и сеньора. Однако весьма сложно, если вообще возможно, вывести соответствующие им различающиеся формы государства из таких «производственных отношений». В первом случае отношение крепостного и сеньора совмещалось с крайней политической фрагментацией, выражаемой в сеньориях бана. Во втором случае это отношение совмещалось с достаточно крепкой, централизованной феодальной пирамидой, вершиной которой служил король. Другими словами, без динамического описания формирования особых, политически определенных отношений общественной собственности на основе решений предшествующих классовых конфликтов, временно институционализированных в политических и правовых формах, данную государственную форму нельзя вывести из существующих производственных отношений.

Этот отрывок, который часто приводят в качестве примера зародыша марксовой теории государства [Comminel. 1987. P. 168; Rosenberg. 1994. P. 84] не лишен двусмысленностей. Не говоря уже о сомнительном технико-детерминистском «соответствии» общественных отношений «способам труда», отношения господства не могут вырастать из «самого производства», понимаемого в качестве дополитической и досоциальной деятельности — метаболического процесса между человеком и природой, опосредуемого производительными силами<sup>10</sup>. Трудно представить феодальные отношения между сеньорами и непосредственными производителями, обладающими своими средствами производства, как отношение «собственников условий производства к непосредственным производителям». Это было отношение собственников условий эксплуатации к непосредственным производителям.

Также не будет преувеличением сказать, что здесь Маркс обрисовывает существенные контуры связки между формами присвоения прибавочного продукта и формой политического. Политическое здесь — не что-то внешнее отношению собственности, то есть процессу эксплуатации, оно участвует в самом его задании и воспроизводит его, если только мы будем понимать «государство» в качестве классового отношения. Акцент на логике эксплуатации позволяет отказаться от рассмотрения докапиталистических «государства» и «экономики» как двух разделенных институциональных сфер, а также вывести на передний план классово-опосредованную связь между политической силой и экономическим присвоением. Тем самым мы предполагаем, что, поскольку «государство» никогда не вырабатывает окончательную фиксацию и институционализацию данного набора классовых отношений, собственность всегда является спорным общественным отношением, определяемым, защищаемым и заново оговариваемым государством, отвечающим на давление со стороны

<sup>10</sup> В феодальных обществах, где непосредственные производители обладают средствами производства, экономический процесс производства предшествует политическому процессу эксплуатации, определяемому рентой, выплачиваемой продуктами производства или наличными деньгами. Момент эксплуатации не встроен экономически в отношение производства. В действительности, здесь, если исключить особый случай барщины, то есть крестьянского труда на феодальном поместье, не существует производственного отношения между сеньором и зависимым от него крестьянином.

непосредственных производителей. Другими словами, именно сдвиг к отношениям эксплуатации и связанным с ними общественным противоречиям между эксплуататорами и эксплуатируемыми, а не «диалектика» между производительными силами и производственными отношениями, отвергает телеологические тенденции, внутренне присущие парадигме «способов производства», сохраняя при этом момент исторической открытости и изменения, который всегда таится в непредсказуемых решениях классовых конфликтов. Хотя эта новая формулировка сама по себе не может решить давний диспут о структуре и субъекте действия, диалектический *via media*<sup>11</sup> должен оставаться чувствительным к историческим процессам, в которых определенные отношения эксплуатации порождают общественное недовольство. Во время общего кризиса выход за пределы системы, то есть институциональное или структурное изменение, всегда является не необходимым, а возможным исходом, зависящим от степени классовой организации и непредсказуемого решения общественных конфликтов. Следовательно, исторический процесс не представляется ни необходимой последовательностью «способов производства», ни случайной цепочкой «типов господства», поскольку он, как открытый конфликт, всегда подвешен между возможными альтернативами. Короче говоря, сдвиг к отношениям эксплуатации предотвращает понятийную реификацию, экономический редукционизм, устраняет телеологические и функционалистские тенденции и оставляет историю открытой<sup>12</sup>.

В целом, я предлагаю теоретическую схему для феодальных обществ, выстроенную на логике эксплуатации, которая опосредуется определенными общественными отношениями собственности. Хотя классовые конфликты остаются *primum mobile*<sup>13</sup> истории, ее логика вращается главным образом вокруг четырех конфликтов: (1) между крестьянами и сеньорами (классовый

<sup>11</sup> *Via media* (лат.) — срединный путь. — Примеч. пер.

<sup>12</sup> Приоритет «отношений эксплуатации» поэтому не означает сближения с веберовским «способом господства». Скорее, он «включает» политическое содержание веберовского подхода, дает его социальное содержание и подрывает его теоретическую схему — идеальные типы, обеспечивая нас более полным объяснением социополитических отношений и их изменений.

<sup>13</sup> *Primum mobile* (лат.) — «перводвигатель». — Примеч. пер.

конфликт); (2) среди сеньоров (конфликт внутри правящего класса); (3) между объединением сеньоров (феодальным «государством») и внешними феодальными сообществами (конфликт внутри правящего класса); (4) среди крестьянства (конфликт внутри класса производителей). Все вместе эти вертикальные и горизонтальные линии конфликта вытекают из определенных состояний равновесия классовых сил и порождают новые равновесия, которые в свою очередь управляют ритмами войны и мира, оформляя их. Другими словами, политическая организация, сознательная социальная деятельность остается стратегическим локусом изменяющих институты форм действия. С этой точки зрения аргумент, гласящий, что конфликт внутри правящего класса составляет отдельный уровень реальности — сферу собственно политики, понимаемой по Веберу как статусная конкуренция за власть, — проваливается. Точно так же геополитические отношения не образуют независимую, самозамкнутую область реальности (геополитическое как таковое), как утверждали неореалисты и неовеберианцы [Mann. 1986; Hobson. 1998]. В феодальных обществах конфликты внутри правящего класса, как внутренние, так и геополитические, — это не борьба за максимизацию власти, а конфликты среди классов, занятых политическим накоплением, то есть борьба за их относительную долю в средствах внеэкономического принуждения. Наконец, мы должны отвергнуть то предположение, будто крестьянская жизнь может быть ограничена особой самозамкнутой сферой, являющейся объектом «низовой истории», отделенной от политической истории. Эти сферы социального действия не следуют «своим собственным законам», а являются *disiecta membra*<sup>14</sup> противоречивой тотальности. Остается перевести эту модель собственности и коллективного общественного субъекта действия в последовательность более конкретных положений.

### 3. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СУБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ В ФЕОДАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

Теперь мы должны определить базовую политическую и экономическую единицу феодального общества. Основываясь на этом, мы сможем показать, как эта единица управляет особыми

<sup>14</sup> *Disiecta membra* (лат.) — разрозненные части, обрывки. — Примеч. пер.

формами социального действия, которые поддерживают, оживляют и в некоторых случаях изменяют структурные отношения. Это поможет нам показать, как проблема соотношения структуры и субъекта действия может быть концептуализирована в случае феодального общества.

### *Сеньория как условная собственность (структура)*

Базовой единицей феодального слияния экономического и политического был институт сеньории или феодального владения (*lordship*). Полезно напомнить, что сеньория была не просто аграрным экономическим предприятием, но и «единицей власти», внутри которой узы, связывающие людей, не были опосредованы «свободно» заключаемыми контрактами свободных лиц, они задавались политической властью, то есть господством [Bloch. 1966. P. 236]. «Экономическое» было вписано в «политическое». Люди были приписаны к сеньору. Поразительная особенность средневековой собственности заключается, поэтому, в том факте, что права собственности были как политическими правами управления, так и экономическими правами землевладения; в действительности, оба типа прав были неразделимы. Это слияние хорошо схватывается латинским термином *potestas et utilitas* [Kuchenbuch. 1997]. Просто права собственности на землю были бессмысленны, если они не включали власть над людьми, которые возделывали ее, поскольку крестьяне владели своими собственными жизненными средствами и потому не испытывали никакого внутреннего принуждения арендовать что-то у сеньора или работать на него. Это контрастирует с капиталистической собственностью, когда владение землей «реально», поскольку оно составляет некую ценность, именно потому что те, кто возделывают землю, больше не обладают жизненными средствами и потому вынуждены арендовать их у землевладельцев или работать на них [Маркс, Энгельс. Т. 23. С. 725–773; Т. 25. Ч. II. С. 344–379].

И хотя сеньоры обладали политической властью, они, как правило, не образовывали суверенных мини-государств. В классическом случае свою землю они получали в держание как феодал, который вместе с определенными правами на эксплуатацию крестьян предполагал военные и административные обязанности по отношению к дарующему землю сюзерену: «Земля,

на самом деле, вообще никому не “принадлежала”; ее “держали” стоящие на лестнице “держаний” сеньоры, и эта лестница восходила вплоть до короля или какого-то высшего сеньора» [Verma. 1983. P. 312]. Особый правовой статус земли описывался поэтому в юриспруденции по-разному — как условное держание или узурфрукт (*dominium utile*), тогда как высший сеньор, как предполагалось, номинально обладал высшим господством (*dominium directum*). Это означает, что держатель феода не мог свободно распоряжаться «своей» землей, он мог лишь эксплуатировать ее в определенных целях. Поэтому собственность была условным держанием.

Это снова возвращает нас к вопросу о том, как претензия на сеньорию утверждалась перед вышестоящими сеньорами, сеньорами-соперниками и подчиненным крестьянством. Отто Бруннер дал классическое различие между сеньорией и крупными землевладениями, предложив свою интерпретацию средневекового понятия *Gewere* (домен). *Gewere* означает «действительное владение и использование вещи, предполагающее право собственности на нее» [Brunner. 1992. P. 209]. Главный момент в том, что сеньор осуществлял политически легитимное насилие, проводя в жизнь эти права при столкновении с непокорными крестьянами или соперничающими сеньорами — а в спорных случаях и с собственным сюзереном. В последнем случае его политическая власть поддерживалась благодаря на его статусу законного носителя оружия. *Gewere*

...предполагало «законную силу», а именно охрану и противодействие, осуществляемые сеньором для защиты своего домена не просто как собственником, но как буквально господином своей земли... Здесь мы видим конституционную структуру, которая признавала использование членами правового сообщества силы друг против друга, причем никакое государство в современном смысле слова не претендовало на монополию легитимного использования силы, а каждый член этого правового сообщества обладал определенной мерой исполнительной власти [Brunner. 1992. P. 210].

Важно отметить то, что «внутреннее» сопротивление не считалось преступлением, а было вписано в феодальное устройство. Оно было легитимным и законным, если сюзерен не выполнял собственные обязательства по отношению к леннику и наобо-



рот. Это распыление легитимного насилия серьезно повлияло на природу средневекового государства, его форму территориальности, значение войны как междоусобицы и всю структуру политической власти и «международной» организации. Итак, мы начинаем понимать, почему средневековые отношения собственности так важны для изучения наиболее значимых для теории МО институтов<sup>15</sup>.

*Противоречивые стратегии воспроизводства  
(субъект действия)*

Теперь мы можем очертить господствующие формы средневекового субъекта действия. Повторим еще раз предпосылки классовых и потому конфликтных стратегий воспроизводства. Средневековое общество составляло систему аграрного производства потребительной стоимости и простого товарного производства, основанного на крестьянском труде. Его фундаментальными источниками богатства были земля и труд. Средствами производства (землей, инструментами, скотом, жильем) владели непосредственные производители, так что крестьянские сообщества формировались с целью выживания. Каковы же были главные формы социального действия в этом контексте?

Обратимся сначала к классу знати [Brenner. 1985b; 1986. P. 27–32; 1987. P. 173–178] (см. также: [Duby. 1974; Gerstenberger. 1900. P. 503–507]). Вооруженный сеньор находился между подчиненным ему крестьянством, заселяющим «его» владение, и конкурирующими с ним другими сеньорами, стремящимися завладеть его землей и рабочей силой. Чтобы выжить в этой конкурентной ситуации, сеньоры выработали следующие стратегии воспроизводства:

1. Они максимизировали ренту, выжимая ее из крестьян, — интенсификация труда.
2. Они расширяли свои земли внутри владения благодаря мелиорации.
3. Они колонизировали и заселяли земли вне своего владения, обычно в результате войны или завоевания.

<sup>15</sup> Поэтому я не согласен с Краснером, который утверждает, что средневековый мир не обладал «глубинной генеративной грамматикой» [Krasner. 1993. P. 257].

4. Они завоевывали соседние регионы, учреждали клиентские государства или же распространяли сюзеренитет на регионы, напрямую их не оккупируя, но принуждая платить ежегодную дань.

5. Они ввязывались в прямые междоусобные войны, либо в ходе прямого завоевания или аннексий, либо путем набегов, грабежа и захвата людей.

6. Наконец, они использовали династические браки для собирания земель и для увеличения своей доходной базы.

Эти феодальные стратегии воспроизводства выписаны тут аналитически. Исторически не каждый сеньор «рационально» принимал такие стратегии. Однако правящий класс как целое воспроизводил себя, сообразуясь с таким «системным» давлением господства. Подобная ограниченная рациональность кое-что говорит о пределах социального действия в рамках особых отношений собственности<sup>16</sup>. Во времена кризиса и общественной борьбы на кону был, конечно, сам институт извлечения прибавочного продукта. В зависимости от разрешения этих конфликтов возникали новые формы ограниченной рациональности. При этом все шесть феодальных стратегий предполагали инвестирование в средства насилия. Роберт Бреннер объединяет такие стратегии общим понятием «политического накопления» [Brenner. 1985b. P. 236–242].

Успех феодальных стратегий воспроизводства зависел от внутреннего согласия членов непроектирующего класса и коллективного сопротивления производящего класса. Как правило, крестьянские стратегии воспроизводства радикально противоречили интересам сеньоров. Если включить крестьянскую рациональность во всеобъемлющее уравнение, возникнет общая картина сталкивающихся форм коллективного действия в средневековом обществе.

<sup>16</sup> Напротив, теория рационального выбора выдвигает суждения об эффективных средствах, обходя молчанием цели, которые кажутся самоочевидными. Если же мы историзируем рациональность и погружаем ее в специфические отношения собственности, то также получаем возможность проанализировать и сами предпочтения, увидев рациональное поведение в том, что, с современной точки зрения, может показаться иррациональным; например, демонстративное потребление знати становится осмысленным только при его погружении в определенные социальные структуры [Godelier. 1972. P. 7–30].

В общинах, обеспечивающих себя самостоятельно всем необходимым для жизни, крестьянство экономически оставалось независимым, то есть его выживание не было связано с рынком. Крестьянам не нужно было продавать свою рабочую силу, что-то арендовать или инвестировать в земледелие. Поскольку у них не было экономической необходимости исполнять повинности, они выработали особую форму экономической рациональности, которую нельзя просто объявить иррациональной, поскольку она в точности соответствовала феодальным условиям социального действия:

1. Крестьяне, поскольку они были самодостаточными, а продовольствие составляло основную долю общего потребления (хотя его поставки и не были гарантированными), минимизировали риски, диверсифицируя производимую сельскохозяйственную продукцию. В противовес капиталистической рациональности, сельское производство не было специализированным.

2. Нерыночная зависимость нашла выражение в сокращении рабочего времени, что означало установление баланса между требованиями сеньоров и социокультурными нуждами крестьянина и его семьи. И вновь не ориентированная на прибыль экономическая рациональность составляла ядро повседневной жизни.

3. Минимизация риска вела к ранним бракам, высокой рождаемости у крестьян и разделению земли между наследниками.

4. Действуя против феодальных требований, крестьяне организовывались в общины, вырабатывали формы коллективной классовой организации, чтобы сопротивляться поползновениям сеньоров или же путем бегства от них лишать их рабочей силы.

*«Культура войны», основанная на политическом накоплении*

Успехи воспроизводства зависели от коллективной способности и крестьян, и сеньоров распределять произведенный крестьянами прибавочный продукт, ограниченный балансом классовых сил. И если крестьянское воспроизводство в обычном случае порождало экономическую стагнацию, класс сеньоров вынужден был наращивать военную мощь. Неудивительно, что развитие сельскохозяйственной технологии было почти ничтожным, тогда как на протяжении всего Средневековья и после него появлялись все новые и новые военные изобретения, связанные

с систематическим инвестированием в средства насилия<sup>17</sup>. Военное могущество было необходимым для поддержания установленного аристократического образа жизни. Насилие было *raison d'être* знати, а военное дело — ее господствующей формой рациональности. Характерно, что расширенное феодальное воспроизводство приобрело форму системного «экстенсивно-территориального» завоевания [Merrington. 1976. P. 179]. Вопреки Гилпину горизонтальный политический захват территорий и рабочей силы как источников дохода действительно определяет сущность феодального геополитического расширения [Gilpin. 1981. P. 108–109]. «Политическое накопление» определяло социально-политическую динамику феодального общества, демонстрируя скрытое значение Средневековья как «культуры войны». В то же самое время «международные» отношения между сеньорами не следовали системной трансисторической логике, абстрагированной от общественных отношений феодального типа. Феодальная собственность, структуры и господствующие формы социального действия были диалектически взаимосвязаны<sup>18</sup>.

#### 4. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ «МЕЖДУНАРОДНЫХ» ИНСТИТУТОВ

##### *Раздробленный суверенитет «средневекового государства»*

Средние века не знали суверенного государства. Политическое правление было простым господством. Поскольку каждый сеньор занимался присвоением в индивидуальном порядке,

<sup>17</sup> Во множестве работ этот элифеномен принимается за отправную точку рассуждения, в котором доказывается техническая и военная детерминированность движения в сторону либо современного территориального государства и капитализма, либо «возвышения Запада» [Parker. 1988; Downing. 1992]. Хотя «военная революция» произошла в самом начале Нового времени доказывалось, что цепочка военных инноваций началась еще в период Высокого Средневековья [Ayton, Price. 1995].

<sup>18</sup> Конструктивисты обычно стремятся обосновать свой подход к проблеме структуры и системы действия теорией структуризации Гидденса [Giddens. 1984]. Гегельянско-марксистская традиция, в свою очередь, предлагает более связную концептуализацию этой проблемы, описывая ее в форме действия-в-структуре (или праксиса-в-конкретном) [Heine, Teschke. 1996, 1997].

средневековые политические образования сталкивались с проблемой согласования географического партикуляризма знати с потребностями в центральной самоорганизации, нужной для коллективной агрессии и самозащиты.

Каково влияние индивидуализированной сеньории на форму средневековых государств? За исключением периода X–XI вв., не каждая сеньория образовывала отдельное «мини-государство». Обычно сеньории были связаны вассальными отношениями в классическую феодальную пирамиду, идущую до высшего сюзерена. Это отношение устанавливалось благодаря синаллагматическому «договору» между сюзереном и вассалом. Последний определялся, главным образом, двусторонней межличностной природой, задающей личные права собственности и обязательства двух сторон «договора». Среди этих обязательств наиболее важными были *auxilium et consilium* — военная помощь и политический совет. Поэтому средневековые государства покоились на цепочках межличностных обязательств, связывающих членов класса сеньоров. По существу они были совокупностями сеньорий.

Ключевым пунктом, однако, является то, что держатель феода был не простым функционером или официальным представителем «государства», а полноправным политическим сеньором. Он не представлял «государство», а его статус не делегировался государством и не вытекал из него. «Государство» было просто общей суммой класса сеньоров — самоорганизацией правящей знати. Хотя строгая историческая семантика потребовала бы избегать использования в этом контексте терминов «суверенитет» или «государство», для целей сравнения допустимо говорить, что этот суверенитет раздроблен или «разделен» — в том смысле, что каждый сеньор был «фрагментом государства» [Андерсон. 2007. С. 144; 2010. С. 15; Brenner. 1985b. P. 229; Wood. 1995a. P. 39]. Но поскольку феодальное «государство» не было ни корпоративным образованием, ни «юридическим лицом», поскольку у него не было абстрактного институционального существования, отличного от продолжительности жизни его отдельных правителей, более точно определять политическое через конкретный праксис персонализированного господства («*personale Herrschaftspraxis*») [Gerstenberger 1990. P. 500ff]. Вебер заметил, что «феодализм является “разделением властей”, но не по схеме Монтескье, которая требует качественного разде-

ления труда, а просто как количественное разделение власти» [Weber. 1968a. P. 1082]. Немецкие конституционные историки [Mayer. 1963. P. 290; Mitteis. 1975. P. 5] называют этот феномен *Personenverbandsstaat* (государство ассоциированных лиц), чтобы явно отличить его от веберовского рационализованного государства (*rationale Staatsanstalt*) и институционально-территориального государства (*institutioneller Flächenstaat*). Отсюда следует, что поскольку в средневековом мире отсутствовало «государство», в нем также не было «экономики» и «общества» как отдельных институтов с автономными механизмами социальной интеграции и логиками развития. Три этих института, как и предполагали Гегель и Маркс, относятся лишь к эпохе капитализма.

Дальнейшие уточнения, нужные для определения сферы политического, вытекают из межличностного характера средневекового господства. Поскольку господство было личным, благородные семьи — династии — по необходимости оказывались «естественными» передатчиками политической власти. Следовательно, династийные семейные политики — благородные браки, проблемы наследования, законы преемственности — были общим первостепенным *politicum*'ом, напрямую структурирующим отношения между сеньорами и геополитические отношения. Вследствие этого биологические случайности полового воспроизводства знати были эквивалентны воспроизводству политического.

Поскольку среди политически независимых акторов, которые не отвечали кодифицированному набору административных законов, существовали чисто межличностные отношения, на первый план вышли понятия верности вассала своему сюзерену. Хорошо задокументированные телесные ритуалы почтения, акт облачения властью, и в высшей степени разработанный кодекс чести были свидетельством хрупкой «не-рационализованной» связи между множественными, основанными на земле, независимыми политическими волями. Межвассальный этос верности и чести отражал отсутствие деполитизированной бюрократии. «В результате появилась аристократическая идеология, которая делала совместимыми гордость своим положением и смирение клятвы, законодательное оформление обязательств и личную верность» [Андерсон. 2010. С. 379]. Учение о двух телах короля стало выражением как раз этой двойственной идентичности

физического тела короля, имевшего теократический и божественный характер [Kantorowicz. 1957]. Вопреки конструктивизму мы не можем объяснить этот дискурс, *mentalité* или способ легитимации отдельно от социоэкономического содержания феодальных отношений [Hall, Kratochwil. 1993]. В общем, в этих межличностных отношениях господства публичная власть была территориально фрагментирована, децентрализована, персонализирована. Вместе она удерживалась лишь благодаря некрепким узам вассальной связи [Hintze. 1968. P. 24–25].

Эта конфигурация власти не была статичной. В той мере, в какой локализованное присвоение, осуществляемое знатью, требовало действия вооруженных слуг, сеньоры вступали в конкуренцию одновременно со своими сюзеренами и с другими сеньорами. В результате этого базового противоречия на протяжении всей истории европейского Средневековья можно наблюдать приливы и отливы феодальной централизации и децентрализации [Weber. 1968a. P. 1038–1044; Андерсон. 2007. С. 147–148; Le Patourel. 1976. P. 297–318; Brenner. 1985b. P. 239; Haldon. 1993. P. 213; Элиас. 2001. Т. 1].

Крепкие объединяющие силы возникали каждый раз, когда компетентный военачальник проводил правящую вместе с ним знать через циклы военных кампаний, распределения завоеванной земли и других военных трофеев (рабов, женщин, заложников, богатств, податей, оружия) среди своих довольных воителей. Эти циклы завоевания и распределения усиливали сами себя, поскольку они подталкивали проявить верность верховному военачальнику и в то же время обеспечивали средствами и человеческой силой для дальнейших кампаний. Позиции Карла Мартелла, Генриха Плантагенета и Оттона I (назовем лишь некоторых), а также относительная стабильность их политических режимов напрямую объясняются подобными динамическими механизмами политического накопления. В диалектическом отношении, однако, военный успех всегда содержит семена фрагментации. Те представители знати, которые примыкали к верховному военачальнику, чтобы создать тесно связанную военную организацию, и которые получали значительные владения за свою службу, превращались в потенциальных соперников. Пока их первоначальный лидер мог продемонстрировать свою воинскую доблесть, стратегическую компетентность и способность наказывать бунтующих магнатов, знать продол-

жала связывать свой успех с ним. В противном случае она использовала свою недавно приобретенную власть и возможности либо для получения независимости, либо для того, чтобы открыто выступить против бывшего верховного сеньора.

В этом случае начинался обратный цикл конфликтов внутри правящего класса, провоцирующих вторжения иноземных племен. Разложение центральной власти приводило к регионализации и концу солидарности правящего класса. Обычно это совмещалось с узурпацией публичных постов — как, например, при Людовике Благочестивом и его еще более слабых наследниках. Внутреннее перераспределение земли и правовых полномочий становится логичной альтернативой внешнему завоеванию. Другими словами, центральное правительство всегда покоилось на компромиссе — хрупком союзе взаимной выгоды — между членами класса сеньоров. Неизменно хрупкое средневековое «государство» стояло на фиксации власти в силовом поле, создаваемом центробежными тенденциями локализованного присвоения и центростремительными тенденциями политической консолидации и самоорганизации знати против крестьян и ради внешней защиты или завоевания.

Конечно, в повседневном режиме господство не должно было подтверждаться остротой меча сеньора. В одном из разделов исторической семантики господство (*domination*) было тщательно отлечено от иных форм политической власти [Moraw. 1982]. Господство обозначает практики правления, неотделимые от тела властителя. Оно, следовательно, включает все те социальные практики, которые держат зависимых лиц в подчиненном положении, демонстрируя способность господина править другим сеньорам. Теократические привилегии, чудесные способности исцелять и харизматические жесты лидера были важной частью господства [Kantorowicz. 1957; Блок. 1998; Duby. 1974. P. 48–57]. Правление было также опосредовано специфической сферой благородной репрезентации: демонстративное потребление, щедрость, обустройство роскошных покоев и расточительный поток символов власти — все это связано с делом господства. Медиевисты подробно изучили значение различных образов в ритуалах средневековой власти. Особенно следует отметить кругооборот даров, который был существенной частью сознания благородного класса и явным показателем социального могущества [Ganshof. 1970. P. 43]. Политическая эко-



номия символического воспроизводства, не будучи ни в коей мере знаком иррациональной вычурности, субъективной расточительности или средневекового мистицизма, позволяет увидеть, как выставление напоказ и демонстративное потребление сообщали одновременно представителям знати того же ранга и крестьянам о социальной власти сеньора и его способности как добытчика [Habermas. 1989. P. 5–9]. Поэтому нет ничего таинственного в символической репрезентации, даже для «структуралиста, закаленного более материалистической историографией» [Hall, Kratochwil. 1993. P. 485]<sup>19</sup>.

### *Политическая экономия средневековой территории и границ*

Мы привыкли думать о государствах, поддерживающих суверенитет на четко очерченной территории. Современная территориальность исключительна, она управляется по единому образцу. Дипломатический институт «экстратерриториальности» и принцип невмешательства — классические выражения этой формы международной организации. Средние века предлагают нам прямо противоположную картину. Как правило, средневековая территория оказывалась соразмерной способности правителя реализовывать свои притязания. Следовательно, для того чтобы понять устройство средневековой территориальности, нам нужно обратиться к техникам отправления политической власти в контексте отношений условного держания.

Первым делом следует отметить то, что в феодальной Европе нельзя было провести четкого различия между внутренним и внешним. Везде, где феодал образовывал элементарную ячейку политической территории, властные притязания высших сеньоров на эту территорию опосредовались через вассала. Вассал не мог получить просто бюрократическую директиву через определенные предписания, поскольку он обладал независимой политической властью. Личная лояльность должна была поддерживаться в каждодневном режиме при помощи всех атрибутов средневекового патронажа. Проблема усложнялась, когда феодально-вассальная цепочка охватывала более двух звеньев, так что находящийся на ее нижнем уровне вассал, изначально преданный только своему сюзерену, был лишь условно лоялен —

<sup>19</sup> NB: главным злодеем тут является неореализм!

и то не всегда — тому, кто находился на вершине феодальной пирамиды. В этом случае определенная часть территории была полностью исключена из сферы королевского влияния, но при этом не образовывала ни эксклава, ни части другого государства.

Когда территория покоится на зыбком основании, ее закрепление требует физического присутствия сеньора. В этом отношении перипатетическая природа королевских домов указывает на структурную проблему поддержания действительной власти над определенной территорией. Беспрестанные передвижения королей в более мелком масштабе отражались беспрестанным движением менее значительных сеньоров. Немногие обладали владениями, состоящими из компактных областей. Большинство владений было рассеяно по удаленным территориям, раздробленность которых отражала превратности военных приобретений и политику разделения земли при наследовании. Рассмотрим, например, франко-норманских рыцарей, которые последовали за Вильгельмом Завоевателем в Англию. После завоевания и уничтожения англосаксонского класса землевладельцев, сопровождавшегося перераспределением отнятых земель среди вторгшихся баронов, многие сеньоры оказались владельцами не связанных друг с другом территориальных участков. Вдополнение к наследственным поместьям в северной Франции они теперь должны были управлять новыми землями в Англии, а по мере того, как шло завоевание Британских островов, к ним добавлялись и земли в Уэльсе, в Ирландии или Шотландии [Given. 1990. P. 91–152; Bartlett. 1993. P. 57]. Поэтому непрерывные морские путешествия Вильгельма дублировались странствиями его крупнейших баронов. Англо-норманские сеньоры были, по существу, «сеньорами по обе стороны пролива» [Frame. 1990. P. 53]. Государственная территория по своей протяженности соответствовала формам землевладения правящего класса.

Организация политической власти над средневековой территорией не была единообразной. Если в современных государствах в общем случае нет действительного административного различия между центром и периферией, пограничные области в средневековых государствах — спорные полосы или «марки» — были довольно четко обособлены [Mitteis. 1975. P. 66; Smith. 1995]. Этнические, религиозные, природно-топографические или лингвистические отличия были второстепенными при «демаркации» приграничных районов. Ведь расширение средневе-

ковой территории следовало логике завоевания, то есть политического накопления. Управление периферией отражало попытки совместить уничтожение, приучение и кооптацию местной завоеванной знати с потребностями новообразованных сеньорий завоевателей и более широкими вопросами безопасности «государства». В результате возникала другая дилемма феодальных сюзеренов: поскольку сеньоры «марок» должны были получать особую военную власть, необходимую для командования, дабы они могли эффективно разбираться с беспокойными соседями, они сами становились полуавтономными [Werner. 1980]. Достаточно часто они злоупотребляли своими привилегиями, чтобы создать региональные укрепления. Например, свободы, полученные англо-норманскими сеньорами пограничной полосы Уэльса, пролегающей между самим Уэльсом, контролируемым валлийцами, и Английским королевством, сохранились до XVII в., хотя победоносные кампании короля Эдварда (1282–1283 гг.) обесмыслили само их существование столетиями ранее. В Валлийской марке предписания короля не действовали [Davies. 1989, 1990]. Где же начиналось и где заканчивалось государство в подобных условиях [Smith. 1995. P. 179]? Итак, современным линейным границам в Европе предшествовали зональные приграничные районы, которые оспаривались полунезависимыми сеньорами. Верденский договор (843 г.) разделил Каролингскую империю на три четко очерченных территории. Но хотя это наделило некоторой легитимностью претензии правителей к «собственным» сеньорам, на практике их отношения должны были оговариваться в каждом конкретном случае.

Итак, феодальную территориальность лучше всего зрительно представить как совокупность концентрических кругов распространения власти. Только спорадическая демонстрация королевского владычества над полуавтономными периферийными сеньорами восстанавливала порой чувство связанной территориальности. Как правило, притязания центра на власть заканчивались в приграничных зонах, которые всегда пребывали в состоянии на грани откола, постоянно решая собственные «внешнеполитические» вопросы с близлежащими регионами. Аморфную средневековую территориальность просто невозможно объяснить расхождением недостаточных возможностей центрального управления (коммуникации и правоприменения) и пространственной протяженности [Weber. 1968a. P. 1091]. Она

была укоренена в земельной политической экономии сеньорий. Феодальную децентрализацию поэтому нельзя понимать как случайное решение, затребованное определенным числом экономических, технологических и институциональных недостатков; скорее она оказывается точным выражением определенного режима общественной собственности. А он, в свою очередь, объясняет, почему средства коммуникации и управления не были развиты: феодальные отношения эксплуатации не оказывали систематического давления, которое заставило бы инвестировать в подобные средства и, соответственно, разрабатывать их. Средневековая политическая география является историей сцепления и одновременно фрагментации сеньорий, то есть это феномен организации правящего класса.

*Война и мир: средневековые междоусобицы как легальное возмещение ущерба*

Поскольку средневековая политическая власть была рассеяна среди множества политических акторов, а сам политический актор первично определялся военными возможностями, проблематику войны и мира можно понять только через диффузную олигополию на средства насилия. На этом фоне границы между мирной внутренней политикой и по своей сущности враждебной внешней, между уголовным правом и международным расплылись — в действительности их просто невозможно провести. Каковы следствия такой организации политической власти для способов разрешения конфликтов — то есть для вопросов войны и мира — в Средние века?

Ответ на этот вопрос лежит в интерпретации усобицы [Geary. 1986; Brunner. 1992]. Усобица благодаря конкуренции внутри знати переводила «внутриэкономические» противоречия правящего класса во «внешнеполитические» конфликты. Этот акцент на усобице не предполагает, конечно, что все средневековые войны были междоусобными войнами сеньоров. Только конфликты между феодальными акторами принимали форму усобиц. Принципиальным здесь является то, что мир всегда покоился на шатком фундаменте права знати на вооруженное сопротивление. Поскольку право взяться за оружие было неотъемлемой частью условного держания, легитимная усобица была ограничена исключительно знатью. Хотя своими указами

монархи вновь и вновь пытались поставить уособицу вне закона, им редко удавалось (частичным исключением была Англия) действительно установить мир на своих землях.

«Самопомощь», практикуемая знатью, не была чрезвычайным положением, гражданской войной или же внезапным возрождением преддоговорного гоббсова «природного состояния». Не была она и уолцовой формой реактивной максимизации власти, выводимой из международной анархии. Скорее, она являлась всеобще признанной формой юрисдикционного возмещения ущерба, реализуемого пострадавшей стороной. Все светские представители знати имели право улаживать свои споры силой оружия — в том случае, если они проиграли в суде и, что самое замечательное, если они выиграли, — поскольку в отсутствие верховной исполнительной власти исполнение приговора возлагалось на оправданную сторону.

Можем ли мы в таком случае осмысленно различить уособицу и войну в европейском Средневековье? Бруннер утверждает, что сами жители христианской Европы различали уособицы и войны только по величине конфликта, а не по их основополагающим принципам [Brunner. 1992. P. 33–35]. Он подкрепляет эту интерпретацию указанием на то, что ведение войны (легальной уособицы) между меньшими сеньорами и между могущественными монархами осуществлялось в соответствии с одними и теми же формальными процедурами. Несмотря на частое нарушение этих ограничений или принципов, мы видим в них способ разрешения конфликтов, который (1) применялся как внутри «государств», так и между ними; (2) рассматривался в качестве легитимной формы возмещения ущерба; (3) не покрывался тем или иным отправным международным законом; и (4) адекватно интерпретироваться может только на фоне децентрализованной политической власти, основанной на необходимости локализованного присвоения. Конечно, эти способы разрешения конфликтов могут показаться основанием для системы самопомощи, в которой правым оказывается сильный, однако лишь тогда, когда их абстрагируют от их социальной логики и потому грубо уравнивают современные межгосударственные войны со средневековыми уособицами<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> С неореалистической точки зрения, на самом деле неважно, что является объектом исследования — стычка городских банд или же Европейский союз. В черной ночи неореализма все кошки одинаково серые.

Так же, как не существовало «международного» понятия войны, не существовало и «международного» понятия мира. Сеньоры всегда находились в принципиально не-мирных отношениях, будь то внутри «государств» или между ними. Они были агентами войны и мира. Поскольку власти, поддерживающие мир, были «функционально дифференцированными», их усилия отражали иерархию миротворцев (королевский мир, божий мир, мир земли, мир городов, мир сеньоров) и были направлены на умиротворение воинственных по своей сути отношений внутри знати. Словаря анархии и иерархии недостаточно для понимания такого положения дел. Механизмы умиротворения, в свою очередь, были весьма разнородными, соответствуя многообразию публичных феодальных акторов. Позвольте мне проиллюстрировать это многообразие способов умиротворения при феодальных отношениях собственности, рассмотрев деятельность епископов в X в.

Попытки установить мир в период «Феодальной революции» X в. [Wickman. 1997] всегда исходили от региональных епископов. Мотивом для епископского движения за мир были не абстрактные представления о ненасилии или моральной теологии и даже не сострадание к тяжело страдающему крестьянству, которое испытывало на себе натиск мародерствующей знати. На самом деле они были прямой реакцией на набеги сеньоров на Церковь и казну [Duby. 1980; Flori. 1992a. P. 455–456; Brunner. 1992. P. 15]. В отсутствие королевской защиты, иммунитет, дарованный Церкви, не давал правовой и военной защиты. В этой неустойчивой ситуации духовенство, единственная часть производящего класса, которая не носила оружия, выработала долгосрочный светский интерес к установлению разных видов мира, необходимых для поддержания своего социально-экономического базиса. В то же самое время епископы сами начали носить оружие. Однако наиболее эффективным средством в их руках стал привилегированный доступ к инструментам духовного воспроизводства. Говоря более грубо, монополия на средства спасения обеспечила их предпочтительным инструментом церковного вмешательства в светские дела, использовавшимся в догрегорианской церкви, а именно отлучением [Poly, Bournazel. 1991. P. 154]. Не стоит обманываться духовными коннотациями этого инструмента — это был не просто моральный капитал духовенства, но и эффективное средство

исключения из правового сообщества, которое влекло за собой катастрофические социальные и материальные последствия. Отлучение было равнозначно сегодняшней потере гражданства [Vermau. 1983. P. 114; Geary. 1986. P. 1119–1120].

Что же в таком случае означали *pax dei* и *treuga dei*<sup>21</sup>? Движения за мир, руководимые епископами, не стремились поставить междоусобицу вне закона, да и не могли этого сделать, поскольку демилитаризация подорвала бы сам *raison d'être* рыцарского образа жизни. Скорее, они стремились ограничить и урегулировать закон кулака, перечислив исключения, способные послужить предлогом для войны. Сначала эту регуляцию они осуществляли в терминах лиц и объектов (божий мир), а затем в терминах времени и пространства (Божье перемирие). В общем, движения за мир были сознательной стратегией примирения, разработанной невооруженным духовенством, а также попыткой тех, кто пострадал в наибольшей степени, сдержать феодальный кризис X–XVII вв. И эта попытка была осуществлена еще до того, как вновь укрепившиеся монархии начали восстанавливать мир публичными средствами.

## 5. ФЕОДАЛЬНЫЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ»: ПО ТУ СТОРОНУ АНАРХИИ И ИЕРАРХИИ

Каков был структурирующий принцип «международной» организации в европейском Средневековье? Как мы видели в первой главе, Уолц, Краснер, Рагги и Спрут согласны с тезисом об анархической природе Средних веков. Теперь мы можем оценить это утверждение и перестроить проблематику анархии/иерархии, подвергнув структуры сеньории историзации. Сфокусировавшись на изменяющихся формах сеньории, которые задавали разные способы доступа к собственности, мы получаем критерий различения политического устройства средневековых геополитических порядков, не теряя из виду их базовое тождество. Поскольку все эти изменения в феодальных правах собственности проистекали из общественных отношений, которые подкрепляют изменяющиеся геополитические контексты — феодальные империи (650–950 гг.), феодальную анархию (950–1150 гг.)

<sup>21</sup> *Pax dei* (лат.) — Божий мир; *treuga dei* (лат.) — Божье перемирие. — Примеч. пер.

и феодальную систему государств (1150–1450 гг.). Другими словами, феодальные геополитические порядки были полностью обусловлены тем, в какой мере класс землевладельцев обладал политическими возможностями извлечения прибавочного продукта. Однако, хотя изменения в отношениях собственности объясняют различия структурирующих принципов, эти принципы не определяют геополитическое поведение, а лишь опосредуют логику геополитической аккумуляции.

### *Баналитет, поместная сеньория и землевладение*

В литературе различают три господствующих формы сеньории в европейские Средние века [Duby. 1974. P. 174–177]<sup>22</sup>. *Баналитет* (banal lordship) означает, на что могла претендовать средневековая публичная власть, а именно: королевские полномочия отдавать приказы, взимать налоги, наказывать, выносить судебные решения и выпускать указы. Баналитет обеспечивал наиболее полной формой господства и эксплуатации, задавая то, что Дюби назвал «господским классом» внутри средневекового правящего класса [Duby. 1974. 1976]. *Поместная сеньория* (domestic lordship) была превалирующей формой господства в классическом двухсоставном маноре каролингской эпохи. В этом случае земля сеньора была разделена на поместье сеньора, обрабатываемое зависимой рабочей силой и крестьянами во время отбывания особых повинностей, и окружающие крестьянские надель, возделываемые самостоятельно крестьянами-арендаторами. «Господские люди» не допускались в публичные суды, также они не должны были платить государственных налогов. Они были подчинены исключительно манориальному контролю [Блок. 1957. С. 128]. *Землевладение* (landlordship) возникло в различных областях Западной Европы в период с конца XII в. до конца XIV в. В этом случае личный характер отношений — и между сеньором и вассалом, и между сеньором и крестьянами — уступил место собственническому характеру распоряжения землей. Западноевропейское континентальное крестьянство было освобождено (конец крепостничества), ему удалось зафиксировать уплачиваемую сеньору ренту и подати в крестьянских хартиях

<sup>22</sup> В немецкой терминологии различаются *Leibherrschaft*, *Banngrundherrschaft* и *Abgabengrundherrschaft* [Rösener. 1992. S. 10–13].



[Brenner, 1996]. Сеньоры лишились своего права отдавать приказы и взимать налоги. Поместье, а с ним и трудовые повинности, утратили свое значение в сравнении с натуральным и во все большей степени денежным оброком (монетаризация).

*Условная иерархия, персонализированная анархия, территориальная анархия*

Как специфические конструкции сеньории нашли выражение в расходящихся структурирующих принципах «международных систем» в период Раннего, Высокого и Позднего Средневековья?

Каролингская империя была построена на совмещении баналитета, которым обладал император и его чиновники (*missi*, графы), поместной сеньории менее значительных сеньоров, эксплуатирующих свои поместья, и свободных крестьян, обладающих оружием. В империи существовала слабая презумпция иерархии. Император вручал всем представителям знати земли, феодалы не были наследуемыми, Церковь все еще была политически включена в империю, а баналитет превосходил права отдельных сеньоров.

Несмотря на это, тезис об иерархии должен быть ослаблен, поскольку император не являлся главой государства; он был высшим вассальным сеньором, оставаясь поэтому связанным условиями двустороннего вассального договора. Претензии на властную иерархию еще в большей степени были подорваны распространением иммунитета церковных владений, защищающего их от имперского вмешательства. То есть царил *условная иерархия*. Хотя вместе с королевским правом существовало множество конкурирующих автономных источников права, условная иерархия следовала из того факта, что политико-военная и теократическая власть императора имела приоритет перед властью имперской аристократии и более мелких сеньоров. Разговор об условной иерархии покоится, естественно, на том предположении, что Империю можно, прежде всего, представлять в качестве «международной системы». Такой взгляд оправдан в той мере, в какой империя состояла из множества связанных межличностными договорами полунезависимых политических акторов, чьим *ultima ratio*<sup>23</sup> было законное использование оружия.

<sup>23</sup> *Ultima ratio* (лат.) — последний довод, решающий довод. — Примеч. пер.

Это возвращает нас к проблеме «внешнего суверенитета», определяемого как исключительная способность заключать договоры, объявлять войны и посылать дипломатических представителей. Хотя только император мог отправлять все эти функции от имени Империи, каролингские магнаты вступали во все подобные формы международных отношений — и не только с «внешними политическими акторами», но и друг с другом [Ganshof. 1970; Mattingly. 1988. P. 23]. В конечном счете, мы должны исследовать отношение Империи к окружающим ее политическим образованиям и державам. Ряд соседних политий был связан с франками отношениями вассальной зависимости или уплатой дани, хотя в то же время они не были встроены в саму Империю. Такие политические образования подчинялись каролингскому сюзеренитету. Некоторые из них, однако, были вне сферы франкского влияния (Византийская империя, Кордовский халифат и королевства Британских островов). В этом более широком геополитическом контексте Франкская империя была гегемоном.

После завершения франкской экспансии начался распад Империи, который шел с середины IX столетия, высвобождая ее строительные блоки — сеньории. Местные сеньоры начали узурпировать баналитет. Они «приватизировали» высшие юридические полномочия, обложили своих «подданных» налогами, территориализировали свои феоды, начали передавать земли по наследству, введя соответствующее право, и сделали оставшихся свободными крестьян своими крепостными [Bonassie. 1991b]. Слияние баналитета и поместной сеньории в период «феодальной революции» превратило феодальное владение в действительно независимую *сеньорию* в полном смысле слова. Этот неравномерный в хронологическом и территориальном отношении процесс достиг своего пика в XII столетии, но был ограничен западным королевством из-за постоянной угрозы завоевания, исходившей с западной границы. То, что некогда было консолидированным политическим образованием, превратилось в множество небольших конфликтующих друг с другом единиц. Распространение междоусобиц и милитаризация привели к «феодальной анархии». К власти стали восходить шателены (владельцы замков) и рыцари. Французский король стал актором, равным всем прочим. Такая конфигурация заставила медиевистов говорить о «второй феодальной эпохе» и «дробле-

нии суверенитета» [Блок. 2003; Miteis. 1975]. Если мы рассматриваем эту политическую структуру в качестве «международной системы», то должны назвать ее анархией «функционально дифференцированных» акторов — анархией, основанной на изменениях в собственнических паттернах класса землевладельцев. Поскольку, однако, фрагментация политической власти шла вниз по лестнице территорий вплоть до наименьшей конфликтной единицы, шателена или даже просто рыцаря, я буду называть ее *персонализированной анархией*. Каждый сеньор был сам по себе конфликтной единицей.

Наконец, новое разделение поместной сеньюальной власти и баналитета возникло в период реконсолидации феодальных государств, начавшись в конце XII в. И если баналитет был заново присвоен крупнейшими магнатами и даже монополизирован несколькими королями, землевладение стало основой воспроизводства знати на собственной земле. «Незаконнорожденный феодализм» преобразовал феодальные военные службы в платежи вышестоящему сеньору. Во Франции сеньоры все больше привлекались на службы крупнейшими магнатами. Восстановление высших королевских дворов, в свою очередь, стало результатом соревнования между оспаривающими позиции друг друга сеньоров. К XIII в. конкуренция дала толчок закреплению баналитета в руках дюжины конкурирующих принципалов, среди которых во Франции на первое место вышли Капетинги [Hallam. 1980]. Хотя вассальные отношения между крупнейшими конфликтующими единицами (даже король Англии номинально оставался вассалом короля Франции вплоть до XV столетия) по-прежнему подрывали представление об исключительной территориальности, их значение начало уменьшаться по мере того, как феодальные службы заменялись структурой налогов/должностей, присущей более централизованным государствам. Это означало возникновение феодальной *не-исключительной* территориальной анархии в Позднем Средневековье. Следует подчеркнуть неисключительность территориальности этой формы, поскольку землевладельцы обладали значительной политической властью над своими крестьянами; появляющиеся города, основанные на городском законе, освобождали самих себя от контроля сеньоров; а реформированный институт папства, пользуясь транснациональным каноническим законом, начал заявлять свои претензии на власть.

\* \* \*

В общем, поместная сеньория в соединении с королевским баналитетом поддерживали раннесредневековое формирование империи, которое длилось, пока франки продолжали покорять окружающие их племена. Ее структурирующим принципом была условная иерархия (внутренняя условная иерархия, внешняя ограниченная гегемония). Далее — расцвет «феодальной анархии» был связан со строго персонализированным баналитетом. *Персонализированная анархия* выдвинула на передний план внутренне неустойчивый базис формирования феодального государства в локализованных условиях присвоения (внутренняя иерархия, внешняя персонализированная анархия). Наконец, разделение баналитета и землевладения позволило публичной власти снова закрепиться. Не-исключительная территориальная анархия возникла между элементами системы феодального государства (внутренняя условная иерархия, внешняя гетерономная анархия).

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Эта глава началась с того предположения, что характер международных систем отражает природу их конститутивных единиц, которые сами определяются особыми отношениями общественной собственности. В средневековом геополитическом порядке отсутствовало различие как внутреннего/международного, так и экономического/политического. Такое двойное отсутствие можно объяснить на основе особых отношений эксплуатации, существовавших между сеньорами и крестьянами. Институтом этих отношений стала сеньория — конститутивная единица феодального порядка, обеспечивающая политический доступ к продуктам крестьянского труда. Реагируя на коллективное крестьянское сопротивление и на потребность во внешних завоеваниях и внешней защите, сеньоры организовались в «государство ассоциированных лиц». «Государство» гарантировало сохранение собственности и жизни сеньоров. Феодальное воспроизводство следовало логике политического накопления, являясь одновременно «экономическим» (в отношении сеньор—крестьяне) и политическим (в отношении сеньор—сеньор) процессами. Однако связь между индивидуальным присвоением

знати и правом на сопротивление, зафиксированным в благородном праве на ношение оружия, исключало государственную монополию на средства насилия. Поэтому отношения между сеньорами были по определению и не «международными» (то есть не анархичными), и не внутренними (то есть не иерархичными). «Суверенитет» был разделен между сеньорами, занятыми политическим присвоением.

Теория общественных отношений собственности не только подтверждает общее возражение неореализму, не сумевшему выделить генеративную грамматику и трансформативную логику, но и ставит под вопрос именно ту посылку, что в средневековой Европе существовал явный международный уровень, теорию которого можно построить, абстрагируясь от логики воспроизводства феодального общества. Государство и рынок, внутреннее и международное еще не были обособлены в качестве отдельных сфер. Как же тогда возникло это двойное различие — между внутренним и международным и между экономическим и политическим? *Differentia specifica* европейского опыта состоит именно в образовании множества государств. Тогда первостепенный вопрос — как в Европе образовались именно множество политических сообществ? Чтобы ответить на него, мы должны обратиться к логике, скрывающейся за разложением последней пан-европейской империи — Империи Каролингов. Я предполагаю, что формирование множества государств, в ходе которого складывалось различие между внутренним и международным, и капитализм, приводящий к различию политического и экономического, не были в географическом и хронологическом отношении процессами, определившими друг друга. Сначала произошло образование множества государств.

### III. Формирование многоакторной Европы в Средневековье

Феодалный способ производства, по своему характеру «донациональный», объективно подготовил возможность многонациональной государственной системы в эпоху, последовавшую на переходе к капитализму.

*Андерсон. 2010. С. 381*

#### 1. ВВЕДЕНИЕ: ОТ ИЕРАРХИИ К АНАРХИИ

**В** X в. европейский геополитический порядок сместился от имперской иерархии к феодальной анархии, а затем — и к анархии королевской. Это смещение является синонимом перехода от Раннего к Высокому Средневековью. Ход этих трансформаций в системе-структуре может быть разделен на четыре главные фазы. Распад Каролингской империи в IX в. (1) привел к развитию крайне фрагментированного в политическом отношении режима баналитета в период кризиса начала тысячелетия (2). Эта новая конфигурация собственности обусловила массовую четырехстороннюю геополитическую экспансию XII в., которая привела к распространению феодальных отношений эксплуатации на европейской периферии (3). В последовавшие за кризисом столетия режим баналитета сам был трансформирован в результате нового регионального упрочения публичной власти феодальных королей (4). Результатом стала анархическая система, составленная из множества феодальных королевств, которые уже не были географически ограничены старым каролингским центром, покрывая весь европейский континент и образуя систему феодальных «государств». Эти политические образования были организованы межличностными связями и неисключительной территориальной юрисдикцией. Они были характерными для европейского геополитического порядка вплоть до кризиса XIV в. и заложили основу европейской системы государств, которая была закреплена в ранненововековом периоде в виде политического плюриверсума. Поэтому начала многоакторной Европы следует искать в классовых конфликтах, разразившихся около 1000 г.

Каролингская империя была последним политическим сообществом, которому удалось успешно реализовать властные претензии на территории всей романской Европы. Хотя арабская Испания, Британские острова, Скандинавия и Восточная Европа оставались вне сферы ее влияния, государство франков удерживало земли Восточной и Центральной Европы под контролем единой политической власти. Себя оно рассматривало в качестве законного правопреемника Рима, объединяя религиозное и политическое могущество в теократической концепции имперской власти. Процесс разложения империи и последующего укрепления политической власти в множественных и преобразованных формах оказывается для теории МО весьма сложной задачей, которая требует расшифровки его причин, оснований, хронологии, формы, динамики и последствий.

В теоретическом отношении, полицентричный характер нововременной системы государств невозможно постулировать в качестве трансгисторической данности, как могли бы предположить неореалисты. Также его невозможно тавтологически вывести из международной конкуренции как таковой. Нельзя объяснить его и как результат цепочки международных мирных договоренностей или изменений в коллективной идентичности политических сообществ, как предполагает конструктивизм. Также не получается дедуцировать его из «логики капитала», вопреки заявлениям некоторых марксистов. Чтобы показать, что основание многоакторной Европы уже было заложено в период между IX и XI вв., эта глава, построенная на теории общественных отношений собственности, должна углубиться в природу Каролингской империи и в причины ее распада. Именно в начале тысячелетия по центральным районам Империи франков распространяется новая форма сеньории. Пришедшая с ней новая схема общественных отношений оказалась решающей для долгосрочного общественного и политического развития Европы. В результате «феодальной революции» был учрежден новый способ политического господства и экономической эксплуатации, повлекший серию тесно связанных инноваций. В социальном отношении она изменила статус непосредственных производителей — из рабов и свободных крестьян они перешли в положение крепостных или сервов. В политическом отношении она повлекла затяжной кризис публичного правления, приведший к феодализации политической власти. В военном отно-

шении она подтолкнула к внутренней дифференциации знати, связанной с возникновением класса рыцарей. В геополитическом отношении она стала начальной отметкой для процесса «политического накопления», осуществляемого знатью, который привел к четырем экспансионистским движениям, позволившим позднефранкским сеньорам выйти за пределы ядра Каролингской империи. За восемьдесят лет постфранкские рыцари смогли утолить свою жажду новых земель, завоевав восточное Средиземноморье (первый крестовый поход 1096–1099 гг.), Пиренейский полуостров (Реконкиста 1035 г.) и обширные земли к востоку от линии рек Эльбы—Заале (*Deutsche Ostsiedlung* — немецкое расселение на восток). Выйдя из испытаний феодальной революции начала тысячелетия, политические сообщества, основанные на сеньориях, распространились по всей Европе, что оказало значительное влияние на региональное формирование государств в период Позднего Средневековья и раннего Нового времени. Рыцарская экспансия продолжалась вплоть до XV в., задавая институциональные и географические параметры международной организации ранненововой системы государств.

Значение этого сдвига от имперской иерархии к королевской анархии не только в том, что это пример фундаментального структурного изменения. Его влияние на формирование вестфальской и нововременной системы государств гораздо обширнее. Развал Франкской империи не только оказал долгосрочное влияние на пространственную конфигурацию нововременной системы государств, но и определил региональные траектории формирования отдельных государств. В последующих главах я продемонстрирую эти расхождения, взяв в качестве базового примера траектории двух главных европейских государств — Англии и Франции. *In nise*, если Англия в XVII в. под влиянием сформировавшегося в результате эндогенных процессов капиталистического режима аграрной собственности превратилась в парламентскую конституционную монархию (то есть в первое нововременное государство), то Франция оставалась абсолютистским государством, основанным на некапиталистической аграрной экономике. И именно Франция «Старого порядка» определила характер Вестфальского соглашения, которое теория МО ошибочно интерпретирует в качестве начала нововременных международных отношений. В результате, хотя форми-



рование французского государства привело к абсолютистскому суверенитету как краеугольному камню Вестфальской системы государств, складывание английского государства вылилось в капиталистический суверенитет, ставший основанием для поствестфальской, то есть нововременной, системы государств. Эти расходящиеся траектории определены различными отправными точками формирования феодального государства, которые сами возникли в результате регионально различных решений кризиса X в. Следовательно, переход от Средневековья к Новому времени не только предварялся геополитической трансформацией сходной исторической величины и сходного теоретического значения, он произошел в международном контексте, который уже был оформлен этим предварительным эпохальным изменением и переходом от имперской иерархии к королевской анархии.

Чтобы проследить этот процесс, в этой главе я обращаюсь к другому методологическому инструментарию. В предыдущей главе я показал уникальное содержание некоторых ключевых средневековых понятий. Такое аналитическое изложение позволило определить специфику этих макрофеноменов внутри общего феодального порядка. В этой же главе я, напротив, пытаюсь перевести эти средневековые формы в поток истории или растворить их в нем. Это изменение точки зрения и переход от сравнительно-систематического метода к историческому объясняет изменение в стилистике, которая предполагает теперь не столько понятийное, сколько повествовательное изложение, не жертвуя при этом строгостью социально-научного исследования. То есть в этой главе будет реконструирована *история общественных отношений сеньории*.

В предыдущей главе я показал, что наблюдаемый поток истории оживляется противоречивыми стратегиями феодального и крестьянского воспроизводства. Средневековые правила классового воспроизводства, конечно, не были просто стихийными способами обеспечения материального воспроизводства, осуществлявшегося в социальном метаболизме с природой. Они не могли быть изменены произвольно. Скорее, эти способы действия проистекали из особых структур господства и эксплуатации — институтов сеньории, — были вписаны и включены в них. Именно внутри изменчивых форм сеньории вступали в коммуникацию, разыгрывались и получали временное решение антагонистические интересы непосредственных производителей

лей и производителей. Следовательно, диапазон социальных действий внутри институтов сеньории был достаточно ограниченным. И наоборот, эти структуры сеньории не налагали на социальное действие абсолютных, вечных и неизменных ограничений. Хотя они постоянно сознательно воспроизводились, но не были защищены от вызовов, поэтому их нельзя «замораживать» или реифицировать в виде «железных клеток повиновения» — идеальных типов. Люди не по своей воле вступают в отношения, которые не ими были выбраны или созданы; они усваивают их и субъективно интериоризируют, в то же время пытаясь их упрочить или выйти за их пределы, — таков пульс истории. Ограниченное произвольное действие и определяющие действие социальные институты образуют диалектический узел, открытый для качественных трансформаций. Хотя обычный социальный конфликт в период европейского Средневековья предполагал рутинные количественные изменения объема ренты — которая могла иметь форму оброка (натурального или денежного) и барщины, — во времена обострения борьбы за распределение дохода оспаривались сами институты извлечения прибавочного продукта. Другими словами, хотя рутинной формой социального взаимодействия является конкуренция и переговоры на базе неявно принимаемых или открыто признанных правил, поддержание правил может смениться их критикой. Условиями структурного изменения является общий социальный кризис; именно тогда происходят качественные изменения в структурных отношениях. Институциональное изменение возникает из конкурентного и неустойчивого силового поля противоречивых общественных интересов.

Невозможно предсказать точное время и направление исторического изменения — их можно лишь ретроспективно осмыслить. Однако баланс классовых сил во времени и пространстве, как и степень сплоченности и солидарности внутри каждого из классов, являются определяющим фактором объяснения процесса установления новых институтов воспроизводства и господства — политических сообществ. Только тогда, когда структурные, «десубъективированные» долгосрочные влияния — будь они демографическими, технологическими, геополитическими или коммерческими, — понимаются как продукт определенных отношений общественной собственности, а их влияние на человеческие действия преломляется через решения

исторических агентов, — только тогда ход истории приобретает определенное направление, а его значение становится познаваемым. Поэтому история, не будучи ни случайной или произвольной, ни телеологически определенной или предзаданной, все равно может быть рационально объяснена и подвергнута критике<sup>1</sup>. В этой главе я пытаюсь выяснить, как противоречивые классовые стратегии воспроизводства изменили ход европейской истории и особенно геополитическую конфигурацию власти в 800–1350 гг. Такая динамическая история покажет, почему этот период можно понять не в качестве последовательности абстрактных международных систем, а лишь как кризисный процесс, в котором геополитические отношения возникли из воспроизводства конкретных, но изменяющихся обществ, держав в итоге само их изменение.

## 2. КАРОЛИНГСКАЯ ИМПЕРИЯ

Чтобы понять значение эпохального сдвига, который произошел к 1000 г., и определить его главных действующих лиц, нам сначала потребуется кратко описать природу Каролингской империи.

### *Наследственная природа Франкского государства*

В период своего расцвета Каролингская империя VIII–IX вв. включала в себя всю Галлию (в том числе Септиманию и Бретань), западную и южную Германию (в том числе Саксонию, Фризию, а также отдельные части среднедунайского региона), северо-восток Пиренейского полуострова, а также ломбардскую Италию. В институциональном отношении она покоилась на особой комбинации публичных, то есть «римских» элементов и феодальных, то есть безличных или «германских» элементов [Андерсон. 2007; Mitteis. 1975. P. 7–23; Tabacco. 1989. P. 109–124]. В кульминационный период после коронации в империи была создана жесткая структура публичных должностей, управляемых графами и виконтами, которая возвышалась над

<sup>1</sup> По Гегелю, история является разрешением противоречий, которые истолковывают сами себя. Философия поддерживает неокончателность этих решений. Социальная наука примеряет к себе роль совы Минервы и обнажает ретроспективную интеллигибельность этих решений.

зарождающимися вассально-ленными отношениями между отдельными сеньорами [Ganshof. 1971a; Mitteis. 1975. P. 53–72; Nelson. 1995]. Назначаемые должностные лица, рекрутируемые из среды имперской аристократии или же кооптируемые из представителей завоеванной знати, получали государственные «должности», становясь графами, епископами, аббатами или королевскими вассалами. Срок их службы заканчивался по имперскому распоряжению или в результате их смерти. Графы председательствовали в судах, надзирали за королевскими владениями, собирали налоги и королевские пошлыны [Nelson. 1995. P. 410–414]. Должность разъездного королевского «посланца» (*missus*), бывшая в Каролингском государстве весьма почетной, дополняла судебную систему [Werner. 1980. P. 220]. *Missi* были временными, но полновластными королевскими инспекторами, исходно наделавшимися обязанностью судебного, фискального и военного надзора за земельными графами, они обладали правом отменять судебные решения и наказывать за злоупотребления в публичных судах и судебные ошибки. Находясь в постоянном движении между странствующим имперским двором и собственными округами, эти безземельные *missi* к 800 г. сформировали главный столп имперского государственного правления, центральный инструмент управления и «государственности». Хотя франкские должностные лица существовали — как позднее вассалы — благодаря прибыли от публичного судопроизводства и ренты, получаемой с пожалованных земель (*comitatus*), их посты изначально были отзываемыми и ненаследуемыми, что обеспечивало относительно высокий уровень централизации власти.

Эта структура должностей зависела от сильной королевской власти, знаком которой служила монополия короля на бан — право собирать налоги, отдавать военные приказы, обнародовать декреты и выносить главные судебные решения. Королевская власть была по своему характеру династической, наследуемой и личной, то есть патримониальной. Она рассматривалась в качестве личного свойства самого короля. В то же время догрегорианское папство оставалось политически подчиненным императору, а земли Церкви были включены в королевские земли. Церковная организация подчинялась царствующей династии, она систематически использовалась для построения имперской церковной системы (*Reichskirchensystem*). На ее по-

сты обычно назначались королевские фавориты или вассалы. Главный момент, составляющий разительный контраст с феодальными политическими структурами, возникшими в новом тысячелетии, состоит в том, что каролингская монархия была теократией. Институты политической сферы не были независимыми от институтов сферы религиозной. Горнее и долнее еще не были разделены.

Строго говоря, в средневековом контексте политическая централизация является анахронизмом. Как и в большинстве «средневековых» государств, в Империи не было практически никакого центрального управления, никакой централизованной судебной-административной системы или же системы сбора налогов [Ganshof. 1971a]. Средневековые короли не управляли и не руководили с использованием хорошо выстроенной бюрократии: они царили. Практика господства была неотделима от физического тела сеньора. Средневековое правление было персонализированным. В этом отношении перипатетический характер императора и его окружения, постоянно объезжающих свои палатинаты и пользующихся правом пребывания при дворах высшей знати, сам указывает на структурную проблему, связанную с осуществлением эффективной и постоянной надличностной власти в условиях локализованного политического присвоения и отсутствия монополии на средства насилия.

#### *Дуальные общественные отношения собственности во Франкском государстве*

Необычайный уровень стабильности, внутреннего мира и общественного порядка в период царствования Карла Великого — *Pax Carolina* — были определены особым режимом общественных отношений собственности. Этот режим сформировал условия для успешной внешней агрессии, которая в свою очередь санкционировала внутренние институты Империи.

Во внутренних отношениях сосуществование иерархической командной структуры, завершающейся на короле, и в большей мере взаимных вассально-ленных отношений было основано на особом двустороннем режиме общественных отношений собственности. На одном уровне классический каролингский двухсоставной манор наделял местных сеньоров абсолютной властью над своими подчиненными. Манор был разделен на

сеньоральный домен, обрабатываемый рабами и крепостными, лично связанными с поместным сеньором, и наделы, обрабатываемые теми же крестьянами ради получения жизненных средств [Duby. 1968. P. 25–58; Verhulst. 1995. P. 488–499]. На втором уровне значительное, хотя и постоянно уменьшающееся число свободных, носящих оружие крестьян было подчинено исключительно королевским графам, собиравшим с них налоги и рекрутировавшимся из числа привилегированной имперской аристократии франков [Duby. 1974. P. 31–47; Goetz. 1995. P. 451–480]. Результатом этой дуальной структуры собственности стало особое разделение политических компетенций и прав на эксплуатацию между монархом с его имперской аристократией и местной знатью, что позволило смягчить конкуренцию внутри знати благодаря эксплуатации различных слоев крестьянства. Если говорить схематично, есть король/император, напрямую собирающий налоги со свободного, аллодиального крестьянства при помощи своих графов, а с другой стороны — местная знать, получающая трудовую или натуральную ренту от собственных рабов или крепостных на собственных манорах. Такая раздельная эксплуатация крестьянства породила жизнеспособную систему классовых альянсов. Свободное крестьянство оставалось защищенным королевскими институтами от амбиций местных сеньоров, тогда как король имел постоянный источник доходов, оставляя нетронутыми владения местных сеньоров и связанную с ними рабочую силу. Поэтому трения между имперской аристократией и местной знатью оставались в латентном состоянии.

И все же эта классовая конфигурация оставалась подвижной, заключая в себе семена конфликта внутри правящего класса. Публичные должностные лица не получали жалование из государственной казны, а должны были обеспечивать свое существование посредством политических прибылей, получаемых благодаря исполнению своих публичных функций, в частности посредством взыскания пеней и штрафов. В этом отношении каролингские чиновники были не государственными функционерами, а полноправными физическими представителями короля, по доверенности от него владеющими баналитетом. Кроме того, пожалование должности совмещалось с наделением земельным обеспечением, так что «публичные» представители одновременно были «частными» сеньорами, получающими не-

зависимые источники дохода и потому способными поддерживать собственный вооруженный кортеж. Дабы противостоять угрозе раскола, каролингские правители все больше и больше вынуждены были требовать, чтобы их подчиненные приносили клятву верности взамен на землю, которая поэтому вручалась лишь условно. Эти личные и неформальные узы (вассалитет) обеспечивали дополнительный уровень центрального контроля, но не могли устранить основную проблему: держатель должности обладал независимым основанием власти. Решающим пунктом является то, что отстранение нелояльного графа зависело *in concretu* от способности вышестоящего правителя отделить держателя должности от его сеньории (*comitatus*) в ходе междоусобного столкновения. Должностное лицо никогда не отделялось от средств управления — что для Вебера является сущностью современной бюрократии. Эта конститутивная и неустойчивая связь между должностью и землей определяла большую часть внутренней и внешней властной борьбы периода феодализма.

#### Франкское «политическое накопление»

Относительную стабильность Каролингской политической организации нельзя отделять от укрепляющих государство последствий франкских стратегий политического накопления, реализовавшихся внутри более широкой системы геополитических отношений. Во внешней сфере скрытый конфликт между имперской аристократией и менее значительными сеньорами смягчался непрерывными меровингскими и каролингскими циклами завоеваний — и, соответственно, повышалась стабильность могущественного каролингского государства [Haldon. 1993. P. 213], поскольку класс держателей земель привязывался к высшему военачальнику, постоянно занятому систематическим распределением завоеванных земель и иных трофеев [Duby. 1974. P. 72–76; Reuter. 1985; Bonnassie. 1991a]<sup>2</sup>. Империя была государством завоеваний, а ее экономика в значительной

<sup>2</sup> Собственно наступательные войны были уделом конной имперской аристократии, тогда как милиция свободных крестьян мобилизовалась только в оборонительных целях, то есть в случае возможного вторжения врага, когда завоевывать было нечего, а потерять можно было все.

степени — «военной». Королевский баналитет оставался абсолютным до тех пор, пока королю или императору удавалось обеспечивать своих аристократических спутников возможностями личного обогащения. Каждую весну франкские короли собирали свое вассальное воинство, чтобы начать кампании, длившиеся все лето и поддерживаемые коллективной агрессивностью франкского правящего класса. Таким образом поддерживалось движение самовоспроизводившегося цикла военных кампаний, распределения трофеев и солидарности правящего класса. Богатства франкского правящего класса — и, соответственно, франкского государства, — в значительной степени покоились на политической экономике войны. В то же время франкская аристократия была вынуждена предпринимать карательные экспедиции против покоренных, но строптивых народов, управляемых разнящимися в этническом отношении и зачастую языческими аристократиями, продолжающими смертельную битву с франкскими захватчиками даже после того, как их территории были включены в империю. Поэтому значительные части каролингского государства напоминали зоны военной оккупации, а не действительно интегрированные в империю регионы (в их числе особо выделяются Саксония, Бретань и Аквитания). Однако, пока империя могла успешно осуществлять завоевания и расширение — то есть примерно до Верденского договора 843 г., который закрепил разделение империи, — солидарность внутри правящего класса цементировалась благодаря обороту порожденных войной «даров», что сохраняло относительно устойчивую структуру публичного правления. Это и было «Каролингское возрождение» — альянс коварной аристократии и императора, который был компетентным, терпимым и щедрым в случае побед, оставаясь при этом безжалостным и жестоким в случаях неповиновения [James. 1982. P. 158]<sup>3</sup>.

Итак, сопряжение такого внутреннего устройства общественных отношений собственности и экспансионистской стратегии геополитического накопления обеспечило Каролингское государство социальным основанием. В пределах империи среди

<sup>3</sup> То, как Карл Великий расправлялся с непокорной знатью, хорошо демонстрируется знаменитой кровавой баней на берегу реки Аллер, где франки уничтожили 4000 свободных саксонцев в ходе затяжного завоевания Карлом Саксонии.



членов правящего класса царила условная иерархия. Более мелкие соседние политические образования — Богемия, Паннония, Хорватия, Беневенто или Бретань — должны были оплачивать франкскую гегемонию регулярной данью [Ganshof. 1970. P. 19–55]. Только более крупные политии — Византийская империя, Кордовский халифат, англосаксонские и скандинавские королевства, а также Абассидские халифы Багдада — оставались за пределами франкского контроля. Симптомом отсутствия ограниченной территориальности в условиях феодальных отношений собственности было то, что «посол, используемый для иностранной миссии, и королевский или имперский посланник [*missus*], отправляемый с поручением в тот или иной регион королевства, были двумя видами одного и того же рода» [Ganshof. 1971b. P. 164]. Хотя в Каролингской империи никогда не было централизации, сравнимой с той, которой пользовалась ее предшественница — Римская империя, романская Европа тем не менее оставалась объединенной в рамках одной расширяющейся феодальной империи вплоть до IX в.

### 3. ОБЪЯСНЕНИЕ ПЕРЕХОДА ОТ ИМПЕРСКОЙ ИЕРАРХИИ К ФЕОДАЛЬНОЙ АНАРХИИ

#### *Закат Каролингской империи*

Однако примерно к 850 г. возможности внешних завоеваний были исчерпаны [Reuter. 1985, 1995]. Наступательные кампании превратились в оборонительные войны. Викинги, венгры и сарацины совершали глубокие рейды в центральные части Каролингской империи, обращая логику грабежа против франкских сеньоров. Этот поворот в судьбе Каролингской империи частично был определен тем, что можно было бы назвать ранней версией имперского перенапряжения — несоответствием между геополитическими амбициями и ресурсами, нужными для поддержания *Pax Carolina*, которые были еще больше ограничены сложной логистикой военных кампаний на больших расстояниях [Дельбрюк. 2001. С. 24]. Но также он был определен восстановлением соседних народов, которое нельзя отделять от изменений их внутренних способов социальной организации и господства.

В условиях ослабления имперской власти глубокий кризис солидарности правящего класса привел к постепенному дроблению имперского государства. Недовольные сеньоры начали узурпи-

ровать публичные должности, чтобы возместить упущенные доходы; они стали создавать личные военные свиты, распределяя земли, а также передавать по наследству «свои» феоды. После завершения победоносного расширения империи перемещающиеся инспекторы-*missi* стали оседлыми, а их функции стали делегироваться или присваиваться управляющими определенными землями графами и маркграфами. Административные округа постепенно потеряли свой публичный характер, превратившись в территориальные княжества, то есть наследуемые феоды, которые уже нельзя было отозвать. Временные королевские посты, занимаемые *ex officio*, становились семейной собственностью, передаваемой из поколения в поколение. Имперская служилая аристократия превратилась в полноправную феодальную аристократию.

В результате такого развития имперское государство оказалось зажато в тисках. С одной стороны, на угрозу неминуемого варварского вторжения Карл II Лысый и Людовик I ответили, наделив отдельные графства значительной автономией и гибкостью при решении вопросов финансирования и самоорганизации, требуемой для оборонительных мер против захватчиков [Блок. 2003. С. 407]. Эти уступки заложили основания крупных княжеств конца IX–X вв. Кроме того, позднекаролингские короли испытывали давление, заставляющее их даровать различные привилегии крупным аббатствам, епархиям и светским королевским вассалам, освобождая их от налогов и публичных обязанностей. Этот ход был мотивирован стремлением отдать реальную власть в наиболее надежные, то есть несветские, руки. пожалование привилегий предполагало освобождение от налогов взамен на неформальную поддержку и лояльность, но эта политика оказалась абсолютно непродуктивной. В этот период в церковных сеньориях, как и в светских, стала выработываться одна и та же схема. В Западно-Франкском королевстве на дарованные епископам привилегии стали посягать — как на неотчуждаемые права — территориальные князья и графы; в Восточно-Франкском королевстве епископы сами отделили себя от имперского сюзеренитета и в условиях растущего антагонизма между императором и папой стали рассматривать себя в качестве, самое большее, простых вассалов императора.

С другой стороны, в той мере, в какой количество трофеев сократилось, а франки теперь должны были сами платить дань норманнам, знать стала все больше и больше полагаться на землю

и местное крестьянство как основные источники доходов. Эту землю надо было защищать не только от внешних агрессоров, но и от публичных поборов. Кроме того, постоянный приток захваченных рабов больше не восполнял рабочую силу, принадлежащую знати. В этом контексте у недовольной местной знати развился долгосрочный интерес к «приватизации» публичных властных полномочий, что позволяло ей усилить политическое влияние на крестьянство. Региональные сеньоры вступили в эпоху открытого конфликта со своими номинальными сюзеренами, то есть в эпоху постимперских государств. Внутреннее перераспределение прав собственности стало логической альтернативой внешним завоеваниям. Обращение прав держания земли привело к решающему сдвигу в балансе сил, ставящему в самое невыгодное положение короля. Феод теперь уже не считался вознаграждением за лояльную службу; подвергнувшись «приватизации», он стал независимым материальным базисом и условием претензии сеньора на участие в публичных делах. Паралич центральной власти, последовавший за крушением солидарности правящего класса, естественно, весьма благоприятствовал успеху норвежцев. Они проникли на континент, двигаясь по судоходным рекам, грабя города и опустошая деревни [Дельбрюк. 2001. С. 98]. Этот обратный цикл внутренней распри среди правящего класса, вторжения и дальнейшего внутреннего разложения отметил вторую половину IX в. Разрываясь между натиском снизу и давлением извне, позднефранкские короли волей-неволей продолжали отчуждение и, соответственно, детерриториализацию публичной власти до тех пор, пока их собственная власть не была практически полностью уничтожена, сведясь к простому номинальному званию.

*«Феодальная революция» 1000 г.  
и развитие режима баналитета*

Разложение монархической власти и развитие княжеств было только одним из этапов на пути к предельной политической и территориальной фрагментации, поскольку франкские магнаты столкнулись с тем, что их права оспаривались теперь уже более мелкими сеньорами, что еще больше размывало публичное правление. Возобладали примерно те же схемы: то, что представлялось в качестве отдельного поста или пребенды террито-

риальным сеньором, узурпировалось местным должностным лицом, который превращал свой пост или пребенду в наследуемое право. В хронологически последовательном, но географически неравномерном процессе, длившемся примерно с 900 по 1050 г., публичная власть скатилась вниз по лестнице политических единиц — от герцогов к маркграфам, графам, виконтам, дойдя в конце концов до наименьшего владеющего землей сеньора, то есть до шателена, присвоившего некогда королевские полномочия бана [Duby. 1953; Bloch. 1966a. P. 79; Fourquin. 1975. P. 378–379] (анализ случая Италии см.: [Tabacco. 1989. P. 144–166, 194ff])<sup>4</sup>. Шателены, которые зачастую контролировали несколько деревень и полдюжины более мелких сеньорий, превратили свои сеньории бана в почти суверенные мини-государства, независимые от королевских и графских санкций и контроля. «Графы, шателены, рыцари были не просто землевладельцами со своими арендаторами, а суверенами со своими подданными» [Hilton. 1990. P. 160]. Это означало «приватизацию» публичного правосудия, территориализацию феодалов, произвол в налогообложении и закрепощение остатков свободного крестьянства [Bonassie. 1991a, 1991b]. К концу X столетия началось развитие индивидуальных сеньорий бана и, соответственно, в свои права вступила «феодалная революция» [Duby. 1980. 150ff; Poly, Bournazel. 1991; Bisson. 1994]<sup>5</sup>. Узурпация шателенами королевских полномочий бана определила, таким образом, конечную точку продолжительного политического нисхождения ко все более мелким территориальным единицам. «Командующий замкового гарнизона может взять на себя ответственность за мир и справедливость на всей подвластной ему территории, то

<sup>4</sup> Следует подчеркнуть территориальную и хронологическую неравномерность этого процесса фрагментации. В Западно-Франкском королевстве фрагментация публичной власти началась позднее и никогда не заходила так далеко, как в Восточно-Франкском, что было обусловлено сохранившимися в первом возможностями завоевания, а также открытыми «восточными» границами второго. В общем же могущественные герцогства и графства, расположенные в марках, в большей мере могли сопротивляться фрагментации публичной власти по той причине, что обладали более жесткой внутренней организацией, определяемой угрозой внешнего вторжения.

<sup>5</sup> Обсуждение «Феодалной революции» см. также: [Past and Present. 1996–1997].

есть функции королевской власти» [Dubu. 1974. P. 172]. Шателены возвысились за счет государства.

На два века (950–1150 гг.) шателены стали главными актерами средневековой политической жизни, пользуясь общим кризисом правления и образуя территориальные ядра геостратегической карты. После того, как публичная власть была полностью индивидуализирована, шателены с яростью набросились друг на друга, конкурируя за доходные права, ранее бывшие публичными, и раздувая всеобщую анархию и насилие. Особенно церковные сеньории, получившие привилегии в результате королевских пожалований, стали мишенью для сеньоров бана, которые оспаривали их права на аграрные доходы и коммерческие монополии [Dubu. 1968. P. 189]. Феодалная революция закрепила уничтожение каролингской публичной власти. Условная иерархия уступила место «феодалной анархии». Всеобщая борьба между феодалами привела к постоянному перераспределению орошаемых земель и формированию новых династий, некоторые из которых возникли из старых франкских семей, тогда как иные имели более скромные рыцарские корни. Старая дуальная структура собственности, охватывавшая некогда всю империю, основываясь на режиме общего налогообложения, совмещавшемся с сеньюральным режимом ренты, была преобразована в единую, географически фрагментированную конструкцию собственности, основанную на произвольном извлечении прибавочного продукта в множестве независимых друг от друга сеньорий бана.

История подъема и падения Каролингского государства, если следовать Джону Холдону, может быть истолкована через его неспособность создать и развить безличную бюрократию веберовского толка, то есть через провал деприватизации средств управления и принуждения или провал попытки физически и легально отделить должность от лица, ее занимающего [Haldon. 1993. P. 215]. Однако более глубокие причины этого провала нельзя понять в рамках веберовской политической социологии. Недолгий расцвет *missi* и публичной графской службы был конъюнктурным, а не постоянным феноменом, основанным на режиме собственности и военных успехах каролингцев. Возможность центрального правления всегда покоилась на компромиссе — краткосрочном альянсе сторон, преследовавших собственные интересы, то есть альянсе членов франкского

правлящего класса. Этот альянс был основан не столько на харизматичности лидера, сколько на его способности обеспечивать свою свиту необходимыми средствами для расширения личного воспроизводства и постоянно утверждать свое превосходство и начальственный статус демонстрацией силы и щедрости. Поскольку политическое присвоение прибавочного продукта аграрного труда зависело от сколько-нибудь значительной вооруженной силы, находящейся в месте производства, сеньоры должны были носить оружие и контролировать землю и рабочую силу — таковы два предварительных условия средневековой власти. Эта конstellация сделала средневековое государство внутренне неустойчивым, небюрократическим, территориально расщепленным и подверженным распаду.

Разложение Каролингской империи следует поэтому понимать как борьбу между сеньорами за землю и рабочую силу в период кризиса воспроизводства. В результате в условиях индивидуализированного, локализованного феодального присвоения была вскрыта внутренняя неустойчивость одного из наиболее могущественных средневековых государств, обусловленная также тем, что крестьяне обладали средствами собственного выживания. Самоорганизацию правящего, носящего оружие класса, которой и было это «государство», следует поэтому понимать в свете определенных режимов собственности, управляющих борьбой, начатой сеньорами за перераспределение доходов в ответ на более глубокие циклы земельного и трудового дефицита. В этом отношении судьба Каролингской империи является всего лишь еще одним примером противоречивой логики средневекового формирования государства.

#### 4. НОВЫЙ СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если X в. часто изображается в виде упадка средневекового политического порядка, к концу XI столетия начинается период рыцарской геополитической экспансии, которая перенесла посткаролингских рыцарей в не-франкскую европейскую периферию, установив там феодальные структуры господства и эксплуатации. Норманнское завоевание, испанская Реконкиста, немецкое *Ostsiedlung* (расселение на восток) и крестовые походы являются парадигмальным выражением формы и динамики феодальной геополитической экспансии в период индивидуа-

лизированной сеньории. Прежде чем более подробно изучить четыре этих захватывающих движения вовне, нам, однако, следует углубиться в их социальные предпосылки. В соответствии с моим центральным тезисом, они были обоснованы глубокими изменениями отношений общественной собственности в среде знати после феодальной революции. В частности, развитие сеньорий бана запустило целый ряд важных и связанных друг с другом изменений в аграрных трудовых отношениях, во внутреннем строении и военной структуре класса держателей земли, а также в структуре знатных семей и законах наследования.

### *Хищническая сеньория и развитие крепостничества*

В критический период общего политического распада, случившегося примерно к 1000 г., предохранительное звено между оставшимся до сего момента свободным аллодиальным крестьянством и королевскими публичными полномочиями было порвано, и в результате крестьянство было отдано на милость стоявших непосредственно над ним шателенов. Высшие и низшие эшелоны правосудия, ранее четко поделенные между определенными судами, теперь были объединены в одну правосудную монополию, которой обладали бессудные и неподотчетные графам мелкие сеньоры. Правосудие без права апелляции является отрицанием правосудия: «Практически неограниченное отправление судебных прав дало сеньорам оружие экономической эксплуатации, потенциальные возможности которой показались безграничными» [Bloch. 1966a. P. 79]. Поскольку все три формы сеньорий — сеньория бана, поместная сеньория и землевладение — слились в одну, крестьяне, населяющие земли сеньора, будь они рабами, свободными или зависимыми, были в равной мере подчинены обладающему замком и правом бана сеньору. Они стали крепостными<sup>6</sup>. Узурпация прав бана при-

<sup>6</sup> Я следую здесь интерпретации Дюби, связывавшего исчезновение рабства с классовой борьбой, в которой сеньория бана была навязана всем крестьянам, будь они рабами или нет, примерно к 1000 г. [Duby. 1968. P. 188; Fourquin. 1975]. В своей замечательной обзорной статье Бонасси, опровергая аргументы, согласно которым закат рабства связан с христианизацией сельских регионов, трудностями привлечения рабской рабочей силы, введением новых производственных технологий и экономическим ростом, совмещенным с демографическим давлени-

вела к созданию мощного аппарата эксплуатации, основанного на прежнем королевском праве конфискации. Бывшие ранее публичными налоги устанавливались и собирались теперь по произволу одного и того же сеньора и включали в себя: подати (*taille*) — налог, взимаемый за личную защиту, номинально предоставляемую сеньором; сеньоральное право на кров, проживание и пребывание (*gîte*) — которое служило поводом для своевольных пирушек и увеселений за счет крестьянства; обязательные транспортные обязанности и пахотные службы; наконец оплаты судебных услуг, взимаемые особенно при передаче собственности. Кроме того, сеньоры стали принуждать крестьян платить за использование сеньоральных производственных средств (*banalités*). Такие коммерческие монополии принуждали крестьян молоть их зерно на мельницах сеньора, печь хлеб в его печах, хранить зерно в его амбарах, давить виноград и яблоки на его прессах и покупать его вино до нового сбора винограда (*banvin*) [Fourquin. 1975. P. 386–394]. Светские сеньоры зачастую стали монополизировать десятины, выступая против епископов и аббатов, которые разработали контрстратегии для защиты своего дохода, например движения за мир. В общем, право судить оказалось равным праву на военное командование, а последнее стало главным источником доходов знати. Все эти по существу произвольные поборы, неподотчетные никаким вышестоящим органам власти, легли на плечи крестьянства, принужденного платить и обычные ренты. То, что ранее обладало признаками определенной легитимности, поскольку ограничивалось традицией, выродилось в хищническую сеньорию — чистый произвол сеньора, поддерживаемый голой силой.

### *Военные инновации и происхождение рыцарского класса*

Разрываемой кризисом политической ситуации сопутствовали инновации в военной технологии и в организации, наметив-

*Окончание сн. 6*

ем, убедительно подтвердил данное Дюби объяснение феодализма как основанного на крепостном труде способа производства и связал его развитие с классовой борьбой в период «Феодалной революции» [Bonassie. 1991a].



шиеся в X–XI вв.<sup>7</sup> Старая легкая каролингская кавалерия и армии свободных крестьян уступили место тяжелой рыцарской кавалерии, демилитаризации ранее свободного крестьянства и широкому распространению новых, небольших, но непременно каменных замков, предназначенных для защиты местной власти. Эти замки, стоявшие достаточно тесно — часто из одного замка можно было видеть другой — на всех основных территориях бывшей Каролингской империи, символизировали власть враждующих друг с другом шателенов. В самой этой военной топографии воплотился произвол насилия: захват заложников, грабеж и мародерство стали обычным делом. Шателены и иные сеньоры бана утверждали свою власть при помощи свиты, состоящей из вооруженных людей и конников, образующих то, что Бриссон называет «террористической полицейской силой» [Brisson. 1994. P. 16]. Эти банды мародеров были вооруженными исполнителями воли сеньора, они совершали конные набеги на

<sup>7</sup> Связь между докапиталистическими отношениями общественной собственности и феодальным инвестированием в средства принуждения убедительно проанализирована в работе Бреннера [Brenner. 1986. P. 27–32], а ее реализация в данный период изучена Барлеттом. Принадлежащая военной элите оборонительная амуниция состояла из конического меча, кольчуги и широкого щита; вооружение для наступления включало копье, меч, иногда также палицу или дубинку; для наступательных действий совершенно необходимым был тяжелый боевой конь. Эти воины являлись тяжелой кавалерией, поскольку были полностью вооружены и, особенно, потому что облачились в дорогие кольчуги... Тяжелыми их называли, потому, что они заковывались в железо. Мощной силой была именно та, что состояла «целиком из железа». Кольчуга обычно — самый дорогой из всех предметов, принадлежащих рыцарю, потому неудивительно, что нуждавшиеся рыцари часто ее закладывали. Во времена, когда многие сельскохозяйственные инструменты все еще изготавливались из дерева, а оружие, от которого зависело выживание человека — плуг, — тоже делалось из дерева и лишь иногда оковывалось железом, появились люди, которые были полностью одеты в железо. Такое изменение отражало весьма существенные инвестирования. На полное обмундирование *armatus*'а или *loricatus*'а требовалось примерно 50 фунтов железа. Армия, подобная той, что была собрана Отто II в 980-х годах, включала примерно 5000 *loricati*, поэтому вес железа, который несли эти воины, составлял около 125 тонн. Эта цифра впечатлит еще больше, если вспомнить, что в этот период немецкая кузница могла произвести только 10 фунтов железа в ходе плавки, занимавшей два-три дня... Тяжелые конники Средних веков жили в эру пшеницы, но были похожи на людей стальной эпохи [Bartlett. 1993. P. 61].

беззащитное крестьянство, терроризировали деревни, добывали трофеи и подавляли крестьянское сопротивление.

Рыцари — вооруженные, наглые и бедные — собирались в своих каменных убежищах, чтобы поговорить об оружии и подвигах, о стычках и требованиях, о выгодных планах, но не об управлении доходами. Выкуп с самого начала стал весьма важным приемом — будучи ранее образцом действий викингов и сарацинов, он стал сеньоральной, а также военной техникой, легко конвертируемой в деньги, необходимые для обороны [Brisson. 1994. P. 17–18].

Эти сеньоральные практики приобрели известность в качестве «дурных обычаев» (*mala consuetudines*): «Они уже не являются выражением более или менее легитимной власти, а задают составляющие наследства, определяя возможности получения прибыли» [Poly, Bournazel. 1991. P. 33].

В то же время конные вооруженные банды, собиравшиеся вокруг сеньоров бана, за свою службу получали вознаграждение в виде пожалованной земли или богатств<sup>8</sup>. Эти слуги и телохранители, набравшиеся из достаточно скромных семей и выполнявшие роль исполнителей и соучастников хищнической знати, кристаллизовались в форме рыцарского класса, образовав в итоге низший слой знати. Само появление рыцарей — тяжело вооруженных и закованных в броню конников, образующих нечто вроде самодостаточных мобильных замков, — отражало фрагментацию и индивидуализацию политической власти в этот период. Их дальнейшее возвышение в качестве носителей рыцарского кода скрывает это вполне мирское происхождение и приземленные цели. Такие рыцари, оказавшиеся наиболее динамичным элементом нового политического порядка, обрели господство над сельскими территориями в результате интенсивной борьбы внутри класса феодалов. То есть они возникли в горниле «феодальной анархии» и общего кризиса раннесредневекового правления [Duby. 1977c]. Позднее мы увидим, какую функцию они выполнили в разрешении его внутренних противоречий и их трансляции во внешнее движение.

<sup>8</sup> «Забирая одной рукой и получая в другую, рыцари были подлинной осью сеньоральной экономики, маховиком всей системы эксплуатации» [Duby. 1980. P. 155].

*Изменение в понимании знатью собственности  
и появление избытка младших сыновей*

Хотя превращение феодалов в наследуемое владение и соответствующее озамкование Центральной Европы в географическом и хронологическом отношении были неравномерными процессами, они породили глубокие изменения в понимании знатью собственности, в законах о наследовании и в семейных обычаях. В стандартном изложении экспансии, реализовавшейся после 1000 г., ее главной причиной обычно называется демографический рост. У этого роста, однако, были особые социальные условия, связанные с особой динамикой. Формирование рыцарского класса мы рассмотрели в связи с узурпацией полномочий бана, осуществляемой все более мелкими сеньорами. Теперь нам следует проследить то, как демографический рост преломлялся в изменениях политической экономии аристократических структур родства и особенно в изменениях порядка наследования, сложившегося после приватизации бана. Как знать отреагировала на территориализацию семейной власти и на умножение числа сеньоров с одними и теми же полномочиями?

Как правило, эти изменения в порядке собственности запускали радикальную переориентацию в семейном сознании и законах наследования. Ранее понятие четко очерченной знатной семьи с вертикальной генеалогией, будь она матрилинейной или патрилинейной, едва ли вообще существовало. Основой системы координат выступал родственный клан или аристократическая родовая группа, выстроенная скорее горизонтальными, а не вертикальными линиями. Она отражала прагматику патронажа крупного сеньора или короля в условиях относительно свободной привязки к его королевскому «дому» (*Königsnähe*) [Goetz. 1995. P. 470]. Ненаследуемый характер держания земель в каролингский период не позволил сформировать более жесткие семейные структуры. Когда же после узурпации бана власть была территориализована, семейные схемы изменились — с нечетких горизонтальных линий родства на четко выстроенные патрилинейные группы поколений<sup>9</sup>. Изменение структуры

<sup>9</sup> В цикле своих статей Дюби изучил «корреляцию» между развитием сеньории бана и изменением форм знатных семей. Он смог показать, что введение четких патрилинейных генеалогий хронологически совпадает с соответствующей узурпацией прав командования отдельными

прав собственности привело к тому, что аристократические семьи стали более четко осознавать формы наследования, в которых первостепенную роль стало играть жесткое правило первородства по мужской линии<sup>10</sup>. Оно предполагало неделимость территориальной собственности и целостность семейных поместий. Наследуемые сеньории и феодалы наложили ограничения на передачу земель и на более широкое семейное законодательство. Родственные кланы превратились в династии. Поэтому с этого момента мы начинаем встречать приставки происхождения — «de», «von», «of» — в династических фамилиях, а также применение топонимических фамилий и геральдических эмблем в среде низшей знати. Социальная идентичность низшего класса стала в этой связи основываться на семейных поместьях, принадлежавших предкам. В то же время право первородства создало проблему безземельной знати, избытка младших сыновей, которым предстояло сыграть ключевую роль в процессе феодальной экспансии.

### *Завоевание природы — завоевание людей*

В контексте демографического подъема XI в. право первородства и растущий земельный дефицит в центральных территориях бывшей Каролингской империи привели к двум типичным ответам — внутренней экспансии, то есть завоеванию природы, и к внешней экспансии, то есть завоеванию людей.

С одной стороны, франкская Европа вступила в важный период внутренней колонизации и широкомасштабного освоения земель. Расширение орошаемых территорий обычно кор-

#### *Окончание сн. 9*

династиями и введением наследственности и права первородства. Чем ниже Дюби спускался по иерархии знати, тем более поздним оказывалось установление права первородства, что отражает хронологическую последовательность сдвига права бана от короля к принцам, графам, шателенам и наконец к владеющим землей рыцарям [Duby. 1977b, 1977c, 1994]. Более широкое обсуждение см.: [Bisson. 1990].

<sup>10</sup> «С 1030 г. начинают обнаруживаться признаки права первородства в семьях шателенов. Наконец, с 1025 г. определяются права единственного законного наследника... В момент кризиса феодализма, между 1020 и 1060 гг., семейные отношения, как представляется, демонстрируют серьезное напряжение, и, похоже, ответом на него является именно замыкание линий наследования» [Poly, Bournazel. 1991. P. 108].

релирует с наличием трудоемких аграрных экономик. Таков результат ограниченного давления, требующего инноваций в производительных технологиях, и потребности в более высокой продуктивности в докапиталистических, принудительных трудовых отношениях [Vrepper. 1986. P. 27–32]. Хотя в Европе начала тысячелетия бывали случайные инновации в аграрной технике — например, железный плуг, водяная мельница, улучшенные системы упряжи и севооборот, — они возникали не из систематического инвестирования в средства производства, а потому не породили самовоспроизводящегося цикла аграрной технологической революции. Сами по себе эти инновации не были способны удовлетворить запросы растущего населения. Чаще всего в результате инициатив сеньоров, стремящихся увеличить свои сельские территории, с которых они получали доходы, или же утвердиться в качестве независимых и наделенных землей представителей знатного класса, леса, болота, пустоши, заливные луга и даже озера и отдельные части моря (например, во Фландрии, где такие части осушали и окружали дамбами) уступали, освобождая место для пахотных земель. Этот период беспрецедентной по своему масштабу расчистки земель описывается Блохом как «наиболее значительное прибавление к общей культивируемой площади в этой стране [то есть во Франции] с доисторических времен» [Bloch 1966a] (см. также: [Fourquin. 1975]). Внутренняя колонизация изменила сельский ландшафт феодальной Европы, вступившей в цикл, в котором эти изменения стимулировались ростом населения.

С другой стороны, поскольку общая территория осваиваемых земель в пределах старой Франкской империи оставалась ограниченной, внутренняя колонизация дополнялась внешней колонизацией, завоеванием иных народов [Wickham. 1994. P. 140]. Замыкание линий родословной в пользу самого старшего сына сразу же создало хроническую проблему обеспечения младших сыновей знати. Именно эти младшие сыновья, «юнцы», наиболее «естественно» стремились покинуть пределы семейных территорий<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Дюби первым предложил социологический анализ этих «юнцов» XII–XIII вв., обозначив этим термином период в жизни представителя знати между посвящением в рыцари, случавшимся в возрасте двадцати или чуть более лет, и той стадией, когда «он пускает корни, становится главой дома и основывает семью — что зачастую случалось не ранее сорокалетия» [Duby. 1997a. P. 113].

Компании молодых людей... сформировали клинок феодальной агрессии. Постоянно стремясь к приключениям, в которых можно было заработать «честь» и «награды», и желая по возможности «вернуться богатыми», они все время были в движении, разогреваемом военным задором. Именно в этой неустойчивой среде постоянно рождалось брожение, которое обеспечивало людской силой любые сколь угодно длительные экспедиции [Duby. 1977a. P. 115].

Густо заселенные и обрабатываемые области между Луарой и Рейном особенно отличились в производстве избытков аристократии, искавшей независимые земельные ресурсы, необходимые для основания и поддержания династии: «Младшие сыновья и дочери выставлялись из родительской обители и лишались наследства: незамужних дочерей отдавали в монастыри, тогда как младшие сыновья вступали в Церковь, отправлялись на поиски приключений в свите какого-либо сеньора или же собирались в поход в Святую Землю» [Evergates. 1995. P. 17]. Поэтому внешняя колонизация не была просто непосредственным результатом перенаселения, она опосредовалась и усиливалась исключительными схемами наследования, обусловленными изменениями в системе имущественных прав. Это позволяет нам описать усилившуюся «международную» циркуляцию рыцарей, рекрутировавшихся из числа младших сыновей.

Многих младших сыновей и вообще детей, естественно, отправляли в аббатства и монастыри, где они должны были принять целибат. Такова была судьба большинства дочерей благородного происхождения, которых не удалось выдать замуж в аристократические семьи. Однако серьезной ошибкой было бы отделение воспроизводства церковных сеньорий от общей логики их политической экономики. Заключение в монастырях не могло устранять груз перенаселенности неопределенно долгое время, поскольку семьи будущих монахов и монашек должны были приносить дары (обычно в форме земель) по случаю пострига своих отпрысков. Церковные сеньории не могли позволить себе содержать неопределенно большое число непродуцирующих монахов и прелатов, не сталкиваясь рано или поздно с экономическими затруднениями<sup>12</sup>. В самом деле, духовенство

<sup>12</sup> Эвергейтс замечает, что в XII в. «в монастыри поступило так много женщин, что к концу столетия многие из этих институтов исчерпали

проявило явную заинтересованность в накоплении земельных пожертвований в удаленных местах, которые захватывались под папскими знаменами под предлогом распространения римского церковного обряда. Симптоматично то, что даже те страны, которые были христианизированы еще до начала нового тысячелетия — Ирландия и Англия, — но уклонялись от политической интеграции, экономической эксплуатации и контроля со стороны постгрегорианской Церкви, — оказались под прицелом того же самого колонизационного и завоевательного натиска, что и языческие страны.

Мы должны уточнить структурные предпосылки крупной аристократической экспансии конца XI в. По Бартлетту, аристократическая перенаселенность была в большей степени свойственна низшей знати, а не ее высшим слоям, и особенно — рыцарскому классу [Ganshof. 1970. P. 69; Bartlett. 1993. P. 48]. Этот класс отличает именно то, что его представители были почти поголовно безземельными. Такое качество вошло в неустойчивое сочетание с постоянной боеготовностью рыцарей. Желая взобраться по феодальной социальной лестнице и заполучить наивысшие блага феодального общества, то есть землю и рабочую силу, рыцари были зажаты в тиски между обеднением и приключениями. В результате они связывали свои судьбы с военачальниками — будь они папами, императорами, королями или крупными территориальными князьями. Ведь, «чтобы сколотить состояние, нельзя было начинать с нуля. Молодой амбициозный рыцарь мог предложить свои услуги приглянувшемуся ему князю и надеяться на то, что этот сеньор окажется успешным и пожелает разделить с рыцарем часть своих доходов» [Bartlett. 1993. P. 36]. Удачные случаи, предоставлявшиеся рыцарям, занятым завоевательными походами, могли вознести

свои скромные фонды. Например, в 1196 г. папа Целестин III приказал монастырю Параклет, где аббатисой была Элоиза, уменьшить состав до шестидесяти монашек; вскоре после этого хорошо известный монастырь Авене был ограничен сорока монашками, поскольку он «был отягощен долгами, по которым следует расплатиться с кредиторами» — подобные жалобы стали в XIII в. общераспространенными. Цисцерцианский монастырь Фервак даже искал у папы Иннокентия III защиты от «благородных и могущественных мужей», который выразили недовольство, когда их родственникам отказали в приеме в монастырь» [Evergates. 1995. P. 18].

их до самой вершины феодальной пирамиды, то есть до королевского титула. В период двух следующих столетий на территории франкской периферии размножились новые королевства — Кастилия, Португалия, Богемия, Иерусалим, Кипр, Сицилия, Фессалоники, которые занимались новыми династиями, вдохновляя многих обычных рыцарей рискнуть своей жизнью за пределами Римского христианского мира. Впечатляет то, что из перечисляемых Барлеттом пятнадцати монархов, обнаруживаемых около 1350 г. в Римском христианском мире, «только три семьи — шведские Фолкунгеры, датский королевский дом и польские Пясты — были не франкского происхождения» [Bartlett. 1993. P. 41]<sup>13</sup>.

Здесь мы достигаем пункта, когда наиболее активная социальная группа XI в. выходит на «международную» историческую сцену — со всем своим апломбом и гордыней: таков рыцарский класс, чье неустойчивое экономическое положение в сочетании с избыточной милитаризацией сделало его наиболее вероятным кандидатом для внешней агрессии. Однако дифференциация правящего класса на низшую и высшую знать не означала, что единственной исторической задачей рыцарей будет ведение широкомасштабных завоеваний. Скорее, она означала, что магнаты из старых франкских семей, которые выжили в бывших приграничных сеньориях каролингской периферии (особенно в Нормандии, Каталонии и Саксонии), так же, как и папство, нашли себе исполнительного и боеспособного союзника для такого невероятного и неслыханного предприятия, каковым было завоевание Англии, Испании, восточной Европы и Святой Земли.

Прежде чем перейти к изучению этих завоеваний, остановимся на мгновение, чтобы дать общее описание перехода от Раннего Средневековья к Высокому, когда установилась социополитическая конфигурация, благоприятная для геополитической экспансии, в результате которой имперская иерархия уступила место многоакторной Европе<sup>14</sup>. Когда преемники Кар-

<sup>13</sup> «К позднему Средневековью 80% европейских королей и королев были франками» [Bartlett. 1993. P. 42].

<sup>14</sup> Впечатляющее описание Барлетта выдвигает тройственное объяснение франкской геополитической экспансии, в котором главная роль отдается военно-технологическому превосходству, однако оно остается скорее гипотетическим, когда речь заходит о влиянии изменения аристократических практик наследования и более широкого социального контекста,



ла Великого оказались в положении, в котором они не могли гарантировать прибыли своей аристократической свите, магнаты присвоили их политические полномочия (права бана) и перенаправили «национальный» доход в собственные карманы. Развал каролингской военной экономики и последующий кризис перераспределения лишил отношения сеньоров и свободных крестьян защитной оболочки, обеспечиваемой публичной властью. Это выразилось в том, что сеньоры получили прямой доступ к прибавочному продукту крестьянского труда и, соответственно, возможность более крупных поборов. Обратной стороной развития режима баналитета стали всеобщее крепостничество, усилившаяся эксплуатация и полная фрагментация власти. В то же время присвоение прав бана потребовало милитаризации, осуществляющейся за счет вооруженных конных сил (рыцарей), которые лишь ускорили крушение солидарности правящего класса, усилив конкуренцию за землю, рабочую силу и привилегию среди знати. Позднекаролингские государственные структуры наследования разложились до «феодальной анархии».

В результате такой перестройки политической власти, уменьшения числа рабов и превращения свободных аллодиальных крестьян в крепостных демографический подъем раздул ряды

скрытого за способами захвата земли, применяемыми аристократией [Bartlett. 1993. P. 18–23, 43–51, 60ff]. Уикэм упрекает его в том, что он недостаточно исследует внутренние социально-политические трансформации в позднефранкских королевствах, предшествовавшие наблюдаемому движению вовне [Wickham. 1994]. Альтернативное «многофакторное» объяснение см.: [Mann. 1986. P. 373–415]. Если опустить упоминание заката Каролингской империи и «Феодальной революции», главное заключение автора сводится к тому, что в XI в. мы наблюдаем «зачаток перехода к капитализму» [Mann. 1986. P. 409]. См. критическую рецензию у Уикэма: [Wickham. 1988]. В свою очередь Эртман, решивший не обращать внимания на финансируемую крепостничеством динамику феодальной аграрной экономики, предполагает, что экономическая экспансия начала тысячелетия была связана с «появлением избыточного продукта сельскохозяйственного труда в 900-е годы», при этом предупреждая нас, что «точное происхождение этого прибавочного продукта остается предметом спора». Затем он доказывает, что «возможно, свою роль сыграл благоприятный климатический сдвиг», а в конечном счете соглашается с тезисом Гая Бойса (Guy Bois), согласно которому «крушение центральной власти позволило экономике, возможно, в первый раз, получить существенную автономию по отношению к политическому порядку» [Ertman. 1997. P. 50–51]. Теория Бойса критикуется в: [Teschke. 1997].

как правящего, так и производящего классов. Начался процесс внутренней колонизации и освоения земель, который привел к значительному расширению обрабатываемых территорий бывшей Франкской империи. Однако расширение орошаемых земель не могло соперничать с демографическим ростом. Проблема особенно обострилась в классе держателей земли из-за введения права первородства, которое само стало ответом на более ранние изменения отношений собственности, выгодных территориально закрепленным семьям. Хотя право первородства обеспечивало неделимость семейной собственности, оно привело к переизбытку безземельных младших сыновей аристократических семей, особенно в среде низшей знати.

Расширение и диверсификация правящего слоя, включавшего теперь и класс рыцарей, тоже стремившихся заполучить земли, привнесли в среду знати особенно неустойчивые, в высшей степени милитаризованные и агрессивные компоненты. Рыцари, рекрутировавшиеся из числа младших сыновей, стали носителями геополитической экспансии конца XI в., поскольку примерно к 1050 г. перераспределение орошаемых земель в пределах территории бывшей Каролингской империи подошло к концу. Чтобы удовлетворить свою жажду земель и трофеев, военачальники должны были обратить свой взгляд в другую сторону. Этим моментом отмечается начало экспансии, основанной на радикально феодализованном, индивидуализированном в военном отношении и политически децентрализованном обществе. Именно в этот динамичный контекст усилившейся внутри знати конкуренции за земли и рабочую силу следует помещать четыре крупнейших экспансионистских движения. Ненасытное феодальное стремление к земле сорвало пути территориальной самодостаточности. Транснациональная франкская знать принялась завоевывать Европу.

## 5. ПОСТКРИЗИСНАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ (XI—XIV вв.)

Итак, распространение сеньорий бана можно интерпретировать как успешную реакцию сеньоров на уменьшение распределительных способностей франкского государства: сеньоры навязали крестьянству новый порядок эксплуатации, столкнувшись с кризисом доходов и статусов. Решение кризиса начала

тысячелетия привело к введению новой структуры собственности на значительных территориях Европы, расширению области феодализма до европейской периферии и закладке фундамента для системы феодальных политических образований, во главе которых находились династии.

### *Экскурс — демографический рост и подъем городов*

Хотя мы особо подчеркнули географическое расширение и социальное углубление феодализма в период Высокого Средневековья, в других описаниях упор делается на образовавшуюся в XII в. комбинацию демографического роста и подъема городов как на ключевой этап в формировании капитализма. Однако этот подъем структурно оставался связанным с феодальной экономикой. Между XI и XIV вв. феодальная Европа испытала значительный экономический подъем, основанный на росте населения, появлении новых орошаемых земель и интенсификации эксплуатации рабочей силы благодаря повсеместному распространению крепостничества. Рост доходов сеньоров выразился в росте их спроса, что подтолкнуло развитие городов XII–XIV вв. Спрос знати на военное снаряжение и предметы демонстративного потребления задал системы общеевропейской торговли, осуществляемой некапиталистическими бюргерами и купцами. Однако эти междугородние торговые сети оставались полностью зависимыми от спроса знати, будучи погруженными в трудоемкую аграрную экономику. Богатство не было капиталом, а купеческий обмен не был капитализмом [Wolf. 1982. P. 83–88]. Междугородние торговые сети и города вступили в полосу упадка в XIV в. одновременно с понижением уровня доходов знати. Поэтому расширение торговли было напрямую связано с первой восходящей фазой эко-демографического цикла феодальной аграрной экономики. Когда в конце XIII в. этот цикл достиг своей вершины, приведя к перенаселенности, истощению почв, плохим урожаям, «черной смерти» и явному спаду сельскохозяйственного производства, сужение спроса знати сразу повлияло на объем городской торговли. Таков многовековой контекст общего кризиса XIV в. Феодальная экономика, основанная на политических отношениях эксплуатации, не могла дать самовоспроизводящегося цикла экономического роста, поскольку производители продолжали производить главным

образом с целью выживания, а производители продолжали воспроизводить себя традиционными средствами, то есть путем увеличением эксплуатации, и не пытались увеличить производительность при помощи инвестирования в средства производства. Инвестирование в средства насилия и принуждения, позволяющее осуществлять успешное (гео)политическое накопление, оставалось главной стратегией воспроизводства знати.

Утверждение Майкла Манна, согласно которому XII в. стал «зачатком перехода к капитализму», становится поэтому весьма спорным [Манн. 1986. Р. 373–415]. Применяя свою модель «ИЭВП», предполагающую независимость друг от друга четырех источников общественной власти (идеологического, экономического, военного и политического), к Высокому Средневековью, Манн доказывает, что этот «зачаток перехода к капитализму» стал результатом сочетания факторов, связываемых вместе в суммарном объяснении общеисторического подъема Запада. С одной стороны, «безголовая», то есть политически фрагментированная природа феодальной геополитики, обеспечила торговцам и иным экономическим акторам существенный уровень экономической и политической автономии. С другой стороны, возрождение торговли, которому сопутствовал технологический прогресс, интенсификация агрикультуры и миротворческий рационально-нормативный порядок христианства определили ту траекторию динамического развития Европы, которая в конечном счете привела к индустриальной революции<sup>15</sup>. Аналогичным образом и Фернан Бродель предполагал, что экономический подъем XIII в. стал первым пробным прогоном современной капиталистической миросистемы, объединившим разные регионы с разными условиями труда постоянными тор-

<sup>15</sup> Описываемые у Манна множественные зачатки капитализма являются производными от неоутилитаристских и индивидуалистских методологических предпосылок, которые поддерживают его теорию субъективности: «Люди — неустанны, целеустремленны и рациональны, они стремятся увеличить объем собственного пользования хорошими вещами, которые есть в жизни, и они способны выбрать подходящие для этой цели средства» [Манн. 1986. Р. 4]. То, что постулируется Манном в качестве трансисторической теоремы о человеческой природе, по Веберу, является, естественно, лишь идеальным типом социального действия (то есть рационального действия). У Манна эвристическое приспособление Вебера превращается в онтологическую аксиому.

говыми связями и тем самым запустившим современный цикл сменяющих друг друга капиталистических миросистем [Бродель. 1992. С. 87]. Однако расширение торговли не было прорывом — постепенным или революционным — в сторону капитализма. Скорее, оно было продолжением стародавней практики «купить подешевле — продать подороже». Поэтому подъем городов в период высокого Средневековья структурно оставался связанным с докапиталистическим контекстом.

*Схемы экспансии: социально единое  
и географически неравномерное развитие*

Начиная с середины XI в., посткаролингская знать начала победоносное шествие в сторону европейской периферии. Вассально-ленные отношения вводились и приспособлялись к господствующим экосоциальным условиям, впервые создавая гомогенную в культурном и географическом отношении Европу. На юго-западе испанская Реконкиста начала оттеснять арабских правителей к их последней континентальной цитадели, Гренадскому королевству, взамен насаждая феодальные структуры. На востоке саксонская аристократия начала свое впечатляющее расселение на восток, феодализируя и германизируя центрально-восточную Европу, а также южное и восточное балтийское побережье. На юге и юго-востоке норманны завоевали южную Италию и Сицилию, а в течение столетия появились государства крестоносцев в Леванте. На севере франко-норманны покорили англосаксонскую Англию, а в последующие столетия, в период завоевания Уэльса, Шотландии и Ирландии, оттеснили кельтов вглубь Британских островов или на побережья. Наконец, сама Франция претерпела драматичный процесс феодального формирования государств, в результате которого режим баналитета был преобразован в объединенную феодальную монархию.

Ганс Дельбрюк интерпретирует одновременность четырех этих внешних движений как результат действий отчаявшихся рыцарей центральной Европы:

...Все те представители низшего военного слоя, кто постоянно движутся вверх, приближаются тем самым к статусу аристократии — можно было бы даже сказать, к статусу правящей аристократии. Норманны, завоевавшие Англию, южную Италию и

Сицилию, по своему происхождению были не только скандинавами, но и военными самых разных кровей, связавшими себя с ядром, образованном норманнами. Расширение гегемонии немецких рыцарей на Италию дало многим из них возможность достичь более высокой позиции и богатства. Непрерывное продвижение немецкой колонизации на восток создавало постоянно растущие территории для новых правящих семей. Французы стали основным ядром контингента крестовых походов, которые также предполагали колонизационное движение. Испанцы на своем полуострове продвигались вперед, тесня мавров [Дельбрюк. 2001. С. 226] (см. также: [Wolf. 1982. P. 104–108]).

Поразительное зрелище феодальной активности стало поэтому логичным результатом геополитического накопления — или, по-простому, захвата земель, которое может осуществляться в форме завоевания, культивации или же продолжительной колонизации и заселения. Эти формы завоевания отличались от централизованных каролингских кампаний их индивидуализированным, спонтанным и даже «диким» характером. Если каролингские военачальники систематически водили аристократию в ежегодные военные кампании, начинавшиеся весной и направленные против соседних государств, что позволяло соединять стремление знати к новым землям с более широкими вопросами безопасности государства и в результате порождало геостратегический паттерн концентрического расширения империи, военные кампании XI в. были по своему характеру судорожными, ведь они отражали «транснациональную» сущность подвижного рыцарского класса. Бойцы-конники стали (1) общеизвестными «рыцарями удачи» или «рыцарями-грабителями», (2) наемниками, продающими свои услуги любому, кому они были нужны и кто мог их купить, (3) спутниками крупных военачальников, инициировавших более масштабные предприятия, которые обещали не только легкую поживу и трофеи, но и возможность получить земельные сеньории, (4) крестоносцами, соединявшими в себе все эти характеристики, прикрываемые религиозной завесой воли Бога: *deus vult*<sup>16</sup>! Соответственно, аристократическая власть распространялась «транснациональ-

<sup>16</sup> *Deus vult* (лат.) — буквально «Бог этого хочет». По преданию, таким криком было встречено объявление папой Урбаном II Первого крестового похода в 1095 г. — *Примеч. пер.*

ным» военным — подвижным и неустанным — классом, а не высшим военачальником, не государственной бюрократией, вооруженной нацией, *condotierre*<sup>17</sup> или широкомасштабной этнической миграцией. Крестьяне появлялись на сцене только тогда, когда завоеватели в ходе агрикультурной экспансии не могли опереться на уже наличествующих производителей, как это было в случае немецкого расселения на восток. В таких случаях крестьян надо было выманивать из их родных земель, поэтому они часто могли требовать от своих новых сеньоров значительных уступок, касающихся их правового статуса и рент.

Поскольку четыре экспансионистских движения столкнулись с весьма разными культурами, обладающими разными формами экономической организации — начиная с лесопастбищной или примитивно-коммунальной и заканчивая высокоразвитой аграрной (которая, например, существовала в испано-арабских ирригационных культурах) и торговой, появившиеся в итоге формы сеньории не могли просто повторить образцы, принесенные рыцарями со своей родины. Конечно, в общем случае, захватчики стремились организовать новоприобретенные земли в соответствии со своими традиционными поместными системами. Однако результат франкской настойчивости зависел от конкретных условий встречи между различными агрессорами и местным населением. Эти условия определяли либо (1) экспроприацию, изгнание или уничтожение местных правящих классов — как это случилось в Англии, Уэльсе, восточной Ирландии, Испании, Бранденбурге или других приграничных немецких сеньориях; либо (2) ассимиляцию, взаимное приспособление при помощи смешанных браков — как в Шотландии, Померании и Силезии; либо (3) «зачищенные сеньории», возникающие на освобожденных землях, и деревни крестьян-пионеров, образующие новые эко-политические ниши для мигрирующей знати — как в центрально-восточной Европе. В этом процессе экспансии было задействовано множество политических форм сеньорий — военных, возникающих при завоеваниях, религиозных или заново основанных, — чью природу можно понять только в контексте социальных и географических

<sup>17</sup> *Condotierre* (итал.) — «кондотьеры», в Италии XIV–XVI вв. наемные руководители военных отрядов (компаний), состоявшие на службе у городов-государств и князей. — *Примеч. пер.*

обстоятельств сталкивающихся обществ. Это социально единое, но географически неравномерное геополитическое накопление заложило основы расходящихся долговременных процессов формирования государств в различных европейских регионах, опиравшегося на различные конфигурации феодальной власти. Эти расхождения получили особенно значимое развитие в случае Англии и Франции, то есть двух архетипичных и зачастую неверно объединяемых друг с другом образцов формирования нововременного государства. Эта бифуркация долговременных траекторий, начавшаяся в XI в. и усилившаяся во время кризиса XIV в., имеет огромное значение для оценки природы вестфальской системы государств, вращающейся вокруг абсолютистской Франции, и нововременной системы государств, завязанной на капиталистическую Британию.

### *Испанская Реконкиста*

В отличие от достаточно быстрого установления франконорманнского правления на Британских островах, завоевание и заселение Испании и Германии за Эльбой было длительным и неравномерным процессом. Здесь основаниями дальнейшей экспансии стали завоеванные сеньории, установленные Карлом Великим на вершине своей власти примерно в 800 г. — Каталония и Саксония. Каталония в период собственной феодальной революции (1020–1060 гг.) распалась на множество сеньорий бана, что сопровождалось знакомыми нам процессами закрепощения крестьян и *incastellamento* [озамкования] [Bonassie. 1991b, 1991c; Brenner. 1996. P. 264–269]. Отношения внутри знати были радикально феодализированы, когда бывший граф больше не мог опираться на имперскую поддержку. Однако благодаря сохранявшимся возможностям завоеваний каталонские сеньоры после периода интенсивных междоусобиц смирились с сюзеренитетом графской династии Беренгеров, а взамен граф согласился с «частной» сеньюоральной эксплуатацией бывших ранее свободными крестьян, плативших государственные налоги.

Из феодальной революция Каталония вышла ведущим политическим образованием северо-западного Средиземноморья. Если франкско-мусульманские отношения до XI в. были отмечены политическим рационализмом и взаимными уступками (религиозные различия оставались скорее второстепенными в



приграничных отношениях), графы Барселоны сразу же начали отрабатывать собственную лицензию на правление [Fletcher. 1987]: начиная с середины XI в. они стали проводить систематическую агрессивную политику завоеваний, направленную против тех, кто только теперь были заклеены «неверными» [Bonassie. 1991с. Р. 163–167]. Ориентация Каталонии вовне напрямую поддерживалась притоком безземельных франкских рыцарей — названных Дюби «юнцами» — из старых каролингских земель. Благодаря ловкому использованию матримониальных династических политик Рамону Беренгеру IV удалось устроить собственную помолвку с дочерью короля Арагона, что позволило создать союз двух ранее конкурирующих, но христианизированных соседей и объединить их силы против мусульман на юге [Bisson. 1986]. Династия возобновила давление на глав Тайфы, попыталась захватить Валенсию и завязала серьезные «международные» отношения с другими странами Средиземноморья, наладив связи с норманнской Сицилией и зарождавшимися северо-итальянскими торговыми городами. Благодаря помощи франкских рыцарей она захватила Майорку, а также восстановила свой сюзеренитет над Септиманией и Провансом. Идеологическими, а также материальными силами, движущими этими военными кампаниями, были реформированные монастыри и усилившееся папство. В письме от апреля 1073 г. Григорий VII убеждал французских «принцев, желающих отправиться в земли Испании», в том, что «поскольку с древних времен королевство Испании было собственностью св. Петра», все земли, завоеванные французскими захватчиками, должны считаться феодами святого Апостола [Robinson. 1990. Р. 324]. Французские монахи-бенедиктинцы, которые сами, естественно, набирались из аристократических семей, теперь назначались в захваченные испанские епархии, занимались сбором дани с арабов, которая направлялась назад в Клуни. «К 1100 г. значительная доля испанских епархий управлялась французскими монахами» [Lomax. 1978. Р. 56].

Эти механизмы геополитического накопления породили систематическую манориализацию завоеванных территорий, осуществлявшуюся благодаря знакомому нам циклу руководимых графом завоеваний и пожалования феодалов более мелким сеньорам. Эти недавно получившие землю сеньоры либо закрепощали местное крестьянство, либо в периоды нехватки рабочей силы предлагали сельским колонистам привлекательные условия для

заселения, предполагавшие ряд свобод. Местные христианские магнаты и франкские рыцари, духовенство и папа — все объединились в устойчивый союз, занятый Священной войной, которая расширяла область их господства.

### *Германское Ostsiedlung*

Германское *Ostsiedlung* («Расселение на восток») было таким же неровным и даже еще менее централизованным процессом, чем норманнские или даже каталонские завоевания, что отражало различие в исходных условиях посткаролингского Восточно-Франкского королевства. Благодаря оттонскому укреплению X в., феодализация государства началась здесь позднее и никогда не заходила так далеко, как в Западно-Франкском королевстве. Когда под влиянием внешнего давления в XI в. начался кризис, он приобрел необычную форму борьбы за власть между императором Генрихом IV и папством — так называемая «Борьба за инвеституру» (1060–1130). Генрих IV пытался удержать под своим контролем епархии, однако реформированное папство вступило в союз с германскими региональными герцогствами [Mitteis. 1975. P. 177–192]. Папско-герцогская победа означала конец германской имперской теократии и ее прав на светскую инвеституру. Также она вела к «медиатизации» субвассалов, встроенных в жесткую пирамидальную систему германских *Heerschild* («ленных щитов»). В противоположность Англии германским Гогенштауфенам не удалось стать территориальными сеньорами, способными воплотить единообразный и общий для всей территории политический курс за пределами своих королевских доменов. «Германское феодальное право, как всегда, ставило интересы вассалов выше интересов сюзеренов» [Mitteis. 1975. P. 251]. Блокирование более значительных королевских публичных полномочий могущественными территориальными князьями, которые удерживали право выбора императора, привело к разрушению главного защитного звена между свободным крестьянством и королевским правосудием, то есть к новой структуре собственности феодальных поместий, обрабатываемых закрепощенными крестьянами [Андресон. 2010. С. 156–160; Arnold. 1985. P. 1–22, 191].

После феодализации отношений внутри знати в двух направлениях стал разворачиваться «натиск на восток», часто подвер-

гавшийся мифологизации. С одной стороны, геополитическое накопление, поглощавшее сельские территории, управлялось крупными приграничными сеньориями, располагавшимися за Эльбой. Саксония стала для восточной Европы тем, чем Нормандия была для Англии или Каталония — для Испании. Начиная с конца XII в. был запущен уже знакомый нам цикл военных кампаний, распределения земель, феодализации, за которыми шли новые кампании и дополнительная феодализация — благодаря всему этому германское господство распространилось далеко за Одер, углубившись в славянские территории. В ходе этого процесса безземельные неродовитые рыцари из старых областей германского заселения в Саксонии, Лотарингии или Фризии получили огромные земельные богатства, которые вскоре позволили им поставить собственным сюзеренам сотни рекрутов [Bartlett. 1993. P. 33–39]. Земельная политическая экономия феодальных геополитических отношений использовала возможности продвижения знати вверх по социальной лестнице, предоставленные расселением на восток и «подвижной» германской границей.

В то же время германские купцы начали создавать устойчивую сеть торговых портов и городов по южному и восточному побережью Балтийского моря, получая таким образом доступ к богатым ресурсам зерна, древесины и меха восточной Европы. Эта форма торговли, координируемая Ганзейским союзом, базировавшимся в Любеке, задала ряд торговых монополий, которые защищались военными орденами, один из которых — Тевтонский орден — подчинил себе Пруссию. Военные ордена притягивали безземельных франкских сеньоров, занимались охраной морских торговых путей и продвижением феодальных порядков на прибрежные славянские территории. Военные ордена, возникнув в крестовых походах, постоянно рекрутировали франкских рыцарей и характеризовались необычайной «международной» мобильностью и строгой внутренней организацией. Поддерживая хорошо связанную сеть стратегических и логистических баз по всему средиземноморскому и атлантическому побережью, они считали самих себя силами особого назначения, необходимыми для феодального христианского мира [Christiansen. 1980]. На Балтике коммерческие и миссионерские интересы объединялись с военными возможностями и земельным голодом сеньоров-монахов, подталкивая к колонизации областей за Эльбой.

*Папская революция и крестовые походы*

Создание военных орденов, которые в контексте VIII в. могли бы считаться абсурдом, указывает на революцию в строении и идеологии папства. Тот самый XI в., который столь драматично изменил отношения внутри знати старых франкских земель, также изменил и отношение между светским и церковным, что стало предвестием грегорианских реформ, которые установит папство в качестве феодальной власти, стремящейся к главенству над всей Европой.

В период каролингской эры догрегорианская Церковь была подчинена франкским светским сеньорам<sup>18</sup>. Епископы выбирались императором и получали от него инвеституру, они пользовались особой имперской защитой и налоговыми послаблениями (компенсациями); на локальном уровне укрепилась система церквей, связанных с собственностью знати. Обычно знатная семья, которая обеспечивала религиозную организацию земель, назначала приходских священников и аббатов, что создало практики ухода части знати и ее собственности в монастыри. Рим был просто центром паломничества. Никакая четкая правовая линия не отделяла римское духовенство от остального феодального общества. Папа был, по существу, слабой номинальной фигурой, назначаемой германским императором. Поэтому до XI в. римские епископы были просто *primi inter pares* (первыми среди равных).

Структурное положение Церкви в средневековом обществе начало меняться, когда имперская теократическая власть пошатнулась в результате стремления сеньоров бана к прибыли. Региональные епархии, монастыри и приходские церкви стали первыми жертвами грабежа и конфискаций, которыми занялись сеньоры. Именно в это время невооруженное духовенство, в наибольшей степени страдавшее от междоусобиц шателенов, попыталось найти новые возможности отделения области священного от области профанного, дабы уклониться от контроля местных сеньоров [Mitteis. 1975. P. 177ff].

Сперва монашеское реформистское движение, возглавляемое бенедиктинцами, перестроило отношения между рассеянными

<sup>18</sup> «Произошло слияние религиозной и политической сфер» [Berman. 1983. P. 88].

и слабо связанными друг с другом монастырями и землями, создав независимую от папы иерархию, подчинявшуюся юрисдикции аббатства Ключи. В то же время монахи сформулировали учение о «Трех орденах» и изобрели особый это с христианского рыцарства, что определило идеологические основы крестовых походов. Формулировка и распространение учения о трехчастном порядке, согласно которому общество функционально делится на воюющих рыцарей, молящихся священников и работающее крестьянство, были сознательной политикой экономически уязвимой части правящего класса, которая оказалась беззащитной перед мародерствующими сеньорами.

Затем епископские движения за мир попытались восстановить порядок, руководя сначала «божьем перемирием», а после и «божьем миром» в землях между Каталонией и Фландрией [Flori. 1992a]. Епископская стратегия умиротворения не могла поставить междоусобицу вне закона, однако ей удалось установить законные предлоги для войны, определяемые сначала через лиц и предметы, а затем — через время и пространство. Однако, поскольку у церкви не было возможностей принудить к исполнению законов — угроза отлучения могла применяться только в крайнем случае, — папы полностью переписали собственное учение о войне и попытались при помощи дискурса о «Трех орденах» и рыцарского кодекса перенаправить силы знати вовне, то есть против «неверных». Целью крестовых походов было снижение агрессивности знати внутри христианского мира и направление ее в сторону внешних завоеваний. Папство, обещавшее не только земли и трофеи, но и вечное спасение, перетянуло на свою сторону франкских сеньоров, окрестило их «*milites Sancti Petri*» [воинами св. Петра] и выработало понятия «справедливой» и «священной войны», которые резко контрастировали с более старыми понятиями христианского ненасилия. Так родилась идея крестовых походов [Flori. 1986. P. 191–203, 215–219; 1992b. P. 133–146].

Наконец, представление Церкви о войне менялись с такой же скоростью, с какой институты папства превращались в жесткую, напоминающую государство, централизованную и охватывающую множество территорий административную систему, основанную на каноническом праве. Реформистское движение Григория VII, взявшее за образец систему Ключи, боролось за главенство папства в духовных и светских вопросах, отвоевы-

вая «святейший престол» у германского императора (1075 г.). Эта борьба за главенство и во имя *libertas ecclesiae* стала причиной знаменитой «Борьбы за инвеституру». «Это была борьба двух типов власти и легитимности, каждый из которых выдвигал универсалистские претензии на причитающиеся им сферы влияния. Конфликт достиг апогея, когда Григорий VII в 1075 г. в своем *Dicatus Papae* объявил, что папство в политическом и правовом отношении главенствует надо всей Церковью, что духовенство должно быть независимо от любого светского контроля и что император должен подчиняться неоспоримому авторитету папы даже в светских делах» [Axtmann. 1990. P. 298]. Это заявление вскоре привело к нескольким «Войнам за инвеституру» между Григорием VII, созвавшим норманнских наемников из Сицилии и франкских рыцарей, и германским императором Генрихом V, который оккупировал Рим в 1111 г. (анализ ситуации в норманнской Сицилии см.: [Tabacco. 1989. P. 176–181, 237–245]). После Вормского конкордата (1122 г.) оттонская имперско-теократическая система правления, унаследованная от каролингцев, ушла в небытие. Папская претензия на главенство над всем христианским миром была реализована, хотя только духовенство подчинялось систематизированному каноническому праву, в котором судом последней инстанции выступала папская курия.

Именно в этом контексте революционной борьбы можно понять крестовые походы (1096–1099 гг., 1147 г. и 1189 г.), эти «внешние войны папской революции» [Berman. 1983. P. 101]. Они стали результатом ватиканского курса на создание цепочки вассальных государств в Леванте и восточном Средиземноморье, воспользовавшегося помощью франкских и норманнских сеньоров и финансовой поддержкой итальянских городов-государств. Их конституции полностью отражали феодальную структуру армий захватчиков. Поскольку каждый князь вел в бой свой вассальный контингент, состоящий из рыцарей и наемников, Сирия была разделена на несколько княжеств, номинально подчиняющихся королю Иерусалима и в конечном счете — папе, игравшему роль высшего сюзерена. В результате этих процессов Церковь подверглась централизации, монархизации и милитаризации. Бывший центр веры превратился в секуляризированное церковное государство (*Kirchenstaat*), обладавшее разработанным внешнеполитическим курсом. Таким образом, у христианского

универсализма появилось несколько голов: на одной стороне — монархии, защищавшие свой прямой божественный мандат и священные понятия королевства, на другой — усилившееся папство, настаивающее на своем праве распределять инвести- туры и смещать временных правителей. Хотя победа папы в определенной мере способствовала укреплению европейского политического многообразия, социальные условия конца обще- европейской империи были заложены в кризисе 1000 г.

### *Норманнское завоевание и формирование единого английского государства*

Англия после завоевания была, в противовес капетингской Франции, чрезвычайно централизованным, внутренне органи- зованным и социально гомогенным феодальным государством. Эта необычайная сплоченность стала прямым результатом бы- строго установления норманнского правления в англосаксон- ской Англии [Андерсон. 2007. С. 155–157; Mitteis. 1975. P. 199–212; Brenner. 1985b. P. 255–258]. Отношения феодальной обществен- ной собственности стали прямым следствием Норманнского за- воевания, они отражали основную форму господства в герцог- стве Нормандия<sup>19</sup>. Норманнское герцогство в низовьях долины Сены (840–911 гг.) было образовано в период распада каролинг- ской власти и присвоения полномочий бана сеньорами, ранее подчиненными императору. В герцогстве политическая струк- тура, унаследованная от скандинавских захватчиков и связы-

<sup>19</sup> Роберт Бреннер указал на неравномерную в социальном отношении и все же единую в геополитическом смысле динамику феодального по- литического накопления, задействованную в Норманнском завоевании, создавшем долгосрочные систематические последствия для средневе- ковых английских классовых отношений и формирования государства [Brenner. 1985b. P. 254–255; 1996. P. 258–264]. См. также замечание Марк- са о международных отношениях в условиях завоевания: «Подобное от- ношение возникает и из завоевания, когда одна форма взаимодействия, которая развивалась на иной почве, готовой переносится в завоеванную страну: если на своей родине ей препятствовали интересы и отношения, давно отодвинутые на задний план, здесь она может и должна устано- виться безо всякого сопротивления, если только есть возможность обеспечить сохранение власти завоевателя. (Таковы Англия и Неаполь после норманнского завоевания, когда они приобрели наиболее совер- шенную форму феодальной организации.)» [Marx, Engels. 1964. P. 92].

вающая требовательную свиту с могущественным вождем, слилась с первоначально дарованной, а позднее узурпированной публичной властью каролингского герцога [Le Patourel. 1976. P. 13; Hallam. 1980. P. 34–43]. После бури сильнейших междоусобиц (1030–1047 гг.) Вильгельм присвоил графскую власть бана в Нормандии и смог восстановить порядок в своем герцогстве [Searle. 1988. P. 179–189], однако ему нужно было удерживать своих магнатов и союзников, сковывая их движения. Его двор стал постоянной резиденцией правительства и совета, местом разрешения конфликтов. Именно здесь был разработан план вторжения в англосаксонскую Англию.

Сначала, однако, норманны были вынуждены соперничать за земли и рабочую силу с соседними княжествами (Фландрией и Бретанью). Перейти Ла-Манш герцогу Нормандии позволила внутренняя сплоченность его военной элиты, все представители которой могли заявить о личном родстве с герцогской семьей. Другими факторами оказались огромное земельное и финансовое богатство герцога, ставшее результатом военных рейдов и колонизации, его способность собирать налоги, взимать платы, связанные с отправлением правосудия, и пошлины, а также право арьербана (*arrière-ban*), то есть созыва ополчения, ставшее фактически главным королевским полномочием, *bannum*'ом [Le Patourel. 1969; 1976. P. 281ff).

Итак, Норманнское завоевание основывалось на знакомой нам схеме феодального господства: внутренняя сплоченность класса сеньоров определялась способностью высшего сеньора вознаграждать своих сторонников; она разрушалась тогда, когда распределение земель превращало получавших их сеньоров в соперников бывшего вождя<sup>20</sup>.

Класс англосаксонских держателей земли был лишен своей собственности и истреблен за два десятилетия завоевания, его земли были распределены между военными Вильгельма, то есть баронами. Стремительный характер завоевания привел к установлению норманнского господства над всей территорией Англии как единого целого. Землевладельческая революция прошла по стране катком, осуществив радикальные изменения в собственности, ее размерах и конституционном статусе сеньо-

<sup>20</sup> Четкое изложение конститутивных противоречий феодального политического накопления см.: [Le Patourel. 1976. P. 279–318].



рий. Сеньоры получили свои землевладение в держание от «короля» — они стали наследуемыми, но не частными владениями. Король оставался высшим землевладельцем всей территории страны. Когда франкская Галлия распалась на множество независимых сеньорий бана, Англия была объединена в единое целое. В противоположность Франции норманны и Плантагенеты смогли, несмотря на постоянное противодействие со стороны баронов, удержать монополию бана и после 1066 г. Все держатели земель из норманнской знати должны были присягнуть на верность непосредственно королю (Солсберийская клятва, 1086 г.), что позволило предотвратить децентрализацию, связанную с вассальной «медиатизацией», ставшей столь губительной для капетингской Франции и салийской Германии. «Королевский мир», определенный полномочием бана, свел к минимальному уровню частные междоусобицы, создав признанные институты разрешения земельных конфликтов, а также споров о собственности и привилегиях англо-норманнского правящего класса [Каувер. 1988. Р. 153ff].

Быстрое учреждение хорошо организованного манориального режима означало, что *поместной сеньории* сопутствовало широкомасштабное закрепощение англосаксонского крестьянства [Brenner. 1985b. Р. 246–153; 1996. Р. 258–264]. Из-за лучшей самоорганизации знати, отражающей как структуру герцогской власти в Нормандии, так и военную организацию завоевания, английское крестьянство не могло выступить против крепостничества в период XII–XIII вв. Централизованное феодальное государство означало, что королевский закон умирал скрытые конфликты внутри знати. Крепостные попали под исключительную юрисдикцию манориальных сеньоров (что смягчило напряжения между королем и сеньорами), а свободные люди оказались в королевской юрисдикции общего права. Сменяемые шерифы стали основным штатом этого дополнительного уровня публичной правовой власти, который действовал параллельно с традиционными отношениями вассальной зависимости, связывающими знать. В определенном смысле, властные отношения после 1066 г. основывались на двойном режиме собственности, который напоминал каролингский: норманнские сеньоры получили полную свободу действий по отношению к вилланам (крепостным) на собственных поместьях; свободные крестьяне (фригольдеры) платили налоги королю и имели до-

ступ к публичным судам. Неудивительно, что классовый конфликт в таких условиях обычно принимал форму недовольства крестьян собственным социальным статусом [Hilton. 1976a].

Кроме того, из-за наличия обширных территорий Британских островов и монопольной власти Вильгельма и его преемников экспансионистская фаза геополитического накопления — вместе с характерной для нее относительной сплоченностью правящего класса — продлилась вплоть до XIV в. Она была остановлена только началом эко-демографического кризиса и усилившейся конкуренцией внутри знати за уменьшающиеся доходы, что запустило историю Столетних войн и последующие «гражданские» «Войны роз». К этому времени, естественно, французскому королю уже удалось централизовать собственные территории настолько, что он смог сравняться с Англией. В период XII–XIV вв. англо-норманнские сеньоры не только завоевали Уэльс, Ирландию и Шотландию, но также обратили свое внимание на разобщенные герцогства северной Франции, основав при Плантагенетах империю, которая охватывала земли от Гебридских островов до Пиреней [Le Patourel. 1976; Davies. 1990; Frame. 1990]. Военное превосходство было одновременно причиной и следствием необычайной централизации Английского королевства, выражаемой в бесспорной монополии королевского бана. Целостность и относительная стабильность формирования английского государства до XIV в. должна рассматриваться с учетом этого фона фиксированной, двухчастной структуры собственности, которая свела к минимуму конкуренцию знати за крестьянство. Эта договоренность знати, выработанная ради сохранения аграрных прибылей, была укреплена более значительными общими стратегиями геополитического накопления в северо-западной Европе, проходившего под эгидой короля, «Верховного Лорда».

*Франция: от капетингского «доменного государства»  
к королевскому объединению*

Схема образования феодального государства в капетингской Франции в период начала тысячелетия определялась полной фрагментацией политической власти [Brenner. 1996. P. 251–155]. Начиная с конца XI в. принцы и король пытались объединить свои территории — борясь одновременно с шателенами и друг

с другом [Андерсон. 2010. С. 152–154; Mitteis. 1975. P. 267–279; Hallam. 1980]. Итак, логика построения французского государства развивалась под постоянным давлением со стороны геополитической конкуренции, то есть конфликта внутри правящего класса, подталкивающего мелких сеньоров покориться более крупным, и под воздействием внутрifeодального политического сотрудничества, направленного на удержание власти над крестьянством. Капетингской монархии пришлось применить весь арсенал феодальных техник экспансии, чтобы за четыре века установить над Франкией свой сюзеренитет — начиная с авантюрных войн и аннексий, династических браков, подкупов и союзов и заканчивая простой конфискацией и распределением земель. Местную аристократию подавляли, кооптировали, использовали в смешанных браках, от нее откупались или же привязывали ее к королю при помощи непрочных вассальных связей [Given. 1990].

Поскольку концентрическое расширение капетингской монархии было постепенным, длительным, ступенчатым процессом, французское королевство никогда не достигало того единства, которым характеризовался его соперник — Англия. Что еще важнее, французская «медиатизация» («вассал моего вассала — не мой вассал») означала, что власть короля признавалась здесь далеко не в том объеме, в каком она была признана в Англии после завоевания. В силу отсутствия этой внутренней организации правящего класса французская знать конкурировала с королем за право взимать налоги и контролировать крестьянство. Именно эти конкурентные претензии на определенные полномочия оказались решающими для улучшения положения французского крестьянства [Brenner. 1985a. P. 21–23; 1985b. P. 220; 1996. P. 251–255]. Несмотря на неблагоприятное демографическое давление<sup>21</sup>, крестьянству за период XII–XIII вв. удалось освободиться от крепостничества (сменив трудовые ренты на ренты, выплачиваемые деньгами) и получить к началу XIV в. *de facto* — но не *de jure* — права собственности на свои наделы, пользование и наследование которых определялось обы-

<sup>21</sup> В соответствии с неомальтузианской логикой, рост населения означал избыточное предложение рабочей силы, приводящее к более низким доходам крестьянства или умалению их правового статуса — ни того, ни другого во Франции не наблюдалось.

чаем. Сеньоры, нуждающиеся в наличных деньгах, продавали хартии вольностей, регулирующие освобождения от работы в крестьянских общинах. Ренты (*cens*), но также и иные сборы (пени, налоги на наследство и взносы при передачи имущества) все еще исчислялись по размеру наделов, оставались фиксированными и потому благодаря инфляции уменьшались. Со временем сеньоры столкнулись с необходимостью отдавать свои домены в аренду или же просто продавать их [Duby. 1968. P. 242; Hallam. 1980. P. 161ff, 225]. Падение рент и потеря собственности сделала их финансовое положение весьма хрупким. Многие задолжавшие шателены и рыцари были привлечены к службе на более крупные поместья. В других случаях они продавали себя в качестве наемников или же отправлялись «за границу», чтобы добиться получения собственной сеньории в не-франкской периферии. Ключевым пунктом является то, что крестьянство использовало слабость и дезорганизацию собственных сеньоров, обращаясь в королевские суды, чтобы сохранить уступки, вытребованные им у сеньоров бана. Король вставал на сторону крестьян, поскольку их свобода означала для него появление новой доходной базы (но базы не рент, а налогообложения) и в то же время ослабляла позиции конкурирующей с ним знати. Хартии вольностей, дарованные сельским общинам, и индивидуальные освобождения в значительной мере пошатнули прямую власть знати над сельским населением. Там же, где местная знать, стремясь решить свои проблемы с доходами, пыталась снова навязать произвольные налоги или традиционные поборы, совмещение крестьянских бунтов и правовой поддержки короля привело к неотвратимому падению децентрализованного режима баналитета.

Установление капетингского правления в различных французских княжествах было поэтому не столько внезапным воцарением, сколько неравномерным в хронологическом и региональном отношениях процессом смешения сетей королевского патронажа с сетями уже существовавших знатных семей, осуществленное благодаря системе наследования и феодальным техникам господства. Здесь не было государства, которое могло бы насадить свою бюрократию на всей территории, здесь был феодальный правитель, который должен был завоевывать личную преданность политических властителей, которые по-прежнему воспроизводили сами себя на основе своих земель,

а также должностных лиц, передающих свои должности по наследству и склонных к присвоению этих обеспеченных землями должностей. С одной стороны, капетингское правление означало включение независимых сеньоров в феодальную иерархию на правах вассалов; с другой — оно требовало встраивания сети королевского правосудия, отправляемого королевскими агентами, в региональный политический ландшафт. Эта попытка монополизировать право на арбитраж постоянных споров между крупными сеньорами (светскими или церковными), городами, мелкими сеньорами и деревенскими сообществами впутала королевских агентов в самую гущу местной политики. Изменчивые союзы короля, региональной знати, городов и крестьян, а также, что главное, желание короля отнять контроль над городами и крестьянскими сообществами у знати, — вот что привело к формированию французского государства его в высшей степени неравномерный и рваный характер.

К началу XIV в. французское «государство» утвердилось на новой конфигурации общественных классов. Король — в теории и на практике — стал феодальным сюзереном, пытающимся наладить в провинциях работу публичных постов, чтобы контролировать сбор налогов и отправление правосудия. Территориальные принцы были включены в феодальную иерархию. Независимый класс сеньоров бана и рыцарей исчез или превратился в мелкую знать. Многие города отказались от сеньориального контроля и получили королевские вольности. Наконец, крестьянство завоевало значительную личную свободу и *de facto* права собственности. Но несмотря на эти процессы административной централизации и территориального объединения, королевство оставалось совершенно феодальным — персонализированным и фрагментированным.

Восхождение Капетингов к власти и распространение их королевских владений на четыре пятых современной Франции не было неизбежным; также этот процесс не был естественной, однонаправленной, непрерывной историей роста, в которую мы должны верить, если следовать учебникам и национальным историкам. В действительности, сравнительно небольшое королевское владение — Иль-де-Франс, — хотя и пользовалось важной легитимацией, обеспеченной церковным освящением и теорией божественности монархии, вряд ли выступало в качестве реального соперника более могущественных конкурентов, сре-

ди которых особенно выделялись английский король Генрих II и его преемники. Сама природа феодально-наследственных государств — все минусы разобщенной территории, биологические случайности в династическом воспроизводстве и преемственности, *апанажи*<sup>22</sup>, дарованные младшим сыновьям королевской семьи, периодически отбираемые у них, — все это задавало абсолютные пределы формирования французского государства. Территория сжималась и распадалась на части; неопределенность всего предприятия в целом стала ясна в момент феодального кризиса XIV в. и Столетней войны.

Все это — не аргумент в пользу роли случая и удачи в истории. Скорее, в условиях устойчивого межличностного политического режима собственности логика формирования государства включает в себя моменты и централизации, и децентрализации, определяемые степенью самоорганизации правящего класса и класса производителей. Так же, как в IX–X вв. Каролингская империя распалась из-за общего давления чрезмерного налогообложения и внешних угроз, французская монархия боролась за то, чтобы в период кризиса XIV в. удержать важнейших баронов на привязи. Другими словами, отношения собственности задавали структурные пределы формирования государства во Франции Высокого и Позднего Средневековья.

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОАКТОРНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Европа расширилась до возникновения капитализма. Она расширялась до того, как итальянские, фламандские и германские порты смогли заняться масштабной торговой деятельностью, а также до великих географических открытий за океаном, финансируемых абсолютными монархиями. Носители средневековой экспансии — недовольная и поставленная под экономический удар позднефранкская знать, ищущая новые источники дохода. Причины феодальной экспансии были «внутренними»: предшествовавшая внутренняя перестройка отношений собственности, осуществившаяся на центральных территориях бывшей

<sup>22</sup> Апанаж (*фр.* *apanage*) — земельное владение, предоставлявшееся во Франции и некоторых других европейских монархиях некоронованным членам королевской семьи. — *Примеч. пер.*

Каролингской империи, запустила процесс массовой центростремительной миграции. Истолкование «феодалной революции» X в. в качестве драматической реакции сеньоров на кризис доходов открывает прямую связь между внутренними общественными отношениями и внешним завоеванием, то есть между «внутренними» и «международными» трансформациями.

Везде, где рыцарям удавалось удержать власть над недавно приобретенными сеньориями, процесс продолжался формированием феодального государства. Возникли новые королевства. Социальная трансформация и географическая интеграция европейской периферии объединили континент в социальном, военном, торговом, культурном и религиозном отношениях, одновременно накрыв его духовным зонтиком папского политического контроля. Балтийское море, северная Атлантика, а также Средиземное море стали акваториями католичества, на которых все больше начинали господствовать города-лиги и города-государства, связывающие Любек и Реваль (Таллин), Гамбург, Брюгге и Лондон, Геную и Барселону, Венецию и Константинополь с Александрией. Несмотря на установление торгового и культурного единообразия, политико-территориальная разобщенность сохранялась. В силу феодального характера колонизации экспансия начала тысячелетия породила не зависимые колонии, а независимые династические политические образования. Эта тенденция была встроена в межличностную структуру феодального способа эксплуатации; она же создавала место не для общеевропейского имперского господства, а для властно-политических расколов, которыми быстро воспользовались недавно появившиеся династии. Политическая карта Европы к концу XIV в. показывает, что феодальная государственность рассталась с призраками собственного прошлого — с образами Римской и Каролингской империй. Хотя возникли новые империи (Испания и Германия), могущественные монархии (Франция и Англия), а также претендующее на верховенство папство, борьба за превосходство между неравными политическими образованиями в Европе так и оставалась незавершенной. Несмотря на то, что развитие многоакторной Европы не было необратимым процессом, возникновение множества политических структур в пределах культурного единства христианской Европы снова и снова подрывало универсалистские имперские амбиции, питаемые сохраняющейся логикой (geo)политического накопления.

Однако если политический плюриверсум стал играть роль конститутивной черты европейской геополитики, он не предполагал территориальной идентичности своих элементов, также как и не мог он запустить процесс формирования нововременного государства. Феодалный колониализм не был ни структурным развитием социальной и политической организации трудовых процессов, ни прыжком технологических инноваций. Сохранение принудительного извлечения прибавочного продукта аграрного труда в период всего Средневековья означало то, что присвоение, которым была занята знать, оставалось в территориальном отношении, прежде всего, экстенсивным, а в политическом — интенсивным. Именно потому что непосредственные производители продолжали владеть средствами собственного выживания, не могла реализоваться определяемая постоянным инвестированием капиталистическая логика систематического снижения затрат посредством замены рабочей силы технологическими инновациями с результатом в виде роста производительности. Поэтому, хотя внеевропейская экспансия продолжалась, внутриевропейская конкуренция за рабочую силу и территорию, а также классовый конфликт между сеньорами и крестьянством, определяемый уровнем эксплуатации, усиливались в равной мере.

Торговля для средневекового колониализма оставалась эпифеноменом, однако распад Каролингской империи создал «промежутки», внутри которых города смогли освободиться от политического контроля территориальных принцев (случай Италии анализируется в: [Табаско. 1989. Р. 182–236]). Но хотя политическая автономия городов была достигнута в тех регионах, где короли были слишком слабы, чтобы восстановить свою власть после «Феодалной революции» (в Германии, северной Италии, Фландрии), эти города оставались зависимыми в экономическом отношении от спроса правящего класса. Подъем и падение средневековых городов были жестко связаны со способностью класса держателей земель извлекать прибавочный продукт и, в частности, с кредитоспособностью королей, берущих средства в долг. Если городам не удавалось превратиться в землевладельческие города-государства с независимыми источниками неторговых доходов (Венеция), их процветание определялось спросом знати, который в свою очередь зависел от рент, извлекаемых из крестьянства в условиях эко-демографических коле-



баний аграрного общества. Возобновление торговли на большие расстояния в XII в. само было результатом возросшего спроса аристократии, основанного на усилившейся эксплуатации систематически закрепощаемого крестьянства. Она, естественно, усилила военную конкуренцию внутри знати, что в свою очередь запустило маховик торговли. Когда же в XIV в. разразился кризис, первыми пострадали именно города.

В этой главе показана связь двух важных системных трансформаций средневековой геополитики и классового конфликта. Борьба внутри правящего класса сеньюров поздней Франкской империи в условиях усилившегося внешнего давления ускорила развал империи, произошедший в период «Феодальной революции» около 1000 г. Имперская иерархия уступила место феодальной анархии. Перестройка способа эксплуатации аграрной экономики, основанной на крепостном труде, породила милитаризацию франкской деревни, тогда как территориализация и патримониализация сеньюрий привели к введению права первородства, что стало выталкивать лишних сыновей сеньюров за пределы старой Франкии. Затем мигрирующие франкские сеньюры, получившие легитимацию от Церкви, ставшей политическим институтом, попытались внедрить собственные традиционные формы политического воспроизводства в периферийных территориях за пределами бывшей Франкской империи. Появились новые королевства, учреждаемые рыцарями, которые сами основывали новые династии. В то же время французская монархия укрепила свою власть. Новый международный порядок характеризовался множеством королевских династий и иных феодальных акторов. В общем, отношения собственности объясняют конституцию, действие и трансформацию средневековых геополитических порядков. Различия в средневековой геополитической организации отражают властные отношения, дифференцированные различными формами сеньюрии — банальной, поместной и земельной, которые организовали общественные отношения эксплуатации и властные отношения внутри знати.

Теперь мы можем понять, почему неореализм и реализм не объясняет возникновение, воспроизводство и закат средневековых геополитических систем: поведение акторов во всех трех системах не было производной структуры-системы (анархии или иерархии) в неореалистическом смысле, но определялось

на фундаментальном уровне (гео)политическим накоплением, опосредуемым межличностными феодальными связями и общей римско-католической культурой. Феодальные стратегии воспроизводства были совместимы с различными формами международной организации — имперской, индивидуализированной и королевской, пока главной единицей власти и производства оставалась сеньория. Политическое и геополитическое поведение фундировалось конфигурацией этих основанных на сеньории режимах собственности. Различные варианты формирования государства как на территории бывшей Франкской империи, так и за ее пределами обнаружили свой институциональный и «модернизационный» предел в сохранении и экспорте структур сеньории. Хотя территориальные границы феодальной Европы существенно расширились при переходе от Раннего Средневековья к Высокому и ее различные правители уже не объединялись единой имперской властью, социально-политическая организация не претерпела фундаментального изменения. Это означает, что несмотря на геополитический порядок Позднего Средневековья не был структурирован различием экономического и политического, новое укрепление королевской власти стало выражаться в начавшейся дифференциации внутреннего и международного. В определенном смысле феодализм сотворил мир по собственному образу. Но в совсем другом смысле он же создал сохраняющееся наследие европейской политической географии, разделенной по династическим линиям.

# *IV. Переходы и непереходы к Новому времени: критика конкурирующих парадигм*

## 1. ВВЕДЕНИЕ: ВОЗВЫШЕНИЕ ЗАПАДА?

Заканчивая историю Высокого Средневековья, многие исследователи обычно переходят к началу истории «возвышения Запада». После кризиса XIV в., отмены крепостничества и постепенного преодоления феодальных пережитков соединение неумолимого возвышения средних классов с рациональной бюрократией в конкурентном, государствоцентричном контексте определяет траекторию развития Европы, которая радикально отличает ее от всего остального мира. В литературе по теории МО обычно принимается эта упрощенная версия геополитического перехода от Средневековья к Новому времени, согласно которой и феодальная геополитика, и проекты создания всеобщих империй были замещены нововременной системой государств, сложенной из территориальных суверенных государств. С данной точки зрения эти процессы начались после кризиса XIV в. и усилились в XVI и XVII вв., причем Франция обычно выделяется в качестве прототипа формирования нововременного государства.

В первой главе я критиковал теории МО за то, что они не могут адекватно объяснить формирование нововременной системы государств. Теперь нам нужно изучить три модели долгосрочного развития и перехода к «Новому времени», доминирующие в исторической социологии, и показать их место в попытках объяснения системного изменения в рамках теории МО. К этим моделям относятся: (1) модель геополитической конкуренции, (2) демографическая модель, (3) модель коммерциализации. В первой подчеркиваются конкурентные международные отношения эпохи позднего Средневековья; эта военная конкуренция привела к небывалому усилению и территориализации государств, стремившихся повысить свою боеготовность, ре-

зультатом чего стало формирование нововременной системы государств. Во второй модели долгосрочная экономическая динамика Европы выводится из неомальтузианских демографических колебаний, управляющих распределением доходов и фазами роста/спада. В третьей модели торговля, рост городов, усиление международного разделения труда и подъем буржуазии рассматриваются в качестве долгосрочных причин, объясняющих рост влияния Европы внутри нововременной миросистемы. Все три теории имеют давнюю историю и время от времени перерождаются в разных обликах. Моя идея, однако, состоит в том, что все три подхода в теоретическом отношении остаются недостаточными и, по существу, ошибочными описаниями развития в эпоху раннего Нового времени и перехода к Новому времени.

Общепринятые парадигмы теории МО, особенно те, что принадлежат к традициям реализма и неореализма, конечно, могли бы выступить против той мысли, что с началом Нового времени меняется именно глубинная логика международных отношений. Там, где нет изменения, нет и нужды в объяснении. Та модель «отсутствия глубинного изменения», которая господствовала во всей сфере теории МО, является, однако, дисциплинарной аномалией — странным плодом той отрасли знания, в которой отвержение истории принимается за научную строгость. Напротив, моя идея состоит в объяснении различий в устройстве, действии и трансформации геополитических порядков. Эта идея основывается на допущении, что мы можем выделить и глубинную «генеративную структуру» международных систем, которой объясняются институциональные и поведенческие отличия, и «трансформативную логику», которой объясняются переходы от одной системы к другой. Значение теории общественных отношений собственности заключается в том, что она способна предложить теоретическое описание перехода к нововременным международным отношениям и объяснение процессов ранненовременного и нововременного формирования государств и, соответственно, генезиса европейской нововременной системы государств<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Альтернативные интерпретации таких структурных трансформаций см. в: [Colás. 2002, особенно Ch. 2]. Колас приводит доводы в пользу той роли, которую интернационализированное гражданское общество —

## 2. МОДЕЛЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Работы, в которых развивается модель геополитической конкуренции, появились за пределами теории МО, в исторической социологии. Ее возрождение в 1980-х годах в значительной мере стало ответом на так называемый «экономический редуционизм», внутренне присущий марксистской исторической социологии и особенно миросистемной теории Валлерстайна, которая не учитывала пространство геополитической конкуренции в своей попытке реконструировать общую природу и динамику нововременной миросистемы. Хотя более утонченные подходы стремятся объединить стратегическое взаимодействие как «отсутствующее звено» с внутренним развитием, чтобы доказать относительную автономию стратегического фактора, в общем, в трудах по геополитической конкуренции исследователи выдвигают последнюю в качестве первичного уровня детерминации, который должен объяснить формирование государств и отличия в этом формировании<sup>2</sup>. Хотя осознание проблемы системной трансформации в рамках теории МО заставило ее обратиться к подобным трудам, за этим не последовало никакой систематической критики ключевых предпосылок и содержательных выводов, сделанных в них [Hobden. 1998; Hobson. 2000. P. 174–214; Hobson. 2002b]<sup>3</sup>. Поэтому, если мы хотим показать превосходство теории общественных отношений собственности, нам следует совершить экскурс в более широкий контекст социальных наук и историографии. Далее я рассмотрю эти модели, применяя метод имманентной критики и показывая, почему они не могут выдвинуть связанные и убедительные объяснения, которые опирались бы на их исходные предпосылки и решали бы ими же поставленные проблемы.

вместе с присущим ему классовым антагонизмом — сыграло в переходе к нововременной системе государств.

<sup>2</sup> Спектр простирается от Аристиды Зольберга [Zolberg. 1980, 1981] до Чарльза Тилли [Тилли. 2009] и Майкла Манна [Mann. 1986].

<sup>3</sup> Хотя критика Гобсоном [Hobson. 2002b] вебериянской исторической социологии первой волны (Скочпол, Тилли, Манн) является первым шагом в этом направлении, его модель структуризации неспособна выйти за пределы многофакторного анализа. Метатеоретическая критика содержится в: [Smith. 2002].

### *Военная логика формирования государства*

Социологическая модель геополитической конкуренции базируется на теории государства Вебера—Хинце, а ее историографическими предшественниками можно считать прусскую историческую школу и особенно выдвинутую Леопольдом фон Ранке теорему о «первичности внешней политики». Основная идея этого подхода получила свое классическое выражение у Отто Хинце:

Если мы желаем выяснить связь между военной организацией и организацией государства, мы должны первым делом обратить внимание на два феномена, которые обусловили реальную организацию государства. Это структура общественных классов и внешняя расстановка государств — их отношение друг к другу и их общая позиция в мире. Рассматривать в качестве единственной движущей силы истории классовый конфликт — это, несомненно, одностороннее и потому ложное преувеличение. Конфликты между народами всегда оставались гораздо более значимыми; на протяжении веков давление извне оказывало определяющее влияние на внутреннюю структуру. Зачастую оно даже подавляло внутренние распри или приводило к заключению компромиссного решения. Обе эти силы явным образом участвовали в выработке структуры военного порядка и государственной организации [Hintze. 1975b. P. 183].

Основная причинно-следственная цепочка в этой модели может быть схематизирована следующим образом: международная конкуренция ⇒ война ⇒ рост издержек ⇒ рост эксплуатации ресурсов ⇒ новые способы налогообложения и финансовой политики ⇒ военно-технологические инновации ⇒ государственная монополизация средств насилия ⇒ государственная централизация и рационализация (главные работы этого подхода: [Braun. 1975; Finer. 1975; Tilly. 1975, 1985; Тилли. 2009; Mann. 1986, 1988a, 1988b; Dowring. 1992; Luard. 1992. P. 30; Blockmans. 1994; Reinhard. 1996a, 1996b, 1999; Ertman. 1997]). В отдельных случаях эта динамическая причинно-следственная цепочка напрямую связывается также с развитием самого капитализма [Mann. 1986. P. 454; 1988a, 1988b]. Работы, которые вращаются вокруг этой центральной гипотезы, составляют господствующую в современной науке парадигму теории формирования государств и служат главным инструментом интеллек-

туальной легитимации общепринятых в теории МО описаний развития нововременной системы государств<sup>4</sup>.

Эти работы можно разбить на четыре тесно связанных друг с другом направления. В первом акцентируется роль военной конкуренции и ее влияние на централизацию и рационализацию военной власти в руках государства. Во втором направлении особое внимание уделяется изменениям в техниках обеспечения доходами и их влиянию на формирование государства. Третье концентрируется на административных и институциональных инновациях и особенно на влиянии представительных собраний и «бюрократий» на укрепление государства. Исследования четвертого типа вращаются вокруг формирования единообразной правовой системы, кодифицированного светского корпуса гражданского и общего права, а также централизованной судебной системы, обслуживаемой профессиональными юристами. Однако все течения сходятся в том, что рассматривают эти отдельные направления развития как параллельные и взаимосвязанные шаги на пути к одному ключевому институту — нововременному суверенитету.

В этих работах также существует согласие относительно трех фундаментальных тезисов. Прежде всего, возникновение централизованных в военном, финансовом, административном и правовом отношении государств осуществилось главным образом и в основных западных странах, к XVII в., самое позднее — к XVIII в. Кроме того, все эти политические феномены можно уравнивать с более широким понятием Нового времени. Суверенное государство эпохи абсолютизма было нововременным государством. Наконец, фундаментальной причиной, *primum mobile*, этих процессов было систематичное принуждение к

<sup>4</sup> Хотя неовеберянцы редко ссылаются на Уолца, интеллектуальное родство очевидно. Уолц утверждает, что все государства функционально подобны, поскольку из-за факторов геополитической конкуренции все они встраиваются в одну международную систему. Это со временем вынуждает участников конфликта копировать успешные практики государств-лидеров, дабы уменьшить разрыв во властных возможностях слабых и сильных государств, что приводит к конвергенции во внутренней организации, которая на выходе дает централизованные государства с монополией на средства насилия. Государства, которым не удается адаптироваться и скопировать эти практики, «изгоняются» из системы, что и приводит к гомогенизации элементов международной системы. См.: [Waltz. 1979].

войне, подталкивавшее рационализацию государства. И вновь Хинце высказывает самую суть этих посылок:

Постоянное соперничество между великими державами, которое по-прежнему смешивалось с конфессиональными различиями; постоянное политическое напряжение, которое неизменно приводило к применению военной силы, необходимой для того, чтобы отдельные государства могли сохранить свою независимость и, соответственно, основу общего процветания и культуры; короче говоря, властная политика и политика баланса сил заложили основания нововременной Европы — как международной системы, так и абсолютистской системы правления и постоянной армии европейского континента [Hintze. 1975b. P. 199]<sup>5</sup>.

Как именно традиция Вебера—Хинце оправдывает начало Нового времени в сфере формирования государств? Первый критерий этого уравнивания ищется в сфере военной организации, основанной на веберовском различии феодальной олигополии и нововременной монополии на средства насилия. Связь между международным соперничеством, военной рационализацией и формированием государства была сформулирована в виде простого, убедительного и обобщенного законоподобного утверждения Сэмюэлем Файнером в его модели «цикла эксплуатации—принуждения» и Чарлзом Тилли в модели «производства войны и производства государства» [Finer. 1975. P. 96ff; Tilly. 1975. P. 23–24, 1985; Тилли. 2009]. Переход от феодального войска, основанного на межличностных обязательствах и созываемого королем, к нововременной постоянной армии, финансируемой и контролируемой монархией, привел к государственной монополизации средств насилия. Благодаря военным технологическим инновациям (так называемая «Военная революция» 1550–1660 гг.) на смену «иррациональности», неэффективности и ненадежности феодальных рыцарей пришла дисциплинированная, тренированная, оплачиваемая из государственной казны профессиональная армия (*miles perpetuus*), которая уже не опиралась на межличностные связи, определяемые феодальной системой, а разделялась на функциональные ветви (артиллерия, кавалерия,

<sup>5</sup> В веберовском многофакторном объяснении формирования нововременного государства геополитическая конкуренция оказывается лишь одним фактором из многих. См.: [Axtmann. 1990].



пехота, флот). Внутренняя монополизация средств насилия, в результате которой междоусобицы были поставлены вне закона, а право знати на сопротивление было попрано, осуществлялась вместе с такой же внешней монополизацией, которая привела к отвержению государствами папских и имперских претензий. Демилитаризация знати и концентрация военных сил в государстве были двумя сторонами одной монеты. И хотя все это обеспечило рационализацию и повышение военной эффективности, такой процесс требовал и финансовых ресурсов, выходящих за пределы феодальных возможностей. Потребность в дополнительных ресурсах повлияла на налогообложение (второй критерий), что привело к переходу от феодального «доменного государства» к нововременному «налоговому государству»<sup>6</sup>. В нововременном налоговом государстве «частные» ресурсы правящей власти стали значительно уступать «общественным» доходам, извлекаемым из системы общего налогообложения» [Ormrod. 1995; Braun. 1975]. Этот переход от финансового персонализма, в пределах которого не было реального различия между частным доходом короля и общественными доходами (*le roi faut vivre du sien*), как предполагается, нашел свое завершение в централизованной системе монархии, которая распространила свою финансовую власть на все королевство. В ходе этого процесса были изобретены новые формы фискальной полити-

<sup>6</sup> Классическим текстом является текст Шумпетера [Schumpeter. 1954]. Связка «доменное государство — налоговое государство» служит организующим понятием тома, посвященного «Теме В: экономическим системам и государственным финансам» и включенного в семитомное издание «Происхождения нововременного государства в Европе: от XIII до XVIII века» под редакцией Вима Блокманса и Жана-Филиппа Жене. «Переход от «доменного государства» к «налоговому государству»... на уровне истории финансов является эквивалентом перехода от феодализма к капитализму в общей экономической истории, и временами он грозил превратиться в главную тему этой книги» [Bonney. 1995a. P. 13]. С этим стоит сравнить поверхностные и уклончивые замечания Бонни о марксовом понимании отношений государства и экономики [Bonney. 1995a. P. 3–5]. В остальной части книги Бонни переход от феодализма к капитализму и его влияние на государственные финансы и формирование государства вообще не упоминаются. В пятой главе я покажу, что возникновение налогового государства в Европе XVII в. не имеет ничего общего с возникновением капитализма или нововременного государства; в самом деле, можно было бы доказать, что существование «налогового государства» означает как раз отсутствие капитализма.

ки, реализуемой новыми публичными институтами, которые использовали против автономных полномочий знати, против привилегий и свобод духовенства, что привело к фискальному единообразию и институциональной централизации [Ormrod. 1995. P. 124–127]<sup>7</sup>. Наиболее значительной инновацией был сдвиг от феодальной военной и финансовой системы поборов с ее неэластичным и непрямым налогообложением к обобщенному прямому налогообложению. Феодальная система чрезвычайной дани уступила место регулярному и общему налогообложению. Получение доходов и траты стали общегосударственными вопросами. Максима Жана Бодена *resipia nervus rerum*<sup>8</sup> стала государственной доктриной. Считается, что этот переход осуществился в ведущих западноевропейских монархиях между XIV и XVII вв. под давлением «государство созидательных войн» (*state-constitutive wars*), в которых межгосударственная конкуренция сделала необходимой государственную монополию на налогообложение и средства насилия.

Это в свою очередь вызвало переход от фрагментарной феодальной к нововременной бюрократической системе управления (третий критерий). И постоянная армия, и централизованный налоговый режим требуют работы профессиональных должностных лиц. Поэтому после сознания «постоянной армии» независимой местной феодальной администрации вызов был брошен «сидячей армией» профессиональных чиновников, которые нанимались и контролировались государством и, в конечном счете, заместили феодальную систему управления. Дворянство мантии (*noblesse de robe*) выросло за счет старой военной знати (или дворянства шпаги — *noblesse d'épée*).

Четвертым критерием является создание правовой системы. Неразбериха независимых феодальных судов уступила место унифицированной в национальном масштабе правовой системе, регулируемой единообразным налоговым кодексом и управляемой знатоками права, опирающимися на единую иерархию

<sup>7</sup> Если использовать немецкие термины, этот процесс понимается как переход от феодального *Personenverbandstaat* (государства ассоциированных лиц) к нововременному *institutioneller Flächenstaat* (институционализированному территориальному государству).

<sup>8</sup> *Resipia nervus rerum* (лат.) — «деньги — нерв [всех] вещей». — Примеч. пер.

судов, вершиной которой являются королевские суды. Встречавшиеся и ранее в среде споры знати разрешались теперь не архаичными междоусобными столкновениями, а королевским гражданским правом. Длительная история того, как короли подавляли аристократические дуэли, является отражением этого процесса. Новые модальности финансовой политики требовали увеличения возможностей надзора, применения законов и дисциплины. Споры между крестьянами и землевладельцами разрешались теперь не манориальными судами, а переносились в королевские суды. Короче говоря, военное соперничество косвенным образом привело к юридикации общественных отношений.

*Экскурс — Майкл Манн: теоретический плюрализм, исторические случайности*

Труды Майкла Манна представляют собой, вероятно, наиболее полную и наиболее влиятельную версию модели геополитической конкуренции, встроенной в более широкую плюралистскую теорию возвышения Европы. Манн датирует начало бурного развития Европы XII в. Взаимосвязь капитализма, нововременного государства и нововременной системы государств прослеживается им на трех этапах, которые рассматриваются как элементы постепенного процесса: 800–1155, 1155–1477 и 1477–1760 гг. — последний год маркирует возникновение нововременной системы государств.

Зачатки капитализма Манн обнаруживает уже на первом этапе. «Безголовая» структура феодальной политической власти создает возможности для ориентированного на прибыль экономического поведения<sup>9</sup>. Оживление городов и возобновление торговли на большие расстояния соединились с технологическими новациями, интенсивным сельским хозяйством и общей миротворческой рамкой христианства. Источники и взаимосвязи этих сетей сил, запустивших «европейское чудо, были гигантскими сцеплениями случайностей» [Mann. 1986. P. 505]. Считается, что только христианство было необходимым условием, отличающим Европу от соперничающих с ней цивилизаций [Ibid.].

<sup>9</sup> Подобное описание см. в: [Baechler. 1995].

На втором этапе дальнейшее развитие было обусловлено двумя дополнительными случайностями — одной внутренней и одной внешней. Во внутреннем плане экологические (плодородие почвы) и геокоммерческие (навигационные возможности в зоне Атлантики и Балтики) факторы обеспечили интенсификацию сельского хозяйства и коммерческую экспансию. В то же время развитие «координационных государств» (территориальных федераций, которые согласовывали интересы могущественных социальных групп) шло вместе с ростом внутриевропейского геополитического давления и «Военной революцией», что запустило процесс перехода от феодальной политической фрагментации к многогосударственной системе. «К 1477 г. эти сети сил приобрели свой нововременной облик, став многогосударственной капиталистической цивилизацией» [Манн. 1986. Р. 510]. Во внешнем плане ислам заблокировал экспансию на Восток, завоевав Константинополь (1453 г.), что стало концом православного христианства. Закрытие Востока и возможности, предоставленные Западом, способствовали тому, что силы устремились к Атлантике. «Двумя важнейшими условиями этого стала политическая блокада на Востоке и сельскохозяйственные и торговые возможности Запада» [Ibid.].

Третий этап характеризовался быстрой интенсификацией военной конкуренции, которая запустила рост военных расходов, создание новых модусов финансовой политики и управления, а также распространение «органического государства». Политические образования, которым не удалось выдержать военную конкуренцию, были уничтожены. Хотя Манн признает различие между французским абсолютизмом и британской конституционной монархией после Славной революции, он все равно помещает их в одну идеально-типическую рубрику «органического государства». Абсолютистские режимы, вроде Франции, были «мобилизованными государствами», которые пользовались «деспотической властью» над «гражданским обществом», а также располагали «определенной финансовой и людской автономией» на той территории, которая была богата людскими ресурсами, но бедна в экономическом отношении [Манн. 1986. Р. 437]. Конституционные режимы, вроде Англии и Голландии, были «фискальными государствами» с незначительной деспотической властью, но с сильной «инфраструктурной властью», реализующейся на территориях бедных людскими ресурсами,

но богатых экономически. Однако Манн, не углубляясь в различия этих режимов, в конечном счете объединяет их в одну категорию, которая подчинена одному и тому же конкурентному давлению, вызывавшему тождественные государственные реакции<sup>10</sup>. Он приходит к выводу, что «рост нововременного государства в финансовом отношении объясняется прежде всего не внутренними факторами, а геополитическими силовыми отношениями» [Манн. 1986. Р. 490]. Завершение этого общесистемного процесса датируется периодом XVII–XVIII вв.

*Новое время? Какое Новое время?*

*Критика модели геополитической конкуренции*

Однако при более внимательном рассмотрении модели геополитической конкуренции вскрывается целая цепочка теоретических проблем и исторических неточностей. Эти несообразности обнаруживаются тогда, когда мы (1) ставим под вопрос «данность» системы множества государств и, соответственно, отсутствие теории происхождения европейского политического плюриверсума; (2) обнаруживаем отсутствие социальной теории войны; (3) соотносим универсальные следствия геополитической конкуренции с весьма различными в институциональном отношении формами политических сообществ Позднего Средневековья; (4) оспариваем объяснения успеха или провала этих трансформаций в различных регионах; (5) ставим под вопрос определение политического Нового времени в этих объяснениях; (6) поднимаем вопрос о роли капитализма.

Мы видели, что эта модель исходит из уже наличного множества политических образований в позднесредневековой и ранненовояременной Европе (см., например: [Reinhard. 1996b. Р. 18]). Этот геополитический плюриверсум принимается всеми,

<sup>10</sup> Это не различие проистекает из веберовской схемы Манна: «Классификация Манна нуждается в уточнении. Как и веберовская типология, данная в его социологии господства в «Хозяйстве и обществе», она задается через взаимодействие элитных групп и пренебрегает социальными отношениями внутри подчиненных групп и их отношениями с этими элитными группами... Типологию Манна, выстроенную вокруг различных типов отношений элит, следовало бы поэтому расширить так, чтобы она включала и различные типы классовых отношений» [Axtmann. 1993. Р. 25–26].

за исключением Томаса Эртмана<sup>11</sup>, как данность. Хотя этот плюриверсум, конечно, нельзя «считать» с наличных общественных отношений собственности в той или иной точке времени и пространства, я показал, как геополитическую фрагментацию можно понять в качестве результата классовых конфликтов, которые раздирали последнюю общеевропейскую империю. Поэтому геополитическая множественность была не естественным, географическим, этническим или культурным феноменом, а итогом классового конфликта.

В модели геополитической конкуренции, которая постоянно апеллирует к примату военного соперничества, в то же время отсутствует социальная теория войны. Считается, что военная, фискальная и институциональная централизация проистекает просто из постоянного геополитического давления. Затем внимание смещается к тому, как властные элиты реагировали на это давление путем перестройки внутренних техник извлечения средств, военной мобилизации и институциональной рационализации. Однако, если каждый правитель был вынужден реагировать на внешнее давление, кто и на каком основании вообще запустил этот процесс? Другими словами, труды по геополитической конкуренции не объясняют, почему простой факт территориального соседства необходимым образом вызывает конкуренцию. Это не вопрос исторического описания геополитического конфликта, а вопрос причинно-следственного объяснения. Если сказать еще более радикально, этой модели не удастся объяснить, почему ранненовременные политические образования были экспансионистскими.

Это весьма поразительное отсутствие социальной теории войны приводит к двум методологическим дилеммам. В социально-центрированных описаниях первичный стимул выносится вовне и приписывается международным силам; напротив, в системно-центрированных теориях он приписывается натурализованной конкурентной межгосударственной системе. Однако простое географическое соседство политических об-

<sup>11</sup> Подъем и падение Каролингской империи излагаются Эртманом в русле традиции Вебера—Хинце, то есть через модальности управления и администрирования. Крестьяне и конфликты за источники доходов в таком изложении вообще никак не проявляются [Ertman. 1997. P. 39–48].

разований само по себе не способно объяснить, почему межгосударственные отношения периода Позднего Средневековья и раннего Нового времени были настолько воинственными, если только мы не примем в качестве предпосылки сомнительное с антропологической точки зрения представление о человеке как естественном максимизаторе власти или же психологическую модель рационального выбора, в которой минимизация риска создает неизбежную дилемму безопасности. В этих дилеммах воспроизводится социологическая бедность реалистичного мышления и антиисторические абстракции системоцентрированных неореалистских теорий. Неприемлемое гипостазирование системного давления требует поэтому рамки анализа, которая оказалась бы достаточно широкой для понимания «внешних» факторов как *внутренних* для самой системы. Также требуется перейти к пониманию системы не как абстрактного «третьего образа» [Waltz. 1959], действующего в своей собственной логике поверх и по ту сторону от слагающих ее акторов, а как внутренне связанной с «генеративной структурой», которая объясняет частоту войн. Мы должны восстановить связь социального содержания войны с общественными отношениями собственности, которые сделали ее необходимой стратегией воспроизводства докапиталистических правящих классов: геополитическое накопление<sup>12</sup>. Другими словами, нам нужно денатурализовать и деконструировать позднесредневековые и ранненовоявременные «государства», представив их в виде географически распределенных членов общеевропейского правящего класса, борющихся за источники доходов.

<sup>12</sup> В работах, следующих Веберу и Хинце, социальное значение войны периодически мимоходом признается, однако мы не находим в них систематической теории, которая утверждала бы, что война возникает из особых отношений общественной собственности, определяющих ее в качестве именно экономической необходимости, а не спортивного развлечения князей. Ср., например: «Что касается вопроса приобретения прав на территории, он решался комбинацией принципа наследования с соответствующими матримониальными практиками. Когда же возникал спор о передаче наследства, последним аргументом обычно выступала сила оружия. Поэтому траты на безопасность и оборону, предпринимаемые монархическими государствами, по крайней мере частично следует рассматривать в качестве инвестиций в достижение прав господства, по крайней мере тогда, когда за войной следовало увеличение территорий» [Köbner. 1995a. P. 404].

Хотя война была всеобщим явлением, реакции на нее таковыми не являлись. То есть реакции разных государств на военное давление невозможно вывести из геополитических факторов — их следует объяснять со ссылкой на особые внутренние социальные условия и на хронологию обострения военной угрозы. Как правило, чистой логике международного соперничества не удастся не только объяснить разницу в развитии немонархических государственных форм [Spruyt. 1994b; Körner. 1995a. P. 394–395], но и раскрыть различия в развитии господствующих западных монархий — Франции, Испании и Англии. С этой точки зрения сложно объяснить не только то, почему некоторые феодальные монархии стали территориальными монархиями, тогда как другие не стали, но еще сложнее объяснить, почему некоторые европейские политические сообщества — города-государства, союзы городов, Империя, государство-церковь, торговые республики, аристократические республики и крестьянские республики — сохранялись в зарождавшейся межгосударственной системе, хотя зачастую опирались на гораздо меньшие территории и население. «А это в свою очередь наталкивает на мысль, что эти альтернативные формы государства обладали реальной силой и способностью к модернизации, которые позволяли выживать структурам, кажущимся архаичными» [Körner. 1995a. P. 394]. Иными словами, нам нужно объяснить не только успех территориальных монархий, но и альтернативные государственные формы или же их провалы. В частности, мы должны соотнести успехи, различия и «исчезновение» с социальным и политическим многообразием. Крайне разнообразный политический ландшафт позднесредневековой Европы формировал не «естественное поле отбора», понимаемое в неозолуционном смысле, в котором большие конфликтные единицы должны были бы подчинять себе меньшие или же вынуждать их к принятию близкого им социально-политического режима, а смешанную динамическую систему, в которой главные причины выживания, трансформации или упадка следует искать в связи между внутренним извлечением доходов и производительностью, то есть в классовых отношениях<sup>13</sup>. Универсальная логика геополитики

<sup>13</sup> Например, как объяснить то, что Англия, вдвое меньшая Франции по территории и втрое — по населению, Англия, опиравшаяся в период Столетней войны на гораздо меньшую базу налогообложения, чем



тической конкуренции должна быть пропущена через фильтр социальных сил, внутренне присущих самим политическим образованиям. Социологи и теоретики МО, которым не удастся выполнить эту процедуру, обычно выдают исторический результат — явную победу нововременного территориального государства — за вывод функционалистской теории.

В той мере, в какой работы по геополитической конкуренции пытаются выстроить теорию того, как региональные властные элиты отвечали на военную конкуренцию, их описания ограничиваются либо абстрактным перечислением фискальных, военных и институциональных инноваций, либо же «диалогом» внутри властной элиты — обычно между королем и некоторыми представительными собраниями, состоявшими из духовенства, знати и бюргеров, — который вел к новым способам кооперации и консультирования в элитарной среде, что должно объяснить различия в формировании государств (см., например: [Hintze. 1975c; Tilly. 1975, 1988; Mann. 1986; Ertman. 1997])<sup>14</sup>.

Франция, в то же время на протяжении столетий превосходила ее? И как объяснить, если отбросить понятия военного гения и исторической случайности, то, что Голландские провинции освободились от «Испанского ига» и с успехом противостояли многим попыткам Франции взять их под свой контроль, несмотря на уступающие природные ресурсы и население?

<sup>14</sup> Тилли различает три пути формирования государств. При *преимущественной опоре на принуждение* государство, стремящееся получить доступ к ресурсам, должно было выстроить массивные авторитарные структуры, необходимые для извлечения доходов из населения в некоммерциализированных аграрных экономиках. Примерами такого способа являются Россия, Пруссия и Оттоманская империя. При *преимущественной опоре на капитал* правители образовывали альянсы с коммерческими городскими олигархиями, обменивая государственную защиту на ресурсы капитала в ориентированных на рынок, монетизированных экономиках, что вело к республиканским формам правления. К этой категории относятся Венеция, Нидерланды и северная Италия. При *одновременной опоре на капитал и принуждение* правители уравнивают равновесие между капиталом и принуждением, включая коммерческие классы в государственный аппарат, хотя монархическая власть как таковая сохраняет всю свою силу. Этот способ был реализован в Англии, Франции, Испании и (поздней) Пруссии. Государства, использовавшие последний способ, оказались более успешными, чем их конкуренты, поскольку он предполагает совмещение сильной концентрации военной силы и высокую степень мобилизации коммерческих интересов. Хотя эта типология не совсем хорошо подтверждается эмпи-

*Продолжение сн. 14*

рическими данными, сами различия способов формирования государства представляются результатом внутризлитных отношений, исключая более широкие классовые отношения. В 1975 г. Тилли посвятил две с половиной страницы «крестьянской базе», но потом крестьянство выпало из предлагаемой им картины [Тилли. 2009] (см. также: [Март. 1986, 1988а; Ormrod. 1995. P. 157–158; Bulst. 1996; Reinhard. 1996а, 1999]). Эртман классифицирует государства XVIII в. по тому, как в них совмещался тип режима, определяемый принципом законодательной власти (абсолютистской или конституционной) с типами инфраструктуры, определяемой природой управления (наследственной или бюрократической). Это дает четыре типа государств: наследственно-абсолютистские (Франция, Испания, Португалия, Тоскана, Неаполь, Савойя и Папская область); бюрократически-абсолютистские (германские княжества, Дания); наследственно-конституционные (Польша, Венгрия) и бюрократически-конституционные (Британия, Швеция). Эти различия объясняются тремя факторами. Первый — организация местных правительств после распада Каролингской империи. Второй — хронология вступления государств в постоянную геополитическую конкуренцию. Третий — независимое влияние представительных ассамблей в конституционных режимах. Характер ассамблей представителей, появившихся в XII–XIII вв., определил, в каком именно направлении развивались государства — в абсолютистском или конституционном. Опираясь на Отто Хинце, Эртман заявляет, что неравномерный характер формирования государств в Темные века породил феодальную фрагментацию и представительные институты, составленные из трех курий, в государствах, ставших наследниками Каролингской империи (в романской Европе и Германии). Трехпалатные парламенты были разделены по линиям функциональных статусных групп, что лишало их единства и ослабляло их структурную позицию в переговорах с абсолютистскими правителями. На границах почившей империи (в Англии, Шотландии, Скандинавии, Польше и Венгрии) на уровне графств развилось устойчивое и связанное самоуправление, которое дало толчок представительным ассамблеям, состоявшим из двух курий. Двухпалатные парламенты были организованы не по функциональным, а по территориальным линиям, связанным с сильным местным самоуправлением. Периферийные двухкуриальные регионы могли с большим успехом сопротивляться развитию абсолютизма, расчищая путь для конституционализма, тогда как трехкуриальные регионы не смогли выработать и воплотить на своих территориях действенные антиабсолютистские программы. Далее, какая именно управленческая инфраструктура развивалась в конституционных и абсолютистских государствах — наследственная или бюрократическая, зависело, по Эртману, от момента столкновения этих государств с усилившейся военной конкуренцией и от влияния национальных парламентов. В трехкуриально-абсолютистских государствах, которые рано испытали геополитическое давление (Франция), развился патримониализм. В двухкуриально-конституционных государствах с

Ограничение элитами процесса взаимодействия хотя и является важным шагом вперед по сравнению с простым перечислением инноваций, не может распространить этот «диалог» на группы, наиболее зависимые от внедрения новых способов извлечения доходов, то есть на непосредственных производителей. Другими словами, нам нужно признать роль как горизонтальных конфликтов, развертывающихся внутри правящего класса из-за конкуренции за средства эксплуатации и распределения, так и вертикальные конфликты из-за ставки налогообложения. Когда анализ распространяется на крестьянство, последнее обычно предстает не в качестве социального агента, обладающего определенным влиянием на уровень и формы извлечения прибылей, а как нейтральная база налогообложения, как некая «экономика» — обнаруживаемая в таких социально развоплощенных фигурах, как «колебания численности населения» или «аграрная производительность», или же в виде формальных терминов — «налогоплательщики», «выполнение налоговых требований» и «налогоспособность»<sup>15</sup>. Нежелание признать в крестьянстве

ранним вступлением в геополитическую конкуренцию (Англия) развились протобюрократии, поскольку парламент мог сопротивляться патримониализму. В трехкуриально-абсолютистских государствах с поздним вхождением в геополитическую конкуренцию (Германия, Пруссия) развились протобюрократии, поскольку они могли учиться на ошибках своих предшественников и заимствовать их институциональные успехи. В двухкуриальных-конституционных государствах с поздним вхождением в геополитическую конкуренцию (Венгрия, Польша) развился патримониализм, поскольку правящие элиты защищались мощными национальными парламентами. Для адекватного объяснения этих различий требуется тот минимум, который здесь не представлен, а именно: декодирование геополитического давления как социальной практики докапиталистических правящих классов и социологический анализ социального состава различных национальных парламентов, который отражал особые и различающиеся между собой собственнические интересы членов правящих классов.

<sup>15</sup> Утверждение Бонни, гласящее, что «именно взаимодействие запросов государства и колебаний урожая определило реальное налоговое бремя, которое несло большинство налогоплательщиков» — типичный симптом непризнания крестьянства как социального актора в институционалистской литературе [Bonney. 1995a. P. 17–18]. Хотя урожай, конечно, являются, «естественным», пусть и опосредованным эко-демографически, условием любых поборов, социальная детерминация уровня налогообложения была результатом конфликтов между теми, кто устанавливал налоги, и теми, кто был обязан их платить. Позднее Бонни пытается за-

четвертого участника «диалога» между королем, «чиновничеством» и землевладельцами является поэтому не просто упущением, а решающим провалом, закрывающим возможность выработки регионально специфичных решений общей проблемы налогообложения, усиленного военными расходами<sup>16</sup>. Отказывая крестьянству в том, что оно является классом, сознательно защищающим свои интересы, фискальная социология «эволюции доновременных фискальных систем в сравнительном европейском контексте» [Bonney. 1995a. P. 2] обречена на провал. Другими словами, классовый конфликт в форме борьбы за ставку налогообложения и распределение налоговых средств в эпоху Позднего Средневековья среди основных классов, который возник из-за различий в уровне самоорганизации и привел к определенным балансам классовых сил, оказывал решающее влияние на регионально специфичные исходы попыток разных государств обеспечить свой военный бюджет. Регионально специфические балансы классовых сил объясняют различие локальных ответов на войну, понимаемую как конкуренцию внутри правящего класса за земли и рабочую силу.

Однако все это ничего не говорит нам о нововременном характере этих попыток построения государств. Главное — мы должны отбросить сам термин «Новое время», если говорим о ранненовременной государственной централизации. Ни одно нововременное европейское государства, за исключением Англии после революции, не достигло суверенитета в но-

*Окончание сн. 15*

ново политизировать налогообложения: «Если региональные налоговые подразделения были в значительной мере вопросом привилегий, тогда не стоит ожидать, будто мы найдем какую-либо ясную связь между благосостоянием и налоговым бременем» [Bonney. 1995b. P. 501] — конфликт по поводу ставки налога разворачивается между правителем и налогоплательщиками.

<sup>16</sup> Заметным исключением является Винфрид Шульце. Хотя по ходу дела он тоже вводит шумпетеровскую оппозицию, затем он с одобрением приводит цитату из Марка Блока о социальном основании, скрытом за королевской *Bauernschutzpolitik* (политикой защиты крестьянства). «Эту тенденцию к защите крестьянства государством мы можем интерпретировать как “борьбу между налогами и рентами”. Преимущество такой точки зрения заключается в том, что она связывает воедино напряжение в отношениях князей и их владений, крестьян и их землевладельцев, крестьян и князей, различные аспекты которого можно обнаружить в частых бунтах против налогов» [Schulze. 1995. P. 264].

вовременном смысле этого слова. Поскольку подавляющее большинство европейских государств оставались династически-абсолютистскими вплоть до периода между серединой XIX в. и Версальским договором, «суверенитетом» в «частном порядке» обладали правящие династии; государственная территория оставалась их наследуемой собственностью. Нигде не произошло решающего перехода от наследуемой системы должностей к нововременной бюрократии. Государственный аппарат на всех уровнях оставался в высшей степени персонализированным; четкого различия между публичным и частным не проводилось. В династически-патримониальных государствах чиновники, покупавшие свои должности, снова приватизировали права правления и налогообложения, поэтому государственная власть в результате финансового давления все больше отчуждалась монархией. Управление оставалось «иррациональной» сетью личных зависимостей, характеризуемой продажностью официальных постов, патронажем, клиентелизмом, фаворитизмом и кумовством. В результате средства насилия не были монополизированы государством, а оставались под лично-патримониальным контролем. Постоянная королевская армия была именно постоянной армией *короля*, которая дополнялась силами наемников. Военные предприниматели оставались за пределами прямого государственного контроля. Внутри армии практика продажи постов означала то, что представители знати покупали себе звание полковников и целые полки на собственные средства, рекрутируя, содержа и распуская солдат так, как им вздумается.

Правовая система, в свою очередь, в равной степени страдала от последствий продажности, а сохранение феодальных судов и региональных кодексов нарушало принципы правового единообразия. Наконец, территория определялась династическими практиками военного и матримониального политического накопления, поэтому династические государства были, по существу, «смешанными монархиями» [Elliott. 1992], которые никогда не достигали определенности и исключительности, присущих нововременному понятию государственной территории. Короче говоря, в ранненововременном государстве не обнаруживается ни одна из черт, типичных для нововременного государства. И хотя переход от феодальных монархий к абсолютистским был весьма важным свершением, он не привел к формированию но-

вовременного государства или, тем более, нововременной системы государств. В следующей главе я покажу, как неустановление нововременного государства в Европе раннего Нового времени можно понять, если основываться на превалировавших докапиталистических общественных отношениях собственности.

Наконец, геополитические работы никак не проясняют определение и историческую роль капитализма. Коллективный вздох облегчения, раздавшийся тогда, когда парадигма Вебера—Хинце выработала мощную альтернативу марксистским теориям, привел, с одной стороны, к полному исключению вопроса о связи капитализма с нововременным государством и его влиянии на межгосударственную конкуренцию — в лучшем случае капитализм стал считаться производным от военного государства, в котором индуцируемое извне развитие требует «коммерческой активности» или «выигрыша в производительности». С другой стороны, капитализм стал рассматриваться как повсеместное явление, никак исторически не связанное с определенным отправным пунктом геополитической конкуренции и современной системой государств. Одно слабо связано с другим, и когда их исторически независимые траектории случайно пересекаются, государство и система государств просто подчиняют капитализм своей собственной логике. Короче говоря, теориям геополитической конкуренции стоило бы вернуться к завету Хинце, гласящему, что военная логика должна не замещать классовый конфликт, а пониматься в связи с ним. Иными словами, нам нужно будет вернуться к рассмотрению крестьянства.

### 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Хотя демографическая модель ничего не говорит о формировании государства, она все же пытается предложить общую теорию долгосрочного доиндустриального социально-экономического развития. Демографические колебания управляют фазами экономического роста и спада, распределения доходов и движения цен. Эта модель отличается от подходов, которые считают кризисы XIV и XVII вв. катализаторами экономической модернизации, своей гораздо более «консервативной» интерпретацией возможностей экономического развития, которое, как предполагается, коренится в вековых ритмах доиндустриальной аграрной экономики. Развитие оказывается циклическим, а не линей-

ным, возвратным, а не прогрессивным. Следует рассмотреть, действительно ли демографическая модель способна прояснить позднесредневековое и ранненовояременное экономическое и политическое развитие.

В XIV–XV вв. значительные части Европы, включая Францию и Англию, вступили в период глубокого и затяжного общего кризиса. В третьей главе мы показали, что этому кризису предшествовал устойчивый подъем в период 1050–1250 гг. Марк Блок даже назвал эту эпоху «вторым феодальным периодом» [Блок. 2003]. Этот эко-демографический подъем был обусловлен не той или иной формой зарождавшегося капитализма, а *горизонтальной экспансией* — освоением земель, колонизацией, завоеванием — которые в свою очередь подстегивали демографический рост. Этот процесс, слагающийся из усиливающих друг друга составляющих, достиг предела где-то к середине XIII в., завершившись катастрофическим падением численности населения в период 1315–1380 гг., отмеченный голодом и «черным мором». Феодальная экономика находилась в состоянии застоя с 1240 по 1320 г. и спада с 1320 по 1440 г. [Duby 1968. P. 298ff; Bois. 1984], пока «долгий XVI век» не принес с собой экономический подъем.

Стандартное объяснение этого кризиса опирается на неомальтузианское описание роли демографических колебаний в общем экономическом развитии [Ladurie. 1966; Postan. 1966; Abel. 1978]. Согласно неомальтузианцам, средневековую экономическую историю можно разделить на два длинных цикла, из которых первый приходится на период XII–XIV вв., а второй — на XV–XVI вв. Каждый цикл делится на восходящую и нисходящую фазы. Общая предпосылка состоит в том, что демографический рост опережает рост производительности (при условии, что ресурсы, то есть земля и техника, остаются постоянными), что ведет к периоду перенаселенности, уменьшения доходов и к автоматической «гомеостатической» регулировке системы при помощи голода и болезней, которые заново уравнивают показатели численности населения и производительности. Тогда цикл начинается заново. Во время восходящей фазы население растет, и большему числу людей приходится выживать на той же самой территории. Следовательно, земли обрабатываются и эксплуатируются слишком бурно, что приводит к падению их плодородия и истощению почвы. В то же самое время

крестьяне вводят в оборот менее плодородные почвы. Общим результатом оказывается рост отношения земли к рабочей силе и общее падение производительности. В период нисходящей фазы избыточная эксплуатация и истощение почвы приводят к снижению урожаев, недоеданию, голоду и болезням, что вызывает «естественную» убыль населения. Крестьяне отступают на более плодородные земли, отношение земли к рабочей силе падает, а показатели производительности растут, иницируя новую восходящую фазу.

Модель распределения доходов встроена в неомальтузианскую теорию. В период демографического роста (восходящая фаза) повышение предложения рабочей силы снижает заработки и увеличивает ренты. Крестьяне теряют, а сеньоры увеличивают свои доходы. Цены на зерно, продовольствие и землю растут. Снижение крестьянских доходов и рост цен усиливают влияние снижения продуктивности на показатели воспроизводства, смертности, рождаемости и продолжительности жизни. Снижение числа непосредственных производителей в период нисходящей фазы приводит к дефициту рабочей силы, который вызывает рост заработков, падение цен и рент, изменение схемы распределения доходов между производителями и непроизводителями вплоть до того момента, пока население не начнет снова расти. Тогда начинается новый цикл.

Роберт Бреннер выделяет три фундаментальных недостатка этой модели [Brenner. 1985a. P. 13–24; 1985b. P. 217–226]. Во-первых, в соответствии со строгой мальтузианской логикой, демографическое восстановление должно было начаться непосредственно после мора середины XIV в. Однако на деле оно было отсрочено на век, поскольку сеньоры пытались возместить упущенные доходы посредством внутренних и «международных» войн («Столетняя война»), усиливая и усугубляя кризис, идущий по спирали вниз. Отношения феодальной собственности не располагали механизмом самонастройки, необходимым для выхода из кризиса, поскольку сеньоры не могли повысить производительность посредством инвестирования капитала. Скорее, они вступили в борьбу за распределение, опираясь на собственные внеэкономические возможности принуждения. Их компенсаторные тактики сверхэксплуатации крестьянства и ведения междоусобных войн с конкурирующими сеньорами развязали острейший конфликт внутри самого правящего клас-



са и между различными его фракциями. Кризис был не просто эко-демографическим, но и *социальным кризисом*.

Во-вторых, неомальгузианцы не допускают различий в том, как коллективные акторы переводят ресурсное давление в социальное действие. Базовый механизм демографического спроса/предложения работает словно в социально-политическом вакууме, что не позволяет ему объяснить различающиеся по регионам отношения между сеньорами и крестьянами, в значительной степени определенные балансом классовых сил. Поскольку подобные балансы во Франции и Англии (не говоря уже о Европе к востоку от Эльбы) XIV в. существенно различались, различные посткризисные исходы следует рассматривать сквозь призму различных классовых констелляций.

В-третьих, этой модели не удастся встроить свои данные в сравнительный контекст. В результате этих классовых кризисов падение общеевропейской численности населения в XIV в. привело к восстановлению крепостничества в Восточной Европе, закреплению крестьянской свободы во Франции и выселению крестьянства с их традиционных наделов в Англии. Следовательно, схожие процессы снижения численности населения привели к весьма различным ответам. Как мы увидим, эти регионально расходящиеся результаты сформировали общее направление долгосрочного экономического развития и формирования государства в ранненовременных Франции и Англии. Эко-демографическое давление преломлялось сквозь классовый конфликт.

#### 4. МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

*Le Monde Braudelian: Capitalisme Depuis Toujours*<sup>17</sup>

Работы Фернана Броделя и школы «Анналов» сильно повлияли на послевоенную европейскую историографию, а с 1970-х годов оказывали серьезное воздействие и на социальные науки в целом [Бродель. 1977, 1992, 1993, 2002, 2003, 2004]. Их привлекательность заключается в теоретическом сдвиге от дискредитированной истории событий и коротких промежутков времени к истории конъюнктур и структур, в которые погружены жиз-

<sup>17</sup> Броделевский мир: извечный капитализм (фр.). — Примеч. пер.

ни индивидов. Теоретическим следствием является глубинная стабильность самой основы истории, которая на фундаментальном уровне определяется практически неизменяемыми структурами — географией, экологией, человеческими инфраструктурами и, позднее, ментальностями. Циклические периоды развития экономик, обществ, государств и цивилизаций рассматриваются в качестве конъюнктур, тогда как официальная политика и войны — это просто события. Благодаря вкладу Валлерстайна и его сотрудничеству с Броделем структурная трактовка выходящих за пределы социально-экономических систем отдельных обществ, впервые сформулированная Броделем в исследовании «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», дала толчок отдельной миросистемной парадигме [Wallerstein. 1974, 1980; Валлерстайн. 2008]. Начиная с конца 1970-х годов, она все больше внедрялась в теорию МО, в которой в настоящее время мы находим множество ссылок на *la longue durée* (большую длительность) и триаду понятий *structure — conjuncture — événement* (структура — конъюнктура — события) [Ruggie. 1989, 1993].

В этом разделе выделяются заданные Броделем основы созданного Валлерстайном теоретического построения, которое, как я буду доказывать, является все же неполноценным. Провал «миросистемного» подхода обусловлен в значительной степени методологическими предпосылками школы «Анналов», которые и сами по себе были далеко не бесспорны (критику см.: [Hexter. 1972; Vilar. 1973; Gerstenberger. 1987]). Я покажу, как эта методологическая рамка оформляет историографические тезисы Броделя, в которых сформулированы такие понятия, как мир-экономика, капитализм и историческое развитие.

Оценка Броделем трех уровней исторического времени по степени убывания их значимости представлена в предисловии к его основополагающему исследованию Средиземноморья. История структур «посвящена истории человека в его взаимоотношениях с окружающей средой; медленно текущей и мало подверженной изменениям истории, — зачастую сводящейся к непрерывным повторам, к беспрестанно воспроизводящимся циклам». История конъюнктур означает «историю, протекающую в медленном, но различимом ритме... социальную историю, историю групп и коллективных образований». И наконец, история событий обращена к

...колебаниям поверхности, волнам, вызываемым мощными приливами и отливами. Это история кратковременных, резких, пульсирующих колебаний. Сверхчуткая по определению, она настроена на то, чтобы регистрировать малейшие перемены. Но именно эти качества делают ее самой притягательной, самой человеческой и вместе с тем самой коварной. Станем остерегаться этой еще дымящейся истории, сохранившей черты ее восприятия, описания, переживания современниками, ощущавшими ее в ритме своих кратких, как и наши, жизней, остававшихся столь же близорукими.

Этим аналитически разделенным историям соответствуют различные темпоральности: «время географическое, социальное и индивидуальное» [Бродель. 2002. С. 22]. Время и пространство соотнесены друг с другом: чем меньше единица анализа, тем быстрее течет время. Исследование Броделя структурировано этими тремя уровнями реальности. Однако то, что выступало в качестве простого эвристического инструмента, по мере изложения превращается в три различные реальности. Бродель поэтому работает не с концепцией тотальности, в которой все феномены внутренне взаимосвязаны, а с отдельными уровнями истории, наделенными собственной темпоральностью и развертывающимися в соответствии с собственной логикой<sup>18</sup>. Броделевские концепции капитализма, отношения последнего к «нововременному» государству и системе государств можно понять только при сопоставлении с этими методологическими посылами. Только так мы можем понять его интерпретацию динамики, которая поддерживает и определяет эту систему.

В мире Броделя существует одно главное понятие, от которого зависят все остальные, — это «мир-экономика». Последний определяется как «экономически самостоятельный кусок планеты, способный в основном быть самодостаточным, такой, которому его внутренние связи и обмены придают определенное органическое единство» [Бродель. 1992. С. 14] (см. также: [Бродель. 1993. С. 85–86])<sup>19</sup>. В отличие от миров-империй мир-

<sup>18</sup> Хотя Пьер Вилар согласен с акцентом Броделя на «глубинной структуре географии и природы», он выдвигает ключевое возражение: «Мыслить историю географически — не значит перечить марксизму. Однако более по-марксистски было бы мыслить географию исторически» [Vilar. 1973. P. 9].

<sup>19</sup> Термин впервые был введен Броделем [Бродель. 2002. С. 406]. «*Weltwirtschaft*, мир-экономика, замкнутый универсум. Здесь не установ-

экономика состоит из множества независимых политических образований, которые связаны внешними торговыми связями и в то же время жестко встроены в определенную геополитическую систему. Он состоит из процветающего ядра с господствующим городом, обслуживающей это ядро относительно независимой полупериферии и зависимой и отсталой периферии. Эти компоненты выстроены строго иерархически, их порядок определен экономической асимметрией, возникающей из наиболее устойчивого международного разделения труда, а воспроизводится он неравными обменов и условиями торговли, подчиненными политическим манипуляциям со стороны привилегированных стран центра.

В этот иерархический мир-экономику, основанный на международном разделении труда, встроена и теория государства. Форма и сила государства находятся в прямой зависимости от его положения в мире-экономике:

В центре мира-экономики всегда располагалось незаурядное государство — сильное, агрессивное, привилегированное, динамичное, внушавшее всем одновременно и страх и уважение. Так обстояло дело уже с Венецией в XV в., с Голландией в XVII в., с Англией в XVIII и еще больше в XIX в., с Соединенными Штатами в наше время [Бродель. 1992. С. 45].

В полупериферии, к которой относится, например, абсолютистская Франция, сила государства ослабляется внутренней конкуренцией между монархией и знатью. Колониальные периферии управлялись из метрополий. Но не только форма государства следует из требований торговли. Сами отношения производства и статус производителя являются производными структурного положения каждой страны в системе обмена:

Всякая задача, единожды поставленная международным разделением труда, порождает свой вид контроля, и контроль этот соединял общество, руководил им... Всякий раз общество отвечало таким образом на разные экономические нужды и оказывалось заперто в них самим своим приспособлением, будучи неспособным быстро выйти за пределы однажды найденных решений [Бродель. 1992. С. 57].

*Окончание см. 15*

ливается строгого авторитарного порядка, однако контуры единой схемы вполне узнаваемы. Например, во всех мирах-экономиках признается центр, некая фокальная точка, действующая на другие регионы как стимул и существенная для наличия экономики как целого».

Наемный труд, издольщина, крепостничество и рабство соответствуют центру, полупериферии и периферии.

Парадоксально, несмотря на это жесткое распределение ролей в трудовом процессе и форм государственности, вся история евроцентричных миров-экономик подчинена одной масштабной динамике. Всемирно-исторический процесс понимается Броделем как четко размеченная последовательность миров-экономик, каждый из которых обладает все более могущественными мирами-городами, которые из центра управляют все большими сферами влияния, задавая соответствующее соотношение между центром, полупериферией и периферией. Истоки этой цепочки Бродель (в отличие от Валлерстайна, который делает выбор в пользу «долгого XVI века») обнаруживает в Европе XIII в. или даже XII в., когда наблюдался рост завязанной на города торговой сети, связывающей итальянские города-государства, северо-европейские города и союзы городов [Бродель. 1992. С. 88].

Происхождение и переходы между центрированными на города мирами-экономиками Бродель объясняет следующим образом: «Такой разрыв представляется как результат накопления случайностей, нарушений, искажений» [Бродель. 1992. С. 81]<sup>20</sup>. Не принимая окончательного решения, Бродель пытается объяснить подъем и падение миров-экономик в контексте более широких «вековых тенденций», например господствующей неомальтузианской тенденции, управляющей движением цен и распределением доходов [Бродель. 1992. С. 72–74]. Однако его рассуждения о происхождении миров-экономик и механизмах, определяющих их сдвиги, остаются недостаточными. Никакие общие корреляции не устанавливаются, и мы вынуждены обратиться к случайным причинно-следственным процессам, описываемым Броделем в повествовательных разделах его *opus magnum*, каждый из которых посвящен определенному миру-экономике. Но даже если мы согласимся с моделью кризиса, описываемого через демографические колебания, Бродель не может определить, почему данная страна в определенный промежуток времени берет на себя роль лидирующей державы

<sup>20</sup> «В экономической игре всегда существовали карты лучше других, а иной раз (и часто) крапленые» [Бродель. 1992. С. 42] (см. также: [Бродель. 1993. С. 88–89]).

в данном реструктурированном мире-экономике. Переходы описываются через понятие эволюции, в которой одни и те же принципы международного разделения труда, режимов труда и соответствующих форм государства снова и снова проявляются во все больших масштабах. Меняется же — более или менее случайно — лишь господствующий актер, находящийся в центре мира-экономики и распределяющий политические и экономические атрибуты всех остальных акторов данной системы. Нам предлагается, таким образом, количественная эволюционная модель масштабного социального изменения, основанная на системной, детерминистской, экономистской и функционалистской теории экономического и политического развития.

Почему Бродель стал развивать такую чересчур общую концепцию? Я полагаю, что его теория основывается на ошибочном и глубоко неисторичном понимании капитализма. В своем повествовании ему не удается выработать устойчивое рабочее определение капитализма. Вместо него мы получаем цепочку импрессионистских набросков, которые в итоге дают понятийное различие капитализма и рыночной экономики. И если последняя означает конкурентный сектор мелкого производства, сам капитализм уравнивается с «большим бизнесом» и монополиями [Бродель. 1992. С. 650; 1993. С. 119–121]. Рыночные экономики — это локальные, прозрачные, справедливые обмены в пределах рынка, основанного на конкурентных сделках. Термином «капитализм» обозначается только привилегированная, иерархическая, замкнутая и делокализованная сфера собственно торгового капитализма. Эта форма коммерческого «монопольного капитализма» является главным унифицирующим и мотивирующим принципом всего повествования Броделя. В нем автором стирается различие между современными частными рыночными монополиями, которые являются экономическими, а не политическими, и докапиталистическими торговыми монополиями, сформированными политическими методами. При наличии последних мы, по Броделю, имеем дело с капитализмом. Именно это политическое определение капитализма позволяет Броделю вернуть государство в качестве персонажа своего изложения.

Однако при рассмотрении средневековых фламандских городов, Ганзейского союза, Венеции, Голландии, Великобритании или Соединенных Штатов выясняется, что все эти миры-эко-

номики являются неизменно капиталистическими, поскольку они пользуются монопольными торговыми преимуществами, которыми они обладают и которых нет у связанных с ними полупериферий и периферий. Единственное заметное различие между всеми этими центрами — это различие между мирами-экономиками, основанными на городах, и мирами-экономиками, основанными на национальных рынках. Но следствия этого различия остаются нераскрытыми [Бродель. 1993. С. 100 и далее]. Поэтому нет ничего удивительного в таком, например, отрывке:

Я утверждал, что капитализм в *потенции* обрисовывается на заре большой истории, развивается и упрочивается на протяжении столетий... Задолго до появления капитализма его предвещали многие признаки: рост городов и обменов, появление рынка труда, сплоченность общества, распространение денег, рост производства, торговля на дальние расстояния, или, если угодно, международный рынок [Бродель. 1992. С. 640–641].

Такое утверждение вполне согласуется с убеждением Броделя в том, что всегда существовали миры-экономики, которое, в свою очередь, связывается с его концепцией *la longue durée*, «большой длительности», одной из эманаций которой как раз и оказывается капитализм. Но поскольку на самом деле при подъеме и падении миров-экономик ничто никогда не меняется, Бродель остается пленником своей системы. «Рабство, крепостничество, наемный труд были историческими решениями, социально различными, некой универсальной задачи, остававшейся в своей основе одной и той же» [Бродель. 1992. С. 58]<sup>21</sup>.

#### Экскурс Джованни Арриги: Вестфалия при голландской гегемонии

Рассмотрим теперь то, как вестфальский порядок понимается в более современной, модифицированной версии модели Броделя—Валлерстайна. Предложенное Джованни Арриги объяснение Вестфальского мира встроено в более широкую броделе-грамшианскую теорию развития нововременного капиталистического мира-экономики. Он начинает с предполо-

<sup>21</sup> Аргумент в пользу того, что капитализм, если отбросить его количественное расширение, остался по существу неизменным, см.: [Бродель. 1993. С. 118].

жения, что цикл накопления капитала, действующий на микроуровне фирмы (Д-Т-Д'), можно перенести на макроуровень международной системы для объяснения динамики, управляющей последовательностью гегемонистских циклов международного капиталистического накопления [Арриги. 2007. С. 43–45].

Базовая логика этих последовательных циклов может быть представлена следующим образом. Возвышение определенного гегемона связано с технологическими и организационными инновациями, которые запускают фазу материальной экспансии. Конкуренция между капиталистами и сокращение доходов в сочетании с угрозой того, что соперничающие державы догонят гегемона, приводит к смещению центра накопления в финансовую сферу, что открывает фазу финансовой экспансии. Тем самым определяется сдвиг от фиксированного производственного капитала к гибкому финансовому капиталу. Исчерпание этой второй фазы накопления капитала и подъем конкурентов приводит к системным кризисам, которые разрешаются войной за гегемонию. Новый гегемон успешно перестраивает собственные способы производства и управления. Начинается новый цикл расширения гегемона и накопления капитала. Нововременная история охватывает четыре системных цикла гегемонистского накопления, каждый из которых задает «долгий век», изменяя при этом структуру международных отношений:

...генуэзский цикл XV — начала XVII вв., голландский цикл конца XVI — третьей четверти XVIII в., британский цикл второй половины XVIII — начала XX в. и американский цикл, который начался в конце XIX в. и продолжается на нынешней фазе финансовой экспансии [Арриги. 2007. С. 45].

Эта схема основана на явно броделевском определении капитализма. Капитализм означает не особое производственное отношение между капиталом и наемной рабочей силой, а «верхний слой в иерархии мировой торговли» — монопольный «антирынок», — от которого отличены «средний слой рыночной экономики» и «нижний слой материальной жизни» [Арриги. 2007. С. 60]. Капитализм в собственном смысле слова означает только первый из указанных уровней. Капитализм в таком понимании требует государственной власти (то есть слияния государства и капитала), так что концентрация, накопление и экспансия капитала опосредуются межгосударственной конкуренцией за



подвижный капитал. Поэтому экспансия капитала является политическим и геополитическим процессом; она предполагает перестройку системы государств капиталистическим гегемоном, объединение правительственных и деловых организаций. С этой точки зрения «действительно важным переходом, нуждающимся в объяснении, является не переход от феодализма к капитализму, а переход от рассеянной к сосредоточенной капиталистической власти» [Арриги. 2006. С. 50–51]. Хотя это описание наводит на воспоминание о веберовском понятии государства как «контейнера власти», то есть условия для успешной капиталистической экспансии, в нем также вводится грамшианская идея гегемонистской власти, перекликающаяся с неореалистической теорией гегемонистской стабильности.

Следовательно, каждая международная система не просто структурирована межгосударственной конкуренцией за мобильный капитал; каждая система требует «мирового гегемона», который определяет правила международного поведения, порядка и сотрудничества. Системные гегемонистские циклы накопления не просто определены подъемом и упадком государств внутри неизменной системы государств; сама организационная структура, способ действий и географический объем системы перестраиваются под влиянием каждого нового лидера-гегемона. Гегемония в смысле Грамши предполагает не просто принуждение, но и руководство «системой государств в желательном направлении», осуществляемом ради достижения по-особому понимаемого «общего интереса» — общего как для подданных различных государств, так и для самой группы государств [Арриги. 2007. С. 70].

Теория Арриги уязвима для многих фундаментальных возражений — тут можно упомянуть его определение капитализма; приоритет, отдаваемый им логике обращения, абстрагированной от логики производства; его неспособность теоретически связать технические инновации с производством, соотнести социальное изменение с классовым конфликтом и изучить внутренние причины возвышения и упадка гегемона; его необоснованная склонность видеть в качестве гегемонов в добританской международной системе олигархические торговые республики, а не абсолютистские династические государства. А его попытка объяснить Вестфальский договор неудовлетворительна даже по меркам его собственной теории.

Хотя предположительно гегемонистской роли итальянских городов-государств, контролирующих протокапиталистическую миросистему, Арриги уже дал характеристику, заявив, что она оставалась «смешанной» со средневековым феодальным миром и «никогда не предполагала попытки индивидуального или коллективного целенаправленного изменения средневековой системы правления», Соединенным Провинциям удалось «изменить европейскую систему правления для удовлетворения потребности в накоплении капитала в мировом масштабе» [Арриги. 2006. С. 83].

И в этих обстоятельствах [усиления европейской борьбы за власть между Францией и Имперскими Габсбургами] Соединенные Провинции установили свою гегемонию, возглавив крупную и сильную коалицию династических государств в борьбе за ликвидацию средневековой системы правления и создание современной межгосударственной системы... Эта реорганизация политического пространства в интересах капитала означала рождение не просто современной межгосударственной системы, но и капитализма как мировой системы [Арриги. 2006. С. 86–87].

Это описание вызывает вопросы. Во-первых, в какой мере Тридцатилетняя война была войной за положение гегемона? То есть описание, в котором она предстает так, словно бы она привела к падению одного гегемона, итальянских городов-государств, и возвышению другого — голландских провинций, скрывает гораздо более очевидную борьбу между двумя блоками территориально-абсолютистских государств, из которой Франция вышла победителем, то есть между, с одной стороны, смешанным в конфессиональном отношении альянсом Франции, Швеции и протестантских княжеств Германии и, с другой стороны, австро-испанскими Габсбургами, объединившимися с католическими княжествами Германии. История голландской независимости была второстепенной по сравнению с конфликтами, которые перестроили отношения между Германской империей, Францией, Габсбургами и Швецией.

В какой мере Голландии действительно удалось сознательно управлять переходом от «системного хаоса» к «упорядоченной анархии», если уж она должна была стать гегемоном? Хотя Соединенные Провинции добились независимости, это не означает,

что они достигли гегемонии в том смысле, который вкладывает в это слово Арриги, получив возможность навязывать новый способ международной организации и правления. По признанию самого Арриги, «голландцы никогда не правили системой, которую они создали. Как только была создана Вестфальская система, Соединенные Провинции стали терять свой недавно обретенный статус мировой державы» [Арриги. 2007. С. 91]. Ряд поствестфальских англо-голландских коммерческих войн и множественные попытки Людовика XIV завоевать Голландию подрывают предложенную Арриги характеристику Голландии XVII в. Хотя Франции и Англии не удалось подчинить Голландию, последняя, несомненно, не смогла навязать им свой статус мирового гегемона. Двумя доминирующими поствестфальскими державами стали, скорее, Франция и Швеция, которые контролировали условия договора в качестве квази-гегемонистских держав-гарантов (*Garantiemächte*).

Наконец, в какой степени подъем Голландии был связан с инновациями в области производства и организации, то есть с первой фазой, в трактовке Арриги, материальной экспансии? Как объясняет Арриги, Голландия возникла в качестве европейской державы не столько благодаря производственным инновациям, сколько по той причине, что могла монополизировать торговые пути, шедшие через Атлантику и Балтику, превратив саму себя в главный перевалочный пункт. В этом смысле, повышение Голландии было обусловлено не столько внутренними производственными инновациями, сколько коммерческой фиксацией прибыли. Организационные преимущества, выводимые Арриги, например военные реформы, свидетельствуют не столько о подъеме Голландии в качестве капиталистического государства, сколько о ее способности превратить полученные от торговли доходы в военные инновации, защищающие и воспроизводящие голландский контроль морского товарооборота. Этот политический ответ был подсказан самой логикой геополитического накопления, к которому стремились ее династически-абсолютистские соседи, занимающиеся захватом территорий. Он не перестроил международные отношения и не стал играть в них доминирующей роли, также как не изменил он и стародавней коммерческой логики неравного обмена, поддерживаемого военной силой.

## Критика модели коммерциализации

Фундаментальные нестыковки модели Броделя—Валлерстайна обнаруживаются более ясно тогда, когда мы пытаемся понять отношение между капитализмом, нововременным государством, нововременной системой государств и социальным изменением. Во-первых, предлагаемое этой моделью объяснение происхождения капитализма и нововременного государства — их причин и хронологии — является внутренне неопределенным. Валлерстайн возводит начало капитализма к «долгому XVI веку», в котором была открыта межконтинентальная торговля между Европой и остальным миром — являвшаяся необходимым ответом на кризис XIV в. [Wallerstein. 1974, 1979, 1980]<sup>22</sup>. Но именно потому что Валлерстайн воздерживается от определения природы и внутренних антагонизмов феодализма, его объяснение остается всего лишь аргументом *post hoc ergo propter hoc*: наличие коммерческой экспансии не объясняет того, что именно она была необходимой для выхода из кризиса [Brenner. 1977]. Кроме того, при таком подходе ничто не мешает нам увидеть начало капитализма в возникновении торговых городов, которое обычно связывается с городами-государствами итальянского Возрождения XIV в. [Арриги. 2007]; с коммерческим возрождением средневековых городов в XII и XIII вв. [Бродель. 1992. С. 16; Mann. 1986, 1988b]; с установлением межконтинентальной системы обменов между Индией и Аравией в тот же самый период [Abu-Lughod. 1989]; или, наконец, с торговыми отношениями между Грецией, Персией и Китаем [Wallerstein. 1974. P. 16]. Капитализм в этом смысле становится вечным [Бродель. 1992. С. 640], а подобный тезис позволяет пуститься в спекуляции о его пятитысячелетней истории [Frank, Gills. 1993]. Если понимать капитализм как производство для рынка и обмен на рынке, осуществляемые с целью накопления прибылей в процессе обмена, тогда он оказывается вечным не только в прошлом, но

<sup>22</sup> «В результате цепочки случайностей — исторических, экологических, географических — северо-западная Европа XVI в. оказалась лучше подготовленной к диверсификации сельского хозяйства и дополнению его некоторыми промышленными отраслями», что определило ее роль как центральной области нововременного, капиталистического мира-экономики, в котором аренда земель и наемный труд стали способами контроля труда [Wallerstein. 1979. P. 18].

и, видимо, в будущем. Неореалистическая трансторическая посылка относительно анархии закрепляется параллельным и столь же трансторическим утверждением капитализма. Главным историческим вопросом оказывается тогда не переход от феодализма к капитализму, а, если снова повторить слова Арриги, «от рассеянной к сосредоточенной капиталистической власти» [Арриги. 2006. С. 51]. Другими словами, капитализм рассматривается не как качественная и потенциально обратимая трансформация общественных отношений, а просто как постепенное количественное расширение рынка, шедшее с незапамятных времен<sup>23</sup>.

Если капитализм вечен, как он тогда соотносится с исторически и хронологически определенным началом формирования нововременного государства? Поскольку это расхождение вечного капитализма и относительно недавно появившегося нововременного государства создает теоретическую проблему, мы, конечно, могли бы просто отвергнуть наличие причинной связи между двумя этими феноменами — такой вариант и в самом деле выбран исследователями разных направлений — или же заявить, что капитализм приобретает свои динамичные и экспансионистские черты лишь тогда, когда он встраивается в нововременные государства и управляется ими — такой вариант связывается с веберовской идеей «политического капитализма», с идеей Броделя о лидирующих капиталистических городах-государствах и с мыслью Арриги о капиталистическом гегемоне [Бродель. 1992; Арриги. 2007]. Третий вариант, который часто выбирают теоретики миросистем, заключается в том, чтобы отнести возникновение нововременного государства к «протоновременным» итальянским городам-государствам. Все эти варианты, однако, сопряжены с определенными проблемами.

В действительности, у школы Броделя — Валлерстайна вообще нет никакой отдельной теории нововременного государства — у нее есть лишь теория различных властных возможностей политических сообществ, помещенных в одну миросистему, в

<sup>23</sup> Роберт Бреннер подверг критике эти объяснения, назвав их «неосмитовскими», поскольку в них предполагается то, что требуется объяснить, а именно: как на самом деле возникли капиталистические общественные отношения собственности, которые запустили процесс устойчивого экономического роста [Brenner, 1977].

целом отличную от более ранних миров-империй, в которых бюрократии поглощали прибавочный продукт, подавляя тем самым мировую торговлю [Wallerstein. 1974, 1980]. В схеме Валлерстайна форма государства, по существу, является производной от момента встраивания государства в международную систему разделения труда, которая определяет специализацию каждого региона. Эта зависимая от торговли специализация в свою очередь определяет «режим контроля труда» в процессе производства, то есть рабство, крепостничество или свободный наемный труд. «Сильное» государство связывается с капиталистическим ядром миросистемы, «более слабое» государство — с полупериферией, а «слабое» — с периферией. Следовательно, мир-экономика политически структурируется международным порядком, разделенным на три зоны неравных во властном отношении государств. Не повторяя те эмпирические возражения, которые были выдвинуты против производного от торговли распределения силы государств, мы можем заметить, что ни Валлерстайн, ни Бродель нигде не признают возникновения явно *нововременного государства*. Их понятие государства столь же нечеткое, как и их представление о капитализме (см. критику валлерстайновской теории государства: [Brenner. 1977. P. 63–67; Gourevitch. 1978b; Zolberg. 1981; Imbush. 1990. S. 49–57; Skocpol. 1994]).

Традиция Броделя—Валлерстайна к тому же игнорирует определяющую роль классового конфликта и революций в историческом развитии. Хотя с немарксистской точки зрения это может быть преимуществом, возникает проблема, как можно встроить социальный конфликт и социально-политический кризис в историческое и теоретическое уравнение такого рода. Стандартным ответом со стороны миросистемных теоретиков является или полное отрицание проблемы классов [Арриги. 2007], или приписывание ей второстепенного и зависимого значения. В последнем случае структура классовых отношений в процессе производства становится производной от роли данного региона в международном разделении труда, определяемой моментом его встраивания в мироэкономику [Wallerstein. 1974, 1980; Валлерстайн. 2008].

Наконец, парадигма обращения/обмена не может объяснить, почему отчетливые признаки «роста Запада» впервые обнаружались в северо-западной Европе и особенно в ранненово-

временной Англии. Хотя крупные мальтузианские колебания аграрной экономики сохранялись в континентальной Европе и после кризиса XVII в., в Англии наблюдалось формирование устойчивой экономики, рост производительности труда и численности населения, а также постоянные технологические инновации. Защитники парадигмы обращения/обмена должны как-то соотнести свою неопределенную историю капитализма с этой частной историей проявления экономического, технологического и демографического роста. По этой причине полезно посмотреть, как с этими проблемами справляется концепция капитализма как «логики производства».

## 5. КАПИТАЛИЗМ, НОВОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО И НОВОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВ: РЕШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

### *Капитализм как производственное отношение*

Проблема, к которой мы теперь должны обратиться, состоит в следующем: как альтернативная концепция капитализма (1) объясняет динамические феномены, которые мы связываем с капиталистическими экономиками (устойчивый экономический рост, накопление капитала, технологические инновации и демографический рост); (2) описывает возникновение и формирование нововременного государства, основанного на различении публичного государства и частного рынка/гражданского общества; (3) понимает социальные кризисы, фундаментальные институциональные разрывы и широкомасштабные трансформации; (4) определяет в географическом и хронологическом отношении начало капитализма; и (5) проясняет отношение между капитализмом и нововременной системой государств. Тезис, который я собираюсь защищать, состоит в том, что устойчивый экономический рост, технологические инновации и демографический рост нельзя отделить от развития капитализма. Однако капитализм понимается здесь не просто как экономическая категория, но как режим общественных отношений собственности, внутренне соотнесенный с определенной формой политической власти, то есть с нововременным государством. Повторю: все зависит от того, как мы определяем не только Новое время, но и капитализм.

В литературе можно выделить две доминирующих концепции капитализма. Первая, производная от традиции Броделя — Валлерстайна, определяет капитализм как экономическую систему производства для рынка, основанную на развитом разделении труда внутри и между центрами коммерческого производства (городами), обеспечивающем накопление прибылей в процессе крупной торговли между городами. В таком случае капитализм заключается в «логике обращения/обмена» или в *политических отношениях распределения* [Бродель. 1977, 1992; Wallerstein. 1979; Валлерстайн. 2008; Sweezy. 1976; Abu-Lughod. 1989; Арриги. 2007]. Вторая определяет капитализм как общественную систему, основанную на особом наборе общественных отношений собственности, в которых непосредственные производители отделены от своих жизненных средств и вынуждены воспроизводить самих себя на рынке, продавая свою рабочую силу как товар собственникам средств производства, чтобы заработать на жизнь. Прибыли порождаются путем эксплуатации рабочей силы путем откачивания прибавочной стоимости в процессе самого производства. В таком случае капитализм сводится к самой «логике производства» или же к *общественным отношениям эксплуатации* [Dobb. 1976; Merrington. 1976; Brenner. 1977, 1985b, 1986; Wolf. 1982; Comninel. 1987; McNally. 1988; Katz. 1989, 1993; Gerstenberger. 1990; Mooers. 1991; Wood. 1991, 1995c; Rosenberg. 1994; Van der Pijl. 1997; Harvey. 2001].

Сторонники обеих концепций заявляют о верности марксовому употреблению термина «капитализм». Но если парадигма производства считается оригинальным вкладом Маркса в критику классической политэкономии, то парадигма обращения/обмена имеет гораздо более длинную родословную, которая может быть возведена к Адаму Смиту и которая вполне совместима с веберовским пониманием капитализма. Если перевести все это в терминологию идеальных типов, парадигма производства предполагает объективный набор общественных отношений собственности в качестве необходимого социально-исторического условия накопления капитала и устойчивого экономического роста, тогда как парадигма обращения/обмена предполагает (натурализованную) субъективную мотивацию прибылью. То есть из мотивации прибылью должны следовать рациональное действие, специализация и разделение труда, как только «искусственные» препятствия для ее полной реализации (будь



они культурными, религиозными или военно-политическими) устранены. Предпосылка состоит в том, что индивиды, если предоставить их самим себе, будут стремиться к реализации возможностей, предлагаемых рынком [Wood. 2002]. Эта концепция капитализма очевидным образом сопряжена с утилитаризмом, который поддерживает понятие *homo oeconomicus*, относящееся к неоклассической экономике; также она проецирует очевидно капиталистические формы субъективности на докапиталистическое прошлое. Значение этих двух подходов к пониманию капитализма не ограничивается, однако, спорами марксоведов о правильном прочтении текстов Маркса. Речь идет об ответе на вопрос о нововременном формировании государств, роли классового конфликта, кризисного характера капитализма, а также возможности формулирования стратегий выхода за пределы капитализма. Короче говоря, она чрезвычайно важна для понимания долгосрочного исторического развития.

Определение капитализма в терминах «логики производства», принимаемое здесь, получило наиболее полную и оригинальную трактовку у Роберта Бреннера в цикле статей и большой историографической монографии [Brenner. 1977, 1985b, 1986, 1989, 1993]. Суммарно оно может быть представлено следующим образом. Капитализм — общественная система, основанная на определенных отношениях собственности между непосредственными производителями, которые потеряли прямой доступ к собственным жизненным средствам и подчинились рыночным императивам, и непроизводителями, которые завладели средствами производства. Этот процесс отчуждения предполагает качественное преобразование докапиталистических по своей сути общественных отношений собственности в капиталистические отношения собственности. Как только установлен режим капиталистической собственности, на обеих сторонах процесса труда складываются особые объективные (то есть не сводящиеся всего лишь к субъективной мотивации или намерениям) правила воспроизводства и экономического действия<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Бреннер не спорит с тем, что Адам Смит на самом деле верно описал, как в Новое время функционирует экономический рост, но утверждает, что ему не удалось определить, действительно ли устойчивое экономическое развитие реализуется и при каких именно условиях.

На стороне производителей отделение от жизненных средств превращает непосредственных производителей в «свободных» рабочих, которые вынуждены воспроизводить себя посредством рынка. Товаризация рабочей силы, установление «свободного» рынка труда, личная свобода (хотя не обязательно связанная с предоставлением гражданских и политических прав) и прямая экономическая зависимость от требований рынка — это четыре аспекта одного и того же процесса.

Капиталисты, в свою очередь, — поскольку непосредственные производители больше не принуждаются внеэкономическими средствами к тому, чтобы передавать часть прибавочного продукта сеньору, работать на него или брать у него в долг, ведь рабочие обладают политической свободой, — также оказываются зависимыми в своем воспроизводстве от рынка. Отношение капитала ведет к цепочке взаимосвязанных изменений. Развертывание капитала ради рыночного производства предполагает конкуренцию между капиталистами, управляемую «невидимой рукой» ценового механизма, который тяготеет к понижению цен на товары. Капиталистическое выживание (производство на «общественно необходимом уровне», то есть максимизация отношения цены и издержек) и расширенное воспроизводство (рост дополнительного дохода/накопление капитала) на рынке требуют расширения ассортимента товаров (специализация), усиления разделения труда и появления демпинговой конкуренции, которая в свою очередь требует снижения производственных издержек. С этой точки зрения максимизация прибыли является не естественной субъективной характеристикой вечного *homo oeconomicus*, а объективным результатом особых общественных отношений, опосредованных частной собственностью. Снижение издержек принимает форму либо снижения заработной платы — эта тенденция подкрепляется конкуренцией между рабочими за возможность продать свою рабочую силу на рынке — и, соответственно, интенсификацией труда, либо заменой наемного труда технологией. Технологическая рационализация, в свою очередь, требует постоянного конкурентного инвестирования в производство, стимулирующего технологические инновации. Теория технологического прогресса встроена, таким образом, в капиталистические производственные отношения. Эта тенденция к производственному инвестированию также стимулируется тем фактом, что непроектируемым

больше не требуется обращать часть прибавочного продукта в средства насилия и демонстративное потребление, как это было при феодализме и абсолютизме. Перенос прибавочного продукта больше не предполагает прямого физического принуждения и сопрягающейся с ним надстройки частного и непроизводительного в экономическом смысле аппарата насилия. В то же время производительное инвестирование предполагает систематическую тенденцию увеличения трудовой производительности, достигаемого заменой «абсолютного прибавочного труда» «относительным прибавочным трудом» и, при прочих равных условиях, уменьшением цен на товары. В общем случае эти процессы приводят к экономическому развитию и росту, так что докапиталистические, неомальтузианские пределы роста населения снимаются. Это определение, разумеется не предполагает, что капитализм является экономической системой, устойчивой к кризисам или что политические стратегии не могут сдерживать или, наоборот, поддерживать это развитие. Однако оно предполагает, что капиталистический рынок качественно отличается от всех иных форм производства, распределения, обращения и потребления.

Эти взаимосвязанные процессы тяготеют к порождению экономического и демографического роста, технологического развития, специализации, диверсификации продуктов и территориальной экспансии рыночных отношений (но не *eo ipso* капиталистических отношений собственности). Главное: эта интерпретация капитализма требует исторического объяснения происхождения капиталистических производственных отношений. Поэтому развитие капитализма не стоит привязывать к географическому количественному расширению более или менее повсеместного рыночного обмена, основанного на колебаниях разделения труда. Его следует объяснить через региональную специфику трансформации общественных отношений собственности при переходе от феодализма/абсолютизма к капитализму<sup>25</sup>. Но поскольку, как мы показали во второй главе, феодальные общественные отношения собственности определяли правила воспроизводства и сеньоров, и крестьян, — пра-

<sup>25</sup> Хотя Карл Полянй также обращает внимание на отличие капитализма как социальной системы, его происхождение он приписывает технологическому развитию *per se* — «машине» [Полянй, 2002].

вила, которые воспроизводили феодальную систему, а не уничтожали ее, — то вопрос об этой трансформации становится центральным для теории долгосрочного экономического и политического развития. Это также означает, что весь комплекс классовых конфликтов, социально-политических кризисов и революций определенно остается в поле действия данной теории. В общем, капитализм основывается на цепочке конститутивных противоречий (труд — капитал, капитал — капитал), которые, воспроизводясь при капитализме, наделяют всю систему беспрецедентной в историческом отношении, абсолютной уникальной долгосрочной динамикой. То, как эта система возникла исторически, а не то, как она функционирует уже после своего складывания, будет рассмотрено в восьмой главе.

### *Капитализм и современное государство*

Из этой концепции капитализма также выводится теория современного государства [Sayer. 1985; Wood. 1991, 1995a; Brenner. 1993; Rosenberg 1994. P. 123–158; Bromley. 1995, 1999]. Ведь если переход от докапиталистического к капиталистическому режиму собственности порождает сдвиг от режима политического извлечения прибавочного продукта (внеэкономического принуждения) к не принудительной в физическом отношении эксплуатации, значит мы выделили действующий принцип, обеспечивающий различие политического и экономического. Поскольку в капиталистических обществах власть правящего класса состоит в обладании средствами производства и контроле над ними, «государству» более не нужно напрямую вмешиваться в процесс производства и извлечения прибавочного продукта. Оно может ограничиться поддержанием режима собственности и законным принуждением к исполнению гражданских контрактов, заключаемых равными в политическом (хотя и не в экономическом) отношении гражданами. Новое государство институционализирует режим частной собственности в форме совокупности субъективных частных прав. Хотя эта базовая функция не исчерпывает, разумеется, исторической роли государства, она задает связь между капиталистическими отношениями собственности и отделением непринудительной «экономической экономики» от «политического государства», которое сохраняет за собой монополию на средства насилия. Го-

сударство и рынок становятся структурно независимыми, хотя и внутренне взаимосвязанными сферами<sup>26</sup>.

Капиталистические отношения собственности являются, следовательно, условием возможности появления и одновременно видимости саморегулирующегося рынка, в котором анархия децентрализованных индивидуальных решений относительно производства, потребления и выделения ресурсов, в принципе, управляется ценовым механизмом. Деньги (капитал) замещают власть в качестве главного регулирующего механизма, основной формы интересубъективности и координации действий индивидов. Это отделение в то же самое время оказывается непризнанной отправной точкой классической политической экономии как отдельной дисциплины. Сходным образом абстрактный буржуазный индивид в утилитаристской социальной философии и либеральной политической теории представляется теперь в качестве вымышленного индивида досоциального природного состояния, который заключает договор, чтобы максимизировать полезность и безопасность.

Эта теоретическая связь объясняет также необходимые, но отсутствующие предпосылки типологического определения нововременного государства, данного Максом Вебером. Вебер, в противоположность тому, что любят подчеркивать неореалисты, утверждал не только, что нововременное государство есть «то человеческое сообщество, которое внутри определенной области — “область” включается в признак! — претендует (с успехом) на монополию легитимного физического насилия» [Вебер. 1990. С. 645], но и что отделение должностных лиц от прежде частных средств управления является социальным условием нововременной — то есть беспристрастной, независимой, рацио-

<sup>26</sup> Это описание отношений рынка и государства не исключает разных степеней вмешательства государства в экономику, что демонстрируется историей форм капиталистического государства — либерального, империалистического, корпоративистского, государства всеобщего благосостояния и неолиберального. Кроме того, оно не предполагает никаких утверждений о величине и форме влияния капиталистического государства на экономику, его относительной автономии или детерминации политических курсов. Скорее, оно позволяет понять особый вид разделения политики и экономики (оказывающегося одновременно их единством), которое стало результатом товаризации труда и формирования режима частной собственности.

нальной — бюрократии [Weber. 1968a]. Хотя Вебер утверждает, что в ситуации геополитического давления из-за этого отделения развивались конфликты между занятыми централизацией королями и приватизирующими власть наследственными чиновниками (правителями и их штатом) [Weber. 1968a. P. 1086, 1103], более глубокие условия отхода государства от непосредственной экономической эксплуатации (откуп налогов и т.п.) нельзя понять, если ограничиваться лишь социальным господством и управлением или геополитическим соперничеством. Скорее деполитизация и деперсонализация экономического извлечения прибавочного продукта и концентрация политической власти в суверенном государстве были связаны с трансформацией общественных отношений собственности. Отделение «штата» от частных средств управления и эксплуатации стало обратной стороной товаризации труда. От реализуемой политическими средствами эксплуатации непосредственного производителя, которая требовала либо фрагментации политически-властных полномочий при феодализме (в отношениях крепостного и сеньора, опосредованных рентой), либо централизованных, но все равно частных прав принуждения при абсолютизме (в отношении свободных крестьян и чиновников, чьи должности продавались и передавались по наследству, тогда как само отношение опосредовалось налогами), стало возможно отказаться в пользу безличной бюрократии, занятой сбором налогов, — станового хребта нововременного государства. В результате накопление прибылей в частной экономике оставалось нетронутым. В то же время публичная монополизация средств насилия не служила больше непосредственно задачам извлечения прибавочного продукта, а гарантировала внутреннюю и внешнюю защиту закона и порядка. Поскольку при капитализме эксплуатации из публичной становится частной, государство теперь предстает либо в образе Левиафана — то есть как чистое воплощение власти, — либо как публичный локус общей или универсальной воли, которая может даже обеспечивать существование либеральной демократии. Следовательно, рабочие и капиталисты представляются политически равными гражданами, хотя они и остаются разделенными в экономическом отношении на буржуа и пролетариев.

Эта связь также позволяет нам понять, почему в капиталистических обществах правящий класс не правит непосредствен-

но. Если в докапиталистических обществах обнаруживается непосредственное тождество персонала «Государства» и правящего класса — таковы сеньоры феодальных политических образований, монархия и наследственная знать в абсолютистских государствах, коммерческая олигархия в торговых республиках, — то для капиталистических государств такое тождество более не является необходимым. Хотя, разумеется, имущие классы основали первый парламент в Англии периода Английской революции, удерживая законодательство и бюджет под непосредственным контролем правящего класса, принуждение к исполнению закона и поддержание порядка можно предоставить «беспристрастной» бюрократии, отделенной от средств управления и потому зависимой от государственного жалования. Следовательно, с капитализмом как определенными общественными отношениями собственности соотносится особая форма государства, то есть нововременной суверенитет.

### *Капитализм и нововременная система государств*

Хотя этот анализ может объяснить особую институциональную форму нововременного государства, он не способен объяснить ни его территориально ограниченную природу, ни то, почему капитализм существует в определенной системе государств, в политическом плюриверсуме. Если бы капитализм развился в рамках универсальной империи, трудно было бы понять, почему он должен повлечь ее распад на множество территориальных единиц. Другими словами, не существует конститутивной или генеративной связи между капитализмом и геополитическим плюриверсумом.

Если капитализм и система государств в генетическом отношении не связаны друг с другом и если они не рождаются одновременно, а капитализм не развивался одновременно во всех ранненововременных европейских государствах, каково же было отношение между капитализмом и системой государств? Этот вопрос указывает на радикально иную реконструкцию происхождения и развития нововременных международных отношений, которая не зависит от предпосылки единственного структурного разрыва между феодальной и нововременной геополитикой и одновременно отвергает эпохальную значимость Вестфальского договора 1648 г. Идея, которую я подробнее

изложу в восьмой главе, состоит в том, что капитализм впервые развился как непреднамеренное последствие классовых конфликтов между крестьянством, аристократией и королем в Англии раннего Нового времени, когда каждый класс пытался воспроизводить себя в соответствии с традиционными стратегиями. Складывание в XVII в. особого комплекса государства/общества «в одной стране», шедшее в контексте системы государств, бывшей почти полностью абсолютистской, открыло длительный период геополитически единого, но неравномерного в социальном отношении европейского развития, приведшего в итоге к постепенной, разрываемой кризисами интернационализации британского комплекса государство/общество. Хотя этот процесс повлек ряд изменений режимов собственности и политических режимов, он не вышел за пределы территориально разделенной природы политической власти в Европе и не привел к ее отрицанию. Его исходом стала всеобщая система территориально разделенных нововременных государств, на которых лежит общая тень транснационального мирового рынка. Но именно эта констелляция может ныне оказаться под ударом.

Итак, возникновение капитализма не связано ни с городами-государствами итальянского Ренессанса, ни с общеевропейским «долгим XVI веком»; также нельзя свести процесс «первоначального накопления» к непрерывной цепочке «добавления стоимости», которая состоит из лидирующих экономик, сменявших друг друга, как предлагает сделать Перри Андерсон [Anderson. 1993]. Он был ограничен только ранненовременной Англией [Brenner. 1993; Wood. 1991, 1996]<sup>27</sup>. В то же время отсутствие капиталистических режимов общественных отношений собственности в ранненовременной континентальной Европе *eo ipso* предполагает отсутствие нововременного государства. Следовательно, динамика, скрытая за коммерциализацией и военной централизацией государств не могла породить нововременное государство и, тем более, нововременную систему государств. Поэтому модели коммерциализации и геополитической

<sup>27</sup> Анализ случая Голландии см.: [Brenner. 2001]. Хотя в некоторых областях Германии получили развитие аграрные капиталистические общественные отношения собственности, их успешность была связана с более общими закономерностями спроса и предложения, присущими докапиталистической Европе.



конкуренции представляют собой теории неперехода к Новому времени. Формирование территориально фрагментированной системы государств предшествовало подъему капитализма. Эта система отличалась в социально-экономическом и (гео)политическом отношениях от доновременной, поскольку ее составляющими были, главным образом, династические государства и, в меньшей степени, олигархические торговые республики. Этим доновременным международным порядком как раз и была превознесенная теорией МО Вестфальская система.

Однако утверждать, что система государств предшествовала подъему капитализма, не значит предполагать, что формирование европейской докапиталистической системы государств невозможно свести к марксистской интерпретации. Скорее, предполагается, что давление, повлекшее замещение фрагментированных феодальных политических образований территориально более четкими династическими государствами, было связано с сохранявшимися некапиталистическими общественными отношениями собственности, которые обусловили необходимый характер стратегий (гео)политического накопления, а также подавления и эксплуатации крестьян. Хотя логика политического накопления привела к тому, что европейское политическое пространство было зацементировано в виде доновременной системы государств, подъем капитализма в Англии XVII в. и его международные последствия разворачивались в уже сформированной, династически-абсолютистской системе, чья «генеративная грамматика» и характерные функции были в значительной степени переопределены геополитически опосредованным распространением капиталистических производственных отношений. *Ex hypothesis*, теорию возникновения нововременных международных отношений следует излагать в терминах социально комбинированного и географически неравномерного развития, которое в XIX в. преобразовало европейскую и мировую политику.

# V. «L'État, c'est moi!»: логика формирования абсолютистского государства

## 1. ВВЕДЕНИЕ: ИДЕАЛИЗАЦИЯ АБСОЛЮТИЗМА

**А**нализ отношения между капитализмом и нововременным государством остается неполным без исторического объяснения их совместного возникновения. Однако последнее было не столько общесистемным и хронологически единым, сколько в высшей степени дифференцированным по регионам и периодам процессом, при этом не случайным. Поскольку же региональная специфика экономического и политического развития весьма существенна для понимания образования нововременной системы государств, мы должны проследить за расходящимися траекториями формирования государства во Франции и в Англии, чтобы показать несостоятельность принятой в теории МО и исторической социологии предпосылки о существовании единого перехода от Средневековья к Новому времени. В следующих главах этот переход реконструируется посредством отслеживания расходящихся схем формирования государства во Франции и в Англии. В противоположность общепринятым мнениям я покажу, как это расхождение привело к двум весьма отличным международным порядкам, абсолютистскому и нововременному, которые требуют двух разных описаний системного геополитического изменения — одного перехода от феодализма к абсолютизму во Франции и другого перехода от феодализма к капитализму в Англии. Но поскольку эти переходы совершались в одно и то же время, а не последовательно, я также покажу, как сосуществование на международном уровне различных политических режимов привело к фиксации международных отношений в Вестфальской системе и как оно отразилось на переходе к нововременным международным отношениям. В результате стандартная для теории МО версия вестфальского Нового времени будет полностью отвергнута и пересмотрена.

Какова была природа доминирующей в раннее Новое время формы государства, абсолютизма? В этой главе исправляется

фундаментальное заблуждение всей теории МО, которая обычно уравнивает абсолютистский и нововременной суверенитет. В теоретическом отношении, свойственная теории МО неправильная оценка и неверная периодизация Вестфальского порядка основываются на идеализации ранненоввременной и абсолютистской бюрократии. В методологическом отношении такая неверная интерпретация рождается из четырех взаимосвязанных тенденций. Во-первых, теория международных отношений, обычно обращающая внимание лишь на внешние признаки суверенитета, строит теорию МО, абстрагируясь от внутреннего уклада компонентов геополитических систем. Другими словами, исторические различия разных политических сообществ обычно не становятся вопросом теории и не дифференцируются должным образом. Во-вторых, если понятие «государства» и проблематизируется в теории МО, его содержание обычно понимается в институциональных, статичных, сравнительных терминах. В-третьих, в той мере, в которой для установления тождества исторически различных политических образований привлекается веберовское определение нововременного государства, оно обычно ошибочно проецируется на прошлое, структурированное совершенно иначе. Наконец, теории ранне-современных международных отношений, как правило, опираются на традиционную интерпретацию абсолютизма, развитую в историографической литературе и на неверно понимаемые в ней веберовские понятия государственной рационализации и бюрократической централизации. Сегодня эта литература широко критикуется, в каком-то смысле она даже может считаться совершенно устаревшей.

Во втором разделе дается краткий обзор традиционной, ориентированной на государство, интерпретации абсолютизма, которая поддерживает стандартное для теории МО описание нововременного характера Вестфальских международных отношений. За этим обзором следует краткое критическое обсуждение ориентированных на общество ревизионистских работ, а также критическое изложение марксистского спора об абсолютизме. В третьем разделе предлагается реконструкция происхождения, природы и долгосрочной траектории абсолютистского государства. Здесь рассматривается переход от феодализма к абсолютизму в ранненоввременной Франции, а также проясняется значение собственнического королевства для персона-

лизированной природы абсолютистского суверенитета. Затем в этом разделе исследуется структура абсолютистского правления, включая продажу официальных должностей, сохранение независимых политических центров власти, логику законодательства, налогообложение, финансовые кризисы, а также природу абсолютистской военной системы и ранненовременного военного дела.

В заключении кратко излагается идея о том, что абсолютистский суверенитет не был ни абсолютным, ни нововременным, поскольку определялся отношением к королевской власти и королевству как к собственности. В силу связи между некапиталистической аграрной экономикой и паразитарным наследственным государственным аппаратом долгосрочная траектория Франции времен *Ancien Régime*<sup>1</sup> в политическом отношении постоянно провоцировала кризисы, а в экономическом — вела к исчерпанию собственных ресурсов. Этим объясняется и воинственная природа абсолютизма, и то сравнительное военное отставание, от которого он начал страдать в XVIII в., уступая главным образом Британии. Абсолютистское государство не только не было нововременным, но и не было переходным. Внутренняя динамика абсолютистских классовых отношений могла привести только к тупику. В этих условиях исток Нового времени в международных отношениях следует искать в развитии первого нововременного государства, то есть Англии XVII в., которая на волне расширяющейся капиталистической экономики стала в XVIII в. подтачивать логику политического накопления, присущую континентальной абсолютистской системе, и в итоге в период XIX — начала XX вв. навязала новую капиталистическую логику. Именно эти процессы преобразовали логику абсолютистской системы в нововременной международный порядок.

## 2. СПОРЫ ВОКРУГ АБСОЛЮТИЗМА: ПЕРЕХОД ИЛИ НЕПЕРЕХОД?

Последние три десятилетия в историографии абсолютизма шел важный спор об «абсолютности» королевского правления отно-

<sup>1</sup> *Ancien Régime* (фр.) — «Старый режим», обозначение политического строя для революции. — *Примеч. пер.*

шении к политическому обществу. В этом споре противостояли защитники старой, ориентированной на государство ортодоксии и последователи — как марксисты, так и немарксисты — ревизионистского направления, стремящегося обозначить пределы ортодоксального подхода<sup>2</sup>. Хотя этот спор распространяется на все европейские политические режимы, сфокусировался он главным образом на Франции, которая задает классическую модель формирования абсолютистского государства. Причина не только в том, что государство Бурбонов определило идеальнотипическую форму общеевропейского феномена. В некоторых европейских государствах, например в голландских Генеральных штатах, Англии, Швейцарии или Польше, абсолютизм так и не утвердился — по причинам, которые связаны с различными решениями предшествующих классовых конфликтов, основанных на различных местных отношениях собственности. Даже политические структуры, обычно считавшиеся абсолютистскими — Испания, Австрия, Россия, Пруссия, Швеция или Дания — определяются весьма различными хронологиями, разной динамикой, разными характеристиками, хотя различий между, например, французским меркантилизмом и прусским камерализмом меньше, чем сходств между этими режимами, если соотнести их с тем, что было до и после них. Однако, если вообще было государство, которое «двигалось к Новому времени» через рационализацию государства, критический дискурс Просвещения и великую Революцию, таким государством, конечно, должна быть Франция. Но была ли она им?

*Традиционная интерпретация, ориентированная на государство: государство как рациональный актор*

Традиционная интерпретация исходит из того, что начиная с XVI в. давление со стороны усилившегося геополитического конфликта и внутренние волнения, связанные с конфессиональными спорами, привели к концентрации политической,

<sup>2</sup> Ревизионистская литература сегодня достаточно обширна. К немарксистским теориям относятся работы: [Элиас. 2001, 2002; Root. 1987; Mettam. 1988; Hinrichs. 1989; Kaiser. 1990. P. 7–202; Henshall. 1992, 1996; Hoffman. 1994; Asch, Duchhardt. 1996; Oresko, Gibbs, Scott. 1997]. К марксистским работам можно причислить следующие: [Андерсон. 2010; Beik. 1985; Parker. 1989, 1996; Gerstenberger. 1990].

законодательной, судебной, финансовой, экономической и военной власти и полномочий, определяющих процесс принятия решений, в руках монарха<sup>3</sup>. Государство выровняло, укрепило и централизовало свою территорию благодаря систематическому развитию сети публичных институтов, работа которых поддерживалась лояльными королю бюрократами. Король, отвечавший на угрозу внешней агрессии и на потребность во внутреннем конфессиональном примирении, получал все больше возможностей обходиться без учета мнения и согласия промежуточных властей и в конечном счете присвоил «законодательный суверенитет», выраженный формулой *princeps legibus (ab)solutus*<sup>4</sup>. Его положение над законом сопровождалось ростом юридикации и рационализации того, что теперь стало различаться в качестве публичной и частной сфер. Замещение многочисленных частично перекрывающихся феодальных прав и привилегий централизованной правовой системой, проистекающей из Королевского совета, отражалось в монополизации налогообложения, затребовавшем развитие класса чиновников, зависимых от короля. Могущественные, но сменяемые агенты короля, «интенданты», несли его волю в провинции. Новая служивая знать — *noblesse de robe* (дворянство мантии), — набираемая из образованных бюргеров и представителей духовенства и получающая титулы благодаря службе, стала противопоставляться старой знати меча и щита, *noblesse d'épée* (дворянству шпаги), которая получала титулы по наследству и на основе землевладения.

Политики государственного экономического развития оформились в виде меркантилизма. Государственные ведомства усовершенствовали национальную инфраструктуру, ввели общие

<sup>3</sup> Двумя часто цитируемыми исследованиями, часто используемыми в сфере МО как доказательства нововременного характера Вестфальского государства, являются следующие: [Poggi. 1978; Strayer. 1970]. По Пoggi, «новая абсолютистская система правления... как правило, считается первым полноценным воплощением нововременного государства» [Poggi. 1978. P. 62]. Стрейера упоминают Гилпин [Gilpin. 1981. P. 116–123] и Спрут [Spruyt. 1994a. P. 78–108]. См. также влиятельные исследования под редакцией Тилли [Tilly. 1975; Tilly. 1985] и Гидденса [Giddens. 1985. P. 83–121].

<sup>4</sup> *Princeps legibus (ab)solutus* (лат.) — абсолютный (единственный) законодатель. — Примеч. пер.

меры и веса, стали поддерживать мануфактурное производство и международную торговлю, упразднили большое число внутренних тарифных барьеров вместе со средневековой системой пошлин и ввели единые таможенные правила, а также общую систему чеканки монеты, увеличившую богатство государства. Экономическое планирование сформировало унифицированный внутренний рынок, хотя стремление к положительному торговому балансу вело внешнюю торговлю к чрезмерному накоплению драгоценных металлов и сокровищ.

Неформальные механизмы внутреннего господства и разрешения конфликтов (через междоусобицы) были заменены институционализированными договорами и правилами, основанными на позитивных правовых принципах. Прежние обычные и договорные формы государственной власти, определявшие отношения сеньоров, уступили место безличному государству, стоявшему над своими подданными и выше них. Легитимировалось оно римским правом. От гражданского общества отделилась особая политическая сфера. Над средневековым представлением о божественной королевской власти, вассальной связи, кодексе рыцарства и социальных порядков был надстроен новый дискурс светского суверенитета, образец которого был разработан Жаном Боденом в «Шести книгах о государстве». Средневековое смешение публичного права и уголовного уступило место различию между публичным международным правом и частным уголовным правом: на незнатное население теперь стали воздействовать силами полиции, тогда как сопротивление со стороны знати было признано незаконным. Междоусобицы были приравнены к преступлениям, то есть к неповиновению и бунту, попав в итоге в рубрику наиболее тяжкого преступления — предательства, или *lèse majesté*<sup>5</sup>. Непокорные дворяне стали врагами государства.

В то же самое время феодальные формы военной организации, основанные на созыве феодальной дружины и общем созыве вассалов короля, в период «военной революции» были смещены благодаря демилитаризации знати и созданию постоянных армий (*miles perpetuus*), находившихся под контролем короля, а государственные инвестиции в военные технологии (артиллерию, военные корабли и фортификацию) сделали фео-

<sup>5</sup> *Lèse majesté* (фр.) — оскорбление Величества. — Примеч. пер.

дальные тактики устаревшими. Внешняя политика начала превращаться в исключительную прерогативу монарха, дав начало *arcana imperii*<sup>6</sup> и обретя имя *raison d'État*<sup>7</sup>, тогда как дипломатические миссии *ad hoc* были заменены постоянными посольствами, получившими неприкосновенность в соответствии с принципом экстратерриториальности. Монополизация королем средств насилия повлекла переход от позднесредневекового *ius gentium*<sup>8</sup> к *ius inter gentes*<sup>9</sup>, а затем и к управляемому Францией *droit publique de l'Europe*<sup>10</sup>, превратив средневековую иерархию или гетерогенность в «анархический» геополитический порядок равных в правовом отношении государств.

В теории абсолютистское правление «состояло в неделимой и неограниченной власти индивидуума, который, являясь законодателем, не был связан законами, который не зависел от любого контроля и пользовался суверенностью, не консультируясь ни с какими группами или институтами, за исключением тех, что были созданы им же» [Vierhaus. 1988. S. 113]<sup>11</sup>. Король-Солнце, Людовик XIV, был воплощением ослепительного всевластия абсолютной монархии, девизом которой стало его восклицание (подлинное или ему приписанное) «L'État, c'est moi!». Эта монархия все больше вытесняла становившуюся простым украшением аристократию, загоняя ее в искусственную, барочную и полностью церемониальную жизнь версальского придворного общества. На практике же получается, что результаты борьбы

<sup>6</sup> *Arcana imperii* (лат.) — государственные секреты, тайны власти. — Примеч. пер.

<sup>7</sup> *Raison d'État* (лат.) — государственный интерес. — Примеч. пер.

<sup>8</sup> *Ius gentium* (лат.) — право народов, в римском праве — раздел права, исходно регулировавшего отношения Римской империи с другими странами и провинциями. — Примеч. пер.

<sup>9</sup> *Ius inter gentes* (лат.) — международное право. — Примеч. пер.

<sup>10</sup> *Droit publique de l'Europe* (фр.) — европейское публичное право. — Примеч. пер.

<sup>11</sup> Фирхаус еще в 1966 г. предложил гораздо более проработанную картину абсолютистского правления нежели та, что задается классическим определением. Так он утверждал, что «со времен Первой мировой войны или, по крайней мере, Второй мировой подобный взгляд на абсолютизм в академической среде должен считаться устаревшим (даже если в популярных исторических описаниях он сохраняется)» [Vierhaus. 1985. S. 36].



XVII в. «свелись к окончательному установлению структуры, в которой узнается нововременное государство, организованное вокруг безличной, централизованной и единой системы правления, опирающейся на закон, бюрократию и силу» [Rabb. 1975. P. 72]. В целом, «государство» рассматривается в качестве главного «модернизатора» общества, раздираемого конфликтами статусных групп изнутри и находящегося под угрозой нападения извне.

Именно этот ортодоксальный взгляд на политику раннего Нового времени, идеализирующий рациональность абсолютистских публичных институтов и скрадывающий их отличия от нововременного государства, определил основной консенсус всей теории МО как отдельной дисциплины: подписанные в середине XVII в. Вестфальские договоренности усовершенствовали архитектуру европейской политики, определив правила нововременных международных отношений тех государств, которые по своему существу уже были нововременными.

#### *Ревизионистская критика, ориентированная на государство*

Критика институциональной теории, предполагавшей постепенность изменений, вскоре дала толчок отдельному ревизионистскому направлению, черпавшему вдохновение в предложенной Роланом Мунье концепции общества гильдий [Mousnier. 1979, 1984]<sup>12</sup>. На эмпирическом уровне было отмечено, что характерная для абсолютизма продажа официальных должностей, nepотизм, правовая разнородность, откупщина, наемничество и множество родственных феноменов противоречат идее постепенного продвижения к бюрократической рациональности государства нововременного типа. Эта неудача в объяснении считается связанной с недостаточным исследованием Франции «Старого порядка» как общества гильдий, включающего традиционные группы интересов, которые конкурировали за статус и положение. Таким образом, институциональные провалы в формировании нововременного государства не были временными затруднениями — они выражали структурно раздробленные интересы политического общества, противостоящего модернизационным амбициям монарха.

<sup>12</sup> Сводку более современных споров можно найти в: [Beik. 1985. P. 3–33; Parker. 1996. P. 6–27].

Однако, хотя в такой немарксистской ревизионистской литературе — относящейся как к школе «Анналов», так и к новому институционализму, — убедительно разоблачается свойственное институционалистским теориям стремление превознести механизмы совершенствования государства, во многих отношениях посылки этих теорий тут просто переворачиваются. Если в теориях старого институционализма государство рассматривается в качестве активного рационального актора, а общество — в качестве сопротивляющейся и иррациональной массы частных интересов, ревизионисты утверждают, что центр власти «Старого порядка» следует искать в обществе, которое сделало «государство» заложником своих партикулярных интересов. Эта позиция резюмируется Уильямом Бейком так:

Следовательно, историки перестали смотреть на государство как на триумфального организатора общества и начали рассматривать его в качестве хрупкого организма, борющегося с крупным, неустойчивым обществом, и в конце концов они пришли к пониманию того, что силы в обществе влияли на саму функцию государства, если не определяли ее. Существование этих сил не обязательно отрицает прогрессивную роль государства, однако оно требует переоценки того, как различные институты раннего Нового времени взаимодействовали с данным ранненовременным обществом [Beik. 1985. P. 17].

Хотя главной причиной теперь объявляется общество, базовая предпосылка, состоящая в том, что нововременное государство и общество можно с полным правом развести в теории в качестве двух различных и автономных сущностей, преследующих антагонистические интересы, так и не была отброшена. Если раньше модернизирующее государство боролось против косного общества и одерживало над ним победу, то теперь консервативное общество развенчивает модернизационные амбиции государства. Та мысль, что определенная совокупность интересов, общих для привилегированных гильдий и Короны, могла создать пространство совместимости интересов правящих классов, объединяющихся против крестьянства и таким образом воспроизводящих доновременную форму государства, исключается с самого начала. Но хотя правящие классы объединялись против крестьянства, они были разделены внутри самих себя вопросом распределения налогов, обеспечиваемых крестьянским трудом. Следовательно, поскольку политическая

власть оставалась персонализированной и поделенной между монархией и привилегированными классами, диада государство — общество не может осмысленно использоваться для Франции «Старого порядка».

*Ортодоксальная марксистская интерпретация:  
«парадигма равновесия—перехода»*

Марксистские авторы наиболее успешно атаковали ту точку зрения, что абсолютистское государство можно теоретически представить в качестве чего-то внешнего обществу и отличного от него, в качестве сущности, преследующей собственные цели и при этом дисциплинирующей общество. Но парадокс в том, что такие интерпретации абсолютизма давно подпорчены трафаретной философией постепенного развития истории, которая якобы проходит через смену восходящих классов. Согласно такой позиции, кодифицированной в «Манифесте коммунистической партии» Маркса и Энгельса, буржуазия постепенно развивалась в лоне старого порядка, чтобы в результате перевернуть его в революционном взрыве. Эпоха абсолютизма принимается в качестве объекта исследования только потому, что она служит подготовительной стадией для Французской революции, но не считается самостоятельной формацией. Телеологической темой становится «переход к капитализму», а генезис исторического агента этого перехода — буржуазии — ее центральным моментом. Хотя диада государство — общество заменяется классовым анализом, последний определен развитием капитализма в рамках «Старого порядка». И хотя ни Маркс, ни Энгельс так и не предложили систематического исследования абсолютизма, классическая марксистская интерпретация была канонизирована знаменитым тезисом Энгельса, гласящим, что абсолютистская монархия «держала в равновесии дворянство и буржуазию друг против друга» и обладала автономией по отношению к обоим этим сторонам, пока буржуазия не прорвалась через покров старого порядка [Маркс, Энгельс. Т. 21. С. 172]<sup>13</sup>. В этой концепции «равновесия — перехода» развитие капитализма является результатом роста буржуазии, чьи интересы

<sup>13</sup> Дальнейшие вариации этой позиции можно найти в работах Маркса: [Marx. 1976a. S. 326, 333; 1976c. S. 328].

продвигались и использовались монархией, дабы создать противовес частным реакционным интересам землевладельческой знати, пока монархия сама не была сметена в катаклизме тем классом, чьи устремления они помогла раскрыть.

Такая интерпретация абсолютизма поддерживается и тем фактом, что после XIV в. крепостничества во Франции не существовало. Если определять феодализм в терминах отношений сеньоров и крепостных, французское общество после XIV в. (не говоря уже о XVII) нельзя считать феодальным. Точнее, если феодализм определять крепостничеством, а капитализм — наемным трудом (причем во Франции раннего Нового времени не было ни того, ни другого), тогда четыре столетия между концом XIV в. и 1789 г. можно рассматривать только как переходный период. Рост городской торговой активности, монетизация сельских рент и общее распространение коммерциализации вместе с товаризацией подкрепляют подобную интерпретацию.

Эти темы определяют ту уточненную версию «парадигмы равновесия — перехода», которая была разработана Борисом Поршневым и А.Д. Люблинской. Поршневу доказывает, что монархия, находившаяся под давлением крестьянских восстаний, кооптировала капиталистическую буржуазию в государство при помощи системы продаж официальных должностей, одновременно ограничивая реакционную аристократию и препятствуя союзу между крестьянством и буржуазией [Поршневу. 1948]. Люблинская в свою очередь доказывает существование равновесия между независимой торговой и промышленной капиталистической буржуазией, поддерживаемой монархией, и реакционным, но объединенным дворянством мантии и шпаги [Люблинская. 1961, 1965]. Независимо от наличия у этих двух подходов особых заслуг и проблем обоим авторам не удается выйти за пределы классической марксистской «парадигмы равновесия — перехода».

### *Экскурс: незаметный переход к капитализму у Перри Андерсона*

Блестящий, хотя и не лишенный проблем и несколько отрывочный подход Перри Андерсона, в котором отвергается интерпретация через равновесие, развивает тему перехода и связанные с нею классовые отношения. Андерсон прямо определяет абсолютистское государство в качестве феодального, поскольку

оно защищало интересы старой средневековой аристократии [Андерсон. 2010. С. 40, 397]. Начав с замечания о том, что абсолютистские государства были «экзотическими гибридными композициями, чья поверхностная “современность” раз за разом выдавала их глубинную архаику» [Андерсон. 2010. С. 28], он убедительно показывает несовременную природу абсолютистских институтов — армии, бюрократии, налогообложения, торговли, дипломатии, предполагая, что конец феодализма в узком смысле слова, то есть конец крепостничества, вовсе не означал исчезновение феодальных отношений производства [Андерсон. 2010. С. 17]. Так, распад крепостничества не привел к распаду единства политики и экономики, то есть экономической эксплуатации посредством политико-правового принуждения на молекулярном уровне деревни, в результате которого раздробленный феодальный суверенитет был распределен по иерархической цепочке отношений между сеньорами. Под давлением старой знати, которой угрожало разорение, эта ячейка внеэкономического принуждения была восстановлена на национальном уровне в форме самого абсолютистского государства, которое заступило на место крепостничества. «Результатом стал *сдвиг* политико-юридического принуждения вверх, в сторону централизованной и милитаризованной вершины — абсолютистского государства» [Андерсон. 2010. С. 19]. Локальные, индивидуализированные феодальные ренты были замещены централизованными феодальными рентами в форме королевского налогообложения:

Абсолютизм был по своей сути именно *перенацеленным и перезагруженным* аппаратом феодального господства, созданным для того, чтобы вернуть крестьянские массы на их традиционные социальные позиции — несмотря на и вопреки тем приобретениям, которые они получили в результате замещения повинностей. Другими словами, абсолютистское государство никогда не было беспристрастным арбитром в спорах между аристократией и буржуазией, еще меньше причин назвать его инструментом в руках новорожденной буржуазии против аристократии: на самом деле оно было новым политическим щитом, отбивающим удары, направленные против благородного сословия [Андерсон. 2010. С. 18].

Хотя способ политической организации изменился, правящий класс, по Андерсону, остался тем же — феодальной знатью, поддерживаемой централизованной властью нового государственного аппарата.

Но, даже признавая сохранение докапиталистического способа эксплуатации, Андерсон все равно доказывает существование долгого перехода к капитализму. Его доказательство строится на двух пунктах. Во-первых, в сельской местности концентрация политической власти на вершине социальной системы, опосредованная заменой барщины денежными рентами, была дополнена экономическим упрочением феодальной собственности. Феодальная условная собственность уступила место исключительным частным правам на собственность, чему способствовала рецепция римского права. «Владение землей делалось все менее “условным”, по мере того как суверенитет становился все более “абсолютным”» [Андерсон. 2010. С. 20]. Создание земельного рынка стало существенным условием капиталистического сельского хозяйства [Андерсон. 2010. С. 393–394]. Во-вторых, в городах пришедшее из того же римского гражданского права понятие законной (quiritary) собственности, заново открытое королевскими юристами, дабы осуществить консолидацию власти феодального класса на более централизованных принципах, было подхвачено городской буржуазией в качестве правового выражения свободного капитала. Римское право, и особенно проведенное в нем различие между публичным и гражданским правом, оказало неожиданное воздействие, обеспечив торговую буржуазию правовым основанием, кодексом законов и юридическими процедурами, которые гарантировали безопасность частной собственности и сделок (их достоверность, ясность, единообразие) [Андерсон. 2010. С. 26]:

Видимым парадоксом абсолютизма в Западной Европе было то, что он по сути своей представлял аппарат для защиты собственности и привилегий аристократов, в то же самое время средства, которыми обеспечивалась эта защита, могли *одновременно* обеспечить и базовые интересы новорожденных торгового и мануфактурного классов [Андерсон. 2010. С. 38].

При этом андерсоновский анализ абсолютистской Франции не является замкнутым на себя исследованием одного случая, он погружен в более широкую сравнительную историю неравномерного развития. И снова предельный вопрос, организующий исследование, завязан на уникальность «Запада» и, в частности, специфичность тех долгосрочных условий, которые в итоге привели к развитию капитализма в Европе. Классическое марк-

систское понятие всемирной истории как простой последовательности способов производства (сменяющих друг друга по логике простой замены) отбрасывается здесь в пользу того, что гегельянцы назвали бы логикой «снятия» (*Aufhebung* в его тройном значении<sup>14</sup>); следы прошлого уничтожаются только для того, чтобы сохраниться в качественно трансформированном более высоком синтезе: «движение к капитализму обнаруживает *остатки* наследия одного способа производства в эпохе, в которой господствует другой, и их реактивацию при переходе к третьей» [Андерсон. 2010. С. 390]. Говоря более конкретно, «сочетание античного и феодального способов производства было необходимым, чтобы перейти в Европе к капиталистическому способу производства — соотношению, которое имеет не только диахронную последовательность, но и определенный уровень синхронной артикуляции» [Андерсон. 2010. С. 391]. Хотя сохранение плотной сети городских анклавов и прочная память о римском праве и рациональных формах римского мышления предполагают полезное для капитализма наследие античности, феодальный феодал — известный только в Европе, если не брать Японию, — в качестве ячейки экономической эксплуатации задал материальную матрицу капиталистической частной собственности на землю. Абсолютизм же был ее инкубационным периодом. Следовательно,

По природе и структуре европейские абсолютные монархии были все еще феодальными государствами — механизмом управления того же аристократического класса, который доминировал в Средневековье. Но в Западной Европе, где они родились, *общественные формации*, которыми они управляли, были сложным соединением *феодального и капиталистического способов производства* с постепенным подъемом городской буржуазии и растущим первоначальным накоплением капитала в международном масштабе. Именно переплетение двух антагонистических способов производства внутри одного общества привело к переходной форме абсолютизма [Андерсон. 2010. С. 397].

В общем, по Андерсону, абсолютизм родился из той консолидации власти знати после краха крепостничества, которая привела к централизованному государству. Это государство взяло

<sup>14</sup> Немецкое *Aufhebung* может иметь три значения: поднятие, сохранение и упразднение.

на себя ранее локализованные функции внеэкономического принуждения, реализуя их на общенациональном уровне во благо знати. Институциональные инновации, обращавшиеся в том числе к наследию античности, которые сопровождали новый централизованный способ извлечения прибавочного продукта, вместе с распространением товаризации и торгового обмена непреднамеренно создали условия для развития частной собственности и капиталистической буржуазии. Абсолютизм стал ключевым этапом процесса «прибавления стоимости» в переходе от феодализма к капитализму [Anderson. 1993. P. 17]<sup>15</sup>. Хотя финальное столкновение между поднимающейся буржуазией и клонящейся к упадку аристократией и было отложено до собственно буржуазной революции, капитализм развивался тихо, даже тайно.

Однако в предложенном Андерсоном объяснении возвышения, природы и динамики французского абсолютизма имеются пробелы — как эмпирические, так и теоретические. Вряд ли абсолютизм действительно работал на интересы старого феодального класса или вообще был для него полезным. Хотя старая знать и сохранилась в абсолютистском государстве, ее выживание и функции нельзя вывести из исходной совокупности предпочтений знати до кризиса XIV в. Абсолютистское государство и его «централизованная» рента не были функциональным эквивалентом локальных прав знати на эксплуатацию. Как мы видели, в период кризиса XIV в. монархия регулярно вставала на сторону крестьян, выступая против старой средневековой знати [Brenner. 1985b. P. 288–299]. Знать и монархия явно конкурировали за эксплуатацию крестьянства. Борьба между режимом феодальной ренты и абсолютистским налоговым режимом в конечном счете разрешилась за счет интересов и в ущерб старой средневековой знати. Тезис Андерсона, согласно которому «на протяжении всей эпохи раннего Нового времени господствующий

<sup>15</sup> «Для Маркса различные моменты нововременной биографии капитала были распределены по цепочке постепенного накопления, начинавшейся с итальянских городов, городов Фландрии и Голландии, продолжающейся в империях Португалии и Испании, в портах Франции, так что в итоге эти моменты “сложились в систематическое единство в Англии конца XVII века”. В историческом отношении более осмысленно рассматривать возникновение капитализма как процесс добавления стоимости, приобретающий все большую сложность по мере того, как он продвигался по цепочке взаимосвязанных позиций» [Anderson. 1993. P. 17].



щим классом, как в экономике, так и в политике, оставался *тот же самый класс*, что и в Средневековье — феодальная аристократия» [Андерсон. 2010. С. 17–18, 397], приводит к недооценке изменившегося классового базиса ранненовременной знати, а также активной роли монархии. Дело не только в том, что между аристократией XIV и XVII вв. практически не наблюдается преемственности поколений, но и в том, что в ходе этого процесса сам классовый базис средневековой знати был разрушен и определен заново. Класс, собиравший налоги, уже не был тем, что получал феодальные ренты.

Самое главное, хотя аристократия сохранила свои земли, она утратила политические права представительства. Другими словами, она не была правящим классом в узком смысле этого слова. Ничто не является лучшим примером относительного упадка старой знати, нежели тот факт, что в период конца XVI — конца XVIII вв. Генеральные штаты не собирались ни разу<sup>16</sup>. Эта утрата политической власти нашла выражение в сфере международных отношений, где присвоение королем полномочий вести внешнюю политику подорвало независимые военные возможности старой знати. Хотя большая часть *noblesse d'épée* утратила статус вооруженной знати, реальным бенефициаром подъема абсолютизма стал новый, финансируемый государством класс чиновников, *noblesse de robe*. Его интересы были напрямую связаны с Коронай, что обеспечило качественно иную динамику отношений внутри правящего класса французского общества в целом.

Акцент Андерсона на сохранении старого правящего класса феодалов приводит его к недооценке трансформации отношений внутри правящего класса, то есть напряжения между монархией, вооруженной знатью и должностной знатью, а также противоречий абсолютистского суверенитета. С одной стороны, централизованная рента как рабочий механизм извлечения прибавочного продукта очевидным образом поставила знать в

<sup>16</sup> Хотя Андерсон обсуждает разногласия в аристократической среде, он все же настаивает на том, что в конечном счете и несмотря на свои собственные исходные цели абсолютизм был выгоден именно старой аристократии, которая выжила не только экономически, но и политически. «Ни один класс в истории сразу не воспринимал логику своего исторического положения в эпоху перехода: долгий период дезориентации и смятения был необходим для того, чтобы он выучил нужные правила собственного суверенитета» [Андерсон. 2010. С. 52].

зависимость от предпочтений монархий, распределяющих ренты. В то же самое время публичные налоги и монополизация средств насилия сделали династийный принцип ядром и краеугольным камнем ранненововременных международных отношений. Династическая дипломатия была не признаком «доминирования феодалов» [Андерсон. 2010. С. 38], а знаком его относительного упадка. С другой стороны, хотя рассмотрение Андерсоном продажи должностей ясно указывает на пределы рационализации государства, он не переходит к более радикальному выводу, который гласил бы, что приватизация постов вела к возрождению тенденции к децентрализации. Хотя Андерсон прав, когда говорит, что «владение землей делалось все менее “условным”, по мере того как суверенитет становился все более “абсолютным”» [Андерсон. 2010. С. 20], абсолютизация суверенитета как раз подрывалась продажей должностей. Во внутренней политике она привела к разнобою в системах законодательства, налогообложения и судопроизводства. Продажность, патронаж и коррупция разрушили правовую прозрачность, надежность и единообразие.

Продажа должностей не только ограничивала внутренний государственный суверенитет, но и начинала уводить городской и торговый капитал в созданные государством источники доходов, поскольку он стал использоваться для покупки синекур, чартеров для компаний или же для государственных займов. Таким образом, монархия стала должником растущего паразитарного класса чиновников, откупщиков, а также коммерческих спекулянтов, которые стремились возместить свои государственные инвестиции путем эксплуатации пожалованных государством, но используемых в частном порядке доходных титулов. Конечным следствием стало возникновение симбиотического и паразитарного отношения между монархией, *noblesse de robe*, финансистами и городскими олигархами, что заблокировало любой возможный переход к капитализму. В этом отношении, «доходные, хотя и рискованные инвестиции для ростовщического капитала», соединенные с синекурами в среде королевской бюрократии, с хартиями на монопольную торговлю и колониальными предприятиями, не могли «выполнять некоторые частичные функции первоначального накопления, необходимые для окончательного триумфа самого капиталистического способа производства» [Андерсон. 2010. С. 38–39]. Скорее, как будет

показано позже, они представляли собой спекулятивные набеги в область поддерживаемых государством форм политического накопления, которые привязали бюргеров к Короне, раздающей должностные и коммерческие титулы. Хотя верно говорить о том, что «экономическая централизация, протекционизм и заморская экспансия усиливали позднефеодальное государство и создавали прибыль ранней буржуазии» [Андерсон. 2010. С. 39], эта буржуазия вовсе не стала в результате именно *капиталистической буржуазией*.

Андерсон часто рассуждает об укреплении частной собственности, а также о товаризации и коммерциализации городов и деревенской жизни как факторах, создавших условия для развития капитализма.

Принцип *superficies solo cedit* — единой и безусловной собственности на землю — снова стал действующим (хотя далеко еще не доминирующим) правилом аграрной собственности именно благодаря распространению товарных отношений в сельской местности, определявшему долгий переход от феодализма к капитализму на Западе [Андерсон, 2010. С. 25]<sup>17</sup>.

Хотя верно то, что превращение барщины в денежную ренту превратило сеньориальный домен в экономическое владение, которое можно было покупать и продавать, непосредственные производители по-прежнему владели своими традиционными наделами как *de facto* собственностью. Для мелких землевладельцев это означало то, что, как указывает в одном месте Андерсон [Андерсон. 2010. С. 17], они не были формально подчинены капиталу, то есть не были экономически вынуждены арендовать землю у землевладельца или работать на него. Крестьяне воспроизводили себя вне рынка. Следовательно, сеньориальные владения стали «аллодиальными» (то есть превращенными в абсолютную частную собственность), но ни у землевладельцев, ни у крестьян не было достаточных мотивов объединять свои наделы и владения, вводить новые сельскохозяйственные техники или повышать специализацию производства. Инвестиции оставались ограниченными и не отвечали логике конкурентно-

<sup>17</sup> Ср.: «Новая форма власти аристократии была, в свою очередь, предопределена распространением товарного производства и обмена в переходных общественных формациях эпохи раннего Нового времени» [Андерсон. 2010. С. 18].

го экономического производства, поскольку сельская рабочая сила в своей массе еще не была коммерциализирована, то есть пролетаризирована. Введение римской «законной» собственности, которая позволяла совершать договорную передачу собственности, не укрепило аграрный капиталистический режим производства. Античность не была необходимым условием развития капитализма. Иными словами, Андерсон не показывает, как два этих сталкивающихся утверждения — одно о том, что рабочая сила на селе оставалась независимой, а другое о том, что экономическая жизнь в целом была товаризована, — могли бы совмещаться друг с другом. Несмотря на использование альтюссеровского понятия «артикуляции» и «сверхдетерминации», Андерсону не удается показать, как «феодальный способ производства» и «капиталистический способ производства» были на самом деле, как он выражается, «сплетены».

Соответственно, двусмысленной остается и андерсоновская трактовка роли средневековых городов. Он начинает с того замечания, что города были вписаны в феодализм, поскольку раздробление суверенитета обеспечило значительный уровень независимости городских сообществ [Андерсон. 2010. С. 21]. Этот тезис выдвигается против тех, кто, подобно Полу Суизи, в «Споре о переходе» доказывал внешнее разложение феодализма под воздействием роста городов и торговли на длинные расстояния [Sweezy, Dobb et al. 1976]. По Андерсону, в то же самое время муниципальная политическая автономия позволила городам превратиться в центры производства, а не просто оставаться паразитарными центрами управления, распределения и потребления, как это было в Римской империи и в западных аграрных империях. Такое развитие обусловило «энергичное *противостояние* между городом и деревней» [Андерсон. 2010. С. 391]. В долгосрочной перспективе оно же привело к подчинению деревни городам, то есть к коммерческому производству, нацеленному на городские рынки. Поэтому децентрализованная политическая структура феодализма имела решающее значение для предполагаемого подчинения аграрной экономики городам. Такое описание не только предполагает, что средневековые бюргеры либо были с самого начала про-токапиталистами, либо развились в городскую буржуазию, оно также основывается на неверном понимании важной работы Джона Меррингтона о средневековых городах [Андерсон. 2010.

С. 21)<sup>18</sup>. Хотя Меррингтон подчеркивает политическую независимость средневековых городов, основанную на феодальной политической децентрализации, благодаря которой города были одновременно внутри- и внеположными по отношению к феодализму, он также показывает их экономическую зависимость от спроса и предложения, порождаемого селом [Merrington. 1976. P. 177–180]. Следовательно, хотя средневековые города стали для феодализма чем-то «внутренне-внеположным» в политическом отношении, в экономическом отношении они не выходили за его пределы. По Меррингтону, рост торговли и рынков не изменил этого факта [Ibid.]<sup>19</sup>. Поэтому даже если не разделять вывода Меррингтона о том, что между докапиталистическими городами и докапиталистическим сельским хозяйством не было никакого динамического противоречия, Андерсону все равно следовало бы показать, что зависимость городов от аграрной экономики была преодолена.

Наконец, Андерсон заканчивает свою вводную главу кратким обзором «буржуазных революций» и установления капиталистических экономик и государств. Хотя полное изложение этих тем отложено до ожидаемого третьего тома его трилогии, свою уже представленную ранее идею он распространяет на революционный период: «Правление абсолютистского государства было правлением феодальной аристократии в эпоху перехода к капитализму. Его конец означал кризис власти этого класса: начало буржуазных революций и возникновение капиталистического государства» [Андерсон. 2010. С. 40]<sup>20</sup>. Не стремясь

<sup>18</sup> Исследование Меррингтона было опубликовано в 1975 г., но Андерсон ссылается на еще неопубликованную рукопись.

<sup>19</sup> Меррингтон тем самым оспаривает разрушительное влияние городов на феодализм: «Невозможность распознать в городах какое-либо революционное призвание, повторяющиеся случаи “предательства” буржуазии и ее соглашательства со старым порядком (в качестве кредитора этого старого порядка)... должны рассматриваться через призму объективной конвергенции их интересов в вопросе эксплуатации села в период сохранения ренты (во всех ее формах) как главного способа присвоения прибавочного продукта, пока капитал оставался за пределами производительного процесса» [Merrington. 1976. P. 180].

<sup>20</sup> «На Западе испанская, английская и французская монархии потерпели поражение или были свергнуты буржуазными революциями “снизу”» [Андерсон. 2010. С. 399].

ограничивать рассуждение Андерсона этими предварительными гипотезами, следует заметить, что после их выдвижения появились мощные интерпретации, которые ставят под вопрос даже обновленную классическую марксистскую интерпретацию Великой французской революции. В частности, Джордж Комнинель, опирающийся на недавнюю волну критических работ о 1789 г., приходит к выводу, что (1) революция была не столько борьбой между восходящей буржуазией и клонящейся к упадку аристократией, сколько выходом для неудовлетворенного патримониального класса — и знати, и буржуазии, — который боролся за получение большей доли в государственной системе извлечения прибавочного продукта; и (2) сама революция не создала капиталистического общества, а скорее закрепила мелкую крестьянскую собственность, продолжив распределять государственные должности среди некапиталистической буржуазии [Comminel. 1987. P. 179–207].

Итак, хотя Андерсон ясно показывает некапиталистический характер ранненовременного французского государства и отвергает интерпретацию в парадигме равновесия, он продолжает придерживаться марксистской ортодоксии, согласно которой развитие капитализма было исторической ролью буржуазии, развившейся в зазорах старого феодального порядка благодаря распространению рыночных возможностей и возрождению римского права. Тем самым Андерсон и старая интерпретация в русле «равновесия—перехода» согласуются с модернизационными представлениями институционалистов, видевших в абсолютистском государстве невольную повивальную бабушку буржуазии.

Таким образом, интерпретация абсолютизма, данная в парадигме «равновесия — перехода», сталкивается с непреодолимыми проблемами [Merrington. 1976; Skocpol. 1979. P. 51–76; Beik. 1985; Comminel. 1987; Parker. 1996]. Во-первых, на протяжении всего раннего Нового времени крестьянство оставалось непосредственным владельцем собственных жизненных средств. Во-вторых, торговая деятельность не создала капиталистическую буржуазию как таковую, поскольку рост торговли не вел к разрушению феодализма. В-третьих, классовые отношения между буржуазией и аристократией не были антагонистичны на фундаментальном уровне, поскольку у обеих было одно и то же отношение к внеэкономическим средствам эксплуата-

ции. В-четвертых, абсолютистское государство оставалось наследственным и включало в себя некапиталистическую буржуазию и дефеодализованную аристократию благодаря торговли должностями, хартиями и грамотами и другими привилегиями. В-пятых, главная ось конфликта внутри правящего класса, основным моментом которого стала революция 1789 г., проходила не между поднимающейся капиталистической буржуазией и упадочной аристократией, а скорее между недовольным классом, зависимым от государства, и Коронай. Наконец, сама революция не создала ни капиталистической экономики, ни капиталистического государства. Скорее, она закрепила мелкокрестьянскую собственность, продолжая распределять государственные должности в пользу некапиталистической буржуазии.

Но если абсолютизм не был ни историей формирования нововременного государства, ни обществом гильдий, противостоявших его модернизационным амбициям, ни арбитром между аристократией и буржуазией, ни даже орудием старой аристократии, используемым против крестьянства и «сверхдетерминированным» развитием капиталистической буржуазии, то чем же он был?

### *Политические марксисты и критика «парадигмы буржуазии»*

Ответ на этот вопрос требует предварительного теоретического пояснения. Ортодоксальная марксистская теорема о необходимом совместном развитии класса буржуазии и капитализма стала предметом критики внутри самой марксистской традиции, основанной как на эмпирическом, так и на теоретическом материале. Марксу и Энгельсу не удалось разработать адекватную теорию абсолютизма и Французской революции, поскольку в своих ранних работах они некритически усвоили либеральную теорию буржуазной революции [Beik. 1985; Compinel. 1987. P. 53–76, 104–178; Brenner. 1989; Parker. 1996. P. 14]<sup>21</sup>. Комнинель и Бреннер доказывают, что ортодоксальная марксистская интерпретация раз-

<sup>21</sup> Несмотря на собранные в его исследовании данные, Байк все еще поддерживает парадигму перехода: «Соответственно, абсолютизм следует рассматривать не как нововременное государство, привитое к доновременному обществу, а как политический аспект конечной, высшей фазы архаичного, хотя и видоизмененного феодального общества, то есть, если угодно, как общество в переходе от феодализма к капитализму» [Beik. 1985. P. 339].

вития капитализма в значительной части остается обусловленной привязанностью молодого Маркса к материалистической, но явно либеральной концепции общего исторического прогресса. Следствием этого стало появление в работах Маркса двух противоположных повествований о переходе к капитализму.

Шотландская классическая политическая экономия и либеральная историография периода французской Реставрации значительно повлияли на первую интерпретацию, предложенную Марксом в работах 1840-х и ранних 1850-х годов. Ранние работы Маркса связывают подъем капиталистической буржуазии с распространением рыночных отношений благодаря растущему разделению труда, которое в свою очередь основывался на развитии производительных сил в городах. Движущий классовый антагонизм видится в конфликте между городским классом бюргеров (который превратился в капиталистическую буржуазию) и реакционной, землевладельческой феодальной аристократией. Хотя классическая политическая экономия строилась на идее «естественного» расширения отношений свободного рынка, то есть на экономическом либерализме, французская либеральная историография времен Реставрации поддерживала идею истории как классовой борьбы, чьим *terminus ad quiet* [конечным пунктом] был политический либерализм. Обе традиции сходились *au fond*<sup>22</sup> в либерально-материалистической концепции исторического прогресса, включающей этапную теорию истории.

Вторая интерпретация, предложенная Марксом в его зрелой критике политической экономии, то есть в «Капитале» и «Экономических рукописях 1857–1858 гг.», вращается вокруг докапиталистических классовых отношений непосредственных производителей и сеньоров. Этот конфликт дал толчок «первичному накоплению», которое отделило непосредственных производителей от собственных жизненных средств, подчинив их власти капитала. В этой версии *двигателем* исторического развития является разрешение классового конфликта не столько между аристократией и буржуазией, сколько между эксплуататорами и эксплуатируемыми, сеньорами и крестьянами. Уникальное в историческом отношении разрешение этого классового конфликта привело к установлению капиталистических производственных отношений в аграрной экономике Англии в период XVI–XVII вв.

<sup>22</sup> Au fond (фр.) — по существу, в основе. — Примеч. пер.



Из-за канонизации первой интерпретации в «Немецкой идеологии» и «Манифесте коммунистической партии» большая часть последующих марксистских интерпретаций абсолютизма, происхождения капитализма, французской и английской революций оставались в плену у того, что Эллен Вуд называет «парадигмой буржуазии», предполагающей, что капитализм и буржуазия неразрывны [Wood. 1991. P. 2–11]. С этой точки зрения зачатки капитализма можно найти в любой европейской стране раннего Нового времени, где были города и торговля. Генезис этой дилеммы отсылает непосредственно к проведенному Марксом и Энгельсом объединению Франции и Англии одним типом развития: «Вообще говоря, здесь в качестве типичной страны экономического развития буржуазии взята Англия, в качестве типичной страны ее политического развития — Франция» [Маркс, Энгельс. Т. 4. С. 426]. Эта универсальная абстрактная схема, полученная путем смещения двух весьма различных национальных траекторий и наложенная на иные линии национального развития, приводит к искаженным и антиисторическим интерпретациям.

Бреннер и Комнинель показывают, что разведение буржуазии и капитализма не закрывает возможность марксистской интерпретации кризиса «Старого порядка» и перехода к капитализму и в Англии, и во Франции. Что касается ранненововойременной Франции, оба основывают свое исследование на развитии централизованного внеэкономического принуждения, опиравшегося на режим мелкокрестьянской собственности [Comninel. 1987; Brenner. 1986b. P. 288–291]. Когда же речь заходит об Англии, Бреннер показывает, как капитализм возник из классовых конфликтов в сельской экономике между непосредственными производителями и сеньорами в период до английской Гражданской войны и Английской революции, которые поэтому интерпретируются как борьба между капиталистической земледельческой аристократией и реакционным классовым альянсом Короны и привилегированных купцов — борьба за саму форму английского государства [Brenner. 1993]<sup>23</sup>. Выдвигая сильные интерпретации английской и французской революций, они пока-

<sup>23</sup> Теоретическая связь между ранней работой Бреннера, посвященной началам английского аграрного капитализма, и его более поздними исследованиями роли купцов в английской Гражданской войне проясняется в работе Вуда: [Wood. 1996].

зывают, что обе они были результатом различных траекторий политического и экономического развития. На этом основании они отвергают представление о Франции и Англии как о двух вариантах одного пути в сторону Нового времени, на котором Франция якобы достигла политической централизации несколько раньше, отставая в экономическом развитии, тогда как Англия опередила ее экономически, но потом должна была догонять в политике<sup>24</sup>. В таком случае, если Англия и Франция раннего Нового времени образуют структурно различающиеся комплексы государства/общества, но именно Франция при этом определила правила Вестфальского соглашения, какова же была природа французского абсолютизма?

### 3. РАЗВИТИЕ И ПРИРОДА ФРАНЦУЗСКОГО АБСОЛЮТИЗМА

Если доводы политических марксистов сохраняют свою силу, нам необходимо показать, в каком смысле французское абсолютистское государство было структурно неспособно превратить себя в нововременное государство или же запустить развитие капитализма. В самом деле, я постараюсь показать, что связка абсолютистского государства и экономики не только не могла «развиться» в сторону политического и экономического Нового времени, но и, напротив, навязывала ранненовоямной Франции как целому самопротиворечивую и весьма конфликтную в политическом отношении логику. Логика французских классовых отношений привела к гипертрофическому росту государственного аппарата, приобретающего все более паразитарные черты в стиле византизма, который давил на некапиталистическую аграрную экономику и в условиях нарастания международной конкуренции, особенно со стороны капиталистической Британии, вел к полному краху абсолютизма<sup>25</sup>. Но по-

<sup>24</sup> Паркер, Герштенбергер и Бейк [Parker 1996; Gerstenberger. 1990; Beik. 1985. P. 4] также подчеркивают несоизмеримость Франции и Англии. По Андерсону, «Англия выработала странный контрактный вариант абсолютистского правления» [Anderson. 1974b. P. 113]. Более систематическое рассмотрение французского абсолютизма можно найти в: [Gerstenberger. 1990. P. 261–463; Mooers. 1991. P. 45–102].

<sup>25</sup> Скочпол выдвигает похожий аргумент в отношении дореволюционной Франции. Однако, основывая свое описание развития аграрного

сколько эта динамика работала только с XVIII в., а не с 1648 г., в шестой и седьмой главах будет показано, как долго европейские международные отношения задавались явно несовременными, абсолютистско-династийными формами геополитического взаимодействия. Поэтому начала нововременных международных отношений нельзя искать во Франции, поскольку они связаны с новой совокупностью факторов, реализуемых качественно новым комплексом государства/общества, впервые созданным в Англии.

### *Переход от феодализма к абсолютизму*

Как объяснить фундаментальное расхождение путей социального, экономического и политического развития Франции и Англии? Здесь важно понять, что два этих региона не только вышли из кризиса XIV в. с разными результатами, но и вошли в него с разными классовыми конфигурациями. Как мы поняли в третьей главе, докризисная Франция столкнулась с постепенным ослаблением способности сеньоров извлекать прибавочный продукт, поскольку сеньоры оказались зажаты между крестьянским сопротивлением и королевской поддержкой мелкокрестьянской собственности. Когда французскую деревню настиг эко-демографический кризис XIV в., реакция сеньоров не принесла успеха по причине именно этих двух факторов [Brenner. 1985b; Root. 1987]. Крестьянам удалось утвердить фактически уже имевшиеся у них права собственности на свои владения, уменьшив при этом права знати на прямое внеэкономическое принуждение. Хотя французские сеньоры юридически про-

капитализма в Англии XVI в. на работах Роберта Бреннера, она не может признать то, что международное давление никак не влияло на английскую общественную революцию и не сильно влияло на английскую политическую революцию. Эндогенное развитие капитализма в Англии представляет собой, таким образом, прямое подтверждение марксистского классового анализа [Skocpol. 1979. P. 140–144]. Следует отметить, что хотя Скокпол намечает контуры представления о совмещенном и неравномерном развитии, которое способно было бы дать всемирно-историческое объяснение социальных революций, *fons et origo* [исток и начало — *Примеч. пер.*] этого процесса, то есть английское государство, удостоивается в ее работе лишь мимолетного внимания. Методологические проблемы, проистекающие из следования Скокпол сравнительной исторической социологии, демонстрируются в: [Burawoy. 1989].

должали обладать правами на собственность, их политический контроль над собственными землями был серьезно ослаблен, особенно когда ренты и арендные платежи были зафиксированы на более низком уровне.

В поисках выхода сеньоры направили свои силы друг против друга, чтобы восполнить доходы, а также начали все больше и больше занимать «государственные» должности в период Столетней войны и после нее. После кризиса государственный аппарат извлечения прибавочного продукта обеспечил феодализованной знати новые возможности получения прибылей посредством покупаемых и продаваемых должностей; рациональным методом достижения власти, статуса и богатства стало владение частью государства в форме должности. Благодаря продаже этих должностей Корона «могла собрать на государственных должностях многих из тех сеньоров, которые потерпели ущерб от разложения сеньоральной системы» [Brenner. 1985b. P. 289]. Это действие возымело двойной эффект: интересы знати были согласованы с интересами государства, что в то же время обеспечило Корону доходами. А поскольку королевская служба была также доступна для незнатных бюргеров и иных простолюдинов, покупка подобных должностей стала главной формой коммерческих вложений, приносящих высокие и надежные доходы. Представители знати и богатые простолюдины все в большей степени привязывались к государственному аппарату. Результатом стало укрепление мелкокрестьянской собственности, которая теперь облагалась налогом при помощи все более централизованного абсолютистского государства, вращавшегося вокруг двора, центра интриг, раздоров, распределения синекур и соперничества внутри знати. Несмотря на возвращение отдельных волн сопротивления знати, во Франции XVI–XVII вв. было завершено формирование абсолютистского «налогово-должностного» государства (термин Роберта Бреннера). В этой форме государства нововременное различие политического и экономического не прочерчено, напротив, в нем сохранялось слияние господства и эксплуатации, характерное для докапиталистических обществ. Общий кризис ускорил превращение феодального, сеньорально-крестьянского режима ренты в абсолютистский королевско-крестьянский налоговый режим. Другими словами, раздробленный суверенитет средневекового периода, обусловленный личным частным господством, усту-

пил место «обобщенному личному господству» политической власти «Старого порядка» [Gerstenberger. 1990. P. 457–532].

После кризиса XIV в. Франция (и большая часть Европы) вступила в период экономического и коммерческого восстановления — в «долгий XVI век». Однако этот коммерческий подъем, открытие торговых путей в Америку и Индию, рост торговли на длинные расстояния не стали прорывом к капитализму. Все это просто воспроизводило, пусть и в большем масштабе, связку между растущими доходами знати и возрождением городов в XII в. [Wolf. 1982. P. 108–125, 130–261]. Как и раньше, растущие королевские доходы обычно не инвестировались в средства производства, а первым делом тратились на военное снаряжение и на демонстративное придворное потребление. Этот механизм поддерживал постоянное функционирование военного государства, однако подрывал аграрную экономику. Резкое усиление купеческой экспансии в XVII в. было обусловлено ростом королевского и знатного спроса, опосредованного ростом налоговых поступлений, извлекаемых из демографически расширяющейся, но все еще докапиталистической аграрной экономики, построенной на мелкокрестьянской собственности. Города не были мини-лабораториями протокапитализма, возглавляемыми предприимчивой и противостоящей королю буржуазией. Скорее бюргеры были вынуждены сотрудничать с королем, который продавал патенты компаниям-монополистам, привязывая купцов к себе и притягивая городские элиты в государственный аппарат<sup>26</sup>. Торговые прибыли получали только в сфере товарооборота, основанного на несправедливом обмене. Эксплуатация разницы в ценах на рынках продавцов и покупателей порождала огромные прибыли. Король предоставлял защиту для морской торговли (конвои, порты, вооруженные торговые флотилии и т.д.). «Купить подешевле, продать дороже» — вот максима дня, а вовсе не свободная экономическая

<sup>26</sup> То есть во Франции раннего Нового времени центральным моментом был, вопреки мнению Спрута, не альянс короля и городов, который якобы запустил формирование нововременного эффективного государства [Spruyt. 1994a, 1994b], а конфликт между режимом ренты знати и королевским налоговым режимом, который вовлек городских олигархов, купцов, финансистов и служивую знать в орбиту короля, запустив формирование наследственного, доновременного и в конечном счете «неэффективного» государства.

конкуренция, основанная на ценовой конкуренции. Позднее я подробнее покажу, что логика крупных военно-торговых империй характеризовалась наращиванием вооружений, а не понижением цен. По Эрику Вульффу, европейские купцы не занимались только одним — они «не использовали свое богатство как капитал, то есть для приобретения и преобразования средств производства, которые можно было бы использовать с большей эффективностью благодаря покупке рабочей силы, предлагаемой на продажу классом наемных работников» [Wolf. 1982. P. 120]. Вторая броделевская реинкарнация нововременной капиталистической миросистемы (по Валлерстайну — ее первое проявление) была производной от докапиталистической аграрной экономики.

Абсолютистское налогово-должностное государство не смогло обеспечить условия экономического подъема, с упорством цепляясь за логику (гео)политического накопления. Карательное налогообложение крестьянства совмещалось с крестьянским производством для собственного потребления, а не с производством для рынка. Наделы разбивались (*morcellement*<sup>27</sup>), а не объединялись, продукты диверсифицировались, а не специализировались, технология пребывала в застое [Brenner. 1985b; Parker. 1996. P. 28–74, 212–213]. Королевская защита крестьянской собственности заблокировала попытки сеньоров огородить, объединить и улучшить свои хозяйства<sup>28</sup>. Хотя земельный сектор, основанный на обычном праве, в абсолютистской Франции так и не был разрушен, фактические права крестьян на свои мелкие наделы и доступ к общим землям вывели воспроизводство крестьян за пределы рынка. Привлекательность местных и муниципальных рынков, которые могли бы стимулировать развитие коммерческого сельского хозяйства, снова и снова отрицалась логикой первостепенной задачи, то есть выживания. Хотя крестьяне должны были продавать свою продукцию на местных рынках, чтобы платить налоги и сборы, они ничем не принуждались к тому, чтобы систематически воспроизводить себя *внутри* рынка. Налоговые поступления, в свою очередь, направлялись обратно в аппарат принуждения и в

<sup>27</sup> Раздробление, расщепление (*фр.*). — *Примеч. пер.*

<sup>28</sup> Переход к коммерческим хозяйствам в районе Парижа оказался еще более безуспешным [Comninel. 1987. P. 182–196].

демонстративное потребление. Общим результатом такого режима общественных отношений собственности стала сравнительно стагнирующая, особенно в плане нормы производительности, аграрная экономика, по-прежнему подчиненная ритмам эко-демографических колебаний [Goubert. 1986; Crouzet. 1990; Parker 1996].

Когда в начале XVII в. снова разразился кризис, усилившийся классовый конфликт за распределение доходов привел к циклу крестьянских бунтов, волнений знати и королевских репрессий. Этот кризис воспроизводства также объясняет распространившиеся на всю систему попытки геополитического накопления, принявшие форму религиозных войн или Тридцатилетней войны, в которых Франция играла лидирующую роль. Докапиталистическая Франция, зажата между чрезмерным налогообложением и нарастающими военными расходами, пережила в XVIII в. целый ряд финансовых кризисов, пока не наступил крах — Французская революция.

#### *Абсолютистский суверенитет как собственническое королевство*

Каковы следствия этого режима общественных отношений собственности для абсолютистского суверенитета? Нововременное понятие суверенитета определено абстрактным безличным государством, существующим независимо от субъективной воли руководителя. Нововременное государство продолжает существовать независимо от времени жизни его представителей; оно основано на разделении публичной должности и частной собственности. Благодаря этому разделению территория нововременного государства сохраняет свои точно очерченные границы независимо от частного накопления бюрократов или политического класса, в отличие от того, что было до Нового времени.

Неразделенность публичной власти и частной собственности не только характеризовала европейский феодализм, но и сохранилась в большинстве европейских государств вплоть до XVIII и XIX вв., пусть и в измененной форме. В абсолютистских государствах слияние публичного и частного лучше всего можно понять в соотнесении с принципом династичности и с собственническим королевством [Rowen. 1961, 1969, 1980]. Соб-

ственническое королевство означало личную собственность короля на государство<sup>29</sup>. Но в каком смысле король владел государством? Собственность могла не относиться к территории, поскольку была широко распространена абсолютная земельная собственность знати и незнатных владельцев, а частные королевские земли — королевский домен — существовали отдельно от некоролевских земель. Кроме того, понятие королевской территории противоречило «Салической правде», в которой запрещалось постоянное отчуждение государственной территории [Mousner. 1979. P. 649–653]. Территория должна была использоваться королем как узуфрукт и передаваться в том же самом объеме в качестве наследства данной династии. Следовательно, собственность на государство означала исключительные легитимные права военного командования в королевстве, а также личное владение правами налогообложения, торговли и законодательства. Заявление «*L'État, c'est moi!*» в качестве основы абсолютистского суверенитета предполагало королевское владение публичной властью.

Как собственническое королевство соотносится с развитием отношений собственности в обществе? Феодалное понятие королевства как высшего суверенитета покоилось на децентрализованных правах присвоения, которыми располагали сеньоры и которые определялись тем, что непосредственные производители владели своими жизненными средствами. Сеньоры владели землей на условии выполнения особых военных и политических обязательств, устанавливающих отношение взаимности между королем и вассалом (*auxilium et consilium*). Политически заданные права присвоения в свою очередь влекли различные степени личной несвободы непосредственных производителей — начиная с рабства или крепостничества и заканчивая иными формами несвободного труда. Как мы видели, еще до кризиса XIV в. французскому крестьянству удалось избавиться от крепостного права и завоевать фактические права собственности на свои наделы. Сеньоры же, терявшие многие политические полномочия на эксплуатацию, сохранили права собственности на свои поместья и превратили их в землевладения, сдаваемые в

<sup>29</sup> Государство было частной собственностью короля, то есть не только «*L'État, c'est moi!*», но и, как заметил Герберг Роуэн, «*L'État, c'est à moi!*» («Государство — моё!»). — Примеч. пер.) [Rowen. 1961].



аренду или обрабатываемые крестьянами, платившими ренты, занимавшимися издольщиной или же получавшими заработную плату. И хотя многие крестьяне воспользовались этими открывшимися им возможностями (в основном для того, чтобы платить налоги), их никто не принуждал к такому поведению, поскольку они не были изгнаны со своих обычных земель. Превращение сеньорий из политических единиц в экономические владения подорвало условность феодальной собственности, определяемой вассальным контрактом. «*Dominium utile*»<sup>30</sup> знати, поддержанное римским правом, стало абсолютной частной собственностью [Rowen. 1980. P. 29]<sup>31</sup>. Политическая собственность как право власти над подданными превратилась в экономическую собственность на определенные объекты (землю). Владение короля (*dominium directum*<sup>32</sup>), в котором властные права распределялись среди сеньоров, стало собственническим королевством, наделив короля всеми полномочиями командования и налогообложения и освободив знать от налогообложения. Переход к налоговому режиму от режима рент позволил королю монополизировать публичную власть и сделать ее личной собственностью. «Феодализм по своему существу предполагал слияние экономической и политической властей; развитие суверенного территориального государства, если речь идет о династийных монархиях, не отменило этого слияния, а просто ограничило его монархом» [Rowen. 1961. P. 88]. Абсолютистский суверенитет выражал слияние экономического и политического в личности короля. Но хотя король и монополизировал права суверенитета, он, на самом деле, никогда не контролировал средства его отправления.

Этот разрыв между правами и средствами пронизывает всю структуру власти абсолютистской Франции. Персонализированный характер абсолютистского суверенитета наложил свой отпечаток на все институты абсолютизма. В следующих разделах мы покажем, как их гибридный характер, отсылающий уже к Новому времени и при этом снова и снова выдающий отсталость, определялся организующим принципом французского

<sup>30</sup> Право пользования (лат.). — Примеч. пер.

<sup>31</sup> Была ли земля аллодиальной или квивитарной в смысле римского права — вопрос спорный.

<sup>32</sup> Право прямого владения (лат.). — Примеч. пер.

общества периода раннего Нового времени, то есть связкой между мелкой крестьянской собственностью, политически заданными правами эксплуатации и собственническим королевством. Предлагаемое далее рассмотрение ключевых феноменов абсолютизма — «бюрократии», политических институтов, законодательства, налогообложения, армии — вращается вокруг следующих вопросов. Насколько «абсолютным», «нововременным» и «эффективным» было абсолютистское государство? И в какой степени абсолютистские практики правления и экономической организации стимулировали переход к нововременным формам политической и геополитической организации?

### *Продаваемость государственных должностей как отчуждение государственной собственности*

Сохранение единства политического и экономического непосредственно влияло на наследственный, небюрократический характер получения должностей в абсолютистских государствах. Как правило, государственные чиновники в дореволюционной Франции накапливали частное богатство благодаря публичным должностям, которые находились в их частной собственности. Должностные лица никогда не отделялись от средств управления и принуждения. Однако должности не только приватизировались, но еще и продавались. Продаваемость должностей «отметила признание собственности на публичные должности ниже уровня королевской власти в то самое время, когда юристы пытались уверить своих читателей в том, что сама эта королевская власть была не только самой высокой должностью в государстве, но и при этом еще и не являлась патримониальной собственностью» [Rowen. 1980. P. 55]. На самом деле, Франциск I институционализировал продаваемость должностей, создав *bureau des parties casuelles*, то есть административную организацию, официально занятую продажей королевских должностей. Должности могли продаваться только при той посылке, что публичная власть находилась в полной собственности династии, которая владела ею не в силу божественной благодати, а по праву наследования. Не только провинции, города и другие корпоративные институты удерживали свои властные полномочия, но даже и королевские агенты, действующие в пределах королевских институтов, обычно владели своими постами.

«Присвоение при посредстве сдачи в наем или продажи постов, а также залога доходов, получаемых с постов, являются явлениями, чуждыми чистому типу бюрократии» [Weber. 1968a. P. 222; см. также: Weber. 1968. P. 1038–1039a]. Несмотря на явное расхождение с текстом Вебера, во многих работах по абсолютизму связь между абсолютистским и нововременным, рационализированным государством преувеличивается в силу проецирования веберовских понятий нововременной бюрократии, получающей жалованье и отделенной от средств управления, на «Старый порядок». Анахроничное применение веберовского идеального типа бюрократии к дореволюционной Франции — а в случае Спрута и к Франции XIV в. — превращает ее в нововременное государство<sup>33</sup>. Однако качественный переход к нововременной бюрократии так и не был сделан — именно потому, что продажа постов влекла новую патримониализацию — а в некоторых случаях и новую феодализацию — государственной власти. Продаваемость подразумевала не только продажу должностей, но также продажу наград и особых привилегий — права собирать налоги, монополизировать определенную отрасль, контролировать торговлю или заниматься определенной профессией. Разделение публичной власти на частные доли охватило все сферы политического общества. Даже самые высшие посты в правительстве эксплуатировались для накопления личных состояний. И Ришелье, и Мазарини, признанные вдохновители абсолютистского государства, не преследовали целей *raison d'État*, а систематически занимались построением собственных частных империй внутри государства:

Хотя идея государственного интереса начала проявляться в политических памфлетах, ведущие политические фигуры все равно действовали главным образом на основе тщательного расчета своих личных интересов. И Ришелье, и Мазарини бессовестно эксплуатировали свои должности. За девять лет после Фронды Мазарини сколотил одно из самых крупных состояний в истории Старого порядка, в которое входили аббатства, дома, герцогства, земли в Альзасе, пожалованные королем, алмазы, права

<sup>33</sup> Спрут утверждает, что в позднем Средневековье «король получил преимущества, используя профессиональную оплачиваемую бюрократию» [Spruyt. 1994a. P. 102]. Противоположные взгляды см.: [Hinrichs. 1989. P. 82; Henshall. 1992. P. 15; Parker. 1996. P. 176].

на трон и деньги — включая крупные сбережения вблизи границ Франции на тот случай, если бы ему снова пришлось бежать. Он также укрепил свою позицию среди магнатов, выдав своих племянниц замуж в важные семьи [Kaiser. 1990. P. 82]<sup>34</sup>.

Продажа должностей была стратегией получения доходов, которую монархи использовали при возникновении финансовых затруднений:

Между 1600 и 1654 гг. *bureau des parties casuelles*, специальное казначейство, созданное для управления доходами от распределения постов, получило примерно 648 миллионов ливров. Эта сумма составила более 28 процентов обычного дохода короны за тот же период. На пике финансовой эксплуатации должностной системы (который, видимо, пришелся на период 1620–1630 гг.), доходы из этого источника составили более половины обычного дохода Короны [Воппеу. 1991. P. 342].

История французских государственных должностей отражает связь между постоянно растущими финансовыми запросами короля и увеличением свобод и гарантий, предоставляемых обладателям должностей. Грубо говоря, при Людовике XI мы обнаруживаем признание права постоянно занимать должность, продаваемость должностей — в период между Людовиком XII и Франциском I, а наследуемость постов при Генрихе IV. «Генрих IV не только признал — и специально выделил — свое право собственности на государство; также он полностью узаконил продаваемые должности французского государства, что институционализировало государственные посты в качестве частной собственности» [Rowen. 1980. P. 54–55]. Размножение должностей и увеличение гарантий, предоставленных их обладателям, — процессы, которые сопровождали внешние войны, особенно в период Итальянских войн и Тридцатилетней войны. По Леруа Ладжори, между 1515 и 1665 гг. общее число обладателей постов в королевстве возросло с 4041 до 46 047 [Ладжори. 2004. С. 17]. Между ростом военных действий и размножением постов существовала жесткая корреляция, указывающая на связь международного геополитического накопления и внутреннего размывания государственной

<sup>34</sup> Связь между удерживанием Ришелье политического поста и накоплением им частного и семейного богатства рассматривается также в исследовании Бергина [Bergin. 1985].

власти<sup>35</sup>. «Именно в 1635 году, когда Франция вступила в войну с Испанией, продажа должностей достигла своего пика, так что рынок был затоплен всевозможными финансовыми и судебными должностями начиная с председателей *parlements* [высших судов] и заканчивая сержантами и клерками самых малых судов» [Parker, 1996. P. 158]. Решающим пунктом является то, что эта продажа не просто отчуждала доли государственной собственности; она породила цепочку практик, выпадавших из зоны королевского управления, то есть практик, несовместимых с любым понятием нововременной бюрократии, нововременной государственной финансовой политики или нововременного суверенитета.

Цена должности основывалась на ее ценности, которая определялась личными выгодами для того, кто ее занимал. Если эта должность считалась особенно прибыльной или престижной, конкурирующие друг с другом покупатели еще больше повышали его цену. Другими словами, должность стала товаром. Более того, должности не только наделяли покупателей титулами, престижем и политическим влиянием, они рассматривались чиновниками в качестве приносящего прибыль вложения капитала. Для короля они были своеобразной формой беспроцентного кредита, поскольку процент покрывался прибылью, извлекаемой из постов [Hoffman, 1994. P. 230–235]. Хотя некоторые держатели постов получали жалованье, эта *gages* [плата] считалась возмещением инвестиций, не столь значимым по сравнению с доходами, получаемыми от самих постов [Schwarz, 1983. S. 178]. Однако, поскольку такие инвестиции не возвращались обратно в экономику, а шли на средства политического и геополитического накопления, эти кредитные структуры не имеют ничего общего с капитализмом<sup>36</sup>. Они просто разрослись на основе по-

<sup>35</sup> Это не означает, как утверждает Джон Бруер, того, что «распространение продаваемости постов стало непосредственной реакцией на финансовые нагрузки, созданные войной» [Brewer, 1989. P. 19]. Скорее, способность правителей использовать при обусловленном войной финансовом давлении такой инструмент, как продажа постов, отражает внутренний режим общественной собственности и классовые отношения. В Англии XVI—XVII вв. продажа постов была гораздо менее распространенной, но не по причине меньшего геополитического давления на страну, а поскольку против нее выступал парламент.

<sup>36</sup> Следовательно, рассуждение Рейнхарда неубедительно. Сначала он утверждает, что «как сегодня общепризнанно, продажа постов негатив-

литических привилегий. «Французы предпочитали покупать должности, а не инвестировать в коммерческие или промышленные предприятия» [Vonney. 1991. P. 344]. Эти инвестиции привели к росту капитала рантье, но не смогли превратить его в предпринимательский капитал. Скорее, эти кредитные структуры создали новое финансовое звено между внутренней эксплуатации крестьянства посредством поддерживаемой системой государственных постов политической власти и внешним присвоением в форме политической власти, поддерживаемой военной машиной.

Поскольку должности превратились в товар, их продажи обычно были делом лишь продавца и покупателя, то есть транзакцией, которая исключала планомерную королевскую политику набора чиновников, хотя формально и требовала королевского разрешения. Постами торговали среди «частных» претендентов — отсюда *resignatio in favorem tertii*<sup>37</sup> [Reinhard. 1975; Schwarz. 1983. S. 177]. Таким образом, возник настоящий рынок долж-

Окончание сн. 36

но сказывалась на экономическом росте, поскольку она предполагала утечку капиталов из экономики», но затем, цитируя Маркса, он заявляет, что продажа постов и государственные долги были одним из решающих рычагов «первичного накопления» (в смысле Маркса), «поскольку существование государственных долгов закрепляет весьма неравное распределение богатства, ведь только очень богатые люди могли получить прибыль на подобных инвестициях и возможностях» [Reinhard. 1975. S. 316]. Финансовый капитал и торговый капитал не предполагают капитализма и не порождают его. Скорее, они процветают при сохранении политической привилегии. Паркер пишет о том, что «есть те, кто доказывают, будто французское государство — просто по причине порожденного им объема финансовых транзакций — уже являлось *ipso facto* капиталистическим. Этот взгляд неубедителен не только потому, что государственная финансовая система выкачивала ресурсы из экономики и внедрила карательное налогообложение трудового населения, но и потому, что собранные денежные средства редко превращались в производственный капитал» [Parker. 1996. P. 203]. «Недостаточность теорий, которые пытаются объяснить развитие капитализма через монетарные обмены или же влияние государственных финансов (долгов, заказов на вооружения и т.д.), состоит в том факте, что они обращают основное внимание лишь на источники обогащения и не дают никакого объяснения того, как из общества мелких собственников-производителей возникла обширная армия пролетариата» [Dobb. 1946. P. 186].

<sup>37</sup> *Resignatio in favorem tertii* (лат.) — «отказ в пользу третьего лица», юридическая формулировка, позволявшая держателю поста «отказаться» от него в пользу любого иного лица, то есть продать свой пост. — Примеч. пер.

ностей. Если король желал снять какое-то должностное лицо, ему нужно было выдать ему компенсацию. Из этого родилось множество дисфункциональных практик. Поскольку большинство должностей к 1604 г. стали наследственными благодаря введению *paulette* (годового налога на продаваемые должности) и продавались на аукционах тому, кто предлагал наибольшую цену, как можно было обеспечить сохранение профессиональной компетентности? Поскольку должности покупались для частного обогащения, как можно было контролировать плохое управление, мошенничество и коррупцию? Поскольку должность была частной собственностью ее держателя, кто мог помешать ему создавать и продавать новые производные должности по своей собственной инициативе? Поскольку должность была товаром, с ней обращались как с экономическим активом. Ее можно было заложить, передать в субаренду или разделить между наследниками. Даже министры финансов требовали от чиновников министерства, чтобы те выдавали ссуды государству для покрытия бюджетного дефицита, а эти ссуды гарантировались доходами с должностей. Со временем развилась кредитная структура, которая гарантировалась по большей части фиктивными будущими доходами, что превратило Корону в должника своего собственного творения — (частнопатримониального) класса чиновников.

Единственный слой чиновников, который часто (хотя и неверно) считается удовлетворяющим веберовским критериям непатримониальной бюрократии, — интенданты — не изменил фундаментальную логику доновременной французской бюрократии. Эти сменяемые королевские комиссары, наделенные исключительными полномочиями, применявшимися для надзора за сбором налогов и отправлением правосудия в провинциях, были созданы Ришелье и Мазарини как ответ на финансовое давление Тридцатилетней войны и послевоенного периода. Само их создание стало явным признаком финансовой логики размножения постов во Франции XVII в. Большинство патримониальных чиновников смотрело на интендантов как на прямую угрозу своим прерогативам, что и вызвало их сопротивление в период Фронды. Сами интенданты привлекались из высшего слоя судей и на период интендантства не теряли своих продаваемых постов. Следовательно, вследствие накопления постов и общего социального опыта их интересы на фундаментальном

уровне не могли отделить их от чиновников, занимающих продаваемые посты, и превратить их в отдельный класс функционеров, который находился бы в руках короля [Salmon. 1987. P. 202] (см. также: [Beik. 1985. P. 14–15; Mettam. 1988. P. 23; Parker. 1996. P. 176]). И в качестве комиссаров они не превратились в независимых государственных бюрократов (с пожизненными должностями), а просто сформировали новый класс чиновников, который мог быть произвольно распущен королем — именно потому что они не владели своими постами [Hinrichs. 1989. S. 91].

Другими словами, продаваемость должностей и торговля ими не были всего лишь поверхностными формами коррупции или анахроничным наследием феодального прошлого. Скорее они были признанными, институциональными, легализованными формами ранненовременного управления внутри того режима эксплуатации, который придал французской административной системе ее весьма странный, «иррациональный», кризисный характер. Король вынужден был делить контроль над государством с частными чиновниками-дилетантами — причем этот дележ осуществлялся посредством реального отчуждения государственной власти частными лицами, а не посредством бюрократического делегирования полномочий: «Такое развитие приобрело огромное значение, поскольку стало тормозом всего королевского абсолютизма... Власть, которую корона завоевала, ослабив феодальную систему, располагавшуюся под ней, и гарантировав себе статус единственного властителя, теперь снова раздавалась, но уже не вассалам, а держателям должностей» [Rowen. 1980. P. 56–57]. Следовательно,

...полная реализация системы продаваемости повлекла «демо-дернизацию» правления в XVII в. Продаваемость привязала абсолютизм к его феодальному прошлому, утвердив новую форму частной собственности на политическую власть, которая позволила богатым и влиятельным подданным — представителям знати или буржуа — разделить между собой прибыли и престиж государства. В этом проявилась неспособность короля управлять своим обществом без задабривания наиболее влиятельных подданных [Beik. 1985. P. 13].

Структурная связка — отношение взаимозависимости — между абсолютистским правителем и корпорацией чиновников не эволюционировала в направлении действительно нововре-



менного государства, а воспроизводила и укрепляла существующий уклад, пока это не привело государство к общесистемному краху.

### *Политические институты Франции раннего Нового времени*

Демистификация абсолютистской «бюрократии» включает в себя более развернутое прояснение институтов французского государства. Поскольку только в том случае, если бы все политические институты наделялись легитимностью по королевскому указу и осуществляли волю короля в отдельных регионах, можно было бы говорить о внутреннем суверенитете. Но политические институты Франции раннего Нового времени действовали в совершенно ином ключе. Они функционировали не столько как надежные проводники королевского курса, сколько как корпорации, действующие в качестве посредников между интересами короны и различными, достаточно могущественными региональными элитами. Политическая власть реализовывалась беспорядочной массой независимых корпоративных образований, сосуществующих друг с другом и зачастую сливающихся с монархическими институтами. К 1532 г., после включения Бретани, то есть последнего крупного княжества, в состав королевства, идея княжества как феодального феода, чье членство в определенном политическом образовании должно было бы основываться на классическом феодальном контракте, окончательно умерла. После этого все прежние княжества стали считаться не феодами, а провинциями, возглавляемыми королевскими губернаторами, которые, тем не менее, обычно были и крупнейшими землевладельцами в своих провинциях. Губернатор поэтому не просто представлял короля в провинции (не получая компенсации), а являлся посредником между интересами короля и интересами региональных элит, включая его самого.

Королевские политические институты и независимые корпоративные институты соревновались за права политического господства. С одной стороны, суд высшей инстанции — *Parlement de Paris* — и Королевский Совет были действительно королевскими институтами, своим существованием обязанными непосредственно Короне. Однако самые высшие судьи, которые занимали должности в этих институтах — то есть высший слой *noblesse de robe*, — присваивали свои посты. С другой стороны,

независимые провинциальные корпоративные институты — провинциальные штаты (*pays d'état*<sup>38</sup>), городские советы, ассамблеи знати и духовенства, деревенские ассамблеи и региональные «парламенты» — не были обязаны своим существованием королевскому указу. Однако провести такое четкое различие можно только в том случае, если мы принимаем их исходную независимость за определяющий критерий. На практике же корпоративные институты были объектом королевского проникновения, осуществлявшегося при помощи королевских агентов. Но поскольку королевские агенты часто привлекались из среды местной знати, духовенства и городских патрициев, а их посты тоже становились их собственностью, корпоративные организации были гибридными институтами. Вместо того, чтобы установить четкое иерархическое отношение бюрократической субординации, они занимались посредничеством в диалоге между Коронай и провинцией. Более того, хотя посты, занимаемые служивой знатью, предоставляли «новым людям» весьма прибыльные возможности, обеспечивающие им вертикальную мобильность, их нельзя считать просто хитрым инструментом в руках короля, который использовал бы их против аристократии, поскольку перекрестные браки между дворянством шпаги и дворянством мантии стали обычным делом, в то время как статус аристократа и оставался более престижным.

Что еще более важно, хотя эти «новые люди» часто набирались из процветающих семей, которые сделали состояние на торговле, промышленности или в финансах, что позволило им сразу же приобрести пост, медленно, но верно позиции дворянства шпаги подрывались не буржуазией, а привилегированной группой парвеню, которые в финансовом отношении оставались зависимыми от расположения короля.

Держатель продаваемого поста, будь он выходцем из *noblesse de robe* или же более скромного происхождения, должен был чувствовать весьма мало общего с купцом или мастером-

<sup>38</sup> *Pays d'état* (фр.) — обозначение для тех провинций, в которых при «Старом режиме» сохранялись так называемые «провинциальные штаты» (*états provinciaux*), то есть ассамблеи представителей сословий, которые обычно заключали с королевскими комиссарами договор об объеме налогов и реализовывали их сбор. К числу *pays d'état* относились, например, Корсика, Фландрия, Лангедок и многие иные провинции. — *Примеч. пер.*

ремесленником, даже если деньги, на которые его семьей был куплен ее первый пост (в том числе в далеком прошлом), могли прийти как раз из торговли или из ремесел. Теперь, как *должностное лицо*, он тщательно взращивал в себе все привычки старой землевладельческой знати, в кругу которой он стремился попасть [Mettam. 1988. P. 22].

В общем, король не мог править без привилегированных слоев общества, поскольку он нуждался в их поддержке, которая погружала его в сеть патримониальных альянсов. Привилегированные слои, в свою очередь, понимали, что их выживание и привилегии, сводящиеся к власти над крестьянством и к коллективной защите от королевств-конкурентов, зависели от прибылей, получаемых от королевских постов, а также от королевской военной защиты. Классовая динамика абсолютистского государства не следовала логике Короны, стремящейся осуществить свою «историческую задачу» построения нововременного государства при опоре на юридическую экспертизу и финансовые ресурсы коварной буржуазии в ущерб ретроградной феодальной знати; скорее Корона пыталась создать новый государственный класс, в котором городская верхушка должна была слиться со старой знатью в одну служивую знать. Следовательно, несмотря на объективное противоречие между Коронной и региональными правящими классами, определенное правами господства и эксплуатации, их отношения не сводились ни к игре с нулевой суммой<sup>39</sup>, ни к дружественному разделению власти на основе согласия и партнерства [Henshall. 1992, 1996]. Скорее размах и интенсивность конфликта внутри правящего класса ограничивались двойной угрозой — крестьянским восстанием и геостратегическим давлением. Эти силы сдерживали построение французского государства, то есть кооперацию внутри правящего класса, не позволяя ей развиваться.

### *Legibus solutus?*

К концу Тридцатилетней войны суверенитет как высшая власть над определенной территорией стала политическим фактом, означавшим победу территориальных князей в борьбе с уни-

<sup>39</sup> Таков старый взгляд: формирование сословий и формирование государств считались взаимоисключающими процессами.

версальной властью императора и папы, с одной стороны, и с партикулярными стремлениями феодальных баронов — с другой. Житель Франции понимал, что никто кроме королевской власти не мог давать ему приказы и поддерживать их реализацию силой. Этот опыт отдельного французского гражданина в каком-то смысле поддерживался и королями Англии или Испании, то есть высшая власть французского короля в пределах французской территории не позволяла им обладать какой-либо властью на той же территории, за исключением случаев бегства французского короля или его поражения в войне. Но хотя короли Англии и Франции не имели никакой власти во Франции, они обладали исключительной властью на своих собственных территориях. Эти политические факты, засвидетельствованные современниками, не могут объясняться средневековой теорией государства. Учение о суверенитете возвело эти политические факты на уровень правовой теории и наделило их и нравственным достоинством, и видимостью правовой необходимости. Монарх стал на своей территории высшей персоной не только в смысле политического факта, но и в правовых терминах. Он был единственным источником созданного человеком закона, то есть всего позитивного права, но сам ему не подчинялся. Он был над законом, *legibus solutus* [Morgenthau. 1985. P. 328–329]<sup>40</sup>.

Насколько общепринятое определение критерия абсолютизма через правовой суверенитет, принятое и у Моргентау, соответствует фактам широкого распространения продаваемости постов и автономных политических институтов в регионах? Несмотря на реальные шаги в сторону «правового суверенитета», связанные с расширением и уточнением королевского права, предполагаемый переход короля от статуса личного проводника справедливости, опирающегося на феодально-теологические концепции божественной королевской власти, к статусу суверенного законодателя был застопорен могущественным противодействием (противоположный взгляд см. в работе: [Spruyt. 1994a. P. 106–107]). Стремление к правовому единообразию, поддерживаемое обращением к римскому праву и юстинианской концепции неделимой суверенной власти, приистекающей

<sup>40</sup> Отметим, что Моргентау использует термин «гражданин», применение которого к реалиям до 1789 г. является анахронизмом. Отметим также то, что суверенитеты Англии и Франции раннего Нового времени он сводит к одному понятию.

из одного источника, не столько заменило принцип автономных юридических прав, определяемых владением землей и постами, сколько дополнило его [Parker. 1989]. Сохранились независимые сеньоральные суды, управляемые принципом, согласно которому истцы и ответчики должны были представлять перед своими «естественными судьями» (хотя наметилась тенденция включения этих сеньоральных судов в апелляционную систему), даже суды высших инстанций легитимировались не королевским делегированием прав и полномочий, а реальным распределением власти по иерархической лестнице. Высшие судьи имели власть не в силу своей функции, а в силу своего статуса<sup>41</sup>.

Патримониальный, то есть собственнический, наследственный и бессменный характер юридических постов превратил правовую систему в рассогласованную сеть патронажа. Непотизм уклонялся от королевского контроля, развивая свою собственную самовоспроизводящуюся логику. Та мысль, что правовое единообразие, внедряемое королем, предполагало формальное равенство «равных граждан перед законом», снова и снова погружалась в традиционную общественную иерархию, основанную на обладании землей, титулами и привилегиями. Именно потому, что королевство на протяжении столетий формировалось как силой, так и уступками, провинциальные элиты пользовались различными свободами, освобождением от налогов и правами самоуправления. Король, несмотря на пропаганду *legibus solutus*, не был *iure solute*, если понимать под *ius* [правом] совокупность обычных прав и привилегий, которыми пользовались представители правящего класса, принуждающие короля к уступкам в сфере законодательства. Например, многие местные сеньоры сохраняли независимые юридические права по отношению к своим крестьянам; суды (*parlements*) могли препятствовать «законодательному суверенитету», отказываясь регистрировать королевские эдикты; провинциальные сословия в *pays d'état* (провинциях, которые ранее были сильными княжествами) сохраняли право голосования по налогам; важные

<sup>41</sup> «Активность юристов, направленная на примирение той идеи, что все правосудие исходит от короля, с ситуацией, в которой, казалось, правосудие все еще было связано с обладанием постом и землей, породила достаточно конфликтные взгляды и полное отсутствие ясности» [Parker. 1989. P. 50].

города обладали собственными хартиями вольностей, препятствующими законодательному вмешательству короля [Hoffman. 1994. P. 226–229]. «Права и привилегии воплощали в себе дискурс древних установлений, договоров и хартий: они санкционировались самим прошлым» [Henshall. 1996. P. 30]. Претензия короля на абсолютность не освобождала его от необходимости действовать в унаследованных границах «права».

Даже политический дискурс абсолютизма, получивший классическое выражение в «Шести книгах о государстве» Жана Бодена, демонстрировал де-абсолютизацию суверенитета, устанавливая «рамку естественного и божественного права, которая нравственно определяет действия монарха» [Parker. 1981. P. 253]. Это не просто вопрос отказа от дискурса *raison d'État* как идеологического оружия, созданного и используемого группой благодарных прокоролевских публицистов и памфлетистов, поскольку даже самые прокоролевские труды не осмеливались бросить вызов фундаментальным основаниям абсолютистского общества, то есть правам собственности. «Нарушение прав собственности без согласия собственника осуждалось даже такими явно “абсолютистскими” мыслителями, как Боден: сила как таковая была вне закона» [Henshall. 1996. S. 30]<sup>42</sup>. В политическом сознании тех времен существовало четкое концептуальное различие между абсолютизмом и деспотизмом, между *monarchie absolue* (абсолютной монархией) и *monarchie arbitraire* (монархией произвола) [Mettam. 1988. P. 36]. В силу унаследованной структуры групп интересов, королевское позитивное право сосуществовало с обычным, феодальным и божественным правом. Правовой суверенитет оставался разделенным.

### *Издержки и последствия войны*

Взаимозависимость между королем и «его» наследственным паразитическим корпусом чиновников не только заблокировала формирование нововременного государства, но и постоянно провоцировала кризисы государственных финансов. Тенденция к финансовому краху определена напряжением между ограниченной производительностью докапиталистической аграрной

<sup>42</sup> См. также: [Андерсон. 2010. С. 48; Vierhaus. 1985. S. 56–57; Wood. 1991. P. 24–27, Ch. 3]).

экономики и постоянно возрастающими военными издержками, навязанными логикой геополитического накопления.

Приватизация прав присвоения и господства посредством откупщины и наследственного судопроизводства — одна из стратегий наполнения военной казны. Война, в свою очередь, была общей династийной стратегией накопления территорий и богатств, а также обычным средством разрешения междинастийных споров о собственности. Однако получаемые в результате доходы не могли покрыть постоянно растущие военные затраты:

Именно при Франциске I и его преемниках расходы французской монархии начали значительно расти. Однако гегемонные политические притязания XVII и XVIII столетий привели к взрывному росту расходов, первый пик которого пришелся на Тридцатилетнюю войну и прямую французскую интервенцию в период 1630–1640 гг. После кратковременного перерыва в войнах, наступившего после пришествия Кольбера, расходы снова начали расти в период Голландской войны и войны с Аугсбургской лигой, достигнув второго пика в Войне за испанское наследство, а третьего — в Семилетнюю войну [Körner. 1995a. P. 417–419].

Складывание государства, находящегося в состоянии постоянной войны, усилило избыточную эксплуатацию крестьянства. «В 1610 г. налоговые агенты государства собрали 17 миллионов ливров тальи. К 1644 г. сборы этого налога достигли 44 миллионов ливров. Общее налогообложение на деле увеличилось вчетверо за десятилетие после 1630 г.» [Андерсон. 2010. С. 91]<sup>43</sup>. Следующим по значимости инструментом увеличения королевского дохода после продаж постов и повышения налогов стали займы. Однако, поскольку король был ненадежным должником, ставки по кредитам постоянно росли, что заставляло Корону обращаться ко все более рисковым и гротескным способам получения доходов. В целом,

...французские доходы постоянно росли, валовой доход вырос с 20,5 миллионов ливров в 1600 г. до почти 32,8 миллионов в 1608 г. и 42,8 миллионов в 1621 г. Кроме того, при объявлении войны Испании в 1635 г. французские доходы продолжали уве-

<sup>43</sup> Цифры могут варьировать, однако сама тенденция бесспорна. См.: [Kaiser. 1990. P. 74; Bonney. 1999].

личиваться, достигнув примерно 115 миллионов ливров в год, хотя большая их часть поступила от займов под весьма высокие проценты [Bonney. 1991. P. 352–353].

Здесь мы наблюдаем раскручивающуюся спираль роста доходов, необходимых для финансирования все более затратных войн — и, в частности, для возвращения долгов кредиторам за счет грабежа, захвата новых территорий, получения контрибуций и репараций, — спираль, которая в то же время означала все большее использование доходов, создаваемых крестьянской экономикой, в непроизводительном военном потреблении.

Суммарным результатом стала публичная кредитная структура, превратившая короля в заложника «его» собственных государственных чиновников и финансистов, что сделало налоговую и кредитную системы совершенно невосприимчивыми к каким-либо мирным реформам. Эта кредитная структура не эволюционировала по направлению к нововременной системе центрального банка, поскольку кредиты управлялись и гарантировались не национальным банком, а множеством частных агентов, «финансистов» (*financiers*) [Mettam. 1988. P. 106–117]. Доверие к этой кредитной системе основывалось на способности Короны расплачиваться по своим долгам. Франция оставалась привязанной к личности короля; вся кредитная система держалась за него. В разительном контрасте с Францией английская революция в государственных финансах привела в конце XVII в. к созданию Банка Англии. Этот момент оказался ключевым для получения займов, поддержки государственных кредитов и обеспечения долгосрочной безопасности кредитов, ставших независимыми от продолжительности жизни отдельных монархов. Государственные займы стали основываться на парламентских гарантиях, а парламент получил больше возможностей финансирования путем налогообложения состоятельных классов, то есть самих себя и тех, кого они представляли [Anderson. 1988. P. 154]. Во Франции, напротив, государственные долги были долгами короля [Bonney, 1981]. Поэтому они не переходили от одного короля к другому и могли теряться при смерти исходного заемщика.

Финансовые кризисы и банкротства 1598, 1648, 1661 гг. — отметившие собой завершение религиозных войн, Тридцатилетней войны и войны с Испанией, а также кризисы 1748 и 1763 гг.,



совпавшие с завершением Войны за австрийское наследство и Семилетней войны, — были поэтому кризисами и банкротствами не французского государства, а французского монарха. Более того, долги короля были политическими в том смысле, что ссуды зачастую просто требовались, а платить по ним король отказывался, потому кредитование короля стало весьма рискованным занятием [Hoffman. 1994. P. 232–234; Parker 1996. P. 197]. Король систематически использовал свои prerogatives суверена для добычи средств, продавая не только посты, но и иные привилегии, например знатные титулы, профессиональные дипломы, монопольные торговые чартеры. Поэтому внеэкономические возможности накопления были распределены и децентрализованы [Bien, 1978]<sup>44</sup>. В противоположность ситуации в средневековом мире, теперь свою власть децентрализовал один правитель, а не множество автономных сеньоров, стремящихся централизовать свои фрагментированные полномочия посредством системы вассальной связи.

Государственные реформы, пытавшиеся задать большее географическое единообразие и большую централизацию, заместить владельцев постов сменяемыми королевскими комиссарами и диверсифицировать инструменты налогообложения, поднимая при этом ставку налогов, снова и снова наталкиваются на интересы наследственных чиновников. Несколько примеров помогут прояснить связь между войной, королевскими долгами, внутренними восстаниями и институциональными реформами. После каждой войны военные долги запускали цепочку неплатежей и финансовых кризисов, что выражалось в конфликтах внутри правящего класса, влекущих существенные институциональные последствия [Mettam. 1988. P. 102–105; Hoffman. 1994. P. 242–248]. Попытки короля подорвать систему привилегий и коррупции сталкивались с жестким сопротивлением. Завершение Религиозной войны принесло с собой введение *paulette*, системы дарования наследуемых должностей, за которые их владельцы должны были платить ежегодный взнос. Финансовый кризис 1638 г., последовавший за вступлением в Тридцатилетнюю войну, способствовал появлению интендантов, предназначенных для более эффективного надзора

<sup>44</sup> Как это отлично показано в проведенном Байеном эмпирическом исследовании увеличения числа *secrétaires du roi*.

за сбором налогов. Но при завершении Тридцатилетней войны началась Фронда (1648–1653 гг.), обратившая обманутых собственников правительственных постов и получателей правительственных *рент* против короля, в то время как магнаты и благородные принцы привели иностранные армии в страну, на всей территории которой вспыхивали крестьянские восстания [Kaiser. 1990. P. 75–81]. Возвратившись из изгнания, Мазарини восстановил систему *интендантов*, снова ввел жесткое налогообложение и возобновил отношения с финансистами. В общем, эти постепенные институциональные инновации не могли устранить фундаментальное противоречие отношений короля и наследственных чиновников.

Существовало множество владельцев финансовых постов местных *bureaux des finances et élections*. Их должности не могли упраздниться, поскольку это потребовало бы выплаты компенсаций чиновникам, что стало бы слишком тяжелым грузом для финансовой системы короля, и так находившейся на пределе. Посты нельзя было упразднить без компенсаций, поскольку это была бы явная атака на частную собственность. С другой стороны, существование большого числа полуавтономных счетоводов и финансистов исключало возможность эффективной системы прямого управления (*régie*), поскольку Корона не могла напрямую контролировать их деятельность. Если король желал ввести новый непопулярный налог, не было никакой гарантии, что его счетоводы и финансисты, то есть люди, имевшие свои частные интересы в том или ином районе, пойдут ему навстречу [Bonney. 1981. P. 16–17].

Контрпродуктивная динамика государства налогов/постов определила структуру власти правящего класса, которая по своей сущности была неспособна реформировать саму себя. То есть попытки короля собрать ресурсы для войны не расширяли объем центрального управления (хотя институты и умножались), а, напротив, сокращали королевскую автономию, передавая все больше и больше правительственных полномочий частным агентам. В силу этой блокировочной структуры Корона могла получить дополнительные доходы только посредством карательного налогообложения крестьянства или геополитического накопления за пределами страны — например, в ходе войны, посредством брака или меркантилистской внешней торговли, усиливая при этом свою зависимость от сети привилегирован-

ных лиц и подрывая производительность собственной аграрной экономики. Если логика и нелогичность самой сердцевины абсолютистского военного государства и были безумием, у него все же был свой метод — государственная глупость (*Unreason of state*<sup>45</sup>).

### *Военный уклад «Старого порядка»*

В нововременном государстве монополизация военной силы институционализована посредством государственных вооруженных сил. Солдаты размещены по постоянным гарнизонам, подвергаются муштре, снабжаются одинаковой формой, тренируются, включаются в военную иерархию и содержатся за государственный счет. Профессионалы насилия не владеют средствами насилия в частном порядке. Солдаты не переводятся в резерв и не разоружаются после конфликтов, а возвращаются по своим гарнизонам. В принципе, военный аппарат функционирует в соответствии с веберовским определением нововременной бюрократии. Какими были основные черты военного уклада в абсолютистском государстве? Спрут уверяет нас в том, что «с конца XV века постоянная армия становится скорее инструментом государства, а не инструментом защиты частной собственности короля» [Spruyt. 1994a. P. 165]. В этом разделе мы, выступая *против* Спрута, будем утверждать, что, несмотря на переход от феодального к абсолютистскому военному режиму, в абсолютистских государствах невозможно обнаружить черты нововременной военной организации.

Общественные отношения военного дела в европейском Средневековье были основаны на условности собственности на землю. Держание земли, выделявшейся знати, предполагало выполнение в строго определенный период военных обязательств по отношению к предоставляющему земли сюзерену, поскольку тот факт, что крестьяне владели собственными жизненными средствами, определял формы внеэкономического контроля труда. Сеньоры носили оружие. Военная децентрализация об-

<sup>45</sup> Тешке обыгрывает выражение «*reason of state*» (или «*raison d'État*»), «государственный интерес», которым обычно характеризуют абсолютистскую политику. «*Unreason of state*» — буквально «безумие государства», или «государственная глупость». — *Примеч. пер.*

условливала формы средневекового государства (государства ассоциированных лиц), а также его военный уклад, рыцарскую армию. Трансформация поборов, которыми облагалось крестьянство, и переход от барщины и оброка к денежным рентам начиная с XII в. отразились в переходе к военным выплатам королю. Богатые представители знати могли «откупиться» от своих военных обязанностей, позволяя королю, в свою очередь, брать в армию наемников. Однако наемные рыцари, дополнявшие старую систему феодального призыва, не подрывали базовую социальную логику военной феодальной организации [Wohlfeil. 1988. S. 119]. Они лишь усилили зависимость короля от военных выплат знати, основанных на феодальном законе.

Достижение королем военной независимости от соглашений знати в период развития государства «налогов/постов» привело к перестройке общественных отношений эксплуатации и общественных отношений военной организации. Когда старое *noblesse d'épée* смешалось с новым *noblesse de robe*, многие представители знати получили посты в постоянной королевской армии. Поэтому во Франции, по крайней мере после военных реформ Людовика в 1661 г., король располагал постоянной армией, особым военным бюджетом, институционализированной системой набора солдат, военной иерархией полков и званий, офицерским корпусом, предполагавшим разные степени компетенций и регулярным продвижением по службе, королевскими академиями для обучения кадетов, гражданской администрацией, занятой обеспечением армии, а также специально назначенными гражданскими инспекторами (*intendants d'armée, commissaires des guerres, contrôleurs de guerres*<sup>46</sup>), которые контролировали эту администрацию.

Но подкрепляет ли переход от феодального рыцарского ополчения к постоянной королевской армии тот взгляд, что по крайней мере один критерий нововременного суверенитета — государственная монополия на средства насилия — выполнялся в абсолютистской Франции? Начать стоит с того, что не государство стремилось монополизировать средства насилия, а сам король. Офицеры присягали не абстрактному государству, а королю как личности. Собственническая концепция королевства

<sup>46</sup> Армейские комиссары, военные комиссары, военные контролеры (фр.). — Примеч. пер.

на самом деле не предполагала ключевого отделения средств насилия от «поста» короля; она просто продолжала поддерживать слияние средств насилия и личного господства, хотя теперь оно осуществлялось в более централизованной форме королевской армии. «Армия, как таковая, была в государстве инородным телом. Это был инструмент монарха, а не институт страны. Она была создана в качестве инструмента силовой политики, предназначенного для внешней сферы, но в то же время она способствовала поддержанию и расширению власти суверена внутри государства» [Hintze. 1975b. P. 200–201]. Строго говоря, армия была частной собственностью короля, находящейся в его распоряжении, подчиненной его командам и финансируемой им [Burkhardt. 1997. S. 545]<sup>47</sup>.

Поскольку «государства» были персонализированы («*L'État, c'est moi!*»), точно так же персонализированы были и войны («*La guerre, c'est moi!*»<sup>48</sup>) [Krippendorff. 1985. S. 284]. Однако неограниченный контроль короля и его абсолютная свобода действий по отношению к собственной армии оставались фикцией. Макс Вебер отметил, что «существует решающее экономическое условие, определяющее то, в какой степени королевская армия является “наследственной”, то есть просто личной армией принца, которой он может располагать, используя ее в том числе и против собственных подданных: армия должна экипироваться и поддерживаться поставками и средствами, принадлежащими непосредственно правителю» [Weber. 1968a. P. 1019]. Поскольку французская армия постоянно росла (с нескольких тысяч человек в 1661 г. до 72 тысяч в 1667 г., 120 тысяч в 1672 г. и более чем 150 тысяч в начале 1680-х годов), тем самым увеличивая непроизводительную армию гражданских чиновников, ее поддержание легло на королевские финансы весьма тяжелым грузом [Kaiser. 1990. P. 145]. Однако из-за ограничения финансирования армии из королевской казны в связи с хроническим дефи-

<sup>47</sup> «Большинство британцев, посещавших Пруссию Фридриха Великого, были поражены тем, что король в значительной степени сам лично контролировал собственную армию и систему управления» [Brewer. 1989. P. 43]. Однако удивлялись этому только гости из Британии. Что касается гостей Британии, прибывавших с континента, удивление вызвало именно то, что армия находилась под национальным, а не династийным контролем.

<sup>48</sup> «Война — это я!» (фр.). — Примеч. пер.

цитом король вынужден был использовать иные стратегии для поддержания «своей армии».

Поэтому, как параллель общего феномена продаваемости постов, широкое распространение получили продажа и купля армейских должностей [Mettam. 1988. P. 42–44, 217–224; Muhlack. 1988. P. 260–273; Gerstenberger. 1990. S. 330, 333ff]. Так же, как и в гражданской системе управления, офицерские посты могли продаваться, поскольку армией владел король. Такая продажа вела к систематическому отчуждению королевской собственности, то есть, в данном случае, к отчуждению средств контроля над средствами насилия, переходящего к частным агентам. Начиная с высших эшелонов министерств иностранных дел и обороны, постов в гражданской военной администрации (*intendants d'armée*) и заканчивая офицерами полков, младшими офицерами и офицерами, занимавшиеся призывом, все эти обладатели постов использовали свой почти бессменный статус для построения независимых сетей непотизма посредством создания и распределения новых постов.

В определенном отношении... французская армия оставалась в высшей степени консервативной и отсталой. Полки и другие воинские единицы в значительной степени оставались в ней собственностью полковников и капитанов, поэтому они могли продаваться и покупаться как любая иная собственность. Звание полковника было недешевым. К 1730 и 1740 гг. за пехотные полки обычно давали 20–50 тысяч ливров, хотя один из них по крайней мере однажды достиг отметки в 100 тысяч ливров. Только в 1762 г. правительство ограничило максимальные цены, по которым разрешалось торговать полковничьими званиями. Однако последние могли быть в высшей степени прибыльными: в 1741 г. полк французской гвардии... приносил своему собственнику 120 тысяч ливров дохода [Anderson. 1988. P. 101, 46].

Внутри армии выросли настоящие воинские династии, присвоившие целые полки, командование которыми передавалось из поколения в поколение [Parker. 1988. P. 48]. По замечанию Махлака, именно по той причине, что могущественные обладатели постов набирали в организации, которыми они управляли, своих родственников и зависящих от них людей, «к концу эпохи Мазарини королевская армия была в действительности замещена армией кардинала» [Muhlack. 1988. S. 269]. Кроме того, офицеры, занятые призывом, почти всегда являвшиеся

представителями знати, набирали солдат из своих сеньорий, так что сохранявшиеся в сеньюральных владениях феодальные отношения были просто перенесены в армию. Отчаянные попытки короля взять эти практики под контроль (наиболее яркое выражение они получили в «Кодексе Мишо» [Code Michau] 1629 г.) — при помощи запрета продажи постов и введения исключительного права короля назначать на должности — снова и снова сталкивались с финансовыми требованиями [Kaiser. 1990. P. 68]. Собственнический характер средств насилия проник на все уровни армейской иерархии. Отношения взаимозависимости между Коронай и классом офицеров воспроизводили неустойчивый симбиоз членов правящего класса. Одно не могло существовать без другого. Суммарным результатом стала новая форма отчуждения военной власти частными агентами.

Кроме того, до реформ 1661 г. (то есть включая и период после Вестфальских мирных договоренностей) постоянная королевская армия не была единственным военным институтом Франции. То же самое с еще большим основанием можно сказать о других странах Европы. Поскольку монархи вряд ли могли позволить себе содержать армии, отвечающие их амбициям, они обращались к военным предпринимателям, которые должны были осуществлять их внешнеполитические военные цели<sup>49</sup>. Эти «кондотьеры» стали характерным признаком европейского военного дела в период до и во время Тридцатилетней войны. Военные предприниматели были богатыми частными агентами, нанимаемыми (*condotta* — контракт) правителями и занимавшиеся набором, экипировкой, командованием и оплатой собственных армий. От своих нанимателей они получали титулы и землю [Krippendorff. 1985. S. 257–267]<sup>50</sup>. «По оценкам, в период Тридцатилетней войны в различных германских армиях было в целом до

<sup>49</sup> Кайзер доказывает, что к моменту вступления в Тридцатилетнюю войну «у Франции, судя по всему, не было постоянной армии. Единственные боеспособные и доступные войска принадлежали протестантскому военному предпринимателю Бернгарду, герцогу Саксен-Веймара, которого Ришелье нанял на французскую службу в обмен на значительное ежегодное вознаграждение и обещание территории Эльзаса» [Kaiser. 1990. P. 73].

<sup>50</sup> Вопреки интерпретации Криппендорфа, оплачиваемая в частном порядке военная рабочая сила не имеет ничего общего с современными армиями или капитализмом [Krippendorff. 1985. S. 249, 262].

1500 “военных предпринимателей” на постах командующих, полковников и генералов, которые владели полками, поэтому почти во всех армиях XVII в... полки назывались, что вполне логично, именами своих полковников» [Anderson. 1988. P. 47].

Валленштейн стал наиболее выдающимся примером тех людей, которые сделали войну своим частным бизнесом. Действуя с опорой на свои владения в Богемии (новообразованное Фридрихское герцогство), купленные задешево у императора, конфисковавшего их у непокорной богемской знати, он получил герцогство Мекленбург в качестве награды за свои услуги и помощь императору. Также ему было обещано маркграфство Бранденбург при условии, что он сможет завоевать его — эта победа делает его одним из наиболее могущественных феодалов Священной римской империи<sup>51</sup>. Военные предприниматели обладали значительной независимостью от центрального контроля [Hintze. 1975b. P. 198–199; Kaiser 1990. P. 21ff]. Иногда они полностью управляли армиями, превосходившими по своим размерам регулярные королевские войска, что создавало серьезные угрозы и трудно просчитываемые риски для их номинальных военачальников. Убийство Валленштейна венецианскими агентами является иллюстрацией нехватки государственного контроля. Но именно потому, что эти предприниматели заключали частные контракты, они формировали транснациональные по своей природе вооруженные силы, которые свободно нанимались любым, кто мог себе это позволить, и всегда могли отказаться от контракта и вернуться к собственным интересам. Солдаты, составлявшие эти армии, говорили на разных языках и исповедовали разные религии. Спрос на наемников привел к созданию международного рынка военной рабочей силы. Как правило, наемники принадлежали к простонародью. Часто это были преступники, покинувшие свои родные места, обнищавшие крестьяне или просто узники тюрем, забранные в армии бывшего неприятеля. В силу приватизации войн, армии наемников, управляемые циничными бизнесменами и нанимаемые ради получения частных прибылей, не только стали серьезнейшим вызовом претензии монархов на абсолютную власть, но и создали угрозу европейской международной стабильности.

<sup>51</sup> Наемничество, естественно, не было капиталистическим предприятием, как утверждает Майкл Манн [Mann. 1986. P. 456].



Если обратиться от военного уклада ранненовременных государств к общественным отношениям военного дела, мы обнаружим другие признаки, столь же не характерные для Нового времени. Армии во время кампаний, как и их феодальные предшественники, продолжали «жить» с села. Они просто отбирали то, до чего могли дотянуться, занимались конфискацией товаров, скота и пищи, грабили жилища, деревни и города, требовали «деньги за защиту» с окружающих поселений, отправляя им взамен «охранные грамоты», а также взимали произвольные военные налоги (на самом деле — выкупы), приобретавшие форму постоянных крестьянских выплат противоборствующим силам. Именно за счет этих конфискаций по большей части и финансировалась Тридцатилетняя война, что привело к катастрофическим экономическим и демографическим последствиям. Однако армии жили не только за счет села, но и за счет врага. Поражение означало разграбление и присвоение. В противоположность нововременным конвенциям, победа для каждого бойца означала трофей.

Битва могла дать тысячи пленников, которые тут же становились собственностью того военачальника, который взял их в плен, а выкуп, получаемый за них, делился между этим военачальником и стоящими над ним командующими по строго определенной схеме. Еще большие возможности обогащения предоставлял захват города. Хотя не все с этим соглашались, большинство военных экспертов считали, что города можно было вполне законно разграблять, если они отказались сдаться до того, как осаждающая сторона привела в действие свою артиллерию. После этого города захватывались, их обитатели теряли свободу, собственность и даже жизни, превращая каждого солдата армии-победительницы в принца [Parker. 1988. P. 59].

В идеале война должна была окупаться (*Bellum se ipse alet*<sup>52</sup>). Помимо прибылей от победы и мародерства солдаты получали оговариваемое в частном порядке жалование, а не фиксированную на государственном уровне плату. Обычным явлением были мятежи, когда территориальные принцы затягивали с платежами, а военные предприниматели с готовностью продавали свои услуги врагу. Поскольку наемники являлись владельцами собственного оружия и не размещались в гарнизонах во время

<sup>52</sup> Война питает саму себя (лат.). — Примеч. пер.

кампаний и после них, они создали серьезную проблему, продолжая мародерствовать даже после того, как война формально завершалась<sup>53</sup>. Подобная нехватка общей дисциплины способствовала продлению войн и их нередкому превращению в гражданские столкновения. Примером этих анархических тенденций является «Разграбление Рима» (*Sacco di Roma*) в 1527 г. не получившими денег германскими наемниками. Война оставалась средством частного и личного обогащения.

В целом, абсолютистский военный аппарат не может считаться армией Нового времени. Хотя король пытался присвоить и централизовать средства насилия, он просто персонализировал и приватизировал их, подчинив собственному командованию и направив на реализацию собственных целей, которые он пытался уравнивать с целями государства. Но при этом он был вынужден реприватизировать и снова децентрализовать их путем систематической продажи офицерских должностей и найма военных предпринимателей. Поэтому он должен был делить военную власть с другими независимыми акторами. В период раннего Нового времени военная сила оставалась разделенной и персонализированной, пусть и на новом базисе.

#### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ АБСОЛЮТИЗМА

Регионально специфичное решение классовых конфликтов во Франции периода Высокого и Позднего Средневековья привело к отмене крепостничества и к ранненовременному режиму собственности, характеризующемуся мелкокрестьянской собственностью. Укрепление мелких наделов крестьян предполагало, что крестьянский сектор воспроизводит сам себя, по существу, за пределами рынка, сопротивляясь развитию коммерциализированного сельского хозяйства и укрупненных ферм. Отношения эксплуатации сместились от феодального режима ренты к династийному налоговому режиму. Феодальное единство политического и экономического, выполненное

<sup>53</sup> «В период Тридцатилетней войны в Бранденбурге солдат оставался по-прежнему главным владельцем военного обмундирования и всей экипировки, необходимой для его дела» [Weber. 1968a. P. 982].

в сеньории, было воспроизведено в структуре налогов/постов абсолютистского государства. Монархия стала «независимым, классово-подобным механизмом извлечения прибавочного продукта» [Brenner. 1985a. P. 55], пытающимся усилить центральный контроль над налогообложением.

Хотя развитие абсолютизма разрушило феодальную систему вассальных отношений политически независимых сеньоров, абсолютизм не был игрой с нулевой суммой, в которой рост централизованной королевской власти означал неизбежный упадок региональной аристократии и власти наследственной. Напротив, это развитие запустило процесс формирования сложного политического ландшафта, состоящего из симбиотических властных отношений между усилившейся монархией, *noblesse d'épée*, *noblesse de robe*, городскими и церковными олигархиями. Определяющее отличие абсолютизма от феодализма заключается в прямой зависимости этих привилегированных классов от монархии. Поэтому возвышение короля от статуса феодального сюзерена до династийного суверена означало, что частные политические интересы должны были теперь определяться в непосредственном отношении к королю, чтобы можно было сохранить или приобрести внеэкономические средства получения дохода, поскольку король был вынужден управлять посредством полупубличных каналов: «Сама система политического правления, бывшая по существу королевской системой, требовала тесного сотрудничества с более мощной монархией и исключала какую-либо реальную автономию провинциального правящего класса. Только король мог обладать гегемонией» [Beik. 1985. P. 332]. Соответственно, от суверенитета как собственнического королевства можно было теми или иными способами отказываться в чью-либо пользу. Проникновение королевских институтов в сельские отношения не столько расшатало существующие иерархические структуры, сколько создало дополнительные уровни патронажа и nepотизма, которые связали королевских агентов превалирующими политическими установками, тогда как местная знать и городские олигархи стали внедряться в сами эти новые каналы.

Движущей силой этих преобразований был классовый конфликт между непосредственными производителями и непроизводителями по поводу уровня эксплуатации, а также конфликт внутри правящего класса за распределение долей политически

заданных средств присвоения<sup>54</sup>. Поэтому главной осью конфликта внутри правящего класса было не столкновение между поднимающейся капиталистической буржуазией и отсталой знатью, уравновешиваемое и управляемое Короной. Скорее, причиной конфликта стал разный уровень доступа к внеэкономическим возможностям получения дохода, которые могли предоставляться продаваемыми постами, королевскими монополиями или землей. Следовательно, абсолютизм не развивал — намеренно или ненамеренно — капиталистическую буржуазию, а вернее, пользовался услугами некапиталистического класса купцов, финансистов и мануфактурщиков в собственных целях, кооптируя всех этих акторов в государственный аппарат при помощи продажи постов и королевских монополий на производство и торговлю. Каждый раз, когда король нарушал сложившийся порядок собственности, вводя административные новшества и умножая число постов, перераспределение королевских протекций провоцировало значительные конфликты между защитниками *status quo ante* и людьми, только что получившими привилегии. Каждый кризис выражался в ситуативной перестройке сложившегося *modus vivendi* правящих классов, которая не затрагивала фундаментальных основ их существования<sup>55</sup>. «Наиболее массивный государственный аппарат в мире крутился только для того, чтобы оставаться на месте» [Zolberg. 1980. P. 706]. Эти конфликты не всегда проходили точно по линиям разделения старой знати, новой служивой знати и некапиталистической буржуазии. Однако привилегированные классы были одновременно едины друг с другом и противопоставлены друг другу, поскольку различные фракции сковывали и короля. Распри внутри правящего класса обнаруживали свой предел во внутреннем крестьянском сопротивлении, а также в международном соперничестве.

Спор о природе абсолютизма в значительной степени изменил старую концепцию абсолютности абсолютистского правле-

<sup>54</sup> «Существовал единый на базовом уровне господствующий класс — тот, что прямо или косвенно присваивал прибавочный продукт, вырабатываемый главным образом в крестьянском сельском хозяйстве» [Skocpol. 1979. P. 56].

<sup>55</sup> Меттам приходит к тому выводу, что «во Франции Людовика XIV едва ли было что-то, что можно было бы с некоторым основанием отнести к эпохе “Нового времени”» [Mettam. 1988. P. 12] (см. также: [Kaiser. 1990. P. 135]).

ния. Он поколебал то представление, что «Старый порядок» был нововременным, рационализированным и эффективным. Правовой суверенитет оставался разделенным, военная власть — персонализированной и приватизированной, налогообложение и финансы зависели от привилегированных региональных групп, а политический дискурс определялся обычаем. Шаги в сторону централизации управления были подорваны децентрализованными сетями патронажа, nepoтизма и коррупции, которые размыли границы между публичной властью и личной выгодой. Сохранение политической собственности исключило возможность формирования нововременной бюрократии. Продаваемость постов стала структурным тормозом модернизации абсолютистского правления.

Абсолютистская Франция не только не смогла стать нововременным государством, она не была даже его предшественником или переходом к нему, в противоположность тому, что предполагалось классической марксистской интерпретацией «равновесия—перехода» и многими веберийскими теориями. Хотя институциональная структура абсолютистского государства, централизация которого была доведена до предела Наполеоном, стала историческим условием развития французского капитализма в XIX в., она не была логически необходимым условием этого развития. Это не означает, что «Старый порядок» можно поместить в общую рубрику феодализма, поскольку переход от режима извлечения сеньюальной ренты к системе королевского налогообложения представлял собой весьма существенный шаг вперед. Прямая сеньюальная эксплуатация была заменена «обобщенным личным господством» короля, что превратило феодальные отношения внутри знати, опосредованные военными вассальными договорами, в абсолютистские отношения внутри правящего класса, опосредованные патронажем [Gerstenberger. 1990. S. 510–522]. Поэтому абсолютистское государство было династийно-наследственным. Королевская власть была уже не предметом «договора» между самыми сильными сеньорами страны, а институтом, который позволил суверену присвоить права командования. Легитимность королевской власти выводилась уже не из совокупности предустановленных феодальных сеньюрий; эта власть стала «божественной». Однако божественность королевской власти не наделяла ее государственной автономией. Ее форма и динамика всегда оставались

зависимыми от превалирующих отношений эксплуатации, подерживая и подкрепляя их.

Однако на более высоком уровне абстрагирования и феодальные, и абсолютистские политические образования действовали в пределах параметров, заданных некапиталистическими отношениями собственности и соответствующей как внешней, так и внутренней логике (гео)политического накопления. Следовательно, структурное сходство между абсолютистской и феодальной Францией и в самом деле сильнее, чем между абсолютистской Францией и Францией конца XIX в. «Внеэкономическое принуждение — это момент, объединяющий фундаментальные классовые отношения при феодализме и правовые характеристики абсолютистского общества» [Beik. 1985. P. 30; см. также: Henshall. 1996. P. 36]. Однако абсолютизм нельзя поместить в рубрику феодализма или «феодального способа производства»; он не был ни специфической переходной комбинацией феодализма и капитализма, как считал Перри Андерсон, ни переходным обществом, подготовившим основу для нововременного государства [Giddens. 1985. P. 98 *passim*]. Это была общественная формация *sui generis*, характеризующаяся особым модусом правления и определенными доновременными и докапиталистическими внутренними и международными «законами движения». Абсолютистские «отношения эксплуатации» являются наиболее надежным инструментом объяснения этих законов.

Если говорить о развитии, принципы воспроизводства правящей элиты, целиком зависящей от благосостояния короля, привели к сохранению и воспроизводству схемы хищнической внешней политики, карательного налогообложения, государственных займов и продажи постов. Основанием внешней политики была не политика силы, а геополитическое накопление, то есть политика социальной силы, главными призами которой была территория и получение исключительного контроля над торговыми путями. Чрезмерная милитаризация и почти постоянные войны привели к цепочке финансовых кризисов и государственных банкротств. Кроме того, долгосрочная логика подобных стратегий политического накопления предполагала всю большее отчуждение государственной собственности постоянно растущим паразитарным классом чиновников, которые, будучи освобожденными от налогов, перекладывали почти все

налоговое бремя на крестьянство, превращая при этом короля в должника корпорации чиновников. Именно это структурное противоречие привело к истощению финансовых возможностей и усилило классовые антагонизмы между крестьянством, классом чиновников и Коронай. Избыточная эксплуатация крестьянской экономики посредством чрезмерного налогообложения застопорила возможности производительного реинвестирования и привела к истощению почв, что обусловило повторение докапиталистических эко-демографических кризисов вплоть до XVIII в. Инвестиции правящего класса в средства насилия закрыли возможность инвестиций в производство, что объясняет застой французского сельского хозяйства в сравнении с Англией и ее «сельскохозяйственной революцией». Именно потому, что экономическое развитие было сковано докапиталистическим режимом собственности, логика (гео)политического накопления в долгосрочной перспективе оказывалась экономически контрпродуктивной, социально конфликтной и в конечном счете саморазрушающейся [Gerstenberger. 1990. P. 406–408]. Эти фундаментальные противоречия застопорили постепенные реформы и задали предел «модернизации» французского государства. В смысле возможностей развития абсолютизм оказался тупиком. В определенном смысле, *война не создала государство, а скорее разрушила его.*

То, что в конечном счете французское государство было преобразовано в государство нововременного типа, невозможно вывести из тенденций развития, присущих «Старому порядку». Такое преобразование потребовало полного слома отношений общественной собственности, которые составляли абсолютистское общество. Этот процесс был запущен в 1789 г. и, по всей видимости, завершился только к концу XIX в. «Отделение публичной политической сферы государства от экономической сферы гражданского общества во Франции не было осуществлено вплоть до Третьей республики, когда, наконец, можно было по крайней мере сказать то, что французский капитализм действительно существует» [Comninel. 1987. P. 204]. Поскольку Франция не могла породить правление нововременного типа из доновременных социально-политических отношений (ведь каждый класс пытался воспроизводить себя в том виде, в каком он уже существовал), стимул к изменению пришел «извне». Конец абсолютизма вспышкой насилия конца XVIII в. должен

объясняться через соотнесение его внутренней динамики (особенно расхождения между его низкой производительностью и военными амбициями) и внешней динамики европейской системы государств. Подобное расхождение поставило Францию в весьма невыгодное финансовое и военное положение по отношению к капиталистической Британии. В качестве *гипотезы* можно предположить, что изменение было обусловлено геополитически опосредованным давлением межгосударственной системы, в которой одно государство, Англия, успешно преобразовало себя в капиталистическое общество уже к концу XVII в., а в XVIII в. начало свое восхождение на международной арене. Однако до низвержения монархии Бурбонов привилегированные классы пытались защищать свое положение на вершине общества, используя традиционные средства. Хотя воспроизводство правящих классов внутри страны строилось на стратегиях политического накопления, господствовали внешние стратегии геополитического накопления. Теперь я займусь этими стратегиями международных отношений, систематизированными в Вестфальском порядке.



# VI. Международная политическая экономия раннего Нового времени: меркантилизм и создание морских империй

## 1. ВВЕДЕНИЕ: «ДОЛГИЙ XVI ВЕК» И МЕРКАНТИЛИЗМ

«Долгий XVI век» (1450–1640 гг.) обозначает, по Валлерстайну, прорыв к нововременной капиталистической миросистеме [Wallerstein. 1980. Р. 8]. С этой точки зрения меркантилизм «в историческом отношении стал защитным механизмом капиталистов в государствах, которые на одну ступень отставали от наиболее сильного элемента системы» [Wallerstein. 1979. Р. 19]. Такая ситуация, предположительно, сложилась в абсолютистской Франции. Независимо от регионально различных режимов контроля рабочей силы международная экономика раннего Нового времени является капиталистической миром-экономикой, а правящим классом Франции тогда оказываются капиталисты, причем «успех в меркантилистской конкуренции исходно был производным от эффективности производства», а «среднесрочной целью всех курсов меркантилистских государств было повышение эффективности производительной сферы» [Wallerstein. 1980. Р. 38].

В этой главе подобная оценка опровергается путем демонстрации того, как именно отношения собственности и власти в период раннего Нового времени оформляли докапиталистическую и доновременную структуру и динамику международной ранненововременной экономики. Глава начинается с прояснения природы меркантилистской торговой политики, понимаемой как политически конституированный неравный обмен, который обеспечивал сохранение средневековых практик в мире раннего Нового времени. Эта интерпретация строится на фундаментальном различии между коммерческим капитализмом, чьи доходы порождались исключительно в сфере товарооборота, и нововременным капитализмом, предполагающим качественное преобразование производственных отноше-

ний. Во втором разделе рассматривается классовый характер ранненовременной торговли, показываются «территориальные» следствия данного типа защищаемой военными силами морской геоторговли, а также ее конкурентные и военные последствия. Затем обсуждается вопрос, действительно ли меркантилистская геоторговля и промышленная экономическая политика способствовали преобразованию торговых отношений, подталкивавшему их в сторону настоящего капитализма. В третьем разделе производится попытка определить, привело ли меркантилистское развитие закрытых торговых государств к их экономической унификации. В конце главы я пытаюсь более точно очертить базовое различие между меркантилистскими торговыми практиками и новременным капитализмом, показывая некоторые долгосрочные контрпродуктивные тенденции коммерческого развития в период раннего Нового времени, соотносящиеся с определившимися их классовыми альянсами, чтобы в итоге прийти к адекватной периодизации Нового времени на уровне международной экономики.

## 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: МЕРКАНТИЛИЗМ КАК ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛИЗМ

Согласно общепринятой интерпретации меркантилизма, центральные правители получили контроль над национальной экономической политикой и внешней торговлей, захватив права территориального суверенитета и включив города в королевства. Средневековые схоластические экономические учения, подчиненные моральным и религиозным теориям, уступили место секулярным, «научным» способам определения источников богатства, при этом меркантилизм впервые в истории поднял государственную экономическую политику на общенациональный уровень. Крупнейшие архитекторы государственных систем — особенно начиная с Кольбера — осознанно стремились к объединению фрагментированного экономического пространства в общенациональную экономическую территорию. Торговая политика, протекционизм, экспортные субсидии, отмена внутренних тарифов, построение транспортных сетей, поощрение импортозамещающего мануфактурного производства и демографический рост — все это выглядит гигантским шагом вперед по сравнению с беспорядочными и бессвязными

средневековыми практиками. Теорема о положительном торговом балансе, рассматривавшая золото как главный оплот национального богатства, начала определять государственную экономическую политику. Само существование государственной экономической политики, координирующей экономическую жизнь с общегосударственными целями, стало шагом к построению замкнутой экономической территории.

Но говорят ли эти шаги о наступлении Нового времени? Способствовал ли меркантилизм развитию капитализма? Означает ли он наступление эры нововременной международной экономики, как утверждают представители миросистемного анализа? Каково было отношение между меркантилизмом и абсолютизмом? Насколько далеко зашло создание единообразного внутреннего рынка? Другими словами, перевешивают ли эти изменения те различия, которые существуют между меркантилизмом и экономическим либерализмом?

В статье, опубликованной в 1948 г., Якоб Винер подверг критике стандартный взгляд, предполагающий, что меркантилизм открыто подчинил стремление к богатству стремлению к наращиванию силы нации. По Винеру, превалирующая концепция, согласно которой богатство было лишь средством для высшей политической цели, возникла из неверных «экономических представлений» [Viner. 1969. P. 71] торговцев, которыми, как предполагается, на самом деле двигали иные мотивы. Меркантилистские трактаты предполагают, что богатство и сила были «связанными целями», «каждая из которых ценна сама по себе» [Viner. 1969. P. 74]. Смещение силы и богатства у Винера не позволяет расшифровать следующее круговое рассуждение: так же, как сила государства зависела от накопления богатств, накопление богатств само зависело от государственной силы. Оно приводит к тому поспешному выводу, что две цели обладали равновеликими статусами. То есть Винер упускает именно специфические социальные условия накопления богатства в эпоху раннего Нового времени<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Неспособность выстроить теорию политической природы меркантилизма — постоянная тема историографической литературы. Например, Буркхардт утверждает, что «все примеры экономической политики в раннее Новое время — будь то в отдельных странах или же на протяжении всей эпохи как целого — демонстрируют изрядную долю политики и совсем незначительную — собственно экономики», причем он исполь-

Благодаря сохранению единства политики и экономики в Европе раннего Нового времени, накопление, как и раньше, определялось политическими факторами. На уровне меркантилистской торговой политики это означало, что в мировом рынке в период раннего Нового времени были выстроены системы обмена, на фундаментальном уровне остававшиеся связанными с «архаичной» логикой торгового капитализма, основанной на асимметричных условиях торговли. Однако на самом деле такой торговый капитализм характерен практически для всех предшествующих торговых систем, включая Ганзейский союз, итальянские города периода Возрождения или же средневековые торговые пути в Индийском океане. Согласно Морису Доббу, меркантилизм

...был монопольной политикой, подобной той, что на более раннем этапе была развернута городами в их отношениях с окружающими селами и что использовалась купцами и купцами-мануфактурщиками привилегированных компаний в отношениях с ремесленниками. Такая политика стала продолжением и развитием главной стратегической цели городского Склада (*Staple*)<sup>2</sup>, а ее параллели можно обнаружить в политике таких городов, как Флоренция и Венеция, Брюгге и Любек XIII и XIV вв., которые в предыдущих главах получили название «городского колониализма» [Dobb. 1946. P. 206].

Густав Шмоллер, говоря о политиках средневековых городов, отмечает, что «основной момент этой политики сводился к тому, чтобы наделить всеми преимуществами горожан и поставить в невыгодное положение конкурентов, находящихся за пределами города... Все ресурсы муниципальной дипломатии, конституционной борьбы между сословиями (*Stände*) и, в конечном счете, силовые методы применялись для того, чтобы получить контроль над торговыми путями (*Straßenzwang*) и при-

Окончание сн. 1

зует этот тезис для немарксистского доказательства примата властной политики [Burkhardt. 1997. S. 557] (см. также: [Buck. 1974]).

<sup>2</sup> Имеется в виду *staple* (склад, хранилище), определяющий *staple right* (нем. *Stapelrecht*) — право некоторых портовых городов в Средневековье, обязывающее купцов разгружать товары и в течение нескольких дней продавать их именно в этих городах. Только потом нераспроданные товары погружались обратно на корабли и могли отправляться дальше. Примеры городов, обладавших *Stapelrecht*, — Майнц, Лейпциг, Кельн. — *Примеч. пер.*

своить права склада (staple rights)» [Schmoller. 1897. S. 8, 10]. Как писал Маркс, «не только торговля, а и торговый капитал старше капиталистического способа производства и в действительности он представляет собой исторически древнейшую свободную форму существования капитала» [Маркс, Энгельс. Т. 25. Ч. 1. С. 357]. Развитие этих торговых схем определялось тем, что купцы опирались на политические торговые привилегии, дарованные правителями, которые устанавливали монополии на особые виды торговли, связывающие разделенные в территориальном отношении центры производства и обмена и порождающие прибыль посредством эксплуатации наличных различий в ценах [Wolf. 1982. P. 83–88]. Торговые монополии выдавались либо на определенный регион, либо на определенные товары. Богатство приобреталось только в сфере товарооборота. «Дешево купить, чтобы дорого продать» — вот максима торгового капитализма, которая могла работать только потому, что разницы в ценах поддерживались монополиями искусственно, то есть политическими и военными средствами, устраняющими возможность экономической конкуренции [Маркс, Энгельс. Т. 25. Ч. 1. С. 362]<sup>3</sup>. «Без регулирования числа участников и сохранения ценовой маржи между тем, что купцы покупали и тем, что они продавали, купеческий капитал иногда мог бы давать неожиданно большие прибыли, но не смог бы сформировать постоянного источника прибылей» [Dobb. 1946. P. 200].

Именно манипулирование мировыми ценами позволило привилегированным торговцам получать свои прибыли от несправедливого обмена, блокируя при этом систематическое инвестирование производства, дабы подорвать позиции конкурентов. Торговцы, конечно, получали прибыль дважды: в первый раз продавая местные товары за рубежом (экспорт), где монопольное предложение сталкивалось с конкурентным спросом, повышающим цены, а во второй раз — продавая иностранные товары дома (импорт), снова пользуясь своим статусом монопольного поставщика, имеющего дело с конкурентным спросом.

<sup>3</sup> Напротив, Дуглас Норт предлагает теорию развития торговых империй, основанную на неоклассической модели спроса/предложения, выстроенную на принципе сравнительного преимущества, и модели снижения транзакционных издержек [North. 1991] (см. также: [Tracy. 1990; Chaudhuri. 1991]).

По своей ненасытности и жестокости колониальная эксплуататорская политика XVII–XVIII столетий мало чем отличалась от методов крестоносцев более ранних веков, которые вместе с вооруженными купцами из итальянских городов разграбили византийские территории Леванта... «Значительные дивиденды Ост-Индских компаний, сохранявшиеся на протяжении долгого периода, явно указывают на то, что компании превратили свою власть в прибыли. Компания Гудзонова залива скупала бобровые шкуры за товары, стоившие семь-восемь шиллингов. На Алтае русские продавали местному населению железные котелки — каждый за столько бобровых шкур, сколько могло уместиться в нем. Голландская Ост-Индская компания платила туземным производителям перца примерно одну десятую той цены, которую она получала в Голландии. Французская Ост-Индская компания закупила в 1691 г. восточных товаров на 487 000 ливров, которые были затем проданы во Франции на 1 700 000 ливров... Рабство в колониях стало другим источником гигантских доходов»; производство сахара, хлопка и табака целиком строилось на рабском труде [Dobb. 1946. P. 208].

При режиме поддерживаемой политическими средствами разницы в ценах не существовало долгосрочной тенденции к уравниванию нормы прибыли. Политически защищенные двусторонние торговые структуры были противоположностью нововременных «свободных» коммерческих многосторонних отношений. Рост торгового накопления был возможен только за счет количественного увеличения объемов торговли, политического изгнания конкурентов с рынка (как внутренних, так и внешних), а также завоевания новых рынков и торговых путей. Поэтому само поддержание или расширение этой господствующей стратегии воспроизводства правящего класса целиком и полностью зависело от сохранения соответствующих национальных и международных политических условий.

### 3. КЛАССОВЫЙ ХАРАКТЕР МОРСКОЙ ТОРГОВЛИ И ЕЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Главный геополитический итог заключался в том, что морские торговые пути Средиземноморья, северной Атлантики и Балтики времен Средневековья, а также трансатлантические пути в период раннего Нового времени стали «территориализованными». Это означало, что они должны были охраняться военным

силами, что объясняет жалобы на рост оборонительных доходов и создание военно-морских сил. Купцы вынуждены были путешествовать с конвоем, то есть в сопровождении военных судов [Mettam. 1988. P. 299]<sup>4</sup>. В противном случае они сами шли на милитаризацию, дабы выполнять две функции сразу — торговать и воевать.

Логика политической торговли означала, что государства стали стремиться к исключительному контролю над морями и за пределами береговых линий. Понятие «суверенитета моря» в XVI–XVII вв. привело к борьбе «*mare clausum*<sup>5</sup> против *mare liberum*<sup>6</sup>», в ходе которой Англия, Франция и Голландия пытались оспорить претензию Испании на исключительное владение океанами [Grewe. 1984. S. 300–322]. Хотя сначала Англия, выступая против Испании, отстаивала свободу морей, позднее Джон Селдон принял испанскую позицию, чтобы защитить принадлежащее Стюартам фактическое *dominium maris*<sup>7</sup> в споре с голландцами, чьи низкие издержки во фрахтовом деле привели к разработке аргумента *mare liberum* (Гуго Гроций). Свобода морей означала, однако, не их деполитизацию и интернационализацию, а их разделение между главнейшими торговыми морскими державами. Если разработанная к середине XIX в. доктрина «свободных дверей», увековечившая принцип равных торговых возможностей, была основана на капиталистической свободной торговле, практики *mare liberum* оставались привязаны к системе конкурентного национального меркантилизма [Grewe. 1984. S. 559–566]. Разделение океанов не вело к установлению смежных морских пространств, а следовало пересекающимся линиям

<sup>4</sup> Эта коммерческая ненадежность и связанные кредитные риски нашли семантическое отношение в термине «купцы-авантюристы» (*merchant adventurers*), ставшем частью флорентийского дискурса *fortuna* [Münkler. 1982. S. 209–212].

<sup>5</sup> *Mare clausum* (лат.) — «закрытое море», термин, означающий любое морское пространство, находящееся под юрисдикцией какого-то одного государства и закрытое для навигации судов иных стран. — *Примеч. пер.*

<sup>6</sup> *Mare liberum* (лат.) — «свободное море», термин возникший по названию работы Гуго Гроция и предполагающий, что все моря являются интернациональной территорией, открытой для навигации судов любых морских держав. — *Примеч. пер.*

<sup>7</sup> *Dominium maris* (лат.) — «морское владение», термин из названия работы Джона Селдона, аналог *mare liberum*.

морской торговли. На практике суверенитет перемещался с купеческими конвоями, конвой же не заходили на суверенные территории. Так же, как суверенитет побережья был учрежден линейной береговой артиллерией, суверенитет морей был реализован за счет военной охраны торговых путей: *terrae dominium finitur, ubi finitur armorum vis* — «контроль над страной кончается там, где заканчивается сила оружия» [Grewe. 1984. S. 386]. Действенность вооруженных сил расчерчивала границы морского суверенитета. Наглядно это можно представить так: море было «территориализовано» по линиям торговых путей, размеченных торговыми постами, бастионами и укрепленными складами. Поскольку же моря были «территориализованы», торговые порты и прилегающие к ним территории были связаны этими линиями военизированной торговли с соответствующими странами-метрополиями. Межконтинентальные империи времен раннего Нового времени были по своей сути морскими империями.

В этих условиях геоторгового обмена экономическая конкуренция приобрела форму военно-политической конкуренции соперничающих государств за рыночные монополии, колонии и торговые направления<sup>8</sup>. Конкуренция была «исходно внеэкономической, предполагающей пиратство и выкупы, дипломатию и союзы, торговые эмбарго и неприкрытую вооруженную борьбу с соперничающими купцами и городами» [Katz. 1989. P. 99]. Она напрямую выражалась в почти постоянных войнах, связанных с морской торговлей, которые велись политическими соперниками, — такова господствующая логика взаимодействия международных морских акторов в этот период. «Торговая конкуренция, даже в те периоды, которые официально считались мирными, вырождалась в необъявленную вражду, которая погружала нации в череду следующих друг за другом войн, а все войны направляла в сторону торговли, промыслов и колониальных прибылей, что отличало их от всех войн, которые были до, и от всех, что придут после» [Schmoller. 1897. P. 64].

Но какими бы ни были обстоятельства неудачного превращения городов в олигархические купеческие республики, как, например, в случае с Объединенными провинциями, фундаментальная разница между торговыми городами Европы Высокого

<sup>8</sup> Анализ Испании и Португалии раннего нового времени см.: [Rosenberg. 1994. P. 91–122].



или Позднего Средневековья и торговыми государствами периода раннего Нового времени состояла в том, что могущественные территориальные монархи присвоили право распределять торговые монополии и грамоты между городами и купеческими компаниями собственных территорий<sup>9</sup>. Поэтому купцы не могли создать собственную политическую организацию по модели городов-республик или союзов городов, они должны были обращаться к Короне, дабы договариваться об этих ключевых политических правах на обогащение, получая взамен от Короны военную защиту на море. Эта монопольная политика «была давней “политикой городов, вписанной в дела государства”» [Dobb. 1946. P. 2006; Münkler. 1992. S. 208].

Результатом этого классового альянса стала организация внешней торговли через королевские торговые компании — гигантские военно-коммерческие машины, чьи корабли, хотя они и ходили под королевским флагом и с королевской комиссией, принадлежали зачастую частным предпринимателям и управлялись ими. Эти частные предприниматели делили расходы и доходы с Коронай [De Vries. 1976. P. 128–146]. Как акционерные общества торговые компании были частными предприятиями, а как компании, созданные по указу короля и зависящие от королевских торговых льгот и привилегий, они являлись государственными агентствами, обладающими правами суверенитета. Например, «в Англии из двадцати пяти судов, составлявших экспедицию Дрейка в Вест-Индию в 1598 г., только два были поставлены непосредственно Коронай; и хотя сам Дрейк выступал в качестве адмирала Елизаветы и имел официальные инструкции, только около трети экспедиционных расходов было покрыто правительством» [Anderson. 1988. P. 27]. Именно эти полунезависимые морские компании всегда стояли на пороге необъявленных морских войн.

Почти постоянное состояние войны между главными торговыми нациями географически иллюстрируется внешней политикой Людовика XIV. Его продвижение в сторону Вест-Индии,

<sup>9</sup> Анализ дореволюционной Англии см.: [Brenner. 1993. P. 51–94, 199–239]. Вариант Франции анализируется, например, в данном у Девриса описании судьбы кальвинистского города Ла-Рошель, его встраивания в королевское государство и итогового соглашения между купцами и королем [De Vries. 1976. P. 238].

подкрепленное созданием Французской Вест-Индской компании, привело к неудачной попытке оттеснить голландскую торговлю путем прямого завоевания Объединенных Провинций в 1672 г. За этим последовала англо-французская торговая война 1674 г., а также борьба с Испанией за *asiento* (право поставлять рабов) в период Войны за испанское наследство [Kaiser. 1990. P. 151–152]. Английская и Голландская Ост-Индские компании сами стали непримиримыми конкурентами в юго-восточной Азии. Протекционистский «Закон о мореплавании» Кромвеля (1651 г.) был направлен непосредственно против голландского превосходства в чрезвычайно выгодном фрахтовом бизнесе и привел к эскалации англо-голландского геоторгового соперничества. Английские «Законы о мореплавании» (1651, 1660, 1662 гг.) стали поводом для англо-голландских морских конфликтов 1652–1654, 1665–1667 и 1672–1674 гг. (в последнем случае конфликт был связан с вторжением Людовика XIV в Голландскую республику). Во всех трех войнах целью Англии был подрыв голландского мореплавания и торговли и особенно голландского контроля над западно-африканской работорговлей. Торговля в раннее Новое время зависела от бдительной морской политики и коммерческого законодательства. Она опиралась на силу государств. Торговля, стратегия и безопасность слились с неразделимым единством.

В то же самое время эти гибридные государственно-частные корпорации с трудом удерживались под государственным контролем. Соответственно, границу между каперством и открытым пиратством определить было весьма сложно, и сами правители не могли ее точно задать. В самом деле, каперство являлось неотъемлемой частью агрессивной геоторговли. В юридическом отношении, корсары были капитанами частных судов, которые имели выданные королем права на захват чужих кораблей, тогда как пираты атаковали все суда без разбора. Пираты были преступниками вне закона, а корсары — политическими врагами [Grewe. 1984. S. 354ff]. Франция, например,

...больше иных государств стала прибегать к каперству как оружию морских войн, выработав в итоге наиболее сильную в Европе его традицию. Многим французам оно представлялось идеальной формой войны на море. Оно было дешевым, поскольку большую часть расходов брали на себя дельцы, стремившиеся получить доходы за счет захваченных английских и голландских судов [Anderson. 1988. P. 96–97].

Поскольку к началу периода раннего Нового времени Корона обладала монополией на права товарооборота, во всех территориальных монархиях мы встречаем долгосрочный альянс внутри правящего класса между Короной и «ее» привилегированными купцами-мануфактурщиками. Если монархи стремились получать доход с таможен и извлекали его при продаже грамот и патентов, способствуя расширению морской торговли, купцы стремились получить королевские монополии и военную охрану. Этот союз определял возможности заниматься торговлей [Brenner. 1993. P. 48]. Такая структурная связка между экономическим и политическим, естественно, представляет собой противоположность нововременного капитализма, который в сфере морской торговли нашел выражение в переходе к принципам «открытых дверей», обеспечивающим свободный поток товаров на открытых рынках. В этом случае конкуренция регулировалась только ценовым механизмом, а не внутренними монополиями и войной. Капиталистическая торговля больше характеризуется тенденцией к понижению цен, а не к наращиванию вооружений. В результате Славной революции, опиравшейся на классовый альянс между аристократами-капиталистами и новыми купцами, парламент ограничил монопольные права старых торговых компаний, чтобы обеспечить более свободную и более значительную по объему мобилизацию капитала, направляемого в морские предприятия [Brenner. 1993. P. 715]. Соответственно, Английская Левантская компания была распущена в 1823 г., Ост-Индская компания — к середине XIX в., а Компания Гудзонова залива — в 1859 г. Каперство было официально запрещено в 1856 году [Grewe. 1984. S. 368; см. также: Thomson. 1994]. Этот сдвиг, который на международном уровне осуществился только в XIX столетии, в действительности отметил фундаментальное изменение морских международных отношений. Он означал не что иное, как «размыкание» (de-bordering) морей. Если говорить в терминах классической политической экономии, это был сдвиг от Антуана Монкретьена, Джона Селдона и Томаса Мана к Адаму Смиту<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Буркхардт представляет слияние политического и экономического при меркантилизме в качестве «дефицита государственной автономии, ощущаемого в экономических и фискальных вопросах» и отмечает со ссылкой на Карла Поланьи, что «новая форма международного экономического мышления — классическая политическая экономия — по необходимости должна была наделить государство автономией по от-

Итак, меркантилистская торговля была подчинена политической силе Короны и сохраняла зависимость от нее. Она не вела к развитию нововременной миросистемы, основанной на новом способе территориальной организации и международных отношений, а, по существу, занималась расширением доновременной логики абсолютистской территориальной организации на неевропейский мир. Как утверждает Розенберг, «международная экономика абсолютистских империй структурно несоизмерима с нововременной мировой экономикой» [Rosenberg. 1994. P. 92]<sup>11</sup>. Торговый капитализм в династических условиях был продолжением стратегии геополитического накопления богатств, присущей доновременным государствам, а не качественным изменением логики мирового порядка. «Логика торгового капитализма... в конечном счете на международном уровне нашла выражение в имперской организации мировой торговли периода раннего Нового времени» [Boyle. 1994. P. 355]. Именно потому, что представители миросистемного анализа приравнивают торговлю на длинные расстояния к капитализму, который соответственно становится феноменом, обнаруженным практически во всех международных экономических системах, они вынуждены датировать начало нововременной миросистемы все более давними этапами прошлого, заканчивая в итоге бессмысленными спекуляциями о миросистеме, которой уже пять тысяч лет [Abu-Lughod. 1989; Frank, Gills. 1993].

#### 4. ПРИВЕЛ ЛИ МЕРКАНТИЛИЗМ К РАЗВИТИЮ КАПИТАЛИЗМА?

Меркантилизм раннего Нового времени не только не смог установить новую логику международных экономических отноше-

*Окончание см. 10*

ношению к экономике. Поскольку Буркхардту не удастся соотнести эти изменения экономической теории с устойчивыми отношениями общественной собственности, его замечания о природе меркантилизма лишены эмпирического основания [Burkhardt. 1997. S. 56–561].

<sup>11</sup> Но если это так, сложно утверждать, что империи, создаваемые Испанией, Португалией, Голландией, Францией и Англией в период раннего Нового времени были «различными моментами первоначального накопления», как писал Маркс [Маркс, Энгельс. Т. 23. С. 761]. Они могут представлять различные этапы капиталистического накопления, но не необходимые этапы преобразования производственных отношений, то есть они не вели к генерализации отношения капитала.

ний (хотя он и расширил их географический ареал), он даже не породил никаких непреднамеренных последствий, которые могли бы подтолкнуть эту систему в направлении нововременного капитализма и, соответственно, нововременных международных отношений.

Связывание изолированных центров производства не ведет с необходимостью к контролю над непосредственными производителями, хотя иногда последний и осуществляется посредством организации рабочего процесса как внутри страны, так и на заморских рынках<sup>12</sup>. Как правило, достаточно было обезопасить плацдарм для монополии в этих торговых портах, где возникли квазиэкстратерриториальные торговые сообщества, дабы утвердить и эксплуатировать благоприятные условия торговли, то есть поддерживать маржу прибыли между ценами рынка закупки товара и ценами рынка его продажи.

За несколькими исключениями, к числу которых относятся вестиндские сахарные плантации, обрабатываемые рабами-неграми, подобное инвестирование было необязательным дополнением к торговому инициативам, а не независимым предприятием, ценным самим по себе; главным интересом как деловых людей, так и экономистов-теоретиков были именно условия торговли, а не условия инвестирования в иностранные рынки. В этом ключевое различие между старой колониальной системой меркантилистского периода и колониальной системой нововременного империализма [Dobb. 1946. P. 217].

Как правило, привилегированные компании, созданные на основании королевского указа, мало интересовались реорганизацией рабочего процесса, поскольку это по необходимости требовало рискованных и долгосрочных вложений капитала, контролировать которые было довольно сложно. В самом деле, стимулы рыночного обмена могли бы сориентировать производство на обмен. Однако в условиях несвободного труда эти стимулы обычно приводили просто к усиленному использованию внеэкономического принуждения как инструмента в руках тех, кто контролировал труд, будь они феодалами, рабовладель-

<sup>12</sup> Купцы, получавшие привилегии от короля, часто не были заинтересованы в том, чтобы создавать совершенно новые производственные системы в колониях, предпочитая сосредоточиться на самой торговле [Brenner. 1993. P. 92–112].

цами или же купцами-мануфактурщиками, использующими надомные системы труда. Укрепление и даже введение капиталистических отношений собственности в логике торговли можно наиболее наглядно представить благодаря американским плантациям, обрабатываемым рабами, внедрению «второго крепостничества» в восточной Европе в XV в., а также иным данническим отношениям [Wolf. 1982. P. 101–125]<sup>13</sup>. Это принуждение периферии к зависимости и неразвитости посредством несправедливых условий торговли является, естественно, главным оплотом системы зависимости вообще и теории миросистемного анализа. Но это не была капиталистическая торговля.

Например, логика надомного труда основывалась на политическом исключении ремесленников из торговых гильдий, которые монополизировали сырье, необходимое для ремесленной торговли, и фиксировали цены. Поэтому ремесленники не только были вынуждены работать исключительно на эти гильдии, они были обязаны также продавать им готовые товары. Поэтому купцы находились в таком положении, в котором они могли понижать производственные цены на экспортные товары.

Купцы также напрямую использовали политическую силу для регулирования заработных плат, рабочих часов и условий труда; законы против профессиональных объединений были направлены на разрушение или запрещение создания ремесленнических или мастеровых братств, целью которых было повышение цен или заработных плат. Поэтому в городах привилегированные группы бюргеров повышали свои прибыли, ухудшая экономические условия прямых производителей [Katz. 1989. P. 100]<sup>14</sup>.

Показательным примером здесь выступает судьба некогда процветавшей венецианской ткацкой и геновской шелковой промышленности. Как только английская «новая мануфактура»

<sup>13</sup> Следует отметить, что в XVII в. американские плантации развивались не старыми торговыми компаниями, а теми, кого Бреннер называет колониальными торговцами-захватчиками, то есть новым непривлекательным классом торговцев, которые действовали в колониальном производстве в качестве капиталистических предпринимателей [Brenner. 1993. P. 684ff].

<sup>14</sup> О неподвижной структуре гильдий в ткацкой промышленности Флоренции XV в. и двойной зависимости от рынков экспорта и импорта см.: [Münkler. 1992. S. 146–148, 162–163].

начала в XVII в. продавать свою продукцию по ценам ниже итальянской, а итальянские купцы оказались неспособны защитить свои морские торговые монополии, итальянские производства не смогли ответить конкурентоспособными мерами, поскольку сами производители не были полностью подчинены капиталу. Итальянская система надомного производства по-прежнему регулировалась негибкими гильдиями [Brenner. 1993. P. 33–39]. Поскольку конкуренция разворачивалась не между предпринимателями-капиталистами, а между агентами, занимавшимися присвоением на политически защищенных рынках, прибыль максимизировалась за счет интенсификации труда (снижения заработной платы, увеличения рабочего времени), а не за счет сокращения издержек. Снижение производственных издержек играло второстепенную роль по сравнению с защитой монопольных рынков и снижением затрат на рабочую силу — именно потому, что эти стратегии можно было контролировать политически. Это невнимание к производственной эффективности с полной силой обнаружило себя в спорах об общем влиянии меркантилизма на благосостояние. Критики уже указывали на то, что монопольные цены поднимали цены, а привилегированные торговые компании, созданные на основании королевского указа, ограничивали свободное предпринимательство [Buck. 1974. P. 155–159].

Поскольку торговый капитализм не запустил самоподдерживающуюся логику экономического роста, основанного на «свободном труде», главным факторе мобильности, и реинвестировании в средства производства, Маркс постулировал обратную зависимость между развитием торговли и развитием капиталистического производства.

Тот закон, что самостоятельное развитие купеческого капитала стоит в обратном отношении к степени развития капиталистического производства, с особенной ясностью обнаруживается в истории посреднической торговли (*carrying trade*), например у венецианцев, генуэзцев и голландцев, следовательно, там, где главный барыш извлекается не из вывоза продуктов своей страны, а из посредничества при обмене продуктов таких обществ, которые еще не развились в торговом и вообще в экономическом отношении, и из эксплуатации вступивших в обмен обеих производящих стран [Маркс, Энгельс. Т. 25. Ч. 1. 361].

Однако в своей важной главе «Из истории купеческого капитала» Маркс замечает, что торговый капитализм «разлагал» докапиталистические производственные отношения, все больше и больше подчиняя производство требованиям капитала. Однако он спешит добавить к этому, что «как далеко заходит разложение старого способа производства, это зависит прежде всего от его прочности и его внутреннего строя» [Маркс, Энгельс. Т. 25. Ч. 1. С. 364]. Другими словами, именно политическая привязка правящего класса к наличным отношениям общественной собственности определяет силу этого «разлагающего» воздействия: она зависит от классовой констелляции, определяющей политическое устройство соответствующего политического образования<sup>15</sup>. Рыночных стимулов, как объясняет Маркс, «недостаточно для того, чтобы вызвать и объяснить переход одного способа производства в другой» [Маркс, Энгельс. Т. 25. Ч. 1. С. 359]. Поскольку торговый капитализм занимался лишь посредничеством в обменах прибавочным продуктом, уже извлеченным политическими средствами, он не вел к фундаментальным изменениям общественного производства<sup>16</sup>. Торговля сама по себе не порождает прибавочную стоимость или даже просто стоимость; она просто реализует прибыли. Торговля никак не может дать совокупный экономический рост; она просто перераспределяет наличный прибавочный продукт. Поэтому купеческое богатство не является капиталом.

На международном уровне перераспределение в несправедливых обменах было игрой с нулевой суммой [Андерсон. 2010. С. 37]; общее благосостояние при этом не росло. Эта концепция игры с нулевой суммой, которая полагала полное богатство в качестве конечной величины, принималась в доктрине меркантилизма за экономический закон именно потому, что сфера производства оставалась за пределами ее теоретического горизонта. На национальном уровне экономический рост мыслился

<sup>15</sup> О двух путях перехода к капитализму у Маркса см.: [Brenner. 1989].

<sup>16</sup> Хинрикс отмечает, что «большая часть членов французских торговых компаний рассматривала свое участие в торговле просто как предмет вложения денежных средств, аналогичный королевской службе или церковной пребенде, а не как коммерческое приключение, предполагающее риск и инициативу» [Hinrichs. 1986. S. 351]. Поэтому вряд ли меркантилисты вообще «постигли внутреннюю природу капиталистического производства» [Zech. 1985. S. 568].



в терминах абсолютного роста населения, абсолютных торговых прибылей, дополнительного притока золота или абсолютных территориальных прибылей. Поэтому меркантилистская теория и практика обогащения обладали типичным ограничением, сводясь к политикам трудовой иммиграции, мелиорации земель и защиты крестьян абсолютистскими правителями, которые в итоге получали титул «просвещенных». Экономическая политика Фридриха Великого часто рассматривается под таким углом зрения, который не позволяет понять то, что его *Bauernschutzpolitik* (политика защиты крестьян) была направлена не столько на поддержку прусских крестьян, сколько на ущемление земельной аристократии и на наполнение королевской казны. Поскольку крестьяне составляли базу налогообложения, в такой политике не было ничего альтруистического или «просвещенного». Куниш отмечает, что «у абсолютизма не было иной концепции гражданства (*Staatsvolk*) помимо той, что дана меркантилистской категорией населения, массы подданных, чья национальность и язык не входили в определение *raison d'État*» [Kunisch. 1979. S. 15]. Строго говоря, у меркантилизма не было концепции экономического роста, а имелось лишь представление об асимметричном накоплении уже существующих богатств. Внутри стран — по крайней мере в западных метрополиях — меркантилистское учение вело к прославлению богатства, казны, золотого запаса и к ошибочному убеждению в том, что положительный торговый баланс является источником национального богатства. Соответственно, доходы с торговли систематически реинвестировались не в средства производства, а в средства насилия, дабы гарантировать воспроизводство политического обмена. Подталкиваемый торговлей спрос на военную технику стимулировал развитие новых отраслей — производство вооружений, кораблестроение, металлургию, текстильную промышленность и т.д., но всегда в «допотопной» форме распределяемых государством монополий [Katz. 1989. P. 91ff]. Когда государственный спрос и государственная защита исчезли, эти отрасли развалились.

Стародавняя логика торгового капитализма не была оспорена даже новой голландской торговой системой, которая, специализируясь первоначально в насыпных грузах, получила торговые преимущества за счет снижения транзакционных издержек. Конкурентное преимущество поддерживалось не за

счет снижения производственных издержек, а за счет максимизации «пропускной способности, определяемой снижением затрат на построение [судов] и операционных расходов» [De Vries. 1976. P. 117]. Голландская торговля процветала благодаря более низким ценам на фрахт, зависящим от новых технологий кораблестроения. Но эта стратегия в XVII в. проиграла английскому экспорту. Англичане начали снижать цены не только за счет низких транзакционных издержек, но и благодаря реальным преимуществам по показателям издержек самого товарного производства. Это, однако, сначала требовало преобразования трудовых отношений в английском селе — но не как ответ на рыночные возможности, а как непреднамеренный результат борьбы между феодальными сеньорами и крестьянами из-за ставки ренты. После установления капиталистических аграрных трудовых отношений экономическая конкуренция среди фермеров привела к реинвестированию, диверсификации продуктов, специализации и повышению уровня аграрной производительности. Эта конструкция общественной собственности создала условия для новых мануфактурных отраслей. Главная составляющая современной торговли, «новая мануфактура», созданная в английской текстильной промышленности, работающей на капиталистических принципах, постепенно достигла преобладания на международных текстильных рынках благодаря сравнительным преимуществам в условиях сокращающегося в период кризиса XVII в. европейского спроса [De Vries. 1976. P. 125; Brenner. 1993. P. 38–39]. Этот прогресс в Англии стал начальным пунктом новой логики международных торговых отношений, которые вытеснили регулируемую политическими средствами геоторговлю. Однако эти процессы относятся уже к концу XVIII в. и частично к XIX.

Следовательно, осуществленное в раннее Новое время географическое деление неевропейского мира на территориализованные колонии, которое расширило европейские метрополии на ранее неизвестные земли, не только раздвинуло рамки военного по своей природе театра отношений стран внутри Европы; оно также создало конфигурацию политического пространства, в котором позднее будет действовать атерриториальная по своей сущности логика нововременного капитализма. Когда в XIX в. капитализм прорвался на международную арену, большая часть мира уже была территориально размечена меркантилизмом.

Ограниченная, хотя не обязательно фиксированная или статичная, территориальность предшествует подъему капитализма.

## 5. ЗАКРЫТЫЕ ТОРГОВЫЕ ГОСУДАРСТВА: ЕДИНООБРАЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ?

Меркантилизм, по существу, означал частную собственность и накопление предоставляемых государством прав на обогащение, выгодных как королю, так и привилегированным торговцам и мануфактурщикам. Говоря метафорически, не было войны между Меркурием и Марсом: Меркурий мог добиться победы, лишь опираясь на плечо Марса. Причем побочным следствием меркантилистской политики стало создание экономически унифицированных территорий, то есть закрытых торговых государств. Но так ли это? И да, и нет [Mettam. 1988. P. 288–308]. Необходимо провести различие между внешней закрытостью и внутренним единообразием. Представление о том, что закрытые торговые государства, то есть государства с высокими тарифами или квотами на импорт и государственным субсидированием экспорта уже предполагали унифицированные внутренние рынки, продемонстрирует свою несостоятельность, когда мы рассмотрим не только воздействие поддерживаемых политическими средствами монополий на внешнюю торговлю, но и их влияние на структуру производства и потребления на внутренних рынках. Дело в том, что монополии, дарованные некоторым внутренним отраслям, и систематическое создание субсидируемых государством мануфактур не вели к установлению открытого и конкурентного внутреннего рынка. Скорее, королевская политическая власть выражалась серией двухсторонних соглашений с различными городами, компаниями и корпорациями. «Поэтому итоговый вопрос отличался от начального и состоял уже не в том, следует ли объединить все различные городские привилегии в один корпус прав, которыми в равной степени пользовались бы все граждане данной территории, а в лишь в том, должно ли княжеское правительство гарантировать умеренный прирост своей власти, лишая этой власти каждый из городов» [Schmoller. 1897. P. 22]. Меркантилизм развивал унифицированный, хотя и несовершенный внутренний рынок товарооборота, — так Кольбер реформировал национальную таможенную систему в 1646 г., но он не освободил

дил сферу производства [Mettam. 1988. P. 303]. Он просто регулировал производство к обоюдной выгоде привилегированного класса бюргеров и Короны.

Поскольку общественные отношения, управляющие аграрным производством, оставались неизменными, меркантилизм закрепил дуальную структуру экономики, состоявшую из неэффективного аграрного сектора и искусственно раздутого и высокопроизводительного сектора мануфактурщиков, обеспечивавшего экспорт и внутреннее потребление роскоши. Цены оставались неэластичными, особенно в развиваемой Короной сфере предметов роскоши (кожи, вооружений, металла, ковров, стекла, шелка, гобеленов, фарфора, специй), чьими «естественными» покупателями являлись, конечно, именно высшие классы и королевский двор [Dobb. 1946. P. 196–197]. Короче говоря, защита системы гильдий, экспортная мануфактура и неконкурентные цены в конечном счете вредили частным покупателям. Следствием является то, что меркантилизм закрепил политически дифференцированную внутреннюю сферу производства, сняв при этом преграды для товарооборота. Поскольку, согласно меркантилистскому учению, выигрыш одного является проигрышем другого, внутренняя торговля означала просто перераспределение внутри национальной экономики. Реальную прибыль, влияющую на торговый баланс, можно было получить только из внешней торговли. Создание открытого и однородного внутреннего рынка, экономически унифицированного пространства, основанного на полной мобильности, то есть на коммодификации всех факторов производства, при меркантилизме оставалось невозможным. Конечно, эта невозможность не является просто следствием учения, она — выражение сохранения докапиталистических отношений общественной собственности. Тем не менее, к концу XVII в. в главных западноевропейских монархиях сложились замкнутые, хотя и внутренне дифференцированные, экономические территории — закрытые торговые государства.

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «БОГАТСТВО ГОСУДАРСТВА» ПРОТИВ «БОГАТСТВА НАРОДА»

В общем, меркантилизм был создан для увеличения не «богатства народа», а богатства государства. Но государством **был в**

первую очередь сам король. Поскольку же он не мог получать прибыль от несправедливых обменов без помощи привилегированного слоя купцов, меркантилизм предполагал систематическое распределение политических прав на частное обогащение. Эта классовая структура направляла логику политически выстроенной и защищаемой военными средствами торговли. Социальное основание меркантилизма была определено сохранением некапиталистических отношений общественной собственности, которые сделали необходимым внутреннее и внешнее накопление прибавочного продукта при помощи политических средств — либо посредством прямого политического принуждения непосредственных производителей, либо при помощи политически поддерживаемых несправедливых обменов.

Отсюда пять важных выводов, значимых для достаточно длительного периода. Во-первых, военная борьба за монопольные рынки и торговые пути определяла доминирующую логику взаимодействия европейских морских держав на протяжении XVI, XVII и XVIII вв. Почти непрерывные войны не были следствием системной анархии, а выражали стратегии воспроизводства правителей в данной структуре отношений собственности. Во-вторых, геополитическая борьба за доступ к монопольным рынкам и последовательное уничтожение внутренних препятствий для торговли привело к фиксации экономического пространства в виде ограниченных и замкнутых, хотя и внутренне дифференцированных, территориальных оболочек. Закрытие внутренних рынков в связке с логикой торгового капитализма укрепило новый *территориальный порядок*, то есть множество замкнутых территорий. В-третьих, в той мере, в какой Корона стремилась развивать внешнюю торговлю, а также внутреннее производство, она инструментализировала эти средства, приспособив их к собственным властно-политическим устремлениям. Меркантилизм был стратегией рационализации, принадлежащей абсолютистским правителям, максимизирующим политически заданные доходы, а не защитным механизмом класса капиталистов. Хотя ему не удалось развить — намеренно или непреднамеренно — капиталистическое производство, он был направлен на рационализацию возможностей получения доходов в данных рамках докапиталистических отношений эксплуатации. Власть и богатство были не просто взаимосвязанными и все же разными целями; накопление богатства опреде-

лялось наличием власти. Безопасность и воспроизводство были неразделимы. В-четвертых, потребность Короны во все большем объеме ресурсов, нужных для сохранения рамки политического извлечения прибавочного продукта, привела меркантилизм к вырождению в чистый фискализм [Hinrichs. 1986. S. 355–356]. Карательные налоги, собираемые с крестьян, высокие расходы на защиту торговых путей, растущий паразитарный аппарат чиновников, искусственно поддерживаемые и неконкурентные цены, монопольные предприятия, протекционизм и импортозамещение вместе с непроизводительным инвестированием в средства насилия — все это задавало пределы экономического роста в условиях меркантилизма. В действительности эти стратегии в долгосрочной перспективе оказались непродуктивными и затухающими. В-пятых, симбиоз между привилегированными торговцами и Коронай, распределяющей титулы и права, стал долговременным, самоподдерживающимся классовым альянсом. У этого классового альянса был общий интерес в сохранении статус-кво. Когда же позднее в момент Английской революции он был оспорен силой «новых купцов», он проявил свою «реакционность», предпочитая цепляться за прошлое. Из-за свободной торговли он терял все и не выигрывал ничего<sup>17</sup>. Этот новый режим свободной торговли разбудил силы, которые в XIX в. подорвали старую логику торгового капитализма, обозначив начало эры нововременного мира-рынка.

Теоретически, именно присущее меркантилизму абстрагирование сферы производства и привязанность к товарообороту придали ему его искаженный, «допотопный характер».

Первое теоретическое освещение современного способа производства — меркантилистская система — по необходимости исходило из поверхностных явлений процесса обращения в том

<sup>17</sup> «Именно этот факт мы должны рассматривать в качестве одной из причин, объясняющих то, почему более старые и более устойчивые части буржуазии всегда слишком быстро становились реакционными, демонстрируя подобную готовность пойти на соглашение с оставшимися феодалами или же с автократическим режимом, дабы сохранить статус-кво и помешать более революционным изменениям» [Dobb. 1946. P. 219]. Роберт Бреннер изучил последствия этого классового альянса короля и привилегированных торговцев, а также то, как он был подорван новыми колониальными торговцами и капиталистами-землевладельцами в период Английской революции [Brenner. 1993].

виде, как они обособились в движении торгового капитала, и потому оно схватывало только внешнюю видимость явлений... Подлинная наука современной политической экономии начинается лишь с того времени, когда теоретическое исследование переходит от процесса обращения к процессу производства [Маркс, Энгельс. Т. 25. Ч. 1. С. 370] (см. также: [Dobb. 1946. P. 199]).

Однако поскольку к XVII в. политический контроль над правами, определяющими доступ к товарообороту, почти полностью находился в руках территориальных монархов, меркантилизм, по Шмоллеру, «в самой своей сердцевине... был не чем иным, как государственным предприятием» [Schmoller. 1897. P. 50]<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Трактат Шмоллера заслуживает отдельного внимания, поскольку автор — как член «младоисторической школы немецких экономистов», сжигаемый национальным чувством, — выписывает конфликтную природу международных торговых отношений в эпоху меркантилизма, которая часто приукрашивалась апологетически настроенными авторами господствующих торговых держав Запада. «Не кажется ли нам сегодня иронией судьбы то, что та же Англия, которая в 1750–1800 гг. достигла вершины коммерческого могущества посредством своих тарифов и морских войн, в которых она не чуралась жестокостей, Англия, которая всегда исповедовала принцип предельного национального эгоизма, в то же самое время заявила всему миру об учении, согласно которому лишь эгоизм индивидуума оправдан, а эгоизм государств и наций не оправдывается никогда, — об учении, которое грезит о той конкуренции без государств, в которой участвуют индивидуумы всех стран в гармонии экономических интересов всех наций?» [Schmoller. 1897. P. 80]. Теоретически, работы Шмоллера встроены в немецкую историцистскую традицию, которая жестко критиковала методологический индивидуализм теорий экономического действия, помещая экономических агентов в контекст исторически развивающихся сообществ, которые определяют их экономическое поведение. Хотя предложенное Шмоллером описание макроэкономического развития облачено в эволюционно-функционалистские термины, представляющие это развитие через последовательные этапы создания все более обширных и все более «адекватных» экономических территорий (движение идет от городов к территориям), его повышенное внимание к исторической специфике «экономических законов» разоблачает присущую учениям классической политической экономии универсализацию и натурализацию как идеологию гегемонной державы XIX в. Работы немецких исторических экономистов XIX в. обеспечили «научной» и идеологической легитимацией возвышение Пруссии до статуса великой европейской державы — точно так же, как британские авторы смогли провозгласить принцип свободной торговли, как только внутренний капиталистический рынок настолько повысил производительность, что британские товары благодаря своим низким ценам вы-

Государство распределяло эти титулы и права частным агентам, которые сами оставались зависимыми от государственной власти, обеспечивающей их реализацию. Государством, однако, был сам король.

*Окончание сн. 18*

теснили товары конкурентов на их собственных рынках. Добб отметил, что «хотя Англия в те времена, будучи импортером зерна и шерсти, а также тем пионером нового машиностроения, который, открывая зарубежные рынки для своих мануфактур, получал все и не проигрывал ничего, могла позволить себе возвысить свободу внешней торговли до уровня общего принципа, другие страны вряд ли могли пойти на это» [Dobb. 1946. P. 194].



## VII. Демистификация Вестфальской системы государств

### 1. ВВЕДЕНИЕ: ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ, ДЕЙСТВИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В четвертой главе я утверждал, что общепринятые объяснения долгосрочного доиндустриального экономического и политического развития Европы — то есть модели геополитической конкуренции, демографическая модель и модель коммерциализации — имеют серьезные недостатки в эмпирическом и теоретическом отношениях. Тогда я предположил, что объяснения перехода к Новому времени должны учитывать две трансформации — переход от средневекового мира к ранненововременному, а затем от последнего к миру Нового времени. Затем я утверждал, что две этих трансформации связаны с принципиально различными траекториями формирования государства/общества во Франции и Англии раннего Нового времени, определяемыми различными балансами классовых сил, которые привели к переходу от феодализма к абсолютизму во Франции и от феодализма к капитализму в Англии. Эти разные переходы — ключ к несопоставимым схемам геополитического конфликта и сотрудничества в ранненововременной и нововременной международных системах. В шестой главе я показал, как эти донововременные схемы работали в ранненововременной политической экономии, основанной на меркантилизме, политически обусловленном несправедливым обмене и построении морских империй. Теперь мы можем извлечь дополнительные следствия из этой идеи, чтобы реконструировать общую природу ранненововременных международных отношений и значение Вестфальских мирных договоренностей. Затем мы обратимся непосредственно к случаю Англии, чтобы воссоздать переход к нововременным международным отношениям.

Повторим: эта исследовательская повестка привлекала внимание специалистов по теории МО, решивших ответить на выдвинутое Джоном Рагги возражение неореализму, гласившее,

что последний не способен объяснить системное изменение и особенно переход от Средневековья к Новому времени [Ruggie. 1986, 1993]. Хотя сегодня есть новые серьезные интерпретации данного системного изменения, относящиеся главным образом к конструктивистскому направлению [Spruyt. 1994a; Burch. 1998; Hall. 1999; Philpot. 2001], общепринятое реалистическое объяснение значения Вестфалии как поворотного пункта в истории международных отношений осталось нетронутым. «Вестфальский мир, плохо это или хорошо, отмечает собой завершение одной эпохи и начало другой. Он представляет собой величественные ворота, ведущие из старого мира в новый» [Gross. 1948. P. 28–29] (см. также: [Morgenthau. 1985. P. 293–294, 328–329; Butterfield. 1966; Wight 1977b, 1978; Bull. 1977])<sup>1</sup>. Независимо от

<sup>1</sup> «Современная система международного права является результатом масштабной политической трансформации, которая отметила переход от Средних Веков к нововременному периоду истории. Вкратце ее можно описать как превращение феодальной системы в территориальное государство. Главная характеристика последнего, отличающая его от его предшественников, заключалась в том, что правительство взяло на себя задачу отправления высшей власти в пределах территории данного государства. Монарх перестал делиться властью с феодальными сеньорами на территории, в пределах которой он был скорее номинальным, а не реальным главой. Не делился он ею и с Церковью, которая на протяжении Средневековья постоянно выдвигала претензии на высшую власть в рамках христианского мира. Когда к XVI веку эта трансформация завершилась, политический мир сложился в виде множества государств, которые в юридическом смысле территориально были вполне независимы друг от друга и не признавали никакой светской власти, которая стояла бы над ними. Одним словом, они были суверенными» [Morgenthau. 1985. P. 293–294].

«Имперские порядки определяли лишь систему государств, а не то, что Хедли Балл охарактеризовал в качестве международного “общества”. Международные конфликты были одновременно экономическими, социальными, политическими и цивилизационными. Так продолжалось до Вестфальского договора» [Gilpin. 1981. P. 111].

«Если мы утверждаем, что система государств обнаруживается в конце XVII века или в начале XVIII, мы должны будем дать описание европейской системы между Констанцским собором и Вестфальским конгрессом. Но в любом описании эта система больше напоминает систему государств, которая последовала за ней, чем предшествующую ей средневековую систему. Действительный разрыв, подготавливаемый XIV столетием, стал очевидным в XV веке... [следовательно] в Вестфалии система государств не начинает свое существование, а достигает своего совершеннолетия» [Wight. 1977b. P. 151].

различий в теоретических предпосылках среди специалистов по теории МО существует консенсус относительно собственно нововременных принципов или конститутивных правил международных отношений — включая государственный суверенитет, исключительную территориальность, правовое равенство, секулярную политику, невмешательство, постоянную дипломатию, международное право, многосторонние конгрессы, — кодифицированные на Вестфальском конгрессе, фоном которого стало устранение феодальной гетерогенности и универсальной империи [Ruggie. 1986. P. 141–149; Kratochwill. 1986, 1995; Holsti. 1991. P. 20–21, 25–26; Armstrong. 1993. P. 30–40; Spruyt. 1994a. P. 3ff; Априги. 2007. С. 79–90; Burch. 1998. P. 89; Hall. 1999. P. 99; Buzan, Little. 2000. P. 4–5, 241–255]<sup>2</sup>. Соответственно, главную роль в качестве регулятора международных отношений стали играть межгосударственная анархия, силовая политика и баланс сил.

Но влияет ли этот сдвиг в структуре системы на геополитическое поведение? Парадоксальным образом, для неореалистов такой сдвиг не имеет большого значения, поскольку переход от феодальной анархии к межгосударственной анархии не предполагает никакого изменения базового структурирующего принципа международных отношений. Выполненный Фишером неореалистический анализ феодальной геополитики приводит к выводу, что «конфликтная и силовая политика является структурным

«К середине XVII века фактическая монополия государств на военную силу и их исключительное право на использование этой силы получили широкое распространение и были закреплены. Даже суверенные княжества анахроничной в историческом отношении Священной Римской империи получили право объявлять войны, открыто признанное в *Вестфальском мире*» [Holzgreffe. 1989. P. 22].

<sup>2</sup> Эти современные авторы, хотя и проявляют осторожность в вопросе об эпохальном значении 1648 г., не выдвигают претензий классическому описанию. См., например: «Мое исследование завершается к моменту Вестфальского мира (1648), когда формальное признание получила система суверенных государств» [Spruyt. 1994a. P. 27]. «Элементы суверенной государственности накапливались в течение трех веков, поэтому Вестфалия стала закреплением, а не творением *ex nihilo* нововременной системы» [Philpot. 2001. P. 77]. Два исключения можно найти в работах Реуса-Смита [Reus-Smit. 1999] и Осиандера [Oslander. 2001]. Но хотя в их исследованиях в качестве переходного столетия фигурирует XIX в., их объяснения ограничены однобокими «идеационными» конструктивистскими подходами.

условием международной сферы — действующим даже между индивидуумами, существующими в обществе без государства» [Fischer. 1992. P. 425]. Неореалистический тезис о базовой неизменности поведения конфликтующих единиц, независимого (при том условии, что международная система является многополярной и соответственно анархической) от их идентичности и социального устройства, препятствует признанию 1648 г. в качестве фундаментального разрыва в логике международных отношений. Вестфальские соглашения просто подтвердили вечную логику анархии. Игроки могли измениться, но их поведение осталось прежним. Напротив, конструктивисты подчеркивают, что нововременная анархия основана на принципе исключительной территориальности, которая сама отсылает к ранне-нововременному определению фундаментальных конститутивных правил общественной жизни (нововременная субъективность, права частной собственности и т.д.), которые изменили международные «правила игры». Хотя такое объяснение не отрицает конкурентную природу международных отношений в Новое время, оно претендует на открытие их «генеративной грамматики», а также допускает различия в международном поведении, примером которых является средневековая Европа. Однако поскольку модус территориальности для таких конструктивистов, как Ругги, является решающим критерием, актуальный процесс раскрытия границ и детерриториализации политического правления может стать подтверждением предполагаемого движения в сторону постмодернистской международной системы.

Моя интерпретация Вестфальского порядка приводит к радикально иным выводам. Мое утверждение сводится к тому, что явно ненововременные геополитические отношения между династическими и иными донововременными политическими сообществами были основной характеристикой Вестфальской системы. Хотя эти отношения были конкурентными, они не определялись ни структурной анархией, ни новым набором конститутивных правил, принятых в Вестфалии, ни исключительной территориальностью. Скорее, они коренились в капиталистических отношениях общественной собственности. Логика междинастических отношений структурировала ранне-нововременной геополитический порядок вплоть до неравномерного в региональном отношении и сильно затянувшегося перехода к нововременным международным отношениям в

XIX в.<sup>3</sup> Общественное устройство абсолютистской геополитической системы, ее способ действия и логика ее трансформации, однако, недостаточно хорошо понимаются в стандартных теориях МО, будь они (нео)реалистическими или же конструктивистскими. Отсюда следует, что, если европейская геополитика характеризовалась династическими принципами и после 1648 г., нам следует пересмотреть значение «вестфальской темы» как геополитического момента, поворотного для всего сообщества специалистов по МО.

Дальнейшее изложение зависит от трех базовых теоретических положений, относящихся к структуре, действию и трансформации геополитических порядков. Во-первых, хотя средневековая, ранненовоязычная и новоязычная геополитические системы в равной мере характеризуются анархией, они выражают фундаментально различные принципы международных отношений. Если принять нерелевантность анархии как критерия, различия в характере международных систем, политического режима акторов, составляющих их, форм конфликта и сотрудничества в них, могут теоретически объясняться на основе различных общественных отношений собственности. Последние составляют *основополагающее ядро* различных геополитических порядков. Говоря схематично, персонализированная, децентрализованная феодальная политическая власть была замещена персонализированным, но более централизованным абсолютистским правлением, которое в свою очередь было замещено деперсонализированным, централизованным капиталистическим политическим порядком, то есть новоязычным суверенитетом. Абсолютистский суверенитет, в противоположность новоязычному, по своему характеру был собственническим, персонализированным в правящей династии и укорененным в абсолютистских докапиталистических отношениях собственности.

Во-вторых, отношения собственности не только объясняют строение различных политических режимов и геополитических систем, но и порождают исторически ограниченные и антагонистические стратегии, которые управляют международными отношениями. Сохранение докапиталистических отношений собственности в государствах «Старого режима» предполагает,

<sup>3</sup> Анализ предложенного Марксом и Энгельсом описания международных отношений в XIX в. см.: [Soell. 1972; Teschke. 2001].

что воспроизводство династически-абсолютистских правящих классов по-прежнему управлялось логикой (гео)политического накопления. Династический суверенитет и геополитическое накопление определяли поведение в контексте ранненововременных международных отношений. Из собственной королевской власти вытекали практики построения империй, политические браки, войны за престолонаследие, династическое «международное» право, международный фаворитизм и междинастическое компенсаторное равновесие, которое устраняло более мелкие политические образования. Эти ключевые институты структурировали ранненововременные способы развязывания агрессии, разрешения конфликтов, а также модусы территориальности. Династические стратегии воспроизводства объясняют образ действия абсолютистской геополитической системы.

В-третьих, хотя различия международных систем могут быть в теории четко разграничены, историческая реконструкция сталкивается с проблемой объяснения сосуществования на протяжении одного временного промежутка разнородных международных акторов в так называемом «смешанном» сценарии. В период кризиса XVII в. неравные в региональном отношении решения внутренних классовых конфликтов и исходы геополитической борьбы за политически заданные права извлечения прибавочного продукта и прибылей привели к распространению важных изменений режима среди различных европейских государств. Результатом стала гетерогенная геополитическая система. Франция, Австрия, Испания, Швеция, Россия, Дания — Норвегия, Пруссия — Бранденбург и Папское государство были абсолютистскими. Священная Римская империя вплоть до 1806 г. оставалась конфедеративной выборной монархией. Голландские Генеральные Штаты стали независимой торгово-олигархической республикой. Польша была «коронованной аристократической республикой», а Швейцария — свободной конфедерацией кантонов. Когда итальянские торговые республики боролись против их превращения в монархию, Англия стала парламентской конституционной монархией, опирающейся на первую в мире капиталистическую экономику. И все же, несмотря на эти различия, ранненововременная международная система подчинялась немногим династическим государствам, обладавшим наибольшим политическим весом. Такое

описание геополитики, соответственно, не требует гомогенности составляющих ее компонентов и истолковывает Вестфальский порядок в качестве открытой системы, управляемой династическими государствами, в которых *поддержание системы и ее трансформация* находились в постоянном противоречии<sup>4</sup>.

## 2. СТРУКТУРА И СУБЪЕКТ ДЕЙСТВИЯ В ВЕСТФАЛЬСКОМ ПОРЯДКЕ

В этом разделе кратко повторяется связь между структурой абсолютистских отношений собственности и ранненовременным суверенитетом, а также демонстрируется, как эти отношения собственности определяют стратегии правящего класса, объясняющие международное поведение.

*Структура: абсолютистское государство,  
отношения собственности и экономическая стагнация*

Какова была элементарная структура общественных отношений собственности в континентальной западной Европе XVII в.? В пятой главе я показал, что в период между кризисами XIV и XVII вв. переход от феодального режима ренты к абсолютистскому налоговому режиму превратил фрагментированную средневековую власть в централизованный королевский суверенитет. «Раздробленный суверенитет» средневекового государства уступил место по-прежнему персонализированной, но более централизованной власти абсолютистского государства налогов/постов. Неполная, но все же реальная монополизация

<sup>4</sup> Хотя можно с некоторым правдоподобием утверждать, что «непохожие» акторы постепенно были «социализированы» и встроены в одну систему [Waltz. 1979], нам все равно надо будет понять (1) почему они сначала были гетерогенными, (2) почему на этот процесс социализации ушло несколько веков, (3) каковы точные механизмы подобной «адаптации», (4) к какому специфическому комплексу общества/государства они привели и (5) почему государства снова и снова пытаются порвать с этой системой или же превзойти и трансформировать ее (Европейский союз и т.п.). В равной степени ясно то, что предположение о «пассивно-адаптивном» процессе создания государств было бы несколько односторонним. Необходимо показать, как революционные государства — Англия XVII в. или Франция XVI в. — либо преобразовали саму природу системы, либо существенно изменили ее правила. Более полную концепцию «конкурентной гомогенизации» см.: [Halliday. 1994. P. 94–123].

королем средств насилия и прав присвоения — осуществившаяся через постоянную армию и централизованную систему извлечения прибавочного продукта путем налогообложения — лишила сеньоров прямых внеэкономических прав на извлечение экономических излишков. Однако абсолютистский суверенитет не привел к разделению частного и публичного, политики и экономики, поскольку был персонализирован королем в качестве наследственной собственности. Суверенитет «Старого порядка» означал собственническое королевство.

Однако можно ли рассматривать абсолютистское государство налогов/постов в качестве нововременного, несмотря на его докапиталистическое основание, как это часто делается в работах по теории МО [Ruggie. 1993; Spruyt. 1994a. P. 79; Hall. 1999. P. 78]? В политическом отношении превращение Франции из феодального государства в абсолютистскую монархию не означало установления нововременного суверенитета в той форме, в какой он определялся Максом Вебером [Вебер. 1990. С. 661–666]). Как было показано в пятой главе, работы, в которых была пересмотрена природа абсолютизма, доказали, что продаваемость постов, патронаж и система nepотизма блокировали формирование нововременной бюрократии и нововременных политических институтов. Налогообложение оставалось не единообразным. Освобождение знати от налогов предполагало отсутствие постоянных ассамблей представителей. Суд стал источником nepотизма, интриг, sinecur и предвзятости. В различных регионах и для различных по статусу групп действовали разные законы. Не существовало нововременной системы государственных финансов. Средства насилия не были монополизированы государством, а стали личной собственностью короля, который продавал армейские посты наследственным офицерам. Наемничество еще в большей степени подорвало притязания короля на монопольное использование силы. А государственной экономической политикой докапиталистического государства стал меркантилизм. Короче говоря, во Франции раннего Нового времени не было никаких институциональных признаков нововременного государства.

В экономическом отношении, потеря сеньорами своих феодальных прав привела к отмене крепостничества и фактическому крестьянскому землевладению. Непосредственные производители не находились под прямым давлением рынка, а



по-прежнему производили главным образом для выживания. Именно потому что крестьянство еще не было отделено от собственных средств выживания и не подчинялось рыночным императивам, присвоение прибавочного продукта по-прежнему осуществлялось внеэкономическими средствами в сфере перераспределения, а не в сфере самого производства. Следствием стало то, что конкурентная логика капитализма не могла установиться в сельском хозяйстве, что привело к экономической стагнации.

*Субъект действия: политические  
и геополитические стратегии накопления*

Как эта структура собственности выражается в международном поведении? При докапиталистических аграрных отношениях собственности стратегии правящего класса оставались привязанными к логике «политического накопления», обусловленной инвестициями в средства присвоения. Эти стратегии аналитически можно разделить на (1) произвольное, принудительное и карательное налогообложение крестьянства и (2) продажу постов, профессиональных монополий и государственные займы. Во внешнеполитическом отношении этим стратегиям соответствовало (3) геополитическое накопление посредством войн и династических браков, а также (4) несправедливый обмен, поддерживаемый и внедряемый политическими средствами, то есть благодаря королевской торговле торговыми чартерами, продаваемыми привилегированным купцам. Стратегии (3) и (4) являются необходимым внешнеполитическим дополнением внутренних стратегий (1) и (2). Следовательно, двумя главными источниками войн были династические территориальные претензии и торговые монополии вместе со связанными с ним торговыми путями.

(Гео)политические стратегии накопления диктовались зависимостью политического общества от благосостояния короля, который должен был удерживаться на вершине правящих классов. В той степени, в которой монархи непрестанно боролись ради поддержания и усиления своей власти внутри страны, устраняя очаги сопротивления, они были вынуждены вести агрессивную внешнюю политику. Она позволяла им удовлетворять территориальные претензии собственных семей, вы-

плачивать долги, реализовывать потребность в социальной мобильности «сидячей» армии чиновников и «постоянной» армии офицеров, а также разделять военные трофеи среди постоянно растущего числа клиентов, финансистов и придворных фаворитов [Malettke. 1991]. Эти элиты, в свою очередь, связывали свое процветание с королем-военачальником, если только он соблюдал абсолютистский исторический компромисс, требовавший освобождения знати от налогов, выплачивал долги и предлагал возможности для социального продвижения и геополитических приобретений. Другими словами, геополитическое накопление было необходимо для расширенного воспроизводства правящих классов, вращающихся вокруг монарха, находящегося на вершине социальной иерархии. Фронда (1648–1653 гг.) показывает, что случалось, когда абсолютистские правители не выполняли своих обязанностей.

Логика (гео)политического накопления запустила серию формирующих, отнимающих и укрепляющих государства войн, которые объясняют частоту и интенсивность сражений в эпоху абсолютизма. Однако эти процессы стимулировали формирование абсолютистского, а не нововременного государства. С конца XV в. до Наполеоновских войн лишь несколько лет в Европе прошли без вооруженной борьбы [Krippendorff. 1985. S. 277; Burkhardt. 1992. S. 9–15]. Куинси Райт утверждает, что в 1480–1550 гг. состоялось 48 важных сражений, 48 — в 1550–1600 гг., 116 — в 1600–1650 гг., 119 — в 1650–1700 гг., 276 — в 1700–1750 гг. и 509 — в 1750–1800 гг., тогда как в XIX в. мы наблюдаем резкое снижение числа военных действий [Wright. 1965. P. 641–644]<sup>5</sup>. Таким войнам часто предшествовали внутренние конфликты и гражданские войны. Также они и следовали за ними. Хотя феодальная эпоха, которая продлилась, если говорить в общем, до создания «новых монархий» XV в., в равной мере представляла собой военную культуру, основанную на политическом накоплении, эпоха абсолютизма привела к радикальному увеличению частоты, интенсивности, длительности и объема военных конфликтов. Кроме того, средневековые междоусобицы, кампании сеньоров, рыцари и вассальные армии не шли ни в какое

<sup>5</sup> Хотя статистика, приводимая Куинси Уайтом, вызывает некоторые вопросы, она демонстрирует вполне явную тенденцию.

сравнение с военной деятельностью обширных и лучше организованных государств, постоянно находящихся в состоянии войны и беспрестанно наращивающих собственные армии, что вело к росту военных издержек и увеличению уровня извлечения прибавочного продукта через налогообложение<sup>6</sup>.

Успех всех четырех стратегий обеспечения доходом зависел от баланса сил между производящими и непроизводящими классами. Именно он определял уровень налогов и, соответственно, объем ресурсов, доступных для войны. Во всех стратегиях приоритет отдавался инвестированию в средства насилия — то есть созданию постоянных армий, военно-морского флота и военизированных купеческих флотов, а также полицейских сил, — а не инвестированию в средства производства. Именно давление (гео)политического накопления, а не систематическая геополитическая конкуренция *per se*, объясняет силовой характер международных отношений в период раннего Нового времени. Именно эти конфликты внутри правящего класса стимулировали военно-технологические инновации, связываемые с «Военной революцией», а не какое-то автономное военнотехническое развитие. Наконец, именно классовый конфликт объясняет формирование абсолютистского государства, а не выписанная Хинце логика международного соперничества, систематизированная Чарлзом Тилли в тезисе «государства устраивают войны, а войны выстраивают государства» [Hintze. 1975a, 1975b; Tilly. 1985]. Однако эти факторы не объясняют развития капитализма или нововременного государства. Поглощение экономических излишков непроизводительным аппаратом насилия и демонстративного потребления воспроизводило карательную в политическом отношении и экономически саморазрушительную логику абсолютистского военно-налогового государства [Bonney. 1981].

В силу наличных общественных отношений собственности и неустойчивости национального дохода, ограничивающей возможности расширенного воспроизводства через (гео)политическое накопление, абсолютизм не только проявлял хищнические черты внутри государства, но и выстраивал структурно

<sup>6</sup> Количественные данные о государственных доходах и расходах в различных европейских регионах и, соответственно, доле военных расходов см.: [Bonney. 1995, 1999].

агрессивную, завоевательную, экспансивную внешнюю политику. Следовательно, установление государства, находящегося в постоянном состоянии войны, а также интенсификация и учащение военных действий не могут сводиться к простой территориальной смежности унитарных государств, занятых максимизацией своей власти и стремящихся к безопасности, или же к определенным кодексам интересубъективных норм. Они были связаны с внутренней структурой докапиталистических политических образований.

Собственническое королевство предполагало, что публичная и, *a fortiori*, внешняя политика проводилась во имя не *raison d'État* или национального интереса, а в интересах династии. Именно в дипломатических и внешнеполитических делах монархи были в наибольшей степени заинтересованы в навязывании своих «личных правил», договариваясь о своих личных правах на суверенитет с коллегами-монархами.

Таким образом, государственный интерес тесно связывал государство с его монархом и династией, а не с народом или национальностью; подобная связь только начала появляться в некоторых странах. Представление Людовика XIV о государстве как собственности династии (*L'État, c'est moi*) по-прежнему превалировало в большей части Европы, и, хотя просвещенческое понятие монарха как главного слуги государства начало распространяться, на практике это мало что значило, особенно в сфере внешней политики [Schroeder. 1994a. P. 8] (см. также: [Symcox. 1974. P. 3]).

Итак, вместо того, чтобы вскрывать ранние признаки первого нововременного государства, хронологически сдвигающегося ко все более далекому прошлому — обычно к абсолютистской Франции или к «протоновременным» торговым республикам Италии времен Возрождения или Голландии XVII в., — что соответственно отодвигает дату возникновения нововременной системы государств, — в этой главе предпринимается попытка выяснить, как долго европейская международная политика управлялась практиками и принципами, которые целиком и полностью оставались вписанными в докапиталистические общественные отношения. Несмотря на «поверхностную современность» ранненовременных международных отношений, их основа выдает большее родство со Средневековьем.

### 3. ВЕСТФАЛЬСКИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КАК СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ДИНАСТИЙ

Собственническое королевство предполагало, что социальные отношения в рамках международного взаимодействия в значительной степени отождествлялись с «личными» семейными делами монархов. Биологически детерминированные превратности династических генеалогий и воспроизводства семей — такие, как проблемы престолонаследия, браков, разводов, наследства и бездетности — не просто «отражались» на чисто политических механизмах баланса сил или же подрывали рациональность интерсубъективных соглашений: они определяли саму природу ранненововой политики. Поскольку суверенность передавалась по праву рождения, секс, как Маркс утверждал в своей критике гегелевской «Философии права», имел непосредственно политическое значение: «Высшим конституционным актом короля является поэтому его деятельность по воспроизведению рода, ибо ею он и производит короля и продолжает свое тело» [Маркс, Энгельс. Т. 1. С. 264–265]. Таково значение суверенитета по праву рождения, которую высмеял Маркс: «Его Величество — суверенитет!». Поскольку публичная политическая власть оставалась персонализированной, европейская политика была делом не государств, а их правящих семейств. «Собственнический династизм в обычные времена в наибольшей степени проявлялся в способе ведения иностранных дел, которые слишком очевидно касались интересов семьи» [Rowen. 1980. P. 34–35]<sup>7</sup>. Однако поскольку все династические правящие классы занимались хищнической внешней политикой, немонархические государства были вынуждены подстраиваться к конкурентным схемам междинастических европейских отношений, поскольку в противном случае таким государствам грозило исчезновение. Ограниченная рациональность индивидуальных акторов стала определять иррациональность системы в качестве игры с нулевой суммой, призом которой были права на территории.

<sup>7</sup> «Как только мы поймем, что государство было частью наследственной собственности особой семьи, легче будет оценить династические основания войны и дипломатии в XVII–XVIII вв.» [Symcox. 1974. P. 5] (см. также: [Маркс, Энгельс. Т. 12. С. 98–104]).

*Monarchia Universalis: равенство или ранжир?*

В условиях политической экономии, задающей территориальность как естественную монополию, в контексте докапиталистических аграрных отношениях собственности основные концепции геополитического порядка в монархических государствах продолжали вращаться вокруг понятий универсализма и иерархии — причем и тогда, когда после 1648 г. прошло достаточно много времени [Burkhardt. 1992. S. 30–63; 1997; Bosbach. 1986. S. 12; Hinsley. 1963. P. 167ff]. Этимологически монархия означает «единовластие», поэтому распад *res publica christiana* на множество монархий понимался как противоречие в определении. Хотя в конце XVII в. дискурс баланса сил постепенно начал отвоёвывать права у идеи универсальной монархии, так что на протяжении всего этого периода два этих принципа постоянно сталкивались друг с другом, объяснения требуют именно устойчивость идей универсализации. Как я покажу позднее, в тот же период междинастические отношения и связанные с ними интересы к универсализации не привели автоматически к балансу сил, а породили особую династическую практику формирования равновесия посредством исключения<sup>8</sup>.

Устойчивые практики и дискурсы имперской внешней политики делают недействительным любой обычный аргумент, предполагающий, что вестфальские политические акторы считали друг друга равными или же признавали легитимность данного территориального порядка. Франция претендовала на роль *arbitre de l'Europe*, Австрия считала себя *caput mundi*, а Швеция — *dominium maris baltici*<sup>9</sup>. Петр Первый присвоил латинский термин «*imperator*», который Габсбурги считали своим исключительным титулом. Сжатие множества феодальных пирамидальных политических образований и их включение в наличные суверенные монархии само по себе не означало общего принятия после Вестфальского соглашения формального равенства конфликтующих сторон. Дело состояло прямо противоположным образом: «Ранг индивидуальных мо-

<sup>8</sup> Моргентау указывает, что целью уравнивания сил является «стабильность плюс сохранение всех элементов системы» [Morgenthau. 1985. P. 189]. Анализ автоматической концепции баланса сил см.: [Waltz. 1979].

<sup>9</sup> *Arbitre de l'Europe* (фр.), *caput mundi* (лат.), *dominium maris baltici* (лат.) — «судья Европы», «глава мира», «властелин Балтийского моря». — *Примеч. пер.*

нархов и соответствующий статус их государств были ключевыми параметрами ранненовременных международных отношений» [Oresko, Gibbs, Scott. 1997. P. 37]<sup>10</sup>. Споры относительно статуса в дипломатических переговорах стали симптомом сохранения иерархических концепций межгосударственной организации. Такая иерархия не равнозначна введенному в теории МО понятию иерархии, предполагающему полное подчинение, а означает династическое соглашение, которое поддерживало формальное неравенство членов междинастического общества. Хотя многие государства были «суверенными», некоторые были не столь суверенными, как другие. Это неравенство — не следствие фактического неравенства возможностей государств, сводимых к неюридическим различиям на крупные, средние и мелкие державы, а общепризнанная международная норма, проистекающая из статуса правителя [Luard. 1992. P. 129–148].

В результате ранжирования все суверены были выстроены по вертикали. Императору Священной Римской империи выделялось почетное место, за которым следовал «самый христианский король», то есть король Франции. Как правило, наследственные монархии располагались выше избираемых, а республики — ниже монархий, за республиками следовали некоролевские аристократии и свободные города. Статус Англии был серьезно понижен в результате формирования правительств Английской республики. Серьезные конфликты по поводу статуса возникали тогда, когда обнаруживалось фактическое несоответствие между значением и титулом государства, как, например, в случае Голландии и Венеции. Принятие Петром Первым императорского титула в 1721 г. вызвало значительное недовольство не только в Вене, но также и в Британии, которая признала этот титул только в 1742 г., и во Франции, последовавший примеру Британии в 1745 г. К концу XVII в. многие немецкие правители стремились получить королевский титул, поскольку статус герцога или *курфюрста* (электора) все больше вытеснял их из международной политики. И если Гогенцоллернам, Веттинам,

<sup>10</sup> «Иерархическая организация государств принималась всей Европой в качестве самоочевидной, то есть в качестве непосредственного выражения силы и престижа, так что осуществить изменения было непросто» [Hatton. 1969. P. 157] (см. также: [Wight. 1977b. P. 135; Osiander. 1994. P. 82–89]).

Виттельбахам и Вельфам это удалось, остальным пришлось смириться со своими более скромными титулами. Беспокойство по поводу репутации и достоинства нельзя списать со счетов как некую церемониальную причуду. Оно было производной конкуренции за статус и ранг в династическом международном обществе, для которого иерархия по-прежнему была весьма значимой. Место на дипломатической встрече во втором ряду означало согласие занявшего его с собственным более низким статусом, что могло иметь значение в спорах о наследствах. Поэтому нас не должно удивлять то, что династические дискурсы были перегружены понятиями репутации, чести и достоинства. «В эпоху, когда правители считали свои государства личной семейной собственностью, они неизбежно должны были подчеркивать собственную честь, репутацию и престиж. Это также объясняет, почему международные споры по больше части вызывались династическими притязаниями» [McKay, Scott. 1983. P. 16].

*Брак «государств» с «государствами»:  
династические союзы и войны за престолонаследие*

В схемах конфликта и сотрудничества в раннее Новое время доминировали две противоположные практики. С одной стороны, собственническое королевство склоняло к династическим бракам как к политическому инструменту приобретения территорий и накопления богатств. «Государство задумывалось как вотчина монарха, и, соответственно, право на него могло быть получено путем союза личностей: *felix Austria*. Высшим изобретением дипломатии был, следовательно, брак — мирное зеркало войны, которое очень часто ее провоцировало» [Андерсон. 2010. С. 37]. Междинастические браки не просто служили характеристикой «международных» отношений, они определяли самую быструю и самую дешевую стратегию правителя. Это был геополитический порядок, в котором «государства» могли жениться на «государствах». И даже в 1795 г. Иммануил Кант в своем эссе «К вечному миру» счел необходимым потребовать, чтобы «ни одна независимая нация [*Staat*], будь она большой или малой, не могла приобретаться иной нацией в результате наследования, обмена, покупки или дара». В этом тексте Кант указывает на самую обычную практику территориального приобретения, распространенную при «Старом порядке». По его словам,



...общеизвестно, какую опасность создает в наше время для Европы (другие части света никогда не знали ничего подобного) такой способ приобретения, когда даже государства вступают в брак; он известен каждому, с одной стороны, как вновь изобретенный ловкий способ без затраты сил увеличить свое могущество благодаря семейным союзам, с другой стороны, как средство расширить свои владения [Кант. 1963. С. 260].

Общеизвестный афоризм «*Tu, felix Austria, nube!*»<sup>11</sup> был не только политической максимой для *casa d'Austria*<sup>12</sup>. Брачное накопление королевских и благородных титулов вело к личным союзам, которые «собирали» весьма разнородные в социальном и географическом отношении территории в единое политическое пространство. Европейские политические образования были делом их правящих домов — Габсбургов, Бурбонов, Стюартов, Гогенцоллернов, Романовых, Вазов, Оранских-Нассау, Виттельсбахов, Веттинов, Фарнезе и т.д. [Weber. 1981]. Политические браки не оставались приемом только лишь правящих династий, но также распространились среди высших эшелонов аристократии, что создало беспорядочное множество перекрестных, транснациональных знатных союзов [Parrott. 1997]. Наконец, главные министры также участвовали в дипломатических браках, в которых они преследовали интересы собственных семей, уравновешивая их интересами королевского государства (о Ришелье см.: [Bergin. 1985]; о Мазарини см.: [Oresko. 1995]).

С другой стороны, сложившаяся общеевропейская сеть трансрегиональных династических союзов содержала семена беспорядка, раздробления и дестабилизации. «Частные» межсемейные и внутрисемейные споры, несчастные случаи или болезни сразу же транслировались в «публичные» международные конфликты [Kunisch. 1979]: «Поскольку при абсолютизме только правитель гарантировал династическое единство собственной территории, его смерть автоматически вела к системному кризису» [Czempiel. 1980. S. 448]. Системный кризис следовал не только за смертью правителя. Значительное число семейных проблем, то есть структурно воспроизводящихся случайно-

<sup>11</sup> «*Tu, felix Austria, nube!*» (лат.) — «Ты, счастливая Австрия, заключай браки», часть фразы «*Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube*» («Пусть другие введут войны; ты, счастливая Австрия, заключай браки»). — *Примеч. пер.*

<sup>12</sup> *Casa d'Austria* (итал.) — «австрийский дом». — *Примеч. пер.*

стей, постоянно потрясали межгосударственную систему до ее основания. Конец одной династии и восхождение новой на трон почти автоматически влекло общую перестройку системы союзов. Несовершеннолетние наследники тронов провоцировали притязания со стороны иностранных правителей или же захват сферы внешней политики сильными министрами. Регентство образовывало опасный вакуум власти, заполнить который стремились могущественные царедворцы или же королевы-матери, которые, если они были иностранного происхождения, отдавали важные посты и позиции своим фаворитам, прибывавшим с их родины. В случае разводов количество конкурентных притязаний на трон и территории резко увеличивалось. Многочисленные браки с множеством наследников породили проблемы старшинства. Незаконные отпрыски также претендовали на наследство. В случае же бездетных браков отсутствие прямого наследника мужского пола, как и психическое или физическое нездоровье, обусловленное историей близкородственных браков, как внутри страны, так и между династиями, возникали споры относительно законности притязаний на трон.

Разногласия относительно прав на наследство обычно решались войной. После меркантилистских торговых войн войны за престолонаследие и вообще за наследство стали господствующей формой международного конфликта. Однако поскольку споры династий, опосредуемые сетью междинастических отношений, автоматически затрагивали почти все европейские государства, любой кризис, связанный с наследством, легко мог превратиться в многосторонний, общеевропейский конфликт. Война за польский престол (1733–1738 гг.) накануне смерти польско-саксонского короля по большей части не относилась к вопросам Польши, а была инициирована Францией, стремившейся вернуть свои владения, существовавшие у нее до Утрехтского договора. Смерть не имевшего сыновей императора Карла IV вызвала Войну за австрийское наследство (1740–1748 гг.) несмотря на Прагматическую санкцию. Смерть не имевшего наследников Баварского электора Макса Йозефа в 1777 г. вызвала войну за баварское наследство (1778–1789 гг.), в которой Пруссия и Австрия боролись за территорию, лишенную короля. В 1700 г. смерть бездетного испанского короля Карла II и решение Людовика XIV отдать Испанскую империю своему внуку Филиппу Анжуйскому стало причиной войны за испанский

престол (1702–1713/1714), в которой участвовали все крупные западно- и центральноевропейские державы. С современной точки зрения иронией всемирной истории может показаться то, что болезнь ребенка Карла II Испанского, а также его последующее выздоровление и выживание отсрочили разделение мира на тридцать лет. Однако эти «безумства» были жестко вписаны в собственническую структуру династической системы государств. Пока собственническое королевство оставалось доминирующим в Европе политическим режимом, международные отношения структурировались главным образом междинастическими семейными отношениями.

### *Династические правила престолонаследия как международное публичное право*

Из-за превратностей отношений династических семей фиксация правил престолонаследия и передачи наследства стала вопросом международного значения; их кодификация, признаваемая на международном уровне, была формой предупредительного действия. Но, вопреки конструктивизму, исчерпывающее понимание этих конститутивных правил требует вначале распознать общественные условия династического суверенитета. В этом контексте «частное» семейное право стало неотъемлемой частью не только конституционного права, но и международного публичного права, то есть крайне важным для европейских правителей вопросом. Конституционные правоведы больше изучали династические генеалогии, а не положительные принципы конституционного и международного права. В самом деле, последнее может быть прочитано в качестве каталога первого<sup>13</sup>. То есть пристальное внимание правящих домов к принципам

<sup>13</sup> Переход от средневекового *ius gentium* [права народов] к ориентированному на Испанию *ius inter gentes* [международному праву] и французскому *droit public de l'Europe* [публичному европейскому праву] так и не привел к установлению корпуса общих абстрактных норм международного права [Grewe. 1984. S. 420–422]. Эта неспособность была обусловлена персонализированной природой династического суверенитета. В результате накопления частных мирных договоров, торговых соглашений, а также договоров о коалициях в международном праве раннего Нового времени были, по существу, закреплены именно межличностные отношения, существовавшие в европейском классе правителей.

регулирования престолонаследия включалось в сознательную стратегию разрешения структурно воспроизводимых конфликтов по поводу собственности. Наследственное право стало осью абсолютистского государственного интереса и вообще абсолютистской системы государств [Kunisch. 1979, 1982] (см. также: [Czempiel. 1980. S. 447; Grewe. 1984. S. 48–339]).

Наведение порядка в этих деликатных вопросах требовало, однако, того, чтобы монархи были лишены контроля над собственным завещанием и отдали его кодифицированной системе права и законов о престолонаследии, образующих корпус так называемых «фундаментальных законов» (*loix fondamentaux*). В Дании после опасных для государства Северных войн (1655–1660 гг.) *Lex regia*<sup>14</sup> 1665 г. стал основанием для принципа мужского первородства и неделимости территориальных владений. Непрерывность династии, а не случайная воля монарха должна была гарантировать целостность территории, как и политическую стабильность. С этой точки зрения суверенитет обеспечивается династией, а не отдельным монархом. Здесь мы видим, таким образом, попытку подчинить причуды частного семейного права более устойчивым принципам *raison d'État — lex fundamentalis et immutabilis*<sup>15</sup>. Таково было намерение, а реальность, конечно, от него сильно отличалась именно потому, что собственнический характер королевства не был преодолен, и ни один институт не был достаточно могущественным для того, чтобы карать за нарушения закона, после того, как сословия предоставили королю абсолютный суверенитет. Конституционная семантика стабильности, определяющая суверенитет в качестве неотчуждаемого, неограниченного, неотзываемого, неделимого и не погашаемого сроком давности, снова и снова сталкивалась с внутренне неустойчивой династической практикой.

Я позволю себе проиллюстрировать провал правил династического престолонаследия, сославшись на знаменитую австрийскую Прагматическую санкцию 1713 г. [Kunisch. 1979. S. 41–74; McKay, Scott. 1983. P. 118–177; Duchhardt. 1997. P. 79]. Монархия Габсбургов, в отличие от Франции, была монархическим союзом, который объединял три различных территориальных ком-

<sup>14</sup> *Lex regia* (лат.) — королевский закон. — Примеч. пер.

<sup>15</sup> *Lex fundamentalis et immutabilis* (лат.) — фундаментальный и неизменный закон. — Примеч. пер.

плекса с разными законами престолонаследия. После истории Испанской войны за престол, разделения Испанской империи и отсутствия наследника мужского пола у Карла IV Прагматическая санкция унифицировала и зафиксировала новые правила престолонаследия по женской линии. Женское престолонаследие должно было обезопасить огромные территориальные приобретения Карла IV. К принятию Прагматической санкции стремились не только австрийские сословия и германский имперский рейхстаг, но и крупные европейские династии, желавшие дипломатически гарантировать собственность дома Габсбургов. Международное признание было достигнуто благодаря серии двусторонних договоренностей, которые в действительности включили Прагматическую санкцию в *Ius Publicum Europaeum*. Согласуясь с собственническим характером публичной власти, эти двусторонние соглашения в случае их принятия странами-контрагентами предполагали компенсацию со стороны Австрии — серию территориальных «обменов», предоставление прав на управление отдельными территориями и гарантийных обязательств.

Пруссия признала Прагматическую санкцию в 1728 г. в ответ на принятие Австрией Прусских правил престолонаследия и поддержку Австрией притязаний Пруссии в споре о территориях Юлих-Берга против претензий баварского дома Виттельсбахов. Дания-Норвегия (в 1732 г.), Испания (в 1731 г.) и Россия (в 1732 г.) последовали этому примеру в ответ на то, что Австрия признала правила престолонаследия, принятые в каждой из этих стран. В 1731–1732 гг. морские державы Британия и Голландские Генеральные Штаты — согласились гарантировать неприкосновенность Прагматической санкции, подписав Второй Венский договор под теми условиями, что (1) дочь австрийского императора Мария Терезия не выйдет замуж за принца-Бурбона, (2) ни один австрийский подданный не будет торговать с Восточной Азией и (3) австрийская Остендская компания будет распущена. В 1732 г. германский имперский рейхстаг признал австрийские законы престолонаследия вопреки голосам Баварии и Саксонии. Франция, вероятно, более активно сопротивлялась Прагматической санкции, пока в 1738 г. не признала ее в обмен на то, что бывшие ранее австрийскими королевства Неаполь и Сицилия отошли Испании.

Однако после смерти Карла VI в 1740 г. сложнейшая дипломатическая и территориальная конструкция, постройкой ко-

торой руководил Уолпол, пошатнулась, предчувствуя кризис престолонаследия, возникший между двумя линиями дома Габсбургов. Образовавшийся вакуум власти был заполнен прусским Фридрихом II, который, представив ситуацию в качестве «*conjoncture favorable*»<sup>16</sup>, вторгся в австрийскую Силезию зимой 1740/1741 гг., не предъявляя, однако, династических претензий на австрийский трон, а просто из недовольства решением Карла VI лишить Пруссию права на трон Юлих-Берга. Испания потребовала Тосканию и Парму. Бавария снова возобновила свою претензию на имперский титул и совершила попытку завоевать Богемию, тогда как Франция начала игру с Австрийскими Нидерландами. Фактически, все австрийские земли рассматривались европейскими династиями как собственные семейные владения. Были мобилизованы самые сомнительные права на эти земли, и распад Австрии стал казаться неминуемым. В отсутствие международного суда по семейному праву борьба за наследство превратилась в общеевропейский вооруженный конфликт. Несмотря на название, Война за австрийское наследство была главным образом франко-британской войной за европейскую гегемонию. И хотя Франция стремилась к традиционному территориальному империализму, у Британии не было прямых территориальных целей, однако она предоставляла значительные субсидии антифранцузской коалиции [McKay, Scott. 1983. P. 172]. Потребовалось восемь лет на то, чтобы урегулировать споры посредством Аахенского мира (1748 г.), в котором был кодифицирован территориальный *revirement*<sup>17</sup>, тогда как Мария Терезия потерпела ущерб, но не поражение.

В общем, совокупность правил престолонаследия образовала «скрытое» европейское «публичное» международное право. Тот факт, что правила престолонаследия и схемы разделения территорий часто определялись тайно в качестве элемента *arcana imperii*<sup>18</sup>, не способствовал стабилизации европейской политики. Конфликты по поводу наследства не всегда становились непосредственным *casus belli*<sup>19</sup>, однако они создали дискурс ле-

<sup>16</sup> *Conjoncture favorable* (фр.) — благоприятное стечение обстоятельств. — Примеч. пер.

<sup>17</sup> *Revirement* (фр.) — перелом. — Примеч. пер.

<sup>18</sup> *Arcana imperii* (лат.) — государственные тайны. — Примеч. пер.

<sup>19</sup> *Casus belli* (лат.) — повод для объявления войны. — Примеч. пер.

гитимности, в который были погружены многие декларации войн и мирные соглашения. Хотя язык, использующийся для легитимации вторжений и завоеваний, обрамлялся терминами, отсылающими к законности, военный конфликт являлся конечным регулятором абсолютистской системы «государств». Поскольку главным и основным источником доходов была территория, «политическая Европа напоминала карту поместья, а война была общественно приемлемой формой приобретения собственности» (Hale, цит. в: [Bonney. 1991. P. 345]). Кризисы династического престолонаследия, обусловленные собственническим характером королевской власти, и воспроизводящиеся кризисы европейской системы государств оставались нормой, пока государства не были деперсонализированы, то есть пока новый режим собственности не деприватизировал политическую власть.

#### 4. ЦИРКУЛЯЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИНЦЕВ

В соответствии со стандартным описанием в теории МО, нововременная система территориальных государств покоится на определенной конфигурации территориальности, структурируемой взаимоисключающими, географически фиксированными, ясно определенными и функционально подобными политическими пространствами [Gilpin. 1981. P. 121–122; Giddens. 1985. P. 89–91; Ruggie. 1993; 1998. P. 875–876; Spruyt. 1994a. P. 153–155]. Сборка нововременной территориальности следует из схождения прав на частную собственность, разделения публичного и частного пространства, а также монополизации суверенного права на легитимное использование насилия — схождение этих факторов породило якобы пространственную демаркацию сфер внешней и внутренней политики, легитимированную взаимным международным признанием. С этой точки зрения генезис нововременной системы государств относится к периоду между Ренессансом и эпохой барокко [Kratochwill. 1986. P. 51; Ruggie. 1993; Luard. 1992. P. 174–184]<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Странно наблюдать то, как богатый исторический материал, приводимый Люардом, обесценивает его главный аргумент, а именно тот, что «1648 год стал началом совершенно иной эпохи», когда «между суверенными государствами началась конкуренция — за территорию, статус и силу» [Luard. 1992. P. xii].

Однако собственническое королевство предполагало совсем иную территориальную логику, которая управляла пространственной конфигурацией ранненововой геополитики. Территориальность оставалась производной частных династических практик накопления территорий и их оборота, что нарушало базовое тождество государства и определенной территории. Поскольку абсолютистский суверенитет был несовершенным, причем сохранялись феодальные и наследственные практики, территория по-прежнему была неисключительной и неединообразной в административном отношении. Разнородность ранненововой суверенных акторов — наследственных и выборных монархий, торговых республик, конфедераций, аристократических республик, конституционных монархий, городов, сословных государств — исключала их функциональное подобие, не говоря уже о равенстве. Следовательно, формирование нововой системы государств, основанной на исключительной территориальности, управляемой деперсонализированным государством, следует отнести к XIX в.

Династическая структура межгосударственных отношений непосредственно влияла на изменчивую географию территориальности. Политика междинастических семейных отношений вела к созданию территориальных образований, охватывающих весьма разрозненные регионы — особенно в случае династических союзов, — что определило логику территориального (бес)порядка и поставило под вопрос принцип непрерывности территории и ее стабильность. Матримониальные стратегии и практики наследования, опосредуемые войной, вели к постоянному перераспределению территорий между европейскими принцами. Постоянство территории поэтому исключалось. Единство территории означало не более чем единство ее правящего дома, персонифицированного главой династии. Сохранение территории во времени совпадало с мягкой передачей титула суверена от одной главы династии к другой. Любая вакансия внутри династии угрожала целостности территории монархии и создавала поле для притязаний иностранных правящих семей. Территория не задавала суверенитет, а служила имущественным приложением к династии. Поэтому она вручалась и передавалась в международных отношениях в качестве экономического актива — доступного для передачи по наследству, выплаты компенсаций, для осуществления обменов, предоставления гарантий, передачи, дарования, разделения, контрибуции, возме-



щения, продажи и покупки [Arentin. 1981; Grewe. 1984. S. 462–463; Klingenstein. 1997. P. 442]. Именно династические интересы, а не интересы нации или государства, определяли логику ранненововременной территориальности [Mattingly. 1988. P. 108–109, 117–118; Schroeder. 1994. P. 8].

Однако единство дома не совпадало с географической непрерывностью его земель. Хотя номинально эти территории были «связанными» в том смысле, что они принадлежали одному суверену, реально они были географическими конгломератами, управляемыми разными правовыми кодексами и налоговыми режимами, размечая таким образом пестрое одеяло династической карты Европы. Ранненововременная Европа была системой «композитных монархий» [Elliott. 1992] (см. также: [Holsti. 1991. P. 51]). В то же время постоянное изменение размера ранненововременных «государств» усугубило проблему единства управления. Австрия, Испания, Швеция, Россия и Пруссия выступают в качестве примера раздробленной и бессвязной мозаики ранненововременной территориальности, в которой объединены разнообразные в этническом отношении провинции, у которых нет ничего общего, кроме их правителей. Например, в 1792 г. было подсчитано, что «территории, на которых правил Австрийский дом, включали семь королевств, одно архигерцогство, двенадцать герцогств, одно великое герцогство, два маркграфства, семнадцать графств [*Grafchaften*] и четыре сеньории. Порядок их перечисления сам был значим, поскольку географы и статистики придерживались строгой системы рангов, продиктованной феодальной иерархией» [Klingenstein. 1997. P. 449]. Эти территории не образовывали географического континуума и управлялись в соответствии с принципами *aeque principaliter*, то есть за каждым регионом сохранялась его обычная правовая система [Elliott. 1992. P. 52, 61]. Создание географически компактных территорий и их административная унификация снова и снова подрывались превратностями династических отношений и произошедшими из них войнами. Соответственно, по сути, ранненововременная территориальность не предполагала государственной централизации, не была национальной, этнической, деноминационной, геостратегической, топографической, культурной или лингвистической конструкцией, оставаясь неоформленным результатом династических брачных политик и поддерживаемого войнами перераспределения территорий.

Династицизм не требовал органического тождества государства и его территории. Государство не имело собственной, его определяющей территории, которая была бы независима от прав определенной династии на данную территорию; государственная территория зависела от действий монарха. То есть она являлась совокупностью накопленных прав на определенные области, которые связывались воедино в форме собственного королевства [Sahlins. 1990. P. 1427]. Это базовое несовпадение территории и государства отражало подвижность феодальных сеньоров, которые с готовностью приобретали права на владения в самых разных областях, перенося свои фамильные усадьбы из одного конца Европы в другой. Хотя частота смен династий уменьшилась в результате все большего юридического и институционального укоренения династий в «своих» государствах, суверенитет все равно не был привязан к абстрактному государственному аппарату, а перемещался вместе с Коронай. Земли предков Габсбургов находились в северо-восточной Швейцарии, однако династия пришла к власти в Вене и Мадриде. Гогенцоллерны начинали в Вюртембурге, однако свои территории они накопили в районе Кенигсберга и Берлина после того, как семья взошла на прусский трон. Хотя Бурбоны происходят из Наварры, свой двор они обосновали в Версале, а после Утрехтского договора одна ветвь семьи переместилась в Мадрид, чтобы править тем, что осталось от Испанской империи. Когда шотландские Стюарты отправились в изгнание, Оранские из Голландии взошли на трон в Лондоне, хотя претензии высказала и Ганноверская династия из северной Германии. Савойский дом происходил из Шамбери, однако «нашел» трон и основал двор в Турине. В принципе, династии не испытывали никаких затруднений с «нахождением» для себя новых тронов. Престолонаследие, браки, выборы и завоевания были обычным средством приобретения нового королевства. Территории часто и вполне законным образом меняли своих правителей.

Несовершенная персонализированная природа династического суверенитета, как и накопительная логика приобретения территорий, предполагала отсутствие административного единообразия. Даже в предположительно наиболее успешной модели политической централизации, во Франции, благодаря различным сводам законов, налоговым режимам и привилегиям, яростно защищаемым независимыми внутренними центрами

власти, фрагментация управленческой системы стала неизбежной [Oresko, Gibbs, Scott. 1997. P. 8–9]. Особенно серьезным препятствием на пути к единообразию стало различие *pays d'État* и *pays d'élection*<sup>21</sup>. Такие ограниченные анклавные территории, как города, порты, аббатства, епископства, крепости и сеньории, воспроизводили логику географической разнородности и административного неединообразия. Во Франции *princes étrangers*, то есть представители иностранных династий, присутствующие при дворе Бурбонов, обладали суверенным статусом и вступали в контрактные феодальные отношения с королем, при этом они могли обладать землями или постами, а также видами на наследство как во Франции, так и в любом другом месте Европы [Parrott. 1997].

В то же время неверно было бы описывать историю формирования династического государства как строго линейный процесс, некое телеологическое накопление территорий. В этой истории встречаются не только шаги назад и в сторону, в ней мы находим свидетельство того, что династическая территориальность в ходе политического накопления как создавалась, так и разрушалась. Условия престолонаследия, требовавшие неделимости и неотчуждаемости территории, больше превозносились именно тогда, когда они нарушались. В вихре территориальных обменов приобретения и потери, браки и споры за наследство, война и мир были двумя сторонами одной и той же медали.

Любая попытка выписать нововременной характер международных отношений со ссылкой на ограниченную территориальность XVII в. должна быть поэтому отвергнута. Территориальность оставалась неисключительной, неинтегрированной в административном плане и географически неустойчивой — имущественным активом композитных государств. Постфеодальная ограниченная территориальность не была нововременной, поскольку она оставалась, прежде всего, производной династических стратегий геополитического накопления.

<sup>21</sup> *Pays d'État* — при «Старом режиме» тип французской провинции, сохранившей ассамблею сословных представителей, которая имела право заключать соглашения с представителями короля (интендантами и комиссарами) по ряду вопросов управления данной провинцией (включая ставки налогов). *Pays d'élection* — провинции с более прямым королевским правлением, где интендант распределял налоги и управлял через выбираемых (теоретически — через «Генеральные штаты») местных функционеров. — *Примеч. пер.*

## 5. ДИНАСТИЧЕСКОЕ ХИЩНИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И БАЛАНС СИЛ

Существовали ли какие-либо системные ограничения абсолютистского геополитического расширения? Можем ли мы определить общепризнанные принципы геополитического порядка в период раннего Нового времени? Ответить на эти вопросы можно, соотнеся их с контекстом двух конкурирующих концепций геополитического порядка — империи и баланса сил.

### *Династическое равновесие как территориальные компенсации*

Династические акторы, несмотря на существование определенного числа независимых политических образований, были привязаны к универсальным схемам геополитического порядка, которые легитимировали агрессивную внешнюю политику, мотивируемую геополитическим накоплением. Однако терминология уравнивания сил впервые появилась в виде отдельного дискурса в XVII в. и стала, утвердившись в Утрехтском соглашении, признанной нормой в XVIII в. [Butterfield. 1966; Fenske. 1975]. Опровергается ли тем самым тезис о множественности европейских универсализмов? Многое тут зависит от конкретных исторических границ смысла баланса сил и от исторического контекста тех политических структур, которые его защищали и провозглашали. Реалистические исследования, несмотря на обилие исторических примеров, по существу остаются антиисторическими, поскольку сначала в них выписывается идеальный тип баланса сил, задаваемый в качестве «универсального понятия», а затем под него подводятся различные исторические казусы, которые модифицируют, разделяют или же расширяют идеальный тип совершенно произвольным образом [Butterfield. 1966; Wight. 1966a, 1978. P. 168–190; Bull. 1977. P. 101–126; Morgenthau. 1985. P. 187–240; Mearsheimer. 2001]<sup>22</sup>. Антиисторический и абстрактный в социальном отношении характер реалистических теорий баланса сил ведет к тому, что в них предполагается именно то, что требуется объяснить. Например, предположение Моргентау о том, что акторы стремятся к «увеличению территорий», закрывает ему возможность построения

<sup>22</sup> Обсуждение разных значений баланса сил см.: [Claude. 1962. P. 24–39; Gulick. 1967; Luard. 1992].

теории фундаментального различия династического равновесия и нововременного уравнивания сил [Morgenthau. 1985. P. 222]. Конструктивистские теории ранненовременного равновесия, пусть они и расходятся с неореализмом, не способны определить социальные источники династических интересов, которые управляют его формированием, задавая это равновесие в качестве конвенции, ограниченной определенным сроком [Kratochwill. 1982. P. 12–20].

В действительности, можно различить две противоположные, хотя и взаимодействующие друг с другом практики баланса сил, осуществляемые соответственно континентальными династическими державами и британской парламентско-конституционной монархией, а именно: исключаящее равновесие и активное уравнивание. Хотя две эти концепции действовали на основе неосознанных предпосылок, коренящихся в различных комплексах государства/общества, на практике они начали сливаться друг с другом по мере того, как британская концепция начала изменять континентальную и управлять ею.

В случае абсолютистских держав уравнивание сил в период XVIII в. не строилось на представлении о том, будто каждый политический актер обладает собственной легитимностью и независимостью, основанными на естественном праве, и что путем заключения союзов он должен предохранять себя от любого агрессивного действия извне; не было оно и автоматическим, деперсонализированным и регулярным результатом анархии, которая должна была бы механически стабилизировать или уравнивать распределение власти и территории [Waltz. 1979; Morgenthau. 1985. P. 189]. Скорее абсолютистское уравнивание сил было междинастической техникой территориального расширения посредством пропорционального увеличения территории, которое в обычном случае исключало более слабые государства.

В индивидуальном отношении каждый династический актер стремился максимизировать собственное богатство и территорию. Поскольку целью была универсальная монархия, ни одна из главных абсолютистских держав не стремилась сознательно к равновесию в Европе; династическое равновесие следовало из взаимодействия антагонистических интересов, хотя само его осуществление всегда оставалось призрачным. Однако равновесие предполагало практики, несовместимые с обычным

пониманием баланса сил. Поскольку ни один актер не был достаточно сильным, чтобы навязать Европе универсальную схему, агрессия систематически вызывала реакции, которые шли намного дальше обычного уравнивания и восстановления *status quo ante*<sup>23</sup>. Целью создания коалиций в раннее Новое время было, как указывает Маттингли, не уравнивание, а преобладание (*outweighing*) [Mattingly. 1988. P. 141, 150]. Преобладание предполагало возможность полного уничтожения противника, за которым следовало распределение долей его территории между победителями. Хотя эти практики демонстрировали себя в качестве безжалостной силовой политики, они постоянно рационализировались через хитро сконструированные юридические претензии, прорабатываемые в общеевропейской сети династических генеалогических связей, зачастую весьма сложных и непонятных.

Общераспространенными были схемы разделения или даже полного раскола даже самых мощных политических образований тех времен. В 1686 г. Франция и Австрия подписали тайный договор о разделении Испанской империи. После Войны за испанское наследство испанская монархия благодаря Утрехтскому договору действительно была разбита на отдельные части. В период Войны за австрийское наследство на карту было поставлено само существование государства Габсбургов. Согласно Первому венскому договору (1725 г.) Австрия и Испания согласились в случае войны разделить Францию. Во время Семилетней войны Россия рассматривала вариант полного разделения Пруссии. Три раздела Польши в 1772, 1773 и 1795 гг. уничтожили само это государство. Поскольку военной целью коалиций было преобладание, дававшее возможность полного разделения, атакующая держава часто стремилась к безусловной победе [McKay, Scott. 1983. P. 83]. Как правило, войны завершались не самоограничением или признанием международной легитимности той или иной державы, а взаимным экономическим, финансовым и военным истощением. Мир был миром упадка [Durchhardt. 1997. S. 56]. Дипломатическая риторика собирания земель выражала тактические аргументы восходящих держав, которые, как Пруссия, стремились получить международное

<sup>23</sup> *Status quo ante (bellum)* (лат.) — положение, существовавшее до войны; термин международного права. — *Примеч. пер.*

признание своих *faits accomplis*<sup>24</sup>, то есть ранее присоединенных территорий, и ни в коем случае не указывала на стратегию самоограничения. Умеренность всегда оказывалась результатом временной передышки, необходимой для экономического, военного и финансового восстановления.

Если карфагенские цели преобладания или полной победы были недостижимы, династическое уравнивание сил непосредственно связывалось с идеей приемлемости (*convenance*), которая требовала консенсуса крупных держав по вопросу территориальных изменений [Durchhardt. 1976. S. 51; 1997. S. 17]. Желаемой целью было «справедливое равновесие», которое как раз и являлось явным предметом переговоров лидирующих государств. Действующий принцип заключался в том, что любое территориальное приобретение той или иной державы оправдывало претензии на территории или иные активы со стороны других держав [McKay, Scott. 1983. P. 212, 214, 228; Schroeder. 1994a. P. 6–7]. Исключение из того или иного цикла увеличения территории означало отставание и понижение в статусе. Немногие династии могли позволить себе нейтралитет. *Convenance* стала регулятивным принципом баланса сил или, как говорит Мартин Уайт, «дипломатическим аналогом наследственной абсолютной монархии» [Wight. 1966a. P. 171; 1978. P. 186; Butterfield. 1966; Gulick. 1967. P. 70–71; Fenske. 1975. S. 972]. Династическое равновесие сил поэтому находится в близком родстве с меркантилистским торговым равновесием. Поскольку богатство рассматривалось в качестве абсолютной и конечной величины, любой торговый дефицит должен был компенсироваться притоком золотых слитков или же рассматривался в качестве абсолютной потери. Так же и территория считалась конечной, а любое приобретение требовало компенсации, которая должна вернуть «справедливое равновесие». Территориальным эквивалентом меркантилизма поэтому стал камерализм, который измерял силу государства численностью налогооблагаемого населения и величиной территории, исчисляемой по плодородию почв.

Принцип приемлемости привел к умножению войн и территориальных изменений, поскольку любое территориальное приобретение сразу же вело к претензиям на такие же терри-

<sup>24</sup> *Faits accomplis* (фр.) — букв. «совершенные дела», «сделанное». — Примеч. пер.

тории, получение которых должно было компенсировать преимущество, полученное первым агентом. Равновесие поэтому восстанавливалось, пусть только на одном уровне. В результате политика невмешательства сделалась практически невозможной. Интервенция не только не нарушала международное право, но и рассматривалась в качестве вполне легитимного способа действий [Grewe. 1984. S. 392–393]. Следствием стало то, что двусторонние войны приводили сразу же к многостороннему *опрокидыванию* (*renversement*) позиций, провоцируемому стремлением получить территориальные компенсации. Легитимные претензии на компенсации создали совокупность практик, несовместимых с сохранением *status que ante* или с возвращением к нему. Обмен территорий, их передача в результате уступок, компенсаций, субсидий, выплат, которые оговаривались в процессе вполне очевидного торга, стали приметой времени. В обычном случае арифметика *convenance* означала, что более слабые государства разделялись более сильными. Следующие друг за другом мирные договоры кодифицировали факты исчезновения мелких государств, ставших пешками в международной игре территориальных компенсаций. Компенсация часто означала ликвидацию.

### *Разделы Польши: баланс сил или компенсаторное равновесие?*

Три раздела Польши 1772, 1793 и 1795 гг., инициаторами которых выступали Пруссия, Австрия и Россия, служат примером ликвидирующей отдельные государства, компенсаторной динамики междинастического равновесия. Согласно (нео)реалистическим предсказаниям, уравнивание сил должно было бы предупредить распад Польши. Однако никакого противоядия не возникло. Первый раздел был оправдан и осуществлен Пруссией и Австрией в качестве компенсации за приобретения Россией некоторых балканских территорий, полученных от Османской империи. Второй и третий разделы оправдывались в качестве возмещения прусско-австрийских расходов во Французских революционных войнах после поражения при Вальми (1792 г.), тогда как Россия заявляла, что стремится разгромить варшавское «якобинство», действуя в интересах общеевропейского содружества королевских династий [McKay, Scott. 1983. P. 248]. Британия оставалась нейтральной, поскольку не имела



непосредственных интересов в данном регионе. Распад Польши был обусловлен не только географическими обстоятельствами. Режим общественной собственности в Польше породил конституцию, по которой власть принадлежала аристократам, каждый из которых владел знаменитым *liberum veto*, которое позволяло любому члену польского сейма налагать вето на законодательное решение. В результате польская выборная монархия — «коронованная аристократическая республика» — не могла развить те формы абсолютистского управления и военной централизации, которые были свойственны ее соседям. Внутренняя слабость аристократической конституции открыла возможность расчленения Польши иными державами, поскольку подобная слабость рассматривалась в качестве вакуума власти в Восточной Европе.

Захват и раздел Польской территории тремя сторонами не привел к восстановлению положения, существовавшего до русских приобретений на Балканах или до Французских революционных войн. Уравновешивание сил провалилось, однако ликвидационное равновесие сработало. Династическое равновесие подталкивало к войне, а не к миру. Но война вела не к новому равновесному распределению сил между постоянным числом акторов, а к систематической ликвидации менее крупных государств. Именно эта практика династического равновесия, а не нововременного баланса сил в 1793 г. вызвала недовольство такого философа Просвещения, как Иммануил Кант: «Поддержание всеобщего мира посредством так называемого равновесия сил в Европе, которое напоминает дом Свифта, который был построен с таким строгим соблюдением всех законов равновесия, что тотчас рухнул, как только на него сел воробей, является чистой химерой» (цит. в: [Wight. 1966a. P. 170–171]). Другими словами, история с разделом Польши не подрывала дух династического уравновешивания, а была его точным выражением [Arentin. 1981; Grewe. 1984. S. 395–397]<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Моргентгау [Morgenthau. 1985. P. 199, 222] сначала предполагает, что разделы Польши «утвердили сущность» баланса сил, поскольку Польша была разделена на равные части; потом он заявляет, что баланс сил не был реализован, поскольку не смог защитить Польшу от разрушения. Уайт [Wight. 1966a. P. 157; 1978. P. 189] говорит, что разделы дискредитировали баланс сил. Гулик [Gulick. 1967. P. 37–42] заявляет, что вопрос не настолько определен. По Баллу [Bull. 1977. P. 108], «раздел Польши был

Баланс сил остается неопределенным инструментом объяснения, поскольку он истолковывает любой исход в зависимости от того, из какой перспективы смотреть — из перспективы всей системы или же одного ее элемента. Если государство сохраняется, причины ищутся в стабилизирующей и защитной функции баланса сил; если же оно гибнет, в качестве причины выдвигается потребность в новом системном равновесии. Реалистическая, неореалистическая или конструктивистская теории неспособны понять исторический характер разделов Польши, силы, вызвавшие их, и их результат. Пока исторически ограниченные практики уравнивания сил и образования союзов не принимаются всерьез, стремящиеся к универсальным выводам теории МО по-прежнему будут неспособны понять историческую специфику.

В целом, целью уравнивания сил в раннее Новое время было не сохранение *status quo* и не восстановление *status quo ante*, а приобретение территорий. Оно было осознанной техникой расширения, мотивируемого династическим политическим накоплением, которое вело к циклам стабилизации и дестабилизации распределения территорий, постоянно менявшим свою конфигурацию, а не автоматическим механизмам, скрытым за спиной политических акторов. Если агрессор не достигал успеха, *convenance* обеспечивала увеличение территории, пропорциональное нанесенному им ущербу. Однако династическое равновесие не нуждалось в агрессорах, оно нуждалось в жертвах. Поэтому оно склоняло скорее к *прикреплению к государству-лидеру (bandwagoning)*, а не к уравниванию [Luard. 1992. P. 335–337; Schroeder. 1994b]<sup>26</sup>. Значительное снижение числа европейских суверенных государств в период между 1648 г. и XIX в. осуществилось не вопреки балансу сил, а именно по причине политики хищнического равновесия и прикрепления к лидеру. Династическое уравнивание сил не

Окончание сн. 25

не отклонением от принципа баланса сил, а его применением». Луард [Luard. 1992. P. 24] считает эти разделы результатом «баланса преимуществ». Шрёдер [Schroeder. 1994a. P. 18] называет их «соответствующим системе поведением». Шихэн [Sheehan. 1996. P. 61] же считает их «отклонением».

<sup>26</sup> Хотя приводимый у Шрёдера (Schroeder) обзор исторических данных подтверждает господство практики прикрепления к лидеру, никаких объяснений он не приводит.

предполагало сохранения равномерного их распределения. Оно не стало «средством сохранения независимости государств» [Holsti. 1991. P. 69] и не наложило «запрет на территориальные изменения» [Butterfield. 1966. P. 144]. Оно означало лишь равенство в накоплении территорий [Wight. 1966a. P. 156; 1978. P. 187; Gulick. 1967. P. 71]. Логика династической анархии породила династическую систему коллективной максимизации богатств, в которую были включены хищнические монархи. Баланс сил является не естественной и универсальной производной анархии, а результатом особых интересов членов, образующих разные геополитические системы. В силу сохранения логики геополитического расширения система династических государств вряд ли когда-либо вообще могла выработать совокупную заинтересованность в поддержании *status quo*. Династическая практика равновесия как *convenance* была инструментом геополитического накопления. Однако, как мы увидим в следующей главе, под воздействием внешней политики Британии после 1688 г. такая практика была вынуждена существенно измениться.

## 6. ДЕМИСТИФИКАЦИЯ ВЕСТФАЛЬСКОГО МИРА

### *Собственническое династическое правление против суверенитета*

Как Вестфальские мирные договоренности соотносятся с изложенным выше пониманием ранненовременной геополитики? Приводимые далее интерпретации текстов мирных договоров показывают не столько формирование принципов, которые могли бы выйти за пределы династических практик, сколько то, в какой степени Вестфалия выражала собой именно связь между доновременными формами правления и геополитическим накоплением. Договоры заключались не между государствами, а между правителями или, если более точно, между частными лицами и корпоративными структурами. В преамбулах тщательно определяется характер главных подписавших сторон: королей Франции и Швеции, германского императора и германских имперских сословий (*Reichsstände*), состоявших из девяти электронов — все, что осталось от германских принцев и пятидесяти одного свободного имперского города [Symcox. 1974. P. 40–41; Steiger. 1998] (общий анализ см.: [Dickmann. 1972]). Затем в них

приводятся длинные списки владетельных титулов главных сторон, в которых указаны «функционально различные» права, отправляемые в различных территориях их внутренне дифференцированных королевств. Эти списки не являются всего лишь симптомом исторически ограниченного представления о почестях и репрезентации; они показывают, что эти правители обладали набором прав на самые различные владения, объединяемые именно персоной властителя. Поэтому в договорах отражается тот факт, что базовыми единицами международной политики были не государства, а лица и ассоциации лиц, которые в буквальном смысле владели своими королевствами и владениями. Другими словами, ни одна из подписавшихся сторон не выступала в качестве главы нововременного государства, так же, как в результате договора 1648 г. ни одно политическое образование, участвующее в соглашении, не превратилось в такое нововременное государство.

Множество условий, описываемых в договорах, относятся к вопросам территориальных изменений, династического престолонаследия, имущественных реституций и компенсаций (например статьи 4, 10–14 IPO и параграфы 70–89 IPM)<sup>27</sup>. Договоры не отвергли сам династический принцип, что позволило бы устранить причину постоянной дестабилизации, а лишь определяли точные правила наследования, а именно право первородства, дабы гарантировать стабильный перенос полученных имущественных прав (например статья 4 IPO). Неизбежный провал этого проекта был продемонстрирован тем фактом, что немногие войны в Европе XVII—XVIII вв. не были войнами за престолонаследие. Как мы видели, в системе, в которой «государства» могут заключать «браки» с государствами, медовый месяц легко превращается в кошмар.

Это возвращает нас к вопросу о территориальных изменениях. Поскольку договоры заключались между правителями, а не между государствами, территория обозначает не единообразное в административном плане географическое пространство, а совокупность прав на владения в различных регионах. Эти права тщательно перечисляются в качестве прав, привилегий и

<sup>27</sup> IPO означает *Instrumentum Pacis Osnabrugense*, то есть мирный договор в Оснабрюке, а IPM — *Instrumentum Pacis Monasteriense*, мирный договор в Мюнстере.

владений — то есть, говоря вообще, *регалий*, — в число которых попадали города, епископства, аббатства, сеньории, порты и дороги, гарнизоны и юрисдикции. Франция получила епископства Меца, Туля и Вердена, а также крепость в Брейзахе на правом берегу Рейна и, что наиболее важно, Эльзас<sup>28</sup>. Швеция получила Бременское архиепископство, Верденское епископство, балтийский порт Висмар и, главное, западную часть герцогства Померания. Эти территории были отданы в качестве имперских феодалов, поэтому шведская Корона стала вассалом императора. Это предполагало интернационализацию конфедеративной Империи, поскольку шведский король стал имперским сословием с правами голоса в Имперском рейхстаге в качестве герцога Бремена (статьи 10, 9 IPO). Таким образом, эти территориальные права не были отданы Франции и Швеции как государствам, скорее они были встроены правителями в свои владения.

### *Рестаурация против Нового времени*

В терминологии договоров постоянно встречаются такие понятия, как «рестаурация», «восстановление», «реституция» (например статьи 3, 1 IPO) — в смысле восстановления «древних прав и свобод», которыми подписавшие стороны и особенно германские сословия пользовались задолго до начала Тридцатилетней войны. Семантика рестаурации отражает превалирующий консенсус, согласно которому рассматриваемые договоренности предполагали не утверждение новых принципов международного публичного права, а, скорее, кодификацию возвращения к *status quo ante bellum*. Тридцатилетняя война считалась не великим модернизирующим геополитическим потрясением, которое вынудило правителей принять новые правила международных отношений, а печальным отклонением от довоенных международных обычаев, которые следовало восстановить [Osiander. 1994. P. 44]. Я позволю себе проиллюстри-

<sup>28</sup> Хотя ссылаясь на параграфы 71–82 (IPM) часто указывали на то, что габсбургские владения в Эльзасе были переданы под «полный суверенитет» Франции [Osiander. 1994 P. 68–70]; противоположную точку зрения см.: [Symcox. 1974. P. 39]; параграф 112 (IPM) квалифицирует эту передачу, указывая, что епископства Страсбург и Базель, различные аббатства и десять эльзасских имперских городов, а также часть нижнего Эльзаса оставались под непосредственным контролем Империи.

ровать эти реставрационные тенденции в отношении к трем феноменам: (1) перераспределению территорий, (2) регуляции конфессий и (3) «суверенитету» германских сословий.

Во-первых, упомянутые выше перераспределения территорий порождают серьезный вопрос. Если целью миротворцев было возвращение международного порядка к *status quo ante*, как следовало относиться к этим территориальным изменениям? Мнимое противоречие устранился, если мы поймем, как державы-победители легитимировали собственные территориальные приобретения. Франция и Швеция получили указанные земли не по «праву завоевания», а, скорее, в качестве контрибуций или «сатисфакций» за услуги, предоставленные германским союзникам. Это может показаться педантизмом, однако терминология контрибуций и сатисфакций — не просто служебный юридический инструмент; она указывает на тот факт, что права на эти земли и в самом деле были приобретены. Франция согласилась в Мюнстере выплатить три миллиона ливров, то есть приобретение территории было признанной формой донововременных международных отношений между личными правителями. Кроме того, включение того текста, который напоминает договор о покупке, в мирные договоренности, показывает огромное значение, придаваемое принципу законности, которая отвечала бы старинным обычаям [Oslander. 1994. P. 49]. Допущение права завоевания как принципа международного публичного права подорвало бы господствующий принцип международной стабильности.

Стабильность и реставрация стали поэтому лейтмотивом трактовки конфессиональных вопросов. В работах по МО распространено общепринятое мнение, согласно которому Аугсбургский мир 1555 г. стал предвестником нововременной государственности, поскольку максима *cuius regio eius religio*<sup>29</sup> позволила каждому правителю вводить и изменять религию своих земель по своему желанию (*ius reformandi*). Религиозная автономия германских территорий позволила порвать с «испанским рабством». Поскольку этот принцип в предвестье Реформации означал отмену монополии империи на определение официальной веры, он, конечно, означал существенное изменение в европейской политике XVI в. Вопрос, однако, в том, в

<sup>29</sup> *Cuius regio eius religio* (лат.) — чье королевство, того и вера. — Примеч. пер.

каком направлении шло это изменение? Именно в той степени, в какой правители получили право религиозного самоопределения, их подданные его потеряли. Они были вынуждены принимать веру своих правителей. Максима *cuius regio eius religio* была, поэтому, по своему характеру абсолютистской. В любом случае 1555 г. указывает на неразделимость политики и религии в XVI в.: государство не было светским, даже если внутри империи стал возможен деноминационный плюрализм. Испанский религиозный универсализм был избирательно замещен множеством религиозных абсолютизмов.

В какой мере Вестфалия разрывала эту связь? Принцип, в соответствии с которым каждый правитель мог выбрать или навязать свою веру своим землям, был отброшен и заменен правилом (статьи 5, 2 IPO), устанавливающим, что на каждой территории должна была «навечно» сохраняться та религия, которой она обладала 1 января 1624 г. — эта дата стала знаменитым *Normaljahr* (базисным годом), служившим стандартом восстановления довоенных связей конкретных территорий и религий. Здесь мы, таким образом, обнаруживаем не что иное, как международное предписание территориального распределения разных конфессий — в противоположность Аугсбургу. Хотя правители могли менять свои вероисповедания, официальная вера страны должна была оставаться неизменной [Asch. 1988. P. 124]. Сословия стали хранителями религиозного *status quo*. Это означало серьезное ограничение *ius reformandi* территориальных князей. В особых случаях, например для епископства Оснабрюк, в договорах было зафиксировано чередование католических и протестантских правителей. И снова в этом мы видим попытку «заморозить» распределение конфессий, дабы минимизировать конфликты. Международный договор, который привязывает религию к определенным территориям, вряд ли может рассматриваться в качестве шага по направлению к внутреннему суверенитету. Хотя приверженцам небольших вероисповеданий было позволено отправлять свои культовые действия в частном порядке, большинство из них эмигрировали в страны своей веры [Burkhardt. 1992. S. 176]. В целом, 1648 г. задал интернационализацию территориального конфессионального статуса, что перевело часы религии к отметке 1624 г. или, если брать конституционные условия, — к периоду до 1555 г., причем целью было не самоопределение, будь оно княжеским

или народным, а гарантия мира. В этом смысле международная политика не подверглась секуляризации, а *res publica christiana* была обновлена за счет *pax christiana*.

Реставрация также отражалась в международном порядке, заложенном в условиях мира. Сторонники тезиса о нововременном характере Вестфалии обычно ссылаются на ключевое условие из статей 8, 2 (IPO) и параграфов 62–66 (IPM), в которых определяются права германских сословий заключать договоры, вступать в союзы и объявлять войны (*ius foederis et ius belli ac pacis*). Права заключать договоры, объявлять войны, издавать законы, собирать армии и облагать налогом, как предполагаются, совпадают с критериями суверенитета периода Нового времени. Однако тут следует провести ряд важных различий.

Во-первых, даже этот образец нововременного поведения в сфере международных отношений не являлся новшеством. Как указал Андреас Осиандер, «вопреки некоторым утверждениям или предположениям, это было лишь прояснение уже существовавшего обычного права. Право сословий вступать в союзы было юридически закреплено со Средних Веков» [Osiander. 1994. P. 47] (см. также: [Dickmann. 1972. S. 325–332]). *Ius foederis* сословий было признано уже в 1356 г. в Золотой булле. Хотя у этого права длинная родословная, оно никогда не было абсолютным, а подчинялось классическим феодальным взаимным ограничениям, накладываемым отношениями с императором, феодальным сюзереном. Договоры 1648 г. заново утвердили и уточнили его. Но это не предполагает протонововременного характера германских средневековых сословий в период, предшествовавший 1648 г. Скорее, это указывает на собственно двойственную природу германской имперской конституции, в которой «свобода» сословий и территориальных принцев — их *ius armorium* — существовали и до 1648 г., и после него [Burkhardt. 1992. S. 101, 105]. Кодифицированное право вступать в союзы соответствовало господствующей конституционной практике Германской империи. В этом смысле, *ius foederis* было неотъемлемой частью средневековых концепций взаимной вассальной верности полунезависимых феодальных акторов [Böckenförde. 1969. P. 458–463] (см. также классическое исследование Бруннера: [Brunner. 1992]). Его корни лежат в средневековом сеньоральном праве на сопротивление, основанном на статусе вооруженного сеньора, закрепленном в более широком контексте феодальных отноше-



ний эксплуатации. Средневековое право на сопротивление и право на заключение договоров были нераздельными.

Во-вторых, эти права были существенно ослаблены другими оговорками. Главное, предоставленные Сословиям *ius belli ac pacem* и *ius foederis* были ограничены оборонительными союзами и действиями. Другие условия запрещали создание союзов против *Reichslandfrieden* (Имперского мира) и самого Вестфальского соглашения (статьи 8, 2 IPO). Эти ограничения полностью согласовывались с *ius territoriale* (*Landeshoheit* / территориальным верховенством), которым обладали Сословия, но не с современным понятием суверенитета. Постоянное нарушение этих условий указывает на социальные и политические причины, которые лежат за пределами сферы правовых интерпретаций. Существовали и более очевидные условия. Например, договоры запрещали интервенцию в Бургундский круг Империи, то есть в Испанские Нидерланды (параграф 3 IPM). Другими словами, ни императору, ни германским политическим образованиям не разрешалось присоединиться к испанцам в их продолжающейся войне с французами на этом театре действий. Это отражало главную военную цель Франции, а именно изоляцию Испании от ее имперского союзника. Поэтому, с французской точки зрения, Вестфальские договоренности представляли собой сепаратный мир (*Separatfrieden* / *Sonderfrieden*), запрещающий вмешательство во франко-испанские отношения и предоставляющий Франции возможность разбираться с Испанией в одностороннем порядке. Франция и Испания подписали двусторонний Пиренейский мирный договор одиннадцать лет спустя.

В-третьих, в то самое время, когда германские сословия и принцы заново утверждали свои полномочия создавать союзы, они продолжали пользоваться «*ius suffragii*», то есть правом участвовать в определении имперской внешней политики через общегерманский имперский рейхстаг (*Reichstag*) (статьи 8, 4 IPO; параграф 65 IPM)<sup>30</sup>. Впервые он собрался в 1653 г., а затем — с 1663 до 1806 г. в Регенсбурге в качестве постоянной ассамблеи представителей сословий, защищающего их свободы и помогающего определить политику империи. Хотя германские сословия оставались погруженными в имперские институты, их предпо-

<sup>30</sup> См. исследование Буркхардта об Империи как «третьем пути» ранне-нововременной организации государства: [Burkhardt. 1992. S. 108–125].

ложительная суверенность была еще больше подорвана условиями, запрещающими образование союзов против императора, что служило гарантией действия обычая имперской лояльности (*Reichstreue*)<sup>31</sup>, а также войны между ними (параграф 116 IPM). Они были обязаны передавать свои споры в два высших суда империи — *Reichskammergericht* (Имперский камерный суд) и *Reichshofrat* (Имперский придворный совет) — в соответствии с процедурой, известной как *Reichsexekution*. Следует отметить, что эти суды не только разрешали споры между сословиями, но также заслушивали жалобы и иски, подаваемые подданными против их территориальных сеньоров, которым они напрямую подчинялись. Перенаправление межсословных споров в высшую инстанцию ясно доказывает верховенство Империи. Хотя *Reichstag* заблокировал превращение Германии в абсолютистскую империю, в равной мере он закрыл возможность и ее полной фрагментации на небольшие, независимые мини-абсолютизмы. Империя была и оставалась многоуровневой, полufeодальной, полумонархической федерацией, в которую был включен конституционный статус германских принцев и сословий. Германские сословия не обладали полным суверенитетом [Steiger. 1998. S. 68].

### *Система коллективной династической безопасности против баланса сил*

Ограниченный «суверенитет» (территориальное верховенство) германских сословий предполагало, что Вестфалия не была исключительно международным соглашением, являясь также и вмешательством во «внутреннюю структуру» имперской подсистемы (статьи 17, 2 IPO). Договоры поэтому носили двойственный характер, являясь одновременно инструментами международных и германских конституционных базовых законов (*leges fundamentalis*) [Böckenförde. 1969; Oestreich. 1982; Steiger. 1998. S. 51]. Поскольку Тридцатилетняя война была также конституционной борьбой в самой Германии между централизационными/абсолютистскими и партикуляристскими/пред-

<sup>31</sup> Буркхардт даже оценивает открытое признание *Reichstreue* касательно права заключать союзы как один из успехов императора [Burkhardt. 1992. S. 106].

ставительными принципами организации государства, 1648 г. был частично соглашением об особом смешанном характере германской конституции, которая стала компромиссом между корпоративно-представительными привилегиями, поддерживаемыми сословиями, и абсолютистскими прерогативами, на которые претендовал император. В терминах теории МО, германская подсистема осталась структурой *sui generis*, в которой совмещались партикуляристские, «анархические» принципы и универсальные, «иерархические» — хотя все эти термины мало что дают для объяснения поведения акторов, входящих в империю.

Главным пунктом, однако, является то, что это соглашение было не только делом Германии. Повышение статуса германского конституции до уровня элемента публичного международного права означало интернационализацию германской политики. Конституционная независимость германских сословий от императора должна была гарантироваться Францией и Швецией. И обратно, мирные договоренности были включены в корпус германского имперского права. Обе державы брали на себя обязанность гарантировать поствестфальский порядок. В этом отношении 1648 г. представлял собой, по сути, победу Франции над домом Габсбургов и его попытками превратить Германскую империю в наследственное абсолютистское государство. Дабы оставить в силе разобщенность Германии, Франция сохранила за собой право вмешиваться в ее дела, если условия Вестфальских договоров будут нарушаться. Когда при Наполеоне в 1806 г. Империя была распущена, Швеция высказала протест в связи с тем, что с ней, как гарантом Вестфальского мира, не было проведено необходимых консультаций [Oestreich. 1982. P. 243].

Из этого следует то, что главный пункт договора не сводится ни к установлению полного правового суверенитета всех участников договора, ни к «свободе» или автономии Германских сословий: скорее, его цель — установление мира в интересах Франции, мир, за которым она должна была надзирать [Durchhardt. 1989b]. Несмотря на то, что политическое самоопределение в форме права на создание союзов было подтверждено, оно существенно ограничивалось. Хотя подписавшим сторонам и был придан формальный статус субъектов, имеющих право объявлять войны или заключать мир, право на войну было существенно ограничено. Другими словами, 1648 г. не означал создания принципов международного публичного права путем при-

знания внутреннего и внешнего суверенитета подписавшихся сторон; он устанавливал систему коллективной безопасности, которая попыталась «заморозить» правовой, конфессиональный и территориальный *status quo*, выгодный двум державам-победительницам — Франции и Швеции (параграфы 115–117 IPM и статьи 18, 5–7 IPO) [Durchhardt. 1989b. S. 533; Osiander. 1994. P. 40–42]. Силовая политика не признавалась в качестве легитимного основания действий в сфере внешней политики, осуществляющейся в обществе, не имеющем правителей; регулятивная идея международной политики еще не истолковывалась в терминах баланса сил, благодаря которому независимость любого актора «естественным образом» гарантировалась бы свободной игрой смещающихся альянсов [Repgen. 1988; Durchhardt. 1989b. S. 536; Burkhardt. 1992. S. 202; Osiander. 1994. P. 80–82; Steiger. 1998. S. 78]<sup>32</sup>. Напротив, 1648 г. был попыткой «навечно» зафиксировать территориальный *status quo* международной системы, которую считали крайне статичной [Osiander. 1994. P. 43]. Поэтому 1648 г. представлял собой попытку (в итоге провалившуюся) свести к правовым рамкам европейскую политику, гарантами которой выступали Швеция и Франция, получившие прерогативы арбитража и вмешательства. В действительности, договор не устранил универсалистские/иерархические претензии на международную власть, а заново узаконил европейскую политику, создав ее специфическую привязку к германским землям. Если ключевой идеей 1648 г. был мир, а не самоопределение, главной идеей баланса сил является самоопределение, а не мир.

В целом, политические режимы сторон, подписавших договоры, реставрационная и ретроградная сущность их условий, а также желание миротворцев построить систему коллективной безопасности в достаточной мере подтверждают доновременную природу этого соглашения. Последнее, ни в коей мере не задавая классическую модель международных отношений, основанную на анархии в среде нововременных суверенных государств, вопреки тому, что обычно утверждается в работах по МО, закрепило конституционные отношения между акторами

<sup>32</sup> Полномочные представители Мирного конгресса поддерживали идеи международного равновесия, однако силовая политика и баланс сил не были признаны в качестве принципов договора.

Германской империи и явно ненововременными династическими государствами. В этом смысле 1648 г. в большей степени был концом, чем началом.

## 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КОНЕЦ КОНЦЕПЦИИ 1648 г.

Специфику Вестфальского мира нельзя адекватно понять на основе представления о натурализованном соперничестве крупных держав, мотивируемом *Realpolitik* и регулируемом универсализированным балансом сил. Нельзя ее объяснить и давлением конкурентной анархической системы государств, если абстрагироваться от внутреннего характера составляющих ее элементов, как предполагалось в неореализме [Waltz. 1979; Gilpin. 1981; Mearsheimer. 1995]. Мое рассуждение ставит также под вопрос и конструктивистские подходы. Конструктивизм объясняет различия и трансформации международных отношений либо через интерсубъективно задаваемое качество институтов как соглашений, которые могут повлиять на исходы политических курсов, либо как сдвиги идентичности политических акторов, основанные на изменении источников легитимности [Kratichwill. 1989; Onuf. 1989; Adler. 1997; Ruggie. 1998; Burch. 1998; Reus-Smit. 1999; Hall. 1999; Wendt. 1999]. Конструктивистские заявления остаются безосновательными, поскольку они не предполагают систематического исследования связанных с собственностью социальных источников формирования идентичности, которые определяют частные интересы и порождают специфические институты. Хотя все общественные феномены опосредованы языком и нормами, вненормативные условия, поддерживающие развитие, воспроизводство и падение особых конститутивных правил, остаются за пределами конструктивистского подхода. В конце концов нормы действуют только в обычные времена и требуют принудительных мер и санкций для их поддержания.

В целом, предельно династический характер Вестфальского порядка отделяет его от его нововременных аналогов. Его отличительные качества были связаны с сохранением некапиталистических отношений собственности, которые заблокировали развитие суверенитета, свойственного Новому времени. Провал теории МО выстроить корректную теорию и хронологию 1648 г. обусловлен, таким образом, смешением абсолютистского

и нововременного суверенитета. Соответственно, демистификация Вестфалии требует построения новой теории абсолютистского суверенитета. Я предположил, что изменения в классовой структуре, последовавшие за освобождением крестьян во Франции в XIII—XIV вв., привели к созданию абсолютистского государства налогов/постов. «Раздробленный суверенитет» был преобразован в королевский собственнический суверенитет. Докапиталистические отношения собственности привели к политическим стратегиям извлечения доходов королевскими домами и их придворными клиентами внутри страны и, соответственно, к внешним стратегиям геополитического накопления. Это объясняет частоту войн и сохранение стремления к построению империй. Собственнический и персонализированный суверенитет подталкивал к политическим бракам, войнам за наследство и возвышению «частного» династического семейного права до уровня «публичного» международного права. Собственническая природа государственной территории превратила ее в обмениваемое имущество, входившее в состав династических состояний. Междинастическое компенсаторное равновесие подталкивало к стратегии прикрепления к лидеру и к ликвидации более мелких государств. В общем, собственническая государственность предполагала регуляцию современных отношений между акторами в рамках хищнического династизма и личных отношений властителей. Мирные Вестфальские договоры — по своим целям, языку и результатам — оставались погруженными в эту геополитическую конфигурацию. Европейские международные отношения периода раннего Нового времени, кодифицированные Вестфальским соглашением, характеризовались своей собственной «генеративной грамматикой», определенной территориальной логикой и особыми в историческом отношении формами конфликта и сотрудничества.

## *VIII. По направлению к нововременной системе государств: международные отношения на переходе от абсолютизма к капитализму*

### 1. ОТ «СТРУКТУРНОГО РАЗРЫВА» К «СМЕШАННОМУ СЦЕНАРИЮ»

**К**ак понимать преобразование абсолютистских международных отношений в нововременные? Мое рассуждение сводится к тому, что этот сдвиг был непосредственно связан с формированием капитализма, возникновением нововременного государства в Англии и подъемом Британии XVIII в. до уровня главной силы международных отношений. В период между Славной революцией и восхождением на престол в 1714 г. первого ганноверского короля Георга I британская внешняя политика изменилась под влиянием капиталистического режима общественных отношений собственности, который революционизировал британское государство. С этого момента этот новый комплекс государства/обществ начинает играть ключевую роль в долгосрочной перестройке европейской системы государств.

Таким образом, теория отношений собственности позволяет вывести теорию системной трансформации, в которой главное место отводится значению классового конфликта для изменения режимов собственности, форм политической власти и международных порядков. В обычных случаях сталкивающиеся стратегии воспроизводства приводят к спору о распределении доходов в пределах уже данных отношений собственности. Однако в период общего кризиса сама структура режима собственности может быть поставлена под вопрос, что ведет к насильственным преобразованиям. Теоретизация перехода от доновременных геополитических отношений к нововременным в терминах классового конфликта позволяет выдвинуть несколько тезисов, относящихся к теории МО. Решающий сдвиг в сторону

нововременных международных отношений не определяется Вестфальским миром, а начинается с развития первого нововременного государства — послереволюционной Англии. После установления режима аграрной капиталистической собственности и превращения милитаризованной землевладельческой феодальной знати в демилитаризованный класс капиталистов-землевладельцев, получивших в Англии конца XVII в. полные и исключительные имущественные права, политическая власть была переопределена в терминах парламентского суверенитета. Сдвиг от династического к парламентскому суверенитету указывает на укрепление нововременного суверенитета. После 1688 г. Англия начала использовать новые внешнеполитические техники, оставаясь при этом в окружении династических государств, занимавшихся накоплением территорий.

Хотя Англия конца XVII в. задает отправной пункт для новой теоретизации и периодизации развития нововременной международной системы, ни одно событие и ни одну дату нельзя однозначно представить в качестве решающей общесистемной цезуры, открывающей эпоху Нового времени в межгосударственных отношениях. Не было никакого «структурного разрыва», который отделил бы доновременные международные отношения от нововременных. Скорее, с 1688 г. и до Первой мировой войны (а также период после нее) международные отношения разворачивались в качестве геополитически опосредованных и конфликтных переговоров по поводу модернизационного давления, исходившего от капиталистической Британии. В течение этого длительного периода преобразований международные отношения были не нововременными, а *модернизирующимися*. Структурный анализ должен уступить место процессуальной исторической реконструкции. Показательная задача построения теории геополитического взаимодействия сосуществующих гетерогенных акторов в «смешанном» сценарии поэтому имеет отношение и к развитию нововременной системы государств, направляемому Британией. Переоценка перехода к обобщенной системе нововременных международных отношений требует поэтому систематической переинтерпретации комбинированного в геополитическом отношении и социально неравномерного процесса распространения и обобщения английского комплекса государства/общества<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ван дер Пийль представляет этот процесс в качестве трехвекового цикла, в котором англо-американское либерально-капиталистическое



*Ex hypothesis*, в ходе нескольких геополитически опосредованных международных кризисов Британия смогла подорвать континентальные «Старые режимы» (началом этого процесса можно считать Французскую революцию, а концом — Первую мировую войну) посредством революций и реформ (революций сверху), принудив их, таким образом, к тому, чтобы они начали изменять собственные экономические и политические системы, ориентируясь на превосходящую экономическую эффективность и военную силу Британии. В период этого затянувшегося перехода собственно нововременные межгосударственные отношения постепенно вытесняли старую вестфальскую логику междинастических отношений.

## 2. ПЕРЕХОД ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ В АНГЛИИ

В Англии раннего Нового времени формирование государства и экономическое развитие пошло по совершенно иной долгосрочной траектории. Когда Англию поразил эко-демографический кризис, который привел к Черному мору, сеньоры попытались компенсировать падение своих доходов путем увеличения ренты, несмотря на сокращение численности населения. Инициатива сеньоров потерпела поражение в результате устойчивого крестьянского сопротивления, кульминацией которого стало восстание 1381 г. [Hilton. 1973]. Английское крестьянство смогло устранить многие формы феодального контроля, обрело полную личную свободу и в результате стало распоряжаться своей землей на основе копигольда (долгосрочной аренды), что повысило надежность владений. XV в. был отмечен значительным улучшением положения крестьян и ростом их дохода, тогда как сеньоры все больше и больше теряли возможность в принудительном порядке получать ренты. Однако, в отличие от Франции и ее логики развития, английскому крестьянству не удалось получить легально защищенные имущественные права на собственные наделы (фригольды), поскольку сеньоры смогли превратить копигольдные соглашения в лизгольды, возобновляемые по желанию сеньора. Это позволило сеньорам увеличивать

«локковское ядро» снова и снова сталкивалось с противодействием ряда «гоббсианских государств-соперников» [Van der Pijl. 1998. P. 64–97].

ренды и налагать произвольные и достаточно объемные поборы за предоставление земельного надела. В итоге крестьянство в период XVI–XVII вв. все больше изгонялось со своих традиционных земель. Землевладельцы вытесняли крестьян с их земель, огораживали и укрупняли свои территории и отдавали их в аренду крупным земельным капиталистам, которые занимались коммерческим фермерством, нанимая рабочую силу [Wolf. 1982. P. 120–121; Brenner. 1985a. P. 46–54; 1985b. P. 281–299]<sup>2</sup>. Огораживание, начавшееся в XVI в. и продолжившееся позднее при поддержке ряда изданных после 1688 г. Парламентских актов до XVIII в., разрушило общины и сельское хозяйство, ограниченное целью выживания. Английские крестьяне не были защищены монархией в силу тесной кооперации короля и землевладельческой аристократии, которая заблокировала возможность создания альянса во французском стиле между крестьянами и королем, а также развитие абсолютистского государства налогов/постов. Результатом стало разрушение старых феодальных прав политического извлечения прибавочного продукта, на месте которых начала складываться новая классовая конструкция, организованная вокруг триады крупных землевладельцев, капиталистов-фермеров и наемных работников. Отличие Франции от Англии объясняется, таким образом, различиями в классовых конфигурациях. Сравнительно централизованная самоорганизация знати и короля привела в Англии к более высокой степени сотрудничества внутри правящего класса по сравнению с Францией, где конкурентные отношения знати и короля непредумышленно обеспечили и свободу крестьян, и безопасность их земельных владений.

В Англии, таким образом, рынок больше не являлся всего лишь возможностью продавать излишки производства, став системой экономического принуждения, внутри которой вынуждены были воспроизводить себя и землевладельцы, и капиталистические фермеры, и наемные работники [Wood. 2002]. Сеньоры больше не получали ренту в виде оброка, барщины или

<sup>2</sup> Макнэлли и Муэрс доказывают, что аграрный капитализм в Англии стал результатом внутренней дифференциации в среде крестьянства. Увеличение числа богатых крестьян (йоменов) в XV и XVI вв. подорвало деревенскую солидарность и позволило джентри подвергнуть огораживанию земли обедневших крестьян [McNally. 1988. P. 1–21; Mooers. 1991. P. 155–161].

наличных денег, а землевладельцы имели капиталистическую поземельную ренту, тогда как фермеры-капиталисты извлекали капиталистическую прибыль. Труд и капитал были подчинены конкурентным законам рынка, поэтому воспроизводство правящего класса стало производной не от военной конкуренции, а от экономической. Средством увеличения производительности труда и конкурентоспособности в фермерском хозяйстве стало уменьшение издержек посредством инноваций, а также и специализация. Систематическое инвестирование в средства производства повысило уровень сельскохозяйственного производства, создало широкомасштабное коммерческое фермерское хозяйство, оборвало действие мальтузианских циклов в сельской местности и запустило самоподдерживающуюся «Аграрную революцию» [Kerridge. 1967; Wrigley. 1985; Crouzet. 1990; Overton. 1996]. Быстрый рост сельскохозяйственной производительности и сокращение числа занятых в сельском хозяйстве привело к устойчивому росту численности населения и внутреннего рынка промышленных товаров, а также к пролетаризации рабочей силы. Поэтому кризис XVII в. в Англии был не конфликтом из-за распределения уменьшающегося совокупного дохода в условиях сжимающейся аграрной экономики, как во Франции, а конфликтом по поводу самой природы отношений собственности и, в конечном счете, формы государства.

### 3. СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НОВОВРЕМЕННОЙ СУВЕРЕНИТЕТ

В политическом отношении преобразование милитаризованного класса феодалов в демилитаризованный класс капиталистов обеспечило социальный базис для новой конституционной монархии. Новая капиталистическая аристократия искала способы обезопасить свои права частной собственности, коммерческие ренты и политические свободы от реакции Стюартов 1603–1640 гг., которая стремилась свернуть к абсолютизму. То есть конфликт развертывался не между старой феодальной аристократией и поднимающейся буржуазией, состоящей из джентри и горожан, а между союзом землевладельческой аристократии/капиталистов-фермеров, поддержанным новыми колониальными торговцами-авантюристами, и наследственной аристократией, поддержанной двором, церковной элитой и при-

вилегированными морскими торговыми компаниями [Brenner. 1993. P. 638–716; Wood. 1996]. Все большее расхождение интересов класса земельных капиталистов и прокатолической, пробурбонской и проабсолютистской монархии заставило Карла II искать союза с Францией, тогда как действие парламента было приостановлено на весь период 1674–1679 гг., что вынудило капиталистическую аристократию опереться на радикальные движения в Лондоне<sup>3</sup>. Попытка Стюартов придать конфликту международный характер посредством получения французской поддержки спровоцировала парламент на то, чтобы пригласить Вильгельма Оранского, крайне протестантского по своим убеждениям лидера дома Оранских и штатдгольдера Объединенных провинций, чтобы он установил порядок в стране и закрыл возможность абсолютистской реставрации. Однако, столкнувшись с народным радикализмом, парламентская программа антиабсолютистских реформ должна была пойти на попятную и допустить восстановление монархии после республиканских правительств Английской республики. Землевладельцы, оказавшиеся зажатыми между «революцией снизу» и абсолютизмом Стюартов, пошли на осуществление Славной революции как компромисса, который обеспечивал общую стабильность при сохранении и поддержке их главных интересов: суверенность была приравнена к «Королю-в-парламенте». В результате серии королевских уступок — Билля о правах 1689 г., Трехгодичного акта 1694 г., Акта об устроении 1701 г. — капиталистическая аристократия смогла упрочить свой контроль над налогообложением, армией, судопроизводством, внешней политикой, а также добилась для парламента права самосозыва. Другими словами, парламент стал местом централизованной государственной власти.

<sup>3</sup> «Хотя английская аристократия не образовывала социального базиса абсолютизма, она также — и по той же причине — не имела бы возможностей противостоять тому или иному абсолютистскому проекту Короны, если бы не пошла на союз с иными силами и не согласилась на опасную народную мобилизацию — проявившую себя сначала в 1640-х, а затем — в период “Кризиса исключения” 1679–1681 гг. Специфическая природа английского государства и общественных отношений собственности, если говорить упрощенно, создали структурную predisposedness к политическим альянсам, которые обрели свою собственную динамику» [Wood, 1996. P. 219–219].

Парламентский контроль над военными силами лишил армию ее наследственного характера и создал *государственную монополию на средства насилия*. Парламент стал осуществлять исключительный контроль над обеспечением армии, ее размером, внутренним регламентом и развертыванием, оставив королю лишь почетный титул «верховного главнокомандующего» [Brewer. 1989. P. 43–44]. Парламентский контроль над налогами означал отмену королевской прерогативы взимать налоги в обход парламента, а также уничтожил опору короля на таможенные сборы и акцизы, которая ранее позволяла ему не принимать парламент во внимание. «Финансовая революция» XVIII в. объединила в одной новой нововременной системе государственный кредит и новую систему налогообложения. Откупщина уступила место прямому сбору налогов, осуществляемому назначаемыми правительством чиновниками, что позволило установить эффективную налоговую систему, обеспечивающую поступление постоянного дохода, управляемого казначейством. «Это позволило Британии стать первым крупным европейским государством, способным отслеживать все государственные расходы и доходы» [Brewer. 1989. P. 129]. Поземельный налог, то есть прямое налогообложение стало третьим столпом государственных доходов после таможенных сборов и акцизов. Он опирался не на силу, а на консенсус, поскольку он был главным механизмом, посредством которого землевладельческие классы облагали налогом самих себя [Parker. 1996. P. 218f]. «Поземельный налог был налогом на *капиталистические земельные ренты*, выплачиваемые собственникам крупных землевладений капиталистами-арендаторами, которые отдавали землевладельцам определенную долю доходов, полученных путем эксплуатации сельского труда» [Moore. 1991. P. 162]. Землевладельческие классы обратились к обложению налогом самих себя именно потому, что таможенные сборы и акцизы (косвенное налогообложение) были главными источниками доходов монархии и, соответственно, ассоциировались с абсолютизмом. Хотя значение поземельного налога, соответствующее его доли в общем объеме государственных доходов, после 1713 г. снижалось, он являлся главным источником государственных средств в период с 1688 по 1713 г., составляя от 37 до 52% всех поступлений [Brewer. 1989. P. 95]. Следовательно, в тот ключевой период, когда парламент должен был укрепить свои фискальные права, сопротивляясь споради-

ческим попыткам короля восстановить собственные фискальные прерогативы, самообложение налогом означало контроль. Как только новый режим был закреплен, опора на таможенные сборы и акцизы стала для владетельных классов, естественно, более удобной. В противоположность Франции британская налоговая система не выродилась в гетерогенное собрание локально и социально дифференцированных налоговых процедур, а оставалась *национальной, единообразной и эффективной*. Побочным следствием систематизированной системы сбора налогов стало создание верховной государственной кредитной системы. Именно потому, что налоговые поступления стали предсказуемыми и надежными, у кредиторов появилось больше мотивов предоставлять ссуды правительству. Государственный долг уже не был долгом самого короля, всегда готовым от него отказаться, а стал Национальным долгом (1693 г.), управляемым созданным в 1694 г. Банком Англии. Меньшие процентные ставки по государственным облигациям были приняты инвесторами в обмен на большую безопасность, особенно в случае обслуживания долгосрочных займов, поскольку они могли контролировать обслуживание долга правительством. В то же самое время Британия XVIII в. претерпела значительное расширение и преобразование административного аппарата, который все больше обнаруживал веберовские черты нововременной бюрократии — профессионализм, систему заработных плат и пенсий, экзамены, назначения, меритократические принципы карьеры, выстроенной иерархически, бухгалтерскую отчетность, процедурность, принцип старшинства, прозрачность и чувство общественного долга. Хотя в здании государства сохранялись участки, где встречалась продаваемость постов, коррупция и наследование, в отличие от Франции государственные посты не были частной собственностью продажного и неподконтрольного чиновничьего класса [Brewer. 1989. P. 64–67]. Старая привилегированная система уступала место все более деполитизирующейся и деприватизирующейся гражданской службе, так что коррупция перестала быть привилегией и была подвергнута делегитимации и криминализации именно как «коррупция»<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Оценка Брюера (Brewer) контрастирует с оценкой Муэрсса, который утверждает, что послереволюционное британское государство было «нерационализированным капиталистическим государством, что от-

Парламент не только модернизировал военную, фискальную, финансовую и административную системы, но сразу же и разрушил монополии крупных морских чартерных компаний, создав возможности для более свободного и значительного инвестирования капиталов в морские предприятия. «В 1694 г. чартер был предоставлен новой Ост-Индской компании, что подорвало позиции старой компании; Компания Гудзонова залива была лишена своих исключительных привилегий в 1697 г.; монополия Королевской Африканской компании была отменена в 1698 г.; а контроль Русской компании над экспортом табака в Московию был уничтожен в 1699 г.» [Brenner. 1993. P. 715]. Получив контроль над государством, «комитет землевладельцев» в XVIII в. принял несколько актов об огораживании, в результате чего было завершено превращение обычных крестьянских земель в укрупненные капиталистические фермы. В этом контексте в равной мере важно было найти религиозное соглашение, которое выступило бы гарантом престолонаследия в рамках протестантской семьи, поскольку абсолютистская реставрация неизбежно связывалась с враждебными католическими силами, то есть с папством, которое стремилось сломить независимость национальной церкви, контролируемой парламентом, с католическими конкурентными державами — Францией и Испанией, которые активно поддерживали реставрацию Стюартов, и, наконец, с самой наследственной монархией и некоторыми сохранившимися старыми английскими магнатами. Протестантизм стал общей средой для выстраивания идентичности капиталистической аристократии. И хотя международный контекст был важным фактором разрешения английского столетнего кризиса, он лишь видоизменил определенную социально-политическую конфигурацию, которая, по существу, создавалась эндогенно (иную точку зрения на этот вопрос см.: [Zollberg. 1980. P. 704–713])<sup>5</sup>.

Самоорганизация капиталистических землевладельцев в парламенте означала, что суверенитет был централизован и

личало его от “рационализированных” бюрократических, но некапиталистических континентальных государств» [Moore. 1991. P. 165]. По Андерсону, революции XVII в. «преобразовали базис, но не надстройку английского общества» [Anderson. 1992. P. 29].

<sup>5</sup> Это не означает, что возникновение и сохранение нового британского комплекса государства/общества было неизбежным, ведь абсолютистская интервенция вполне могла сокрушить новый режим.

сконцентрирован в государстве, которое уже не было непосредственно задействовано в политическом накоплении. Феодалное единство политического и экономического распалось и уступило место их разделению — *disiecta membra*<sup>6</sup> социальной тотальности. Политическое присвоение прибавочного продукта было замещено связью частного, чисто экономического, то есть капиталистического накопления, и публичной, безличной политической власти, то есть нововременным суверенитетом. Господствовать в парламенте и определять государственные дела стала капиталистическая аристократия, а не меркантилистская буржуазия.

Политическим следствием этих особых экономических отношений стало формально автономное государство, которое представляло частный, «экономический» класс апроприаторов в публичном, «политическом» пространстве. Это означало, что «экономические» функции присвоения были отличены от «политических» и военных функций государства или, говоря другими словами, «гражданское общество» было отлучено от государства, и в то же самое время государство стало отвечать перед гражданским обществом и подчиняться ему [Wood. 1991. P. 28].

Развитие капитализма не было необходимым исходом противоречий феодального способа производства, промежуточным явлением либо предзаданной в среднесрочной перспективе целью мировой истории. Главное, он не был проектом поднимающейся городской буржуазии, которая якобы враждовала с ретроградной земельной аристократией. Капитализм был результатом специфического классового конфликта эксплуататоров и эксплуатируемых в определенном регионе Европы. Другими словами, как утверждает Роберт Бреннер, складывание аграрного капитализма стало непреднамеренным результатом классового конфликта по поводу прав собственности, развертывающимся в тех условиях, когда каждый класс пытался воспроизводить себя в прежнем виде. Капитализм мог бы и вообще не появиться на свет. Но он возник в связке с первым нововременным государством, оставаясь капитализмом в одной отдельно взятой стране [Wood. 1991]; по поводу противоречивого вопроса Голландии см. статьи в работе: [Hoppenbrouwers, Zanden. 2001]. Следовательно, Франция и Англия не были вариациями на одну и ту же тему. Если во Франции конкурентом докапиталистическо-

<sup>6</sup> *Disiecta membra* (лат.) — разрозненные члены. — Примеч. пер.



го класса землевладельцев стало государство налогов/постов, что привело к поглощению землевладельцев наследственным государством в процессе продажи постов и должностей, в Британии государство превратилось в инструмент капиталистических землевладельческих классов, нужный для управления общими делами. Франция и Англия были двумя несоизмеримыми социальными тотальностями<sup>7</sup>. Скорее, капитализм стал той общей эфирной средой, которая окрасила в особый цвет все последующие шаги и направления развития — как национальные, так и международные.

#### 4. УНИКАЛЬНОСТЬ БРИТАНИИ: КАПИТАЛИЗМ, НОВОВРЕМЕННОЙ СУВЕРЕНИТЕТ И АКТИВНОЕ УРАВНОВЕШИВАНИЕ

Рассуждая аналитически, я показал, что, если феодализм предполагает децентрализованное, персонализированное правление сеньоров, создающее раздробленный суверенитет средневекового «государства», а абсолютизм — более централизованное, но все еще персонализированное правление династий, капитализм предполагает централизованное и деперсонализированное правление нововременного государства. Поскольку в капиталистических обществах власть правящего класса основана на частной собственности и контроле над средствами производства, «государству» больше не нужно напрямую вмешиваться в процессы производства и извлечения прибавочной стоимости.

<sup>7</sup> Напротив, Арно Майер доказывает, что «ни Франция, ни Англия не сформировались к 1914 г. в качестве индустриально-капиталистических и буржуазных гражданских и политических обществ... Они оставались все теми же "старыми режимами", основанными на сохранении господства землевладельческих культур и сельского хозяйства» [Mayer. 1981. P. 11]. Сандра Гальперин (Sandra Halperin) подвергает тезис Майера пересмотру и утверждает, что в Европе как целом «старый режим» сохранялся и был смещен только после двух мировых войн. «В Европе землевладельческая элита существовала со времен феодализма, сохранилась при абсолютизме, в национальном государстве, дожив до двадцатого века... Система национальных государств, которая в Европе пришла на смену абсолютистским государствам и империям, была выстроена для обслуживания интересов той группы, которая в Европе того периода все еще сохраняла свое господствующее положение, то есть землевладельческой аристократии» [Halperin. 1997. P. 23–24].

Его главная функция ограничивается внутренней поддержкой и внешней защитой режима частной собственности. Это требует правового сопровождения того, что теперь становится гражданскими договорами, заключаемыми свободными и равными в политическом (хотя и не экономическом) отношении гражданами, подчиненными гражданскому праву. А это, в свою очередь, требует государственной монополии на средства насилия, которая обеспечивает развитие «непредвзятой» государственной бюрократии. Политическая власть и особенно монополия на средства насилия сводятся теперь к деприватизированному государству, которое стоит над обществом и над экономикой. Хотя этим, конечно, историческая роль нововременного государства не исчерпывается, отношения капиталистической собственности позволяют осуществить разделение непринудительной «экономической экономики» и чисто «политического государства». Но поскольку капитализм не завязан на логику внутреннего политического накопления, мы могли бы ожидать того, что он приведет к упадку внешнего геополитического накопления, которое определяло задаваемое войнами международное поведение феодальной и абсолютистской эпох.

Находит ли это рассуждение эмпирическое подкрепление в истории внешней политики послереволюционной Англии? *Prima facie*<sup>8</sup>, кажется, что история противоречит этому тезису. Британия принимала непосредственное участие во всех крупных войнах XVIII в.: в Девятилетней войне (1688–1697 гг.), Войне за испанское наследство (1702–1713 гг.), «Войне из-за уха Дженкинса» и Войне за австрийское наследство (1729–1748), Семилетней войне (1756–1763) и Американской войне за независимость (1775–1783), а также в конфликтах, связанных с революционной Францией и Наполеоном. Однако роль Британии, ее стратегия и цели в европейской политике претерпели решающее изменение в результате нового внутринационального устройства. «Почти три века (примерно с 1650 по 1920 г.) Великобритания располагала своей собственной, в высшей степени специфичной системой национальной безопасности» — политикой открытого моря (*blue-water policy*) [Vaugh. 1988. P. 33; Vaugh. 1998]. Как она была образована и как влияла на европейскую политику? В конце XVII в. британский суверенитет определялся

<sup>8</sup> *Prima facie* (лат.) — на первый взгляд. — Примеч. пер.

уже не королем, а парламентом. Новая установка Британии по отношению к Европе основывалась на разведении внешней политики и династических интересов, что было обеспечено правом парламента (гарантированным Актом об устройении 1701 г.) ограничивать, формулировать и даже определять британскую внешнюю политику [Zollberg. 1980. P. 74; Black. 1991. P. 13–20, 43–58]<sup>9</sup>. После этих конституционных изменений Британская внешняя политика уже не велась на основе исключительно династических интересов, как это формулировалось в *Kabinettpolitik*, но все больше ориентировалась на «национальный интерес», определяемый владетельными классами в парламенте. Это было всемирно-историческое новшество. Новым фактором, определяющим готовность Британии вести войну, стало налогообложение и особенно поземельный налог, посредством которого землевладельческие и коммерческие классы облагали налогом самих себя.

Личный союз Объединенных провинций с Ганновером, породивший германские наследственные земли с Британскими островами, рассматривался и тори, и вигами в качестве опасного континентального наследия, вызвав громкие споры в парламенте [McKay, Scott. 1983. P. 104; Black. 1991. P. 31–42]. Интересы ганноверских монархов как электоров снова и снова сталкивались с интересами изменчивого парламентского большинства.

Большая часть споров о войне и дипломатии в Британии XVIII в. относилась к примирению династических или личных интересов монарха Вильгельма III, заботящегося о балансе сил в Европе — а также стремлений двух первых ганноверцев защитить свой любимый электорат, — и более широко определяемого государственного интереса. Такие споры случались только потому, что представители нации, как и Корона, в определенной мере осуществляли контроль над британскими вооруженными силами [Brewer. 1989. P. 43].

Хотя Ганноверская династия по-прежнему была вплетена в абсолютистскую территориальную игру междинастических отношений, парламент стремился детерриториализировать британ-

<sup>9</sup> Хотя, разумеется, монархия оставалась важным актором послереволюционной дипломатии, *differentia specifica* британской системы состояла в конституционно закрепленном праве парламента участвовать в формировании внешней политики.

скую политику на континенте [Sheehan. 1988. P. 28; Schroeder. 1994b. P. 136; Duchhardt. 1995. S. 182–183]<sup>10</sup>. Кроме того, в послереволюционной внешней политике следовало избегать союзов с католическими державами, особенно с Испанией и Францией, поскольку такие союзы угрожали внутренним социально-политическим структурам, особенно власти парламента. Нужно было во что бы то ни стало избежать возрождения династического порядка. В силу этих обстоятельств внешняя политика должна была по возможности уклоняться от континентальных проблем.

Впервые новая британская установка обнаружила себя в Деятитлетней войне (1688–1697 гг.), когда послереволюционное конституциональное соглашение и систему протестантского престолонаследия следовало испытать в борьбе против Бурбонов, которые поддерживали реставрацию Стюартов [Sheehan. 1988. P. 30; Duchhardt. 1989a. S. 33]. Способность Британии вести войну против абсолютистской Франции определялась поддержанным парламентом созданием нововременной финансовой системы, опирающейся на Национальный долг и Банк Англии. Войны теперь финансировались не из «частной» военной казны династического правителя, а надежной кредитной системой. Она была способна лучше обеспечивать сбор средств, поскольку государственные долги гарантировались парламентом [Parker. 1996. P. 217–221]. Инвестирование в подобные займы привело к тому, что британские владетельные классы были объединены военными усилиями Британии, что создало определенную общность целей. Надежность кредитов гарантировалась са-

<sup>10</sup> «Политика вмешательства в европейские дела постоянно критиковалась как затратная; она также была осуждена и представлена в качестве “ганноверского” метода, в большей степени нацеленного на защиту принадлежащего монарху “поместья” в Ганновере, чем на отстаивание стратегических интересов Британии» [Brewer. 1989. P. 174].

«Ориентация на континент, однако, постоянно продвигалась ганноверцами, по крайней мере двумя первыми Георгами, которые могли найти серьезных политиков, разделявших их взгляды или стремившихся поддержать их. Однако в обычных случаях такие политики не могли добиться того, чтобы парламент поддержал жесткий континентальный курс... Стремление к военному вмешательству в дела континента не могло перетянуть чашу весов... Ганновер был всего лишь ненужным бременем, поскольку его единственная стратегическая ценность заключалась в поставке лояльных наемников» [Baugh. 1989. P. 34, 37].

мообложением капиталистических классов, представленных в парламенте. «В период Девятилетней войны коммерческие и землевладельческие классы, представленные в парламенте, смогли удвоить доходы страны, впервые в истории эффективно обложив налогом свое собственное состояние» [MacKay, Scott. 1983. P. 46].

Неравномерное развитие разных комплексов государства/общества в Европе раннего Нового времени означало, что, пока континентальные государства продолжали действовать в рамках абсолютистских режимов внутринационального извлечения налогов и внешних династических стратегий геополитического накопления, Англия разработала двойную внешнеполитическую стратегию [Black. 1991. P. 85–86; Duchhardt. 1997. S. 302]. И если на море она по-прежнему поддерживала свою агрессивную политику «открытого моря», стимулируемую расширяющейся капиталистической торговлей, которая финансировала военно-морские предприятия, на континенте Британия взяла на себя роль регулятора (*balancer*) европейского пятидержавия [Van der Pijl. 1998. P. 86] и отказалась от непосредственных территориальных претензий после Утрехтского мира.

Война в стратегии «открытого моря» была технически прогрессивной войной, делающий акцент на экономическое давление. Военной мощи континентальных держав противостояли морские навыки, лучшее вооружение, избыток денег и ресурсов или же доступ к ресурсам. Все это можно было получить благодаря национальной промышленности и морской торговле (Daniel Vaugh, цит. в: [Brewer. 1989. P. 257]).

Пока главные европейские державы оставались династическими государствами, основанными на докапиталистических режимах собственности, Британия была зажата рамками враждебного мира, состоящего из государств, занятых политическим накоплением. Это объясняет, почему борьба Британии с Испанией и Францией на море сохранила свой военно-меркантилистский характер. Напротив, Утрехт продемонстрировал не только достижение Британией статуса великой державы, но и ее желание и способность регулировать европейские отношения на основе принципа активного уравнивания, пусть и осуществляющегося на старом территориальном базисе (то есть через континентальное хищническое равновесие). Британские мирные

планы существенно отличались от более ранних схем (противоположную точку зрения (см.: [Holsti. 1991. P. 80]). Ее стратегия заключалась в сдерживании Франции посредством привязки ее военных сил к континентальным конфликтам и разгрому флота Франции на море превосходящими британскими силами. Хотя Франция была «естественным врагом» Британии из-за ее военной силы, географического положения и доступа к океанам, переговоры по заключению двустороннего сепаратного англо-французского мира в 1713 г., который, к большому неудовольствию Австрии, позволил Франции остаться вполне жизнеспособной державой, были вписаны в логику уравнивания. Уничтожение Франции установило бы гегемонию Австрии над всем континентом. Значимым моментом является то, что единственными территориальными приобретениями Британии, полученными по Утрехтскому договору, были стратегические пункты — Гибралтар и Менорка, тогда как получение торговых позиций и коммерческих морских прав, таких как *asiento*<sup>11</sup>, было главным моментом ее мирной повестки [Rosenberg. 1994. P. 38–43; Schroeder. 1994b. P. 142]. Территориальные приобретения на континенте — если исключить стратегические пункты, которые позволяли осуществлять влияние на главные торговые пути Европы, — имели малое значение для торговой нации [Vaugh. 1989. P. 46]. Прямое военное вмешательство Британии на континент было существенно ограничено после 1713 г. и свелось практически к нулю после Семилетней войны, которая позволила Британии стать гегемонной морской державой. В то же самое время Фридрих Великий получил серьезные субсидии от Британии, что гарантировало сохранение Пруссии. Америка на самом деле была завоевана в Германии. Показательно то, что в семи англо-французских войнах между 1689 г. и 1815 г. Британия проиграла только в одной, в войне за независимость США, то есть в единственном конфликте, в котором она не смогла сформировать континентальный антифранцузский альянс.

После 1713 г. британская внешняя политика руководствовалась уже не принципом «естественных врагов» — «Старой системой», которая объединяла Англию, Голландскую республику

<sup>11</sup> *Asiento* (исп.) — предоставляемое Испанией другим странам право поставлять рабов из Африки в испанские колониальные владения. — *Примеч. пер.*

и Австрию против Франции, — а подвижной логикой быстро меняющихся коалиций, в результате которой на континенте Англию стали называть «коварным Альбионом»<sup>12</sup>. Это прозвище появилось, главным образом, вследствие неспособности династий понять природу постдинастической внешней политики и активного уравнивания сил в контексте преимущественно династической системы государств. Новая идея состояла в том, что следует останавливать военные действия, как только более слабый союзник (например Пруссия) восстановился, а не стремиться к уничтожению общего врага. Как объясняет Шихэн, это была политика достижения минимальных целей, а не максимальных целей династических коалиций [Sheehan. 1996. P. 64]. Выбирая партнеров на континенте как союзников против Франции, Британия логично пришла к союзу с теми сухопутными державами, которые не имели морских амбиций, то есть с Австрией, Пруссией и Россией. Вальпол задушил единственное поползновение Австрии в этом направлении — австрийскую Остендскую компанию, взамен признав австрийскую Прагматическую санкцию. Развитие Пруссией небольшого порта Эмден стало сигналом тревоги для лондонского торгового сообщества. Господство России как торговой державы на Балтике значило для парламента больше, чем ее обширные территориальные приобретения в Сибири. В 1730-х годах возможным оказалось даже *rapprochement*<sup>13</sup> с Францией, когда стало ясно, что Австрия снова может стать гегемоном европейской политики. «Если перефразировать изречение Пальмерстона, хотя у того, кто держит весы, нет постоянных друзей, нет у него и постоянных врагов; его единственный устойчивый интерес — поддерживать само равновесие сил» [Morgenthau. 1985. P. 214]. Однако уравнивать надо было не нововременные, а династические государства. Это объясняет, почему баланс сил не был реализован в форме автоматической «невидимой руки», напоминающей идею Адама Смита о саморегуляции рынка

<sup>12</sup> «Участие Британии в Войне за испанское наследство, в Войне за австрийское наследство и в Семилетней войне каждый раз неизменно заканчивалось тем, что Британия бросала своего главного союзника» [Sheehan. 1996. P. 63]. Анализ британской схемы плавающих альянсов см.: [Gulick. 1967. P. 68].

<sup>13</sup> *Rapprochement* (фр.) — сближение. — Примеч. пер.

(что показывает Розенберг [Rosenberg. 1994. P. 139]). Равновесие манипулировал структурно привилегированный и сознающий свою роль регулятор весов, то есть рука Британии, которая держала их чашки<sup>14</sup>.

Это означало, что в XVIII в. в Европе действовало два режима уравнивания сил. Когда абсолютистские государства по-прежнему преследовали политику территориального равновесия, разделов и компенсаций, парламентская Британия стремилась поддерживать равновесие европейской системы посредством не прямых интервенций, осуществляющихся в форме субсидий или пособий более мелким странам, что позволяло преграждать путь имперским и гегемонным амбициям [McKay, Scott. 1983. P. 96]<sup>15</sup>. Нейтралитет Британии в войне за польское наследство (1733—1738) стал явным показателем ее дистанцирования по отношению к результатам системы *convenance*, то есть системы территориальных компенсаций. Уравнивание сил осуществлялось главным образом через дипломатические пути и выплату значительных субсидий, тогда как война рассматривалась в качестве *ultima ratio*.

Во всех крупных войнах XVIII в. правительство тратило значительные суммы на субсидирование иностранных войск, которые сражались в его интересах. В период Войны за испанское наследство более семи миллионов фунтов стерлингов, то есть 25% всех средств, выделенных парламентом на армию, было направлено на иностранные субсидии. Точно так же в период между началом «Войны из-за уха Дженкинса» (1739 г.) и концом Семилетней войны (1763 г.) на иностранных солдат было потрачено примерно 17,5 миллионов фунтов стерлингов, или 21% принятого военного бюджета. Между 1702 и 1763 гг. британское правительство на те же цели потратило более 24,5 миллионов фунтов стерлингов. Иногда эти деньги выплачивались небольшим корпусам иностранных войск, которые сражались в рамках союзных армий вместе с британцами; иногда же, как во время Семилетней войны, субсидии шли целым армиям, например сорокатысячной армии герцога Брюнсвика [Brewer. 1989. P. 32].

<sup>14</sup> Хотя баланс сил обсуждался в Англии еще до 1688 г., максимумой внешней политики он стал только после 1688 г. См.: [Sheehan. 1988. P. 33].

<sup>15</sup> К концу Войны за австрийское наследство «австрийцы все больше ощущали то, что они стали британскими наемниками в англо-французской войне» [McKay, Scott. 1983. P. 172].



Хотя этот метод, естественно, был весьма затратным и вызывал много споров, на деле он оказался эффективным и вполне реализуемым. Война за австрийское наследство «стоила Британии 43 миллионов фунтов стерлингов, 30 из которых были добавлены к национальному долгу. Поскольку поземельный налог составлял 4 шиллинга к каждому из этих фунтов, алармисты в правительстве забили тревогу и хотели уже объявить о национальном банкротстве» [McKay, Scott. 1983. P. 172–173]. Однако Британия могла нести это тяжелое финансовое бремя, тогда как французская система, несмотря на большую численность налогооблагаемого населения, рухнула. Та же самая схема снова и снова повторялась в англо-французских конфликтах XVIII в.

Внимание к различиям реакций Франции и Британии на войну чрезвычайно важно, если мы желаем избежать обычной ошибки, совершаемой тогда, когда два этих государства сводят к одной модели политического устройства, управляемого войной. Очевидно, что Британия в XVIII в. стала не только крупнейшей европейской державой, но и «фискально-военным» государством [Brewer. 1989] — воинственным, милитаризованным, находящимся почти все время в состоянии войны, как и другие сравнимые с ним европейские государства. Это заставило многих комментаторов, относящихся к традиции Вебера—Хинце, опустить структурные различия Британии и остальных стран континента. Например, по Майклу Манну, формирование в Британии раннего Нового времени государства, постоянно находящегося в состоянии войны, стало, по существу, результатом геополитической конкуренции. Хотя Британия была конституционным режимом, именно ее привилегированное геостратегическое положение освободило ее от необходимости иметь постоянную армию<sup>16</sup>. Однако, по Манну, акцент на «постоянном флоте» и общее стремление к формированию фискального го-

<sup>16</sup> Обычный для Манна недостаток внимания к различиям в процессах формирования государств приводит к следующим заключениям: «Политическая хитрость, провалы во внешней политике и финансовая целесообразность могут толкнуть одни государства в сторону абсолютизма, тогда как другие — к конституционализму» [Mann. 1986. P. 478]. Основная переменная его объяснительной схемы — это различие сухопутных государств и морских. Первые тяготеют к абсолютизму, а последние — к конституционализму, однако обе формы государства являются разновидностями единственной формы — «органического государства».

сударства, исходно нацеленного на войну, минимизируют различия конституционного и абсолютистского режимов, поскольку оба они подчинены давлению геополитической конкуренции. Манн приходит к тому выводу, что «рост размера государства на протяжении всего этого периода [1130–1815 гг.] обеспечивался, главным образом, войной и лишь частично — внутренним развитием» [Mann. 1988с. Р. 110; 1986. Р. 478)]<sup>17</sup>.

Лучший способ доказать значение внутринациональных изменений — продемонстрировать разные государственные реакции на военное давление. В Британии, как и во Франции, государственные финансы управлялись военными целями. Англичане несли более тяжелое налоговое бремя, чем европейцы в целом: так, в первой четверти XVIII в. налоги в год на душу населения составляли в Британии 17,6 ливров (во Франции — 8,1 ливров), достигнув отметки в 46 ливров в 1780 г. (во Франции — 17 ливров). Показательно, однако, то, что, хотя в период 1689–1783 гг. от 61 до 74% общих правительственных трат (исключая обслуживание долга) Британии шло на военные расходы — то есть на самом деле *больше*, чем во Франции, — эта сумма составляла только 9–12,5% национального дохода [Brewer. 1989. Р. 40, 89]. Почему же процент национального дохода, выделяемый на военные траты, был меньше, чем во Франции, если общие военные расходы были большими? Как и почему подданные Британии выдерживали большее налоговое бремя? Почему это не привело к национальному мятежу, как во Франции? Поскольку Британия на протяжении всего XVIII в. не сталкивалась ни с банкротством, ни с крупными налоговыми мятежами, можно не без оснований предположить, что финансовая устойчивость и стабильность Британии поддерживалась *динамичной расширяющейся капиталистической экономикой*, а также послереволюционным соглашением, которое позволило сделать рост налогов и их сбор *национальным* и относительно *бесконфликтным* предприятием.

<sup>17</sup> Хотя Манн всеми силами стремится обойти «военный редукционизм», первичным уровнем детерминации формирования государств у него все равно остается международный уровень. «Таким образом, английская Гражданская война в моем повествовании не выступает в качестве революции, так же как и события 1688 г. Это были не массивные социальные изменения, а провалившиеся королевские перевороты» [Mann. 1986. Р. 469].

Позиция Британии как регулятора основывалась на производительной капиталистической экономике, которая поддерживала превосходство британского флота. Британия не помещалась ни в одной из чашек весов, а сама держала их в своих руках<sup>18</sup>. «Континентальные державы всегда отмечали, что традиционно Британия заявляла, что держит весы Европы своей правой рукой, тогда как своей левой рукой она укрепляла собственную гегемонию в океане, в течение двух столетий отвергая какой-либо принцип морского равновесия» [Wight. 1966a. P. 164]. Британия была не случайным островным *tertius gaudens*<sup>19</sup> системы династического уравнивания сил [Wight. 1978. P. 171], а сознающим свою роль регулятором системы европейской политики, от которой она отстранялась скорее на социально-экономическом уровне, чем географическом. Мнимое единство общеевропейской политики XVIII в. скрывает две разные концепции геополитического порядка, одной из которых придерживалась капиталистическая Британия, а другой — континентальные династические державы.

## 5. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ КОМБИНИРОВАННОЕ И СОЦИАЛЬНО НЕРАВНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

Итак, мы можем понять, как более дифференцированное историческое описание международных отношений, основанное на общественных отношениях собственности в различных государствах, ведет к радикальному пересмотру теории Вестфальской системы. В хронологическом отношении фундаментальный разрыв в логике территориального накопления, господствовавшей в международных отношениях, возник благодаря развитию капитализма в Англии. Формирование аграрного капитализма в Англии XVII в., переход от династического суверенитета к

<sup>18</sup> Хотя иногда это признается причиной, если ее вообще ищут, считается либо островной характер Британии [Gulick. 1967. P. 65–66], либо ее политическая ловкость [Claude. 1962. P. 47–48; 59–60]. Луард [Luard. 1992], например, не проводит никакого различия между Британией раннего Нового времени и ее континентальными соседями и потому не пользуется понятием «регулятора» (*balancer*).

<sup>19</sup> *Tertius gaudens* (лат.) — буквально «третий радующийся»; положение одного актора, который извлекает прибыли из конфликта двух других. — *Примеч. пер.*

парламентскому в конце XVII в. и выработка новой внешнеполитической стратегии после Утрехтского мира привели к тому, что постепенно Британия перестала предъявлять территориальные претензии на континенте. В то же самое время она начала манипулировать старым междинастическим хищническим равновесием посредством новой концепции активного уравнивания.

Однако в плане развития мир XVIII в. еще не был капиталистическим. Это объясняет, почему траектория Британии после 1688 г. по-прежнему испытывала сильное влияние со стороны логики геополитического накопления, присущей династическим государствам. Как мы видели, геополитическое давление существенно откорректировало процесс формирования британского государства после 1688 г. (не изменив, однако, его основной структуры). Ключевое отличие Британии от ее континентальных соседей заключалось в том, что «военно-фискальное» британское государство XVIII в. поддерживалось производительной капиталистической экономикой, все более рационализируемым государственным аппаратом и весьма согласованными национальными политиками объединенного правящего класса, тогда как на континенте то же самое давление вело к постоянным кризисам, раздору внутри правящего класса и окончательному распаду государства. В период формирования абсолютистской мир-системы Британия была «третьей рукой», которая осознанно уравнивала имперские претензии докапиталистических государств. Эта техника исходно была защитным механизмом, необходимым для сохранения внутренних британских структур. Однако к концу XVIII в. выполняемое Британией уравнивание не только работало на порядок и безопасность, но и произвело побочное следствие, принудив континентальные государства реагировать на превосходящую их британскую социально-политическую модель и, в конечном счете, приспособляться к ней, особенно под натиском промышленной революции. В ходе этого процесса активное уравнивание стало главным способом распределения давления на континентальные государства, что в долгосрочной перспективе вело к преобразованиям в политико-экономической организации «отсталых» комплексов государства/общества. *Ex hypothesis*, из этого следует, что под давлением геополитической конкуренции, развернувшейся особенно между Францией и Британией после поражения Франции в Семилетней войне и победонос-

ных, но, в конечном счете, провальных в финансовом отношении кампаний в обеих Америках, ослабленная в военном плане и стоящая на пороге финансового банкротства Франция была вынуждена, пройдя через эпоху драматических классовых конфликтов, насильственно изменить свои внутренние общественные отношения собственности. Британия, опиравшаяся на расширяющуюся капиталистическую экономику, продолжала сталкивать некапиталистических акторов друг с другом, доводя их до финансового и экономического истощения [Van der Pijl. 1996. S. 62–63; 1998. P. 89ff]. Изменение осуществлялось не непосредственным военным завоеванием или навязыванием политического курса (что было невозможно в континентальной Европе), а «финансовым изнурением» [Vaugh. 1989. P. 56]. Оно заставило континентальные государства пройти через несколько геополитически опосредованных кризисов — Французскую революцию, наполеоновские войны, войны за освобождение, а также последовавшие за ними «революции снизу». Все это привело к аграрным реформам, освобождению крестьян и государственным изменениям. Хотя трансформация Франции в наибольшей степени зависела от давления Британии, прусская революция сверху была запущена наполеоновскими победами, в конечном счете аннулированными Британией. Только после общеевропейского распространения капитализма, европейских революций конца XIX — начала XX вв., а также «освобождения» рынков новая логика свободной торговли установила нетерриториальные правила международного присвоения прибавочного продукта, основанного на неполитических контрактах частных граждан.

Разработка этого тезиса, естественно, потребовала бы осуществить синтез огромного количества историографических данных и погрузить их в описание, управляемое совершенно новой теорией. Хотя такая задача выходит за пределы данной книги, здесь можно наметить основные контуры такого проекта. Карл Маркс и Фридрих Энгельс выдвинули знаменитый тезис, согласно которому капитализм должен был сотворить мир по своему подобию:

Потребность в постоянно увеличивающемся рынке для ее продуктов гонит буржуазию по всему земному шару. Всюду должна она внедриться, всюду обосноваться, всюду установить связи. Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала про-

изводство и потребление всех стран космополитическим... На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга... Дешевые цены ее товаров — вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Под страхом гибели заставляет она все нации принять буржуазный способ производства [Маркс, Энгельс. Т. 4. С. 427].

Этот набросок нес на себе сильный отпечаток либерального космополитизма, и потому представлял расширение капитализма как *транснациональный*, а не *интернациональный* процесс<sup>20</sup>. Любая реконструкция капиталистического расширения должна не только отмечать хронологическую неравномерность этого процесса, но и отправляться от той посылки, что он был опосредован геополитически, то есть преломлялся наличием обществ, территориально организованных в качестве государств. Это означает, что капитализм не мог произвести систему государств, но должен был «проникнуть сквозь» множество уже наличных суверенных образований. Как мы видели, хотя абсолютистская территориальность оставалась производной от династического геополитического накопления, (несовершенная) централизация ранненовременного суверенитета придавала территории более связанный и ограниченный характер. Хотя последняя оставалась подвижной в силу контрактов и военных экспансий, брачных политик и наследования, она преодолела систему раздробленного суверенитета Средних веков. Внешнее и внутреннее все сильнее разделялось границами. Следовательно, политическая организация новременного мира в форме территориально поделенной системы государств не была производной капитализма. Скорее, капитализм «родился внутри» системы династических политических образований, которые укрепляли и объединяли свои территории в абсолютистский период. Капитализм возник в размеченной уже территориально системе государств<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> В своих более поздних работах Маркс и Энгельс изменили эту позицию. См.: [Soell. 1972; Kondylis. 1988; Kandal. 1989; Teschke. 2001. S. 327–331].

<sup>21</sup> Выводы из этой идеи, касающиеся вопроса глобализации, разработаны Лахером [Lacher. 2007].

Неовеберовская историческая социология особенно подчеркивала это хронологическое и причинно-следственное расхождение капитализма и системы государств: «Ничто в капиталистическом способе производства (или в феодальном способе, если определить его экономически) само по себе не требует возникновения множества капиталистических систем производства, разделенных и воюющих друг с другом, как и вообще всей классовой структуры, сегментированной национально» [Март. 1988с. Р. 120]. В свою очередь, Теда Скочпол утверждает, что

...международная система государств как транснациональная структура военной конкуренции исходно не была создана капитализмом. На протяжении всей мировой истории периода Нового времени она представляет собой аналитически автономный уровень транснациональной реальности, структурно и в своей динамике находящийся с капитализмом в отношении взаимозависимости [Skocpol. 1979. Р. 22].

Однако историческое наблюдение, утверждающее, что система государств предшествовала капитализму, не служит оправданием для того теоретического заключения, что она является независимой трансисторической или автономной структурой (уровнем анализа), которая требует обратиться к ресурсам теоретического плюрализма. Как раз наоборот: я показал, что территориально уже размеченная докапиталистическая система, состоящая из множества государств, сама была результатом долгой истории классовых конфликтов по поводу источников доходов, которые начались в X в., а усилились в XIV и XVI столетиях. Не государства конкурировали друг с другом за власть и безопасность, а правящие классы, организованные в территориально централизующиеся сообщества, борющиеся за причитающуюся им международную долю территории и других источников дохода. Фрагментация европейского правящего класса на множество отдельно организованных государств не является ни теоретически необходимой, ни исторически случайной, однако в ретроспективе она вполне постижима. Капитализм и политический плюриверсум в хронологическом и причинно-следственном отношении — явления не одного порядка, в отличие от докапиталистического геополитического накопления и плюриверсума. Капитализм и система государств являются диахроническими *disiecta membra*, синхронизированными в пределах одной противоречивой тотальности.

Вопреки Марксу и Энгельсу времен «Манифеста коммунистической партии», распространение капитализма не было экономическим процессом, в ходе которого транснациональные силы рынка или гражданского общества тайно проникли в докапиталистические государства, подталкиваемые логикой дешевых товаров, которая каким-то образом усовершенствовала общемировой рынок. Это был политический и, а fortiori, геополитический процесс, в ходе которого классы докапиталистического государства начали разрабатывать контрстратегии воспроизводства, чтобы защитить свои позиции в международной среде, которая ставила их в невыгодное экономическое и военное положение. Чаще всего именно тяжелая артиллерия сносила докапиталистические стены, тогда как создание и воссоздание этих стен требовало новых государственных стратегий модернизации. Эти стратегии не были единообразными; они могли быть представлены, например, как интенсификацией внутренних отношений эксплуатации и построением все более репрессивного государственного аппарата, необходимого для военной и фискальной мобилизации, так и «просвещенными» политиками неомеркантилистского или империалистского толка или же принятием либерально-экономического курса. Но так или иначе докапиталистические государства, столкнувшиеся с угрозой исчезновения, вынуждены были приспособливаться, усваивать новую политику, претворять ее в собственных условиях — или же изобретать радикальные контрстратегии, среди которых наиболее значительной является социализм. Эти вариации в реакциях государства отражают взрывоопасные сочетания различных хронологий столкновения с британским давлением и другими развитыми капиталистическими государствами и наличных классовых конфигураций внутри стран, которые, с одной стороны, исключали одни государственные стратегии, но с другой — управляли другими. Хотя первичный толчок к государственной модернизации и капиталистической трансформации был геополитическим, реакции государств на это давление преломлялись через классовые отношения, специфичные для каждого национального контекста, то есть в том числе через классовое сопротивление. В этом смысле «выравнивание провинций» порождало не что иное, как *Sonderwege* (особые пути). Если Британия и показала своим соседям образ их будущего, последний был весьма серьезно искажен. И наобо-



рот, в самой Британии не могла развиваться чистая культура капитализма, поскольку с самого начала страна была втянута в международное окружение, которое влияло на ее внутреннюю политику и долгосрочное развитие. Искажения были, таким образом, взаимными.

Перенос капитализма на континент и остальную часть мира вызвал множество социальных конфликтов, гражданских и международных войн, революций и контрреволюций, однако его главным механизмом оставалось геополитически комбинированное и социально неравномерное развитие<sup>22</sup>. Это понятие позволяет нам избежать как ошибки, встречающейся в работах по геополитической конкуренции, которая заключается в экстернализации военного соперничества, превращаемого в отдельный реифицированный уровень детерминации, так и экономического редуccionизма. Международные отношения после 1688 г. были не продолжением логики смены одних великих держав другими в рамках принципиально неизменной структуры анархии, а выражением колоссальной человеческой драмы. Это было долгое и кровопролитное преобразование — переходный период, во время которого получили всеобщее распространение процессы капиталистического расширения и трансформации режимов. Этот переход, если говорить схематически, шел от 1688 г. к Первой мировой войне для Европы, от Первой мировой — ко Второй мировой войне для остальной части несоциалистического мира и от 1917–1945 гг. к 1989 г. — для социалистического мира<sup>23</sup>. Таким образом, рождение полностью оформленной мироэкономики можно считать завершенным. Международные отношения в этот долгий период трансформации можно назвать *модернизирующимися*, а не нововременными. Это история еще ждет своего историка.

Однако, хотя распространение капитализма повлекло цепочку классовых преобразований и трансформаций режимов, оно не стало вызовом для принципа множественности политически

<sup>22</sup> Понятие геополитически комбинированного и социально неравномерного развития проясняется в работе Розенберга: [Rosenberg. 1996].

<sup>23</sup> Конечно, многие страны государственного социализма было отлично интегрированы в международный капитализм задолго до 1989 г., тогда как включение в ту же систему стран третьего мира следует, видимо, датировать периодом после 1945 г. Этим замечанием я обязан Джеймсу Инграму.

заданных территорий, который был наследием истории докапиталистического государства. В результате всеобщее признание получило различие между экономическим и политическим. Создание транснациональной «империи гражданского общества» не привело к разрушению системы государств и выстраиванию территориально однородной и слитной политической империи. Капитализм не произвел территориально поделенную систему государств, так же, как его воспроизводство не нуждалось в ней, хотя, как утверждает Джастин Розенберг [Rosenberg, 1994], он вполне совместим с ней. *Differentia specifica* капитализма как системы присвоения прибавочного продукта состоит в том исторически беспрецедентном факте, что, в принципе, потоки капитала на мировом рынке могут функционировать без вмешательства в систему политического суверенитета. Как правило, капитализм может оставлять политические территории нетронутыми. Опять же в принципе, контракты заключаются частными акторами в дополитической сфере глобального гражданского общества. Следовательно, капитализм является условием возможности универсализации принципа национального самоопределения. В более широких рамках длительной трансформации международные отношения между основными капиталистическими странами приобрели мирную форму, заместив военную конкуренцию экономической.

Но хотя горизонтальное разделение мирового рынка и системы государств создает поле совместимости, вертикальное разделение мира на территориально ограниченные центры политической власти порождает поле напряженности. Международные отношения капиталистических государств сводятся к усилию, нацеленному на то, чтобы совладать с фундаментальным противоречием, заключенным в сердце международного порядка XX в. Хотя политическая власть организована в виде нововременных суверенных государств, транснациональное экономическое накопление требует стабильного международного порядка, придерживающегося минимального набора общих правил. Функционирование мирового рынка определяется существованием государств, которые поддерживают правовые нормы, гарантирующие основанную на системе контрактов частную собственность и правовую безопасность транснациональных трансакций, обеспечивающую выполнение принципа открытых национальных экономик. Этой матрице соответству-

ют многосторонность и коллективная безопасность, а не силовая политика и баланс сил. Эволюция международных организаций — Лиги наций, созданной после Первой мировой войны и объединившей главные капиталистические страны, ООН и ГАТТ (Генерального соглашения по таможенным тарифам и торговле), вышедших после Второй мировой войны на более широкий международный уровень, и Всемирной торговой организации, ставшей после распада Советской империи глобальной структурой, — размечает этот процесс. Хотя международные организации выражают и воспроизводят власть ядра капиталистического мира, они обеспечивают существование арены для мирного разрешения внутрикапиталистических конфликтов, оказываясь инструментом взаимной подгонки и контроля соперничающих государств. Отсюда следует, что ключевая идея нововременных международных отношений состоит уже не в движимом войной накоплении территорий, а в многостороннем политическом управлении глобального капитала, способного порождать кризисы, и в регуляции мироэкономики лидирующими капиталистическими государствами. Международное экономическое накопление и прямое политическое господство отныне разведены. Обобщенный капиталистический мировой рынок может и должен сосуществовать с территориально фрагментированной системой государств. Хотя логика политического накопления, то есть войны, встроена внутри докапиталистических династических государств, была уничтожена, главные линии военного напряжения проходят между государствами, которые выключены из мирового рынка, и теми, что воспроизводят политические условия мирового рынка, поддерживаемого принципом коллективной безопасности.

Но не движется ли сегодня эта международная конфигурация к тому, что ее сменит глобализация и глобальное управление, знаменующее начало поствестфальского, постмодернистского геополитического порядка, который будет уже не столько международным, сколько глобальным? Идем ли мы навстречу глобальному государству? Я попытался показать, что Вестфальская система как исторический феномен, а не как принятое в теории МО удобное обозначение для нововременных международных отношений, была укоренена в докапиталистических отношениях собственности и в династическом суверенитете. Если теоретики МО, которые отмечают сдвиг в сторону поствестфальских

международных отношений, желают сохранить свою хронологию, они должны будут доказывать сдвиг к поствестфальскому порядку. Если, однако, мы понимаем период от 1688 до 1989 г. в качестве долгой трансформации, характеризующейся модернизирующимися международными отношениями и наследием Вестфалии, а абсолютизм как рудиментарную систему территориально ограниченных государств, тогда актуальный процесс раскрытия границ и (асимметричной) потери государственной власти мы вполне можем понимать не в качестве движения к постмодернистскому миру, а скорее, как разрушение доновременной территориальности: возможно, в глобальном масштабе нововременные международные отношения вступили в силу только сейчас.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДИАЛЕКТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

**И**сторический поворот в теории МО помог нам разбить Иокеры ориентированной на государство ортодоксальной теории международных отношений. В результате внимание сместилось к геополитическим отношениям в безгосударственном обществе, что позволило выработать объяснения формирования нововременной системы государства, то есть объяснения устройства нововременной анархии. Однако в ходе этой историзации неореалисты просто внедрили свою модель рационального выбора, которая, согласно их концепции, управляет действием международной системы и самим процессом ее формирования — логика неэволюционного отбора как *теория развития* сливается с логикой рационального выбора как *теории действия*. Этот подход не только приводит к ошибочному датированию начала нововременной системы государств, воспроизводя миф о 1648 г., он также не может объяснить различия в поведении политических акторов, относящихся к разным геополитическим порядкам, и затемняет неравномерный характер формирования государств и геополитических трансформаций, которые коренятся в классовых отношениях.

Конструктивистская теория МО предложила несколько новаторских подходов, в том числе социальных и исторических. Эти подходы поставили под вопрос позитивистские очевидности общепринятой теории МО. Но конструктивизм, независимо от того, что именно выдвигается им в качестве объяснительного принципа — различные модусы территориальности, модусы легитимности или же интерсубъективное конструирование норм, которое корректирует «правила игры» в соответствии с веберинской логикой ценностно-ориентированных сообществ, — в значительной мере деполитизировал и десоциализировал процессы складывания и перестройки международных отношений. В эмпирическом отношении, его привязанность к Франции раннего Нового времени как прототипу формирования нововременного государства и пренебрежение Англией завели теорию в исторический тупик, так что ее пределом оказался все тот же 1648 г.

Историческая социология значительно обогатила поле теории МО. Однако она остается зажатой рамками неовеберовского плюрализма, который способен интерпретировать историческое развитие лишь в терминах внешнего взаимодействия независимо заданных сфер реальности. Ошибка неовеберовства состоит не в том, что привилегия была отдана геополитической конкуренции как главному уровню детерминации, сколько в неспособности раскодировать геополитику в качестве социального отношения и выйти за пределы собственного традиционного плюрализма. Еще со времен проведенного Тедой Скочпол важного сравнительного исследования социальных революций стандартная критика марксизма стала выражаться в том, что он якобы не позволяет принять «относительную автономию государства» и положение в системе государств в качестве независимых факторов, которые учитывались бы в полном объяснении генезиса, хода и результатов социальных революций, а также общей природы долгосрочного исторического развития. В нашем исследовании мы попытались избежать этой двойной ошибки, которая заключается в том, что либо историческое развитие представляют как единую всемирно-историческую схему, либо сужают фокус рассмотрения до одного общества, абстрагируясь таким образом от международного контекста. Однако, не соглашаясь с веберовской моделью плюрализма детерминации, это исследование показало, как международные отношения внутренне связаны с политически выстроенными классовыми отношениями (режимами общественных отношений собственности) и как геополитическое давление влияет на ход социально-политического развития. Однако такое геополитическое давление — будь оно военным или «дипломатическим» — не было у нас реифицировано и не конкретизировалось в качестве сферы «международного», а было вписано во внутренние отношения и расшифровано в качестве социального праксиса, связанного с господствующими режимами общественных отношений собственности. И наоборот, исследование показало не только то, как международные отношения ограничивали, усиливали или отклоняли развитие революционных комплексов государства/общества, но и то, как социальные революции влияли на природу международных отношений и изменяли их. Это привело к объяснению формирования и развития европейской многоакторной системы как результата классового конфликта. Однако

выдвинутые тезисы несовместимы с веберовской позицией, которая подчеркивает взаимодействие независимых сфер реальности: напротив, они вытекают из диалектического понимания марксизма, центральными понятиями которого являются праксис, противоречие и тотальность. Хотя в марксистской традиции роль международных отношений как фактора всемирно-исторического развития не была теоретизирована в должной мере, концептуальный аппарат Карла Маркса, если мне так позволят выразиться Скочпол, Манн и другие, оказывается более надежным средством их объяснения.

Действительно, я показал, что экономическое и политическое, внутринациональное и международное никогда не выстраиваются независимо друг от друга. Я утверждал, что ядром их взаимодействий являются общественные отношения собственности. Эти отношения — будь они феодальными, абсолютистскими или капиталистическими — не просто экономической феномен, они внутренне связаны с политической и военной властью, а также с различными конструкциями субъективности. И обратно, политическое и военное по своему существу связаны с собственным воспроизводством и расширением — и на внутринациональной арене, и в международном масштабе. Политически заданные отношения общественной собственности образуют противоречивую и многостороннюю динамическую тотальность.

Формирование, действие и трансформация международных отношений — все это на фундаментальном уровне управляется общественными отношениями собственности. Теория общественных отношений собственности показывает, как геополитические порядки отражают структуры власти, укорененные в отношениях между производителями и непроизводителями. Различия в геополитическом поведении и в системных трансформациях можно понять именно на этой основе. Нельзя построить адекватную теорию международных отношений, выводя внешнюю политику из предзаданных и уже сформированных политических сообществ, в обычном случае сводимых к единицам конфликта, погруженным в анархическую среду. Структурные принципы — анархия и иерархия — не способны объяснить то, как ведут себя политические акторы. Анархия остается неопределенной. Агрессивное геополитическое поведение может оказаться совместимым и с анархией, и с иерархией — как мы

видели на примере Средневековья; кооперативное поведение может быть совместимым с анархией. Однако, чтобы понять все эти различия, международные отношения следует подвергнуть историзации и вписать их в социальный контекст.

Теория общественных отношений собственности не только объясняет геополитическое поведение, но и предлагает теоретическое описание формирования и трансформации геополитических порядков — сдвигов в структуре системы, если говорить в терминах современной теории МО. Однако она также показывает, что эти системные трансформации всегда связаны с глубокими социальными конфликтами, которые реорганизуют и отношения господства или эксплуатации, и отношения между внутренним и внешним, национальным и международным. Отношение между структурой и субъектом действия не является круговым отношением рекурсивного определения, в котором структура определяет действие, а действие, наоборот, подтверждает и укрепляет структуру. Нельзя также понять это отношение и как простую полярную оппозицию рационализма, стремящегося к причинно-следственным объяснениям, и рефлексивизма, ищущего герменевтического понимания. Это противоречивый и динамический процесс, который также интерпретирует сам себя, приводя к качественным трансформациям. Абсолютно ясно, что эти трансформации не следуют какой-то схеме очередности, а являются в высшей степени неравномерным — в социальном, географическом и хронологическом отношениях — процессом. Они не стремятся достичь некоего трансцендентного телоса, но в ретроспективе они постижимы. История не только динамична, но и кумулятивна. Следы прошлого должны быть приспособлены к реорганизованному настоящему. Старое и новое сливаются непредсказуемым образом. Структура и субъект действия, необходимость и свобода сочетаются по-разному — и на внутреннем, и на международном уровне. Это мир, творимый нами, однако это творение не является ни суммой намеренных и осознанных действий, ни результатом десубъективированных механизмов, имеющих чисто структурную природу. Это процесс не структуризации, а диалектического развития.

Теория международных отношений — это социальная наука. Как социальная наука, она не стоит в стороне от повседневного воспроизводства структур господства и эксплуатации. Однако



доминирующая в теории МО парадигма, то есть неореализм — вместе со своим рационалистским двойником в виде неолиберализма, — в своих попытках объяснить международную политику остается привязанной к позитивистской концепции науки. Подведение международных действий под один общий закон, претендующий на объективность, — прием, способствующий как теоретическому обнищанию, так и интеллектуальному упадку. В политическом отношении он весьма опасен и слишком часто вступает в сговор с агрессивными политиками гегемонистского государства. В некоторых из своих вариантов он оказывается просто скандальным. Неореализм — это наука господства. Это технология государственной власти, захваченная инструментальной рациональностью. Его гротескные и грубоватые напевы звучат для студентов как голоса сирен. Что касается его объяснительной силы, неореализм больше затуманивает существо дела, чем проясняет его, а богатейшую историю человеческого развития он сжимает в повествование о сухом перерасчете власти. Возвышение анархии и баланса сил до уровня трансисторических принципов, механистически определяющих геополитическое поведение, опирается на цепочку непроверенных предположений, порождая тезисы, которые можно легко опровергнуть. Проекция модели рационального выбора на политических акторов в «системе выживания» сводит политическую волю к реакциям на «железные законы» и скрывает массивные исторические преобразования в процессе формирования социального и политического мира. В эпистемологическом отношении сохранение неолиберализма определяется его стремлением оторвать политическое от социального и структурное от процессуального, дабы укрепить автономную и общую науку МО. Его техника проверки сводится к постоянному самоподтверждению, то есть поиску в истории удобных и подтверждающих теорию случаев, тогда как противоречащие данные объявляются поведением, не соразмерным теории, и, соответственно, иррациональными аномалиями.

Причин сохранения влияния неореализма довольно много. Академическая социализация в пределах американизированной дисциплины, которая так никогда и не смогла разорвать пуповину, связывающую ее с немецкой традицией *Geopolitik*, закрепляет словарь и коллективное дисциплинарное умонастроение, которое сужает возможности свободного мышления. Привлека-

тельность возможной консультативной деятельности и перспективы вхождения в политический истеблишмент — в качестве советчиков князя — обрывают возможность критической мысли. Усиление коммодификации мышления блокируют стремление к эмансипации. Современная научная и образовательная политика отдает приоритет «практическим» исследованиям в области социальных наук, исключая рефлексивную, нацеленную на смысл и цели социальной науки как демократического предприятия. Установление университетов в качестве автономных и самоуправляющихся образований было значительной победой Просвещения. Их целью было создание светского социального пространства, публичной сферы, управляемой разумом, дискуссией и критикой, которые противостояли догматизму церкви, власти государства и прибыльности рынка. Это пространство рискует подпасть под господство логики капитала. Исследование сегодня не только оценивается бюрократами, использующими чисто количественные параметры; оно также должно выполнять категорический императив производства ценности, возможности предстать в виде определенной стоимости. Эта книга в значительной степени была написана против подобных тенденций. Это критическое выступление против разворачивающегося по всему миру процесса эксплуатации и господства. Пульс диалектики ускоряется.

## ЛИТЕРАТУРА

Адорно Т. Введение в социологию. М.: Праксис, 2010.

Андерсон П. Переходы от античности к феодализму. М.: Территория будущего, 2006.

Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М.: Территория будущего, 2010.

Арриги Д. Долгий двадцатый век. М.: Территория будущего, 2007.

Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М.: Изд-во иностр. лит., 1957.

Блок М. Короли-чудотворцы: очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.

Блок М. Феодальное общество. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // *Философия и методология истории* / под ред. И.С. Кона. М.: Прогресс, 1977. С. 115–142.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. М.: Прогресс, 1992.

Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск: Полиграмма, 1993.

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: в 3 ч. Ч. 1. Роль среды. М.: Языки славянской культуры, 2002.

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: в 3 ч. Ч. 2. Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. М.: Языки славянской культуры, 2003.

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: в 3 ч. Ч. 3. События. Политика. Люди. М.: Языки славянской культуры, 2004.

Валлерстайн И. Исторический капитализм. М.: КМК, 2008.

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

Вебер М. История хозяйства: Город. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001.

Дельбрюк Г. История военного искусства: в 4 т. Т. 3. СПб.: Наука, 2001.

Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1963.

Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.

Ладюри Э. История Франции. Королевская Франция. От Людовика XI до Генриха IV. 1460–1610. М.: Международные отношения, 2004.

Люблинская А.Д. Новейшая буржуазная концепция абсолютной монархии // Критика новейшей буржуазной историографии. М.-Л.: Наука, 1961.

Люблинская А.Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.-Л.: Наука, 1965.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955–1975.

Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002.

Поршнев Б.Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623–1648). М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. М.: Территория будущего, 2009.

Элиас Н. О процессе цивилизации: в 2 т. М.-СПб.: Университетская книга, 2001.

Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии. М.: Языки славянской культуры, 2002.

Abel W. Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. 3. Ausg. Hamburg, [1935] 1978.

Abu-Lughod J.L. Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350. N.Y., 1989.

Adler E. Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics // European Journal of International Relations. 1997. Vol. 3. No. 3. P. 319–363.

Agnew J., Corbridge S. Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy. L., 1995.

Anderson M.S. War and Society in Europe of the Old Regime, 1618–1789. Leicester, 1988.

*Anderson M.S.* The Rise of Modern Diplomacy, 1450–1919. L., 1993.

*Anderson P.* Origins of the Present Crisis // *Anderson P. English Questions.* L., [1967] 1992. P. 15–47.

*Anderson P.* Maurice Thomson's War // *London Review of Books.* 1993. No. 4. November. P. 13–17.

*Arentin K.O.* Tausch, Teilung und Länderschacher als Folgen des Gleichgewichtssystems der europäischen Großmächte: Die polnischen Teilungen als europäisches Schicksal // *Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands.* 1981. Bd. 30. S. 53–68.

*Armstrong D.* Revolution and World Order. The Revolutionary State in International Society. Oxford, 1993.

*Arnold B.* German Knighthood, 1050–1300. Oxford, 1985.

*Arnold B.* Princes and Territory in Medieval Germany. Cambridge, 1991.

*Asch R.G.* Estates and Princes after 1648: The Consequences of the Thirty Years War // *German History.* 1988. Vol. 6. No. 2. P. 113–132.

Asch R.G., Duchhardt H. (Hrsg). Der Absolutismus — ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550–1700). Cologne, 1996.

*Ashley R.* The Poverty of Neorealism // *International Organization.* 1984. Vol. 38. No. 2. P. 225–286.

*Aston T. (ed.)* Crisis in Europe, 1550–1660: Essays from Past and Present. L., 1965.

*Aston T., Philpin C.H.E. (eds.)* The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe. Cambridge, 1985.

*Axtmann R.* The Formation of the Modern State: A Reconstruction of Max Weber's Arguments // *History of Political Thought.* 1990. Vol. 11. No. 2. P. 295–311.

*Axtmann R.* The Formation of the Modern State: The Debate in the Social Sciences // *National Histories and European History / M. Fulbrook (ed.)* L., 1993. P. 21–45.

*Ayton A., Price J.L.* Introduction: The Military Revolution from a Medieval Perspective // *The Medieval Military Revolution: State, Society, and Military Change in Medieval and Early Modern Europe / A. Ayton, J.L. Price (eds.)* L., 1995. P. 1–22.

*Baechler J.* The Capitalisme. Vol. 1. Les Origines. P., 1995.

*Bartlett R.* The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950–1350. L., 1993.

*Baugh D.A.* Great Britain's Blue-Water Policy, 1689–1815 // *International History Review*. 1989. Vol. 10. No. 1. P. 33–58.

*Baugh D.A.* Withdrawing from Europe: Anglo-French Maritime Geopolitics, 1750–1800 // *International History Review*. 1998. Vol. 20. No. 1. P. 13–32.

*Beik W.* Absolutism and Society in Seventeenth-Century France: State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc. Cambridge, 1985.

*Bergin J.* Cardinal Richelieu: Power and the Pursuit of Wealth. L., 1985.

*Berman H.* Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge: MA, 1983.

*Bernstein R.J.* Praxis and Action. L., 1972.

*Bien D.D.* The Secretaires du Roi: Absolutism, Corps, and Privilege under the Ancien Regime // *Vom Ancien Regime zur Französischen Revolution: Forschungen und Perspektiven* / E. Hinrichs, E. Schmitt, R. Vierhaus (Hrsg). Göttingen, 1978. S. 153–168.

*Bisson T.N.* The Medieval Crown of Aragon: A Short History. Oxford, 1986.

*Bisson T.N.* Nobility and Family in Medieval France: A Review Essay // *French Historical Studies*. Vol. 16. No. 3. 1990. P. 597–613.

*Bisson T.N.* The “Feudal Revolution” // *Past and Present*. No. 142. 1994. P. 6–42.

*Black J.* A System of Ambition? British Foreign Policy 1660–1793. L., 1991.

*Bloch M.* The Rise of Dependent Cultivation and Seigneurial Institutions // *The Cambridge Economic History of Europe: The Agrarian Life of the Middle Ages*. 2nd ed. / M.M. Postan (ed.). Vol. 1. Cambridge, [1941] 1966. P. 235–290.

*Blockmans W.P.* Voracious States and Obstructing Cities: An Aspect of State Formation in Preindustrial Europe // *Cities and the Rise of the States in Europe, A.D. 1000 to 1800* / Ch. Tilly, W.P. Blockmans (eds). Boulder, 1994. P. 218–250.

*Böckenförde E.-W.* Der Westfälische Frieden und das Bündnisrecht der Reichsstände // *Der Staat*. Bd. 8. No. 4. 1969. S. 449–478.

*Bois G.* The Crisis of Feudalism: Economy and Society in Normandy, c. 1300–1550: reprint. Cambridge, [1976] 1984.

*Bois G.* The Transformation of the Year One Thousand: The Village of Lournand from Antiquity to Feudalism / transl. J. Birrell. Manchester, [1989] 1992.

*Bonnassie P.* The Survival and Extinction of the Slave System in the Early Medieval West (Fourth to Eleventh Centuries) // *Bonnassie P.* From Slavery to Feudalism in South-Western Europe / transl. J. Birrell. Cambridge-Paris, [1985] 1991a. P. 1-59.

*Bonnassie P.* From the Rhone to Galicia: Origins and Modalities of the Feudal Order // *Bonnassie P.* From Slavery to Feudalism in South-Western Europe / transl. J. Birrell. Cambridge-Paris, [1980] 1991b. P. 104-131.

*Bonnassie P.* The Formation of Catalan Feudalism and its Early Expansion (to c. 1150) // *Bonnassie P.* From Slavery to Feudalism in South-Western Europe / transl. J. Birrell. Cambridge-Paris, [1985] 1991c. P. 149-169.

*Bonney R.* The King's Debts: Finance and Politics in France 1589-1661. Oxford, 1981.

*Bonney R.* The European Dynastic States, 1494-1660. Oxford, 1991.

*Bonney R.* Introduction: Economic Systems and State Finance, in: Economic Systems and State Finance / R. Bonney (ed.). Oxford, 1995a. P. 1-18.

*Bonney R.* Revenues // Economic Systems and State Finance / R. Bonney (ed.). Oxford, 1995b. P. 423-505.

*Bonney R.* (ed.) The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815. Oxford, 1999.

*Bosbach F.* Monarchia Universalis: Ein politischer Begriff der frühen Neuzeit. Göttingen, 1986.

*Boyle C.* Imagining the World Market: IPE and the Task of Social Theory // Millennium. 1994. Vol. 23. No. 2. P. 351-363.

*Braun R.* Taxation, Sociopolitical Structure, and State-Building: Great Britain and Brandenburg-Prussia // The Formation of National States in Western Europe / C. Tilly (ed.). Princeton, NJ, 1975. P. 243-327.

*Brenner R.* The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism // New Left Review. 1977. No. 104. P. 25-92.

*Brenner R.* Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe // The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe / T.H. Aston, C.H.E. Philpin eds. Cambridge, 1985a. P. 10-63.

*Brenner R.* The Agrarian Roots of European Capitalism // The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe / T.H. Aston, C.H.E. Philpin (eds). Cambridge, 1985b. P. 213-327.

*Brenner R.* The Social Basis of Economic Development // Analytical Marxism / J. Roemer (ed.). Cambridge, 1986. P. 23-53.

*Brenner R. Feudalism // The New Palgrave: A Dictionary of Economics: Marxian Economics / J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds). L., 1987. P. 170–185.*

*Brenner R. Bourgeois Revolution and Transition to Capitalism // The First Modern Society: Essays in English History in Honour of Lawrence Stone / A.L. Beier, D. Cannadine, J.M. Rosenheim (eds). Cambridge, 1989. P. 271–304.*

*Brenner R. Merchants and Revolution: Commercial Change, Political Conflict, and London's Overseas Traders, 1550–1653. Cambridge, 1993.*

*Brenner R. The Rises and Declines of Serfdom in Medieval and Early Modern Europe // Serfdom and Slavery: Studies in Legal Bondage / M.L. Bush (ed.). L. 1996. P. 247–276.*

*Brenner R. The Low Countries in the Transition to Capitalism // Peasants into Farmers? The Transformation of Rural Economy and Society in the Low Countries (Middle Ages — 19th Century) in Light of the Brenner Debate / P. Hoppenbrouwers, J.L. Zanden (eds). Turnhout, 2001. P. 275–338.*

*Breuer S. Max Weber's Herrschaftssoziologie. Frankfurt/M., 1991.*

*Brewer J. The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688–1783. N.Y., 1989.*

*Bromley S. American Hegemony and World Oil: The Industry, the State System, and the World Economy. University Park, 1991.*

*Bromley S. Rethinking International Political Economy // Boundaries in Question: New Directions in International Relations / J. Macmillan, A. Linklater (eds). L., 1995. P. 228–243.*

*Bromley S. Marxism and Globalisation // Marxism and Social Science / A. Gamble, D. Marsh, T. Tant (eds). L., 1999. P. 280–301.*

*Brunner O. Land and Lordship: Structures of Governance // Medieval Austria / transl. from the 4th rev. H. Kaminsky, J.V.H. Melton (eds). Philadelphia, [1939] 1992.*

*Buck P.W. The Politics of Mercantilism. N.Y., [1942] 1974.*

*Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. L., 1977.*

*Bulst N. Rulers, Representative Institutions and their Members as Power Elites: Rival or Partners? // Power Elites and State Building / W. Reinhard (ed.). Oxford, 1996. P. 41–58.*

*Burawoy M. Two Methods in Search of Science: Skocpol versus Trotsky // Theory and Society. 1989. Vol. 18. No. 6. P. 759–805.*

*Burch K. Property and the Making of the International System. Boulder: CO, 1998.*



*Burkhardt J.* Der Dreißigjährige Krieg. Frankfurt/M., 1992.

*Burkhardt J.* Die Friedlosigkeit der frühen Neuzeit. Grundlegung einer Theorie der Bellizität Europas // *Zeitschrift für Historische Forschung*. 1997. 24. Ausg. No. 4. S. 509–574.

*Butterfield H.* The Balance of Power // *Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics* / H. Butterfield, M. Wight (eds). L., 1966. P. 132–148.

Buzan B., Little R. (eds). *International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations*. Oxford, 2000.

*Chaudhuri K.N.* Reflections on the Organizing Principle of Premodern Trade // *The Political Economy of Merchant Empires: State Power and World Trade 1350–1750* / J.D. Tracy (ed.). Cambridge, 1991. P. 421–442.

*Christiansen E.* The Northern Crusades: The Baltic and the Catholic Frontier, 1100–1525. L., 1980.

*Claude I.* Power and International Relations. N.Y., 1962.

*Colas A.* International Civil Society: Social Movements in World Politics. Cambridge, 2002.

*Collins R.* Weberian Sociological Theory. Cambridge, 1986.

*Comninel G.C.* Rethinking the French Revolution: Marxism and the Revisionist Challenge. L., 1987.

*Cox R.W.* Social Forces, States, and World Order: Beyond International Relations Theory // *Millennium*. 1981. Vol. 10. No. 2. P. 126–155.

*Crouzet F.* Britain Ascendant: Comparative Studies in Franco-British Economic History / transl. M. Thorn. Cambridge, [1985] 1990.

*Czempiel E.-O.* Strukturen absolutistischer Außenpolitik // *Zeitschrift für Historische Forschung*. Bd. 7. 1980. S. 445–451.

*Davies R.* Frontier Arrangements in Fragmented Societies: Ireland and Wales // *Medieval Frontier Societies* / R. Bartlett, A. MacKay (eds). Oxford, 1989. P. 77–100.

*Davies R.* Domination and Conquest: The Experience of Ireland, Scotland, and Wales, 1100–1300. Cambridge, 1990.

*De Vries J.* The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600–1750. Cambridge, 1976.

*Dickmann F.* Der Westfälische Frieden. 3. Ausg. Münster, [1959] 1972.

*Dobb M.* Capital Accumulation and Mercantilism // *Dobb M. Studies in the Development of Capitalism*. L., 1946. P. 177–220.

*Downing B.* The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe. Princeton: NJ, 1992.

*Duby G.* La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région maconnaise. P. 1953.

*Duby G.* Rural Economy and Country Life in the Medieval West / transl. C. Postan. Columbia: SC, [1962] 1968.

*Duby G.* The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Century / transl. H.B. Clarke. L., [1973] 1974.

*Duby G.* Youth in Aristocratic Society // *Duby G.* The Chivalrous Society / transl. C. Postan. Berkeley, [1964] 1977a. P. 112–122.

*Duby G.* The Structure of Kinship and Nobility, in: *Duby G.* The Chivalrous Society / transl. C. Postan. Berkeley, [1967] 1977b. P. 134–148.

*Duby G.* The Origins of Knighthood // *Duby G.* The Chivalrous Society / transl. C. Postan. Berkeley, [1968] 1977c. P. 158–170.

*Duby G.* The Three Orders: Feudal Society Imagined / transl. A. Goldhammer. Chicago, [1978] 1980.

*Duby G.* The Relationship between Aristocratic Family and State Structures in Eleventh-Century France // *Duby G.* Love and Marriage in the Middle Ages / transl. J. Dunnott. Cambridge, [1988] 1994. P. 113–119.

*Duchhardt H.* Gleichgewicht der Kräfte, Convenance, europäisches Konzert: Friedenskonferenzen und Friedensschlüsse vom Zeitalter Ludwigs XIV. bis zum Wiener Kongreß. Darmstadt, 1976.

*Duchhardt H.* Die Glorious Revolution und das internationale System // *Francia*. 1989a. Bd. 16. No. 2. S. 29–37.

*Duchhardt H.* Westfälischer Friede und internationales System im Ancien Régime // *Historische Zeitschrift*. Bd. 249. No. 3. 1989b. S. 529–544.

*Duchhardt H.* (ed.). Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume europäischer Außenpolitik im Zeitalter Ludwigs XIV. Berlin, 1991.

*Duchhardt H.* Droit et droit des gens — structures et métamorphoses des relations internationales au temps de Louis XIV // *Frankreich im europäischen Staatensystem der frühen Neuzeit* / R. Babel (Hrsg). Sigmaringen, 1995. S. 179–189.

*Duchhardt H.* Balance of Power und Pentarchie: Internationale Beziehungen 1700–1785 // *Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen* / H. Duchhardt, F. Knipping (Hrsg). Bd. 4. Paderborn, 1997.

*Elliott J.H.* A Europe of Composite Monarchies // *Past and Present*. 1992. No. 137. P. 48–71.

*Ertman T.* Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe. Cambridge, 1997.

*Evergates T.* Nobles and Knights in Twelfth-Century France // Cultures of Power: Lordship, Status, and Process in Twelfth-Century Europe / T.N. Bisson (ed.). Philadelphia, 1995. P. 11–35.

*Fenske H.* Gleichgewicht, Balance // Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.). Bd. 2. Stuttgart, 1975. S. 959–996.

*Finer S.E.* State- and Nation-Building in Europe: The Role of the Military // The Formation of National States in Western Europe / Ch. Tilly (ed.). Princeton, NJ, 1975. P. 84–163.

*Fischer M.* Feudal Europe, 800–1300: Communal Discourse and Conflictual Practices // International Organization. 1992. Vol. 46. No. 2. P. 27–466.

*Fletcher R.A.* Reconquest and Crusade in Spain, c. 1050–1150 // Transactions of the Royal Historical Society, 1987. 5th series. No. 37. P. 31–47.

*Flori J.* L'Essor de la Chevalerie: XIe–XIIe siècles. Geneva, 1986.

*Flori J.* L'Eglise et la guerre sainte: De la "Paix de Dieu" à la croisade // Annales E.S.C. 1992a. No. 2. P. 453–66.

*Flori J.* La Première Croisade: L'Occident chretien contre l'Islam. P., 1992b.

*Fourquin G.* Le Temps de la croissance // Histoire de la France Rurale / G. Duby, A. Wallon (eds). Vol. 1. La Formation des campagnes francaises des origines au XIV siècle. P., 1975.

*Frame R.* The Political Development of the British Isles, 1100–1400. Oxford, 1990.

*Frank A.G., Gills B.K.* (eds). The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? L., 1993.

*Ganshof F.* Feudalism / transl. Ph. Grierson. 3rd rev. ed. L., [1952] 1964.

*Ganshof F.* The Middle Ages: A History of International Relations / transl. R.I. Hall. 4th rev. ed. N.Y., [1953] 1970.

*Ganshof F.* The Institutional Framework of the Frankish Monarchy: A Survey of its General Characteristics // Ganshof F. The Carolingians and the Frankish Monarchy: Studies in Carolingian History / transl. J.L. Sondheimer. 1971a. P. 86–110.

*Ganshof F.* The Frankish Monarchy and its External Relations, from Pipin III to Louis the Pious // Ganshof F. The Carolingians and the Frankish Monarchy: Studies in Carolingian History / transl. J. Sondheimer. L., 1971b. P. 162–204.

*Geary P.* Vivre en conflit dans une France sans état: Typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050–1200) // *Annales E.S.C.* 1986. No. 41. P. 1107–1133.

*Gerstenberger H.* Vom Lauf der Zeit: Eine Kritik an Fernand Braudel // *PROKLA.* 1987. Bd. 67. No. 2. S. 119–134.

*Gerstenberger H.* Die subjektlose Gewalt: Theorie der Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt. Münster, 1990.

*Giddens A.* The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge, 1984.

*Giddens A.* The Nation-State and Violence: Volume Two of a Contemporary Critique of Historical Materialism. Cambridge, 1985.

*Gilpin R.* War and Change in World Politics. Cambridge, 1981.

*Gilpin R.* The Richness of the Tradition of Political Realism // *Neorealism and its Critics* / R.O. Keohane (ed.). N.Y., 1986. P. 301–321.

*Gilpin R.* The Political Economy of International Relations. Princeton, NJ, 1987.

*Gintis H., Bowles S.* State and Class in European Feudalism // *Statemaking and Social Movements: Essays in History and Theory* / C. Bright, S. Harding (eds). Ann Arbor, 1984. P. 19–51.

*Given J.* State and Society in Medieval Europe: Gwynedd and Languedoc Under Outside Rule. Ithaca, NY., 1990.

*Godelier M.* Rationality and Irrationality in Economics / transl. B. Peirce. N.Y., 1972.

*Goetz H.-W.* Social and Military Institutions // *The New Cambridge Medieval History* / R. McKitterick (ed.). Vol. II, c. 700–900. Cambridge, 1995. P. 451–480.

*Goubert P.* The French Peasantry in the Seventeenth Century / transl. I. Patterson. Cambridge, [1982] 1986.

*Gourevitch P.* The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic Politics // *International Organization.* 1978a. Vol. 32. No. 4. P. 881–911.

*Gourevitch P.* The International System and Regime Formation: A Critical Review of Anderson and Wallerstein // *Comparative Politics.* 1978b. Vol. 10. No. 3. P. 419–438.

*Grewe W.G.* Epochen der Völkerrechtsgeschichte. Baden-Baden, 1984.

*Groh D.* Kritische Geschichtswissenschaft in emanzipatorischer Absicht: Überlegungen zur Geschichtswissenschaft als Sozialwissenschaft. Stuttgart, 1973.

- Gross L.* The Peace of Westphalia: 1648–1948 // *American Journal of International Law*. 1948. No. 42. P. 20–41.
- Gulick E.V.* Europe's Classical Balance of Power. N.Y., [1955] 1967.
- Habermas J.* Knowledge and Human Interests / transl. J.J. Shapiro. Cambridge, [1968] 1987.
- Habermas J.* The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society / transl. T. Burger. L., [1965] 1989.
- Haldon J.* The State and the Tributary Mode of Production. L., 1993.
- Hall R.B.* National Collective Identity: Social Constructs and International Systems. N.Y., 1999.
- Hall R.B., Kratochwil F.V.* Medieval Tales: Neorealist "Science" and the Abuse of History // *International Organization*. 1993. Vol. 47. No. 3. P. 479–491.
- Hallam E.M.* Capetian France, 987–1328. L., 1980.
- Halliday F.* Rethinking International Relations. L., 1994.
- Halliday F., Rosenberg J.* Interview with Ken Waltz // *Review of International Studies*. 1998. Vol. 24. P. 371–386.
- Halperin S.* In the Mirror of the Third World: Capitalist Development in Modern Europe. Ithaca, NY, 1997.
- Harvey D.* The Geopolitics of Capitalism // *Harvey D. Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. N.Y., [1985] 2001. P. 312–344.
- Hatton R.M.* Louis XIV and his Fellow Monarchs // *Louis XIV and the Craft of Kingship* / J.C. Rule (ed.). Columbia, 1969. P. 155–195.
- Heine C., Teschke B.* Sleeping Beauty and the Dialectical Awakening: On the Potential of Dialectic for International Relations // *Millennium*. 1996. Vol. 25. No. 2. P. 399–423.
- Heine C., Teschke B.* On Dialectic and International Relations: A Reply to Our Critics // *Millennium*. 1997. Vol. 26. No. 2. P. 455–470.
- Henshall N.* The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy. L., 1992.
- Henshall N.* Early Modern Absolutism 1550–1700: Political Reality or Propaganda? // *Der Absolutismus — ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550–1700)* / R.G. Asch, H. Duchhardt (Hrsg). Cologne, 1996. S. 25–53.
- Hexter J.* Fernand Braudel and the Monde Braudélien // *The Journal of Modern History*. 1972. Vol. 4. P. 480–539.
- Hilton R.* Bond Men Made Free: Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381. L., 1973.

*Hilton R.* Freedom and Villeinage in England // Peasants, Knights and Heretics: Studies in Medieval English Social History / R. Hilton (ed.). Cambridge, [1965] 1976a. P. 174–191.

*Hilton R.* Introduction // P. Sweezy, M. Dobb et al. The Transition from Feudalism to Capitalism. L., 1976b. P. 9–30.

*Hilton R.* Feudalism or Féodalité and Seigneurie in France and England, in: Hilton, Class Conflict and the Crisis of Feudalism: Essays in Medieval Social History. 2nd rev. ed. L., 1990.

*Hinrichs E.* Merkantilismus in Europa: Konzepte, Ziele, Praxis // Absolutismus / E. Hinrichs (Hrsg). Frankfurt/M., [1983] 1986. S. 344–360.

*Hinrichs E.* Absolute Monarchie und Bürokratie. Bemerkungen über ihre “Unvereinbarkeit” im französischen Ancien Régime // Ancien Regime und Revolution: Studien zur Verfassungsgeschichte Frankreichs zwischen 1589 und 1789 / E. Hinrichs (Hrsg). Frankfurt/M., 1989. S. 81–98.

*Hinsley F.H.* Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the History of Relations between States. Cambridge, 1963.

*Hintze O.* The Nature of Feudalism // Lordship and Community in Medieval Europe: Selected Readings / F.L. Cheyette (ed.). N.Y., [1929] 1968. P. 22–31.

*Hintze O.* The Formation of States and Constitutional Development: A Study in History and Politics // The Historical Essays of Otto Hintze / F. Gilbert (ed.). N.Y., 1975a [1902]. P. 159–177.

*Hintze O.* Military Organization and the Organization of the State // The Historical Essays of Otto Hintze / F. Gilbert (ed.). N.Y., [1906] 1975b. P. 180–215.

*Hintze O.* The Preconditions of Representative Government in the Context of World History // The Historical Essays of Otto Hintze / F. Gilbert (ed.). N.Y., 1975c. P. 305–353.

*Hobden S.* International Relations and Historical Sociology. L., 1998.

*Hobson J.M.* The State and International Relations. Cambridge, 2000. P. 174–214.

*Hobson J.M.* What’s at Stake in “Bringing Historical Sociology Back into International Relations”? // Historical Sociology of International Relations / S. Hobden, J. Hobson (eds). Cambridge, 2002a. P. 3–41.

*Hobson J.M.* The Two Waves of Weberian Historical Sociology in International Relations // Historical Sociology of International Relations / S. Hobden, J. Hobson (eds). Cambridge, 2002b. P. 63–83.

*Hoffman Ph. T.* Early Modern France, 1450–1700 // Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, 1450–1789 / Ph. T. Hoffman, K. Norberg (eds). Stanford, CA, 1994. P. 226–252.

*Holsti K. J.* Peace and War: Armed Conflicts and International Order, 1648–1989. Cambridge, 1991.

*Holzgrefe J. L.* The Origins of Modern International Relations Theory // Review of International Studies. 1989. Vol. 15. No. 1. P. 11–26.

*Hoppenbrouwers P., van Zanden J. L.* (eds). Peasants into Farmers? The Transformation of Rural Economy and Society in the Low Countries (Middle Ages–19th Century) in Light of the Brenner Debate. Turnhout, 2001.

*Imbusch P.* Das moderne Weltsystem // Eine Kritik der Weltsystemtheorie Immanuel Wallersteins. Marburg, 1990.

*James E.* The Origins of France: From Clovis to the Capetians, 500–1000. L., 1982.

*Kaeuper R. W.* War, Justice, and Public Order: England and France in the Later Middle Ages. Oxford, 1988.

*Kaiser D.* Politics and War: European Conflict from Phillip II to Hitler. Cambridge: MA, 1990.

*Kandal T. R.* Marx and Engels on International Relations, Revolution, and Counterrevolution // Studies of Development and Change in the Modern World / M. T. Martin, T. R. Kandal (eds). N. Y., 1989. P. 25–76.

*Kantorowicz E.* The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, NJ, 1957.

*Katz C. J.* From Feudalism to Capitalism: Marxian Theories of Class Struggle and Social Change. N. Y., 1989.

*Katz C. J.* Karl Marx on the Transition from Feudalism to Capitalism // Theory and Society. 1993. Vol. 22. P. 363–389.

*Kerridge E.* The Agricultural Revolution. L., 1967.

*Klingenstein G.* The Meanings of "Austria" and "Austrian" in the Eighteenth Century // Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe / R. Oresko, G. C. Gibbs, H. M. Scott (eds). Cambridge, 1997. P. 423–478.

*Kondylis P.* Theorie des Krieges. Clausewitz — Marx — Engels — Lenin. Stuttgart, 1988.

*Körner M.* Expenditure // Economic Systems and State Finance / R. Bonney (ed.). Oxford, 1995a. P. 393–422.

*Körner M.* Public Credit // Economic Systems and State Finance / R. Bonney (ed.). Oxford, 1995b. P. 507–538.

*Kosik K.* Dialectics of the Concrete: A Study on Problems of Man and World / transl. K. Kovanda. Boston, 1976.

*Krasner S.D.* Westphalia and All That // Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change / J. Goldstein, R.O. Keohane (eds). Ithaca—London, 1993. P. 235–264.

*Krasner S.D.* Compromising Westphalia // International Security. 1995. Vol. 20. No. 3. P. 115–151.

*Krasner S.D.* Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, NJ, 1999.

*Kratochwil F.* On the Notion of “Interest” in International Relations // International Organization. 1982. Vol. 36. No. 1. P. 1–30.

*Kratochwil F.* Of Systems, Boundaries, and Territoriality: An Inquiry into the Formation of the State System // World Politics. 1986. Vol. 34. No. 1. P. 27–52.

*Kratochwil F.* Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs. Cambridge, 1989.

*Kratochwil F.* Sovereignty as Dominion: Is There a Right of Humanitarian Intervention? // State Sovereignty and International Intervention / G.M. Lyons, M. Mastanduno (eds). Baltimore, 1995. P. 21–42.

*Krippendorff E.* Staat und Krieg: Die historische Logik politischer Unvernunft. Frankfurt/M., 1985.

*Kuchenbuch L.* Potestas und Utilitas: Ein Versuch über Stand und Perspektiven der Forschung zur Grundherrschaft im 9–13. Jahrhundert // Historische Zeitschrift. 1997. No. 265. S. 117–146.

*Kula W.* An Economic Theory of the Feudal System: Towards a Model of the Polish Economy, 1500–1800 / transl. L. Garner. L., [1962] 1976.

*Kunisch J.* Staatsverfassung und Mächtepolitik. Zur Genese von Staatenkonflikten im Zeitalter des Absolutismus. Berlin, 1979.

*Kunisch J.* (Hrsg). Der dynastische Fürstenstaat: Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates. Berlin, 1982.

*Kunisch J.* La Guerre — c'est moi! Zum Problem der Staatenkonflikte im Zeitalter des Absolutismus // Zeitschrift für Historische Forschung. 1987. Bd. 14. No. 1/4. S. 407–438.

*Lacher H.* Beyond Globalization: Capitalism, Territoriality and the International Relations of Modernity (Ripe Series in Global Political Economy). L., 2007.

*Ladurie E. le R.* Les Paysans de Languedoc: 2 vols. P., 1966.



Lapid Y., Kratochwil F.V. (eds). *The Return of Culture and Identity in IR Theory*. Boulder, CO, 1996.

*Le Patourel J.* The Norman Colonization of Britain // *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'alto medioevo: Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*. Spoleto, 1969. No. 16. P. 409–438.

*Le Patourel J.* *The Norman Empire*. Oxford, 1976.

*Lomax D.W.* *The Reconquest of Spain*. L., 1978.

*Luard E.* *The Balance of Power: The System of International Relations, 1648–1815*. L., 1992.

*Madariaga I.* Tsar into Emperor: The Title of Peter the Great // *Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe* / R. Oresko, G.C. Gibbs, H.M. Scott (eds). Cambridge, 1997. P. 351–381.

*Malettke K.* Ludwig XIV. Außenpolitik zwischen Staatsräson, ökonomischen Zwängen und Sozialkonflikten // *Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume europäischer Außenpolitik im Zeitalter Ludwigs XIV* / H. Duchhardt (Hrsg). Berlin, 1991. S. 43–72.

*Mann M.* *The Sources of Social Power. Vol. 1. A History of Power from the Beginning to A.D. 1760*. Cambridge, 1986.

*Mann M.* *The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results* // *Mann M. States, War, and Capitalism: Studies in Political Sociology*. Oxford, 1988a. P. 1–32.

*Mann M.* *European Development: Approaching a Historical Explanation*, in: *Europe and the Rise of Capitalism* / J. Baechler et al. (eds). Oxford, 1988b.

*Mann M.* *State and Society, 1130–1815: An Analysis of English State Finances* // *Mann M. States, War and Capitalism: Studies in Political Sociology*. Oxford, 1988c. P. 73–123.

*Mattingly G.* *Renaissance Diplomacy*. N.Y., [1955] 1988.

*Mayer A.J.* *The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War*. N.Y., 1981.

*Mayer T.* *Die Ausbildung des modernen deutschen Staates im hohen Mittelalter* // *Herrschaft und Staat im Mittelalter* / H. Kampf (Hrsg). Bad Homburg, [1939] 1963. S. 284–331.

*McKay D., Scott H.M.* *The Rise of the Great Powers, 1648–1815*. L., 1983.

*McNally D.* *Political Economy and the Rise of Capitalism: A Reinterpretation*. Berkeley, CA, 1988.

- Mearsheimer J.* The False Promise of International Institutions // *International Security*. 1995. Vol. 19. No. 3. P. 5–49.
- Mearsheimer J.* The Tragedy of Great Power Politics. N.Y., 2001.
- Merrington J.* Town and Countryside in the Transition to Capitalism // *The Transition from Feudalism to Capitalism* / P. Sweezy et al. (eds). L., 1976. P. 170–195.
- Mettam R.* Power and Faction in Louis XIV's France. Oxford, 1988.
- Mitteis H.* The State in the Middle Ages: A Comparative Constitutional History of Feudal Europe / transl. H.F. Orton. Amsterdam, [1940] 1975.
- Mommsen H.* "Verstehen" und "Idealtypus": Zur Methodologie einer historischen Sozialwissenschaft // *Mommsen H. Max Weber: Gesellschaft, Politik und Geschichte*. Frankfurt/M., 1974. S. 208–232.
- Mommsen H.* Ideal Type and Pure Type: Two Variants of Max Weber's Ideal-Typical Method // *Mommsen W. The Political and Social Theory of Max Weber: Collected Essays*. Cambridge, 1989. P. 121–132.
- Mooers C.* The Making of Bourgeois Europe: Absolutism, Revolution, and the Rise of Capitalism in England, France and Germany. L., 1991.
- Moraw P.* "Herrschaft" im Mittelalter // *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland* / O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg). Bd. 3. Stuttgart, 1982. S. 5–13.
- Morgenthau H.J., Thompson K.W.* Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. 6th ed. N.Y., [1948] 1985.
- Mousnier R.* The Institutions of France under the Absolute Monarchy, 1598–1789: Society and the State. Vol. I / transl. B. Pearce. Chicago, [1974] 1979.
- Mousnier R.* The Institutions of France under the Absolute Monarchy, 1589–1789: The Organs of the State and Society. Vol. II / transl. A. Goldhammer. Chicago, [1980] 1984.
- Muhlack U.* Absoluter Fürstenstaat und Heeresorganisation in Frankreich im Zeitalter Ludwigs XIV // *Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit* / J. Kunisch (Hrsg). Berlin, 1988. S. 249–278.
- Münkler H.* Im Namen des Staates: Die Begründung der Staatsräson in der frühen Neuzeit. Frankfurt/M., 1987.
- Münkler H.* Machiavelli: Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz. Frankfurt/M., 1992.
- Nelson J.L.* Kingship and Royal Government // *The New Cambridge Medieval History* / R. McKitterick (ed). Vol. II, c. 700–900. Cambridge, 1995. P. 383–436.

*North D.C.* Institutions, Transaction Costs, and the Rise of Merchant Empires // Tracy J.D. The Political Economy of Merchant Empires: State Power and World Trade 1350–1750. Cambridge, 1991. P. 22–40.

*Oestreich G.* The Constitution of the Holy Roman Empire and the European State System, 1648–1789 // Oestreich G. Neostoicism and the Early Modern State. Cambridge, 1982 [1969]. P. 241–257.

*Onuf N.G.* World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations. Columbia, 1989.

*Oresko R.* The Marriages of the Nieces of Cardinal Mazarin: Public Policy and Private Strategy in Seventeenth-Century Europe // Frankreich im europäischen Staatensystem der frühen Neuzeit / R. Babel (Hrsg). Sigmaringen, 1995. S. 109–151.

Oresko R., Gibbs G.C., Scott H.M. (eds). Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe. Cambridge, 1997.

*Ormrod W.M.* The West European Monarchies in the Later Middle Ages // Economic Systems and State Finance / R. Bonney (ed). Oxford, 1995. P. 123–160.

*Ormrod W.M., Barta J.* The Feudal Structure and the Beginnings of State Finance // Economic Systems and State Finance / R. Bonney (ed). Oxford, 1995. P. 53–79.

*Osiander A.* The States System of Europe, 1640–1990: Peacemaking and the Conditions of International Stability. Oxford, 1994.

*Osiander A.* Before Sovereignty: Society and Politics in Ancien Regime Europe // Empires, Systems and States: Great Transformations in International Politics / M. Cox, T. Dunne, K. Booth (eds). Cambridge, 2001. P. 119–145.

*Overton M.* Agricultural Revolution in England: The Transformation of the Agrarian Economy 1500–1850. Cambridge, 1996.

*Parker G.* The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800. Cambridge, 1988.

Parker G., Smith L.M. (eds). The General Crisis of the Seventeenth Century. L., 1978.

*Parker D.* Law, Society and the State in the Thought of Jean Bodin // History of Political Thought. 1981. Vol. 2. No. 2. P. 253–285.

*Parker D.* Sovereignty, Absolutism and the Function of the Law in Seventeenth-Century France // Past and Present. 1989. No. 122. P. 36–74.

*Parker D.* Class and State in Ancien Regime France: The Road to Modernity? L., 1996.

*Parrott D.* A Prince Souverain and the French Crown: Charles de Nevers, 1580–1637 // *Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe* / R. Oresko, G.C. Gibbs, H.M. Scott (eds). Cambridge, 1997. P. 149–187.

*Philpot D.* *Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations*. Princeton, NJ, 2001.

*Poggi G.* *The Development of the Modern State: A Sociological Introduction*. L., 1978.

*Poggi G.* Max Weber's Conceptual Portrait of Feudalism // *British Journal of Sociology*. 1988. No. 39. P. 211–227.

*Poly J.-P., Bournazel E.* *The Feudal Transformation, 900–1200* / transl. C. Higitt. N.Y., [1980] 1991.

*Postan M.M.* *Medieval Agrarian Society in its Prime: England* // *Cambridge Economic History of Europe* / M.M. Postan (ed.). Vol. 1. 2nd ed.: *The Agrarian Life of the Middle Ages*. Cambridge, 1966. P. 548–632.

*Rabb T.K.* *The Struggle for Stability in Early Modern Europe*. N.Y., 1975.

*Reinhard W.* *Staatsmacht als Kreditproblem: Zur Struktur und Funktion des frühneuzeitlichen Ämterhandels* // *Vierteljahreshefte für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*. 1975. Bd. 61. No. 3. S. 289–319.

*Reinhard W.* *Kriegsstaat — Steuerstaat — Machtstaat* // *Der Absolutismus — ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550–1700)* / R. Asch, H. Duchhardt (Hrsg.). Cologne, 1996a. S. 277–310.

*Reinhard W.* *Introduction: Power Elites, State Servants, Ruling Classes and the Growth of State Power* // *Power Elites and State Building* / W. Reinhard (ed.). Oxford, 1996b. P. 1–18.

*Reinhard W.* *Geschichte der Staatsgewalt: Eine Vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart*. Munich, 1999.

*Reppen K.* *Der Westfälische Friede und die Ursprünge des europäischen Gleichgewichts* // K. Reppen. *Von der Reformation zur Gegenwart. Beiträge zu Grundfragen der neuzeitlichen Geschichte*. Paderborn, 1988. S. 53–66.

*Reus-Smit C.* *The Moral Purpose of the State: Culture, Social Identity, and Institutional Rationality in International Relations*. Princeton, NJ, 1999.

*Reuter T.* *Plunder and Tribute in the Carolingian Empire* // *Transactions of the Royal Historical Society*. 1985. 5th series. No. 35. P. 75–94.

*Reuter T.* *The End of Carolingian Military Expansion* // *Charlemagne's Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814–840)* / P. Godman, R. Collins (eds). Oxford, 1995. P. 391–405.

- Robinson I.* The Papacy, 1073–1198: Continuity and Innovation. Cambridge, 1990.
- Root H.* Peasants and King in Burgundy: Agrarian Foundations of French Absolutism. Berkeley, CA, 1987.
- Rosenberg J.* The Empire of Civil Society: A Critique of the Realist Theory of International Relations. L., 1994.
- Rosenberg J.* Isaac Deutscher and the Lost History of International Relations // *New Left Review*. 1996. No. 215. P. 3–15.
- Rösener W.* Agrarwirtschaft, Agrarverfassung und ländliche Gesellschaft im Mittelalter. Munich, 1992.
- Rowen H.* "L'Etat, c'est moi"; Louis XIV and the State // *French Historical Studies*. 1961. No. 2. P. 83–98.
- Rowen H.* Louis XIV and Absolutism // *Louis XIV and the Craft of Kingship* / J.C. Rule (ed.). Columbia, 1969. P. 302–316.
- Rowen H.* The King's State: Proprietary Dynasticism in Early Modern France. N. Brunswick, NJ, 1980.
- Ruggie J.G.* Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist Synthesis // *Neorealism and its Critics* / R.O. Keohane (ed.). N.Y., [1983] 1986. P. 131–157.
- Ruggie J.G.* International Structure and International Transformation: Space, Time, and Method // *Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990s* / Czempiel E.-O., J.N. Rosenau (eds). Lexington, MA, 1989. P. 21–35.
- Ruggie J.G.* Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations // *International Organization*. 1993. Vol. 47. No. 1. P. 139–174.
- Ruggie J.G.* What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge // *International Organization*. 1998. Vol. 52. No. 4. P. 855–885.
- Sahlins P.* Natural Frontiers Revisited: France's Boundaries since the Seventeenth Century // *American Historical Review*. 1990. No. 95. P. 1423–1451.
- Salmon J.H.M.* Venality of Office and Popular Sedition in Seventeenth-Century France // *Salmon J.H.M. Renaissance and Revolt: Essays in the Intellectual and Social History of Early Modern France*. Cambridge, [1967] 1987. P. 191–210.
- Sayer D.* The Critique of Politics and Political Economy: Capitalism, Communism and the State in Marx's Writings of the Mid-1840s // *The Sociological Review*. 1985. Vol. 33. No. 2. P. 221–253.

*Schmidt A.* History and Structure: An Essay on Hegelian-Marxist and Structuralist Theories of History / transl. J. Herf. Cambridge, MA, 1981.

*Schmoller G.* The Mercantile System and its Historical Significance: Illustrated Chiefly from Prussian History: reprinted 1967 by Augustus M. Kelley Publishers. N.Y., [1884] 1897.

*Schroeder P.W.* Did the Vienna Settlement Rest on a Balance of Power? // American Historical Review. 1992. Vol. 97. No. 3. P. 683–706.

*Schroeder P.W.* The Transformation of European Politics, 1763–1848. Oxford, 1994a.

*Schroeder P.W.* Historical Reality vs. Neo-realist Theory // International Security. 1994b. Vol. 19. No. 1. P. 108–148.

*Schulze W.* Europäische und deutsche Bauernrevolten der frühen Neuzeit: Probleme der vergleichenden Betrachtung // Europäische Bauernrevolten der frühen Neuzeit / Schulze W. (Hrsg). Frankfurt/M., 1982.

*Schulze W.* The Emergence and Consolidation of the “Tax State”: I. The Sixteenth Century // Economic Systems and State Finance / R. Bonney (ed.). Oxford, 1995. P. 261–279.

*Schumpeter J.* The Crisis of the Tax State // International Economic Papers. N.Y., [1918] 1954. Vol. 4. P. 5–38.

*Schwarz B.* Ämterkauflichkeit, eine Institution des Absolutismus und ihre mittelalterlichen Wurzeln // Historisches Seminar der Universität Münster. Staat und Gesellschaft in Mittelalter und früher Neuzeit: Gedenkschrift für Joachim Leuschner. Göttingen, 1983. S. 176–196.

*Searle E.* Predatory Kinship and the Creation of Norman Power: 840–1066. Berkeley, CA, 1988.

*Sheehan M.* The Development of British Theory and Practice of the Balance of Power before 1714 // History. 1988. Vol. 73. No. 237. P. 24–37.

*Sheehan M.* The Balance of Power: History and Theory. L., 1996.

*Siegelberg J.* Kapitalismus und Krieg: Eine Theorie des Krieges in der Weltgesellschaft. Münster, 1994.

*Skocpol T.* States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge, 1979.

*Skocpol T.* Wallerstein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique // Skocpol T. Social Revolutions in the Modern World. Cambridge, [1977] 1994. P. 55–71.

*Smith J.* Fines Imperii: The Marches // The New Cambridge Medieval History, c. 700–900 / R. McKitterick (ed.). Vol. 2. Cambridge, 1995. P. 169–189.

*Smith S.* Historical Sociology and International Relations Theory // Historical Sociology of International Relations / St. Hobden, J. Hobson (eds). Cambridge, 2002. P. 223–243.

*Soell H.* Weltmarkt — Revolution — Staatenwelt. Zum Problem einer Theorie internationaler Beziehungen bei Marx und Engels // Archiv für Internationale Beziehungen. 1972. Bd. 12. S. 109–184.

*Spruyt H.* The Sovereign State and its Competitors: An Analysis of Systems Change. Princeton, 1994a.

*Spruyt H.* Institutional Selection in International Relations: State Anarchy as Order // International Organization. 1994b. Vol. 48. No. 4. P. 527–557.

*Spruyt H.* Historical Sociology and Systems Theory in International Relations // Review of International Political Economy. 1998. Vol. 5. No. 2. P. 340–353.

*Steiger H.* Der Westfälische Frieden — Grundgesetz für Europa? // Der Westfälische Friede: Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld, Rezeptionsgeschichte / H. Duchhardt (Hrsg). Munich, 1998. S. 33–80.

*Strayer J.* On the Medieval Origins of the Modern State. Princeton, NJ, 1970.

*Sweezy P.* A Critique // The Transition from Feudalism to Capitalism / R. Hilton (ed.). L., 1976. P. 35–56.

*Sweezy P., Dobb M.* et al. The Transition from Feudalism to Capitalism. L., 1976.

*Symcox G.* (ed.). War, Diplomacy, and Imperialism, 1618–1763. L., 1974.

*Tabacco G.* The Struggle for Power in Medieval Italy: Structures of Political Rule. Cambridge, 1989.

*Tellenbach G.* From the Carolingian Imperial Nobility to the German Estate of Princes // Medieval Nobility: Studies on the Ruling Classes of France and Germany from the Sixth to the Twelfth Century / Th. Reuter (ed.). Amsterdam, [1943] 1978.

*Teschke B.* The Significance of the Year One Thousand // Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory. 1997. Vol. 1. No. 1. P. 196–203.

*Teschke B.* Geopolitical Relations in the European Middle Ages: History and Theory // International Organization. 1998. Vol. 52. No. 2. P. 325–358.

*Teschke B.* Geopolitik // Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus / W.-F. Haug (Hrsg). Bd. 5. Hamburg, 2001. S. 322–334.

*Teschke B.* Theorising the Westphalian System of States: International Relations from Absolutism to Capitalism // European Journal of International Relations. 2002. Vol. 8. No. 1. P. 5–48.

*Teschke B., Heine C.* The Dialectic of Globalisation: A Critique of Social Constructivism // Historical Materialism and Globalization / M. Rupert, H. Smith (eds). L., 2002. P. 165–187.

*Thomson J.E.* Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State-Building and Extraterritorial Violence in Early Medieval Europe. Princeton, NJ, 1994.

*Tilly C.* Reflections on the History of European State-Making // The Formation of National States in Western Europe / Ch. Tilly (ed.). Princeton, NJ, 1975. P. 3–83.

*Tilly C.* War Making and State Making as Organized Crime // Bringing the State Back In / P.B. Evans, D. Rueschemeyer, T. Skocpol (eds). Cambridge, 1985. P. 169–191.

*Tracy J.D.* The Rise of Merchant Empires: Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1350–1750. Cambridge, 1990.

*Van der Pijl K.* Vordenker der Weltpolitik. Opladen, 1996.

*Van der Pijl K.* The History of Class Struggle: From Original Accumulation to Neoliberalism // Monthly Review. 1997. Vol. 49. No. 1. P. 28–49.

*Van der Pijl K.* Transnational Classes and International Relations. L., 1998.

*Van der Pijl K., Walker R.B.J.* History and Structure in the Theory of International // Millennium: Journal of International Studies. 1989. Vol. 18. No. 2. P. 163–183.

*Verhulst A.* Economic Organisation // The New Cambridge Medieval History / R. McKitterick (ed.). Vol. II. c. 700–900. Cambridge, 1995. P. 481–509.

*Vierhaus R.* Absolutismus // Absolutismus / E. Hinrichs (Hsrg). Frankfurt/M., [1966] 1985. S. 35–62.

*Vierhaus R.* Germany in the Age of Absolutism / transl. J.B. Knudsen. Cambridge, 1988.

*Vilar P.* Marxist History, A History in the Making: Towards a Dialogue with Althusser // New Left Review. 1973. No. 80. P. 65–106.

*Viner J.* Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries // Revisions in Mercantilism / D.C. Coleman (ed.). L., [1948] 1969. P. 61–91.

*Walker R.B.J.* History and Structure in the Theory of International Relations // Millennium: Journal of International Studies. 1989. Vol. 18. No. 2. P. 163–183.

*Wallerstein I.* The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. N.Y., 1974.



*Wallerstein I.* The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis // *Wallerstein I. The Capitalist World-Economy.* Cambridge, 1979. P. 1–36.

*Wallerstein I.* The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750. N.Y., 1980.

*Waltz K.N.* Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. N.Y., 1959.

*Waltz K.N.* Theory of International Politics. Reading, MA, 1979.

*Waltz K.N.* Reflections on Theory of International Politics: A Response to my Critics // *Neorealism and its Critics / R.O. Keohane (ed.).* N.Y., 1986. P. 322–345.

*Waltz K.N.* The Origins of War in Neorealist Theory // *Journal of Interdisciplinary History.* 1988. Vol. 18. P. 615–628.

*Waltz K.N.* Realist Thought and Neorealist Theory // *Journal of International Affairs.* 1990. Vol. 44. P. 21–37.

*Weber H.* Die Bedeutung der Dynastien für die europäische Geschichte in der frühen Neuzeit // *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte.* 1981. Bd. 44. S. 5–32.

*Weber M.* General Economic History / transl. F.H. Knight. Glencoe, IL, 1927.

*Weber M.* “Objectivity” in Social Science and Social Policy // *The Methodology of the Social Sciences / E.A. Shils, H.A. Finch (eds).* Glencoe, IL, [1904] 1949a. P. 49–112.

*Weber M.* The Meaning of “Ethical Neutrality” in Sociology and Economics // *The Methodology of the Social Sciences / E.A. Shils, H.A. Finch (eds).* Glencoe, [1918] 1949b. P. 1–47.

*Weber M.* Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Vols. 1, 2 / G. Roth, C. Wittich (eds). Berkeley, [1922] 1968a.

*Weber M.* Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie // *Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre / J. Winckelmann (Hrsg).* 3 Ausg. Tübingen, [1913] 1968b. S. 427–474.

*Wendt A.* The Agent-Structure Problem in International Relations Theory // *International Organization.* 1987. Vol. 41. No. 3. P. 335–370.

*Wendt A.* Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics // *International Organization.* 1992. Vol. 46. No. 2. P. 391–425.

*Wendt A.* Social Theory of International Politics. Cambridge, 1999.

*Werner K.* Missus-Marchio-Comes: Entre l’administration centrale et l’administration locale de l’empire carolingien // *Histoire comparée de*

l'administration: IVe–XVIIIe siècles / K. Werner, W. Paravicini (eds). Munich, 1980. P. 191–239.

*Wickham C. Historical Materialism, Historical Sociology // New Left Review. 1988. No. 171. P. 63–78.*

*Wickham C. Making Europes // New Left Review. 1994. No. 208. P. 133–143.*

*Wickham C. Debate: The “Feudal Revolution” // Past and Present. 1997. No. 155. P. 196–208.*

*Wight M. The Balance of Power // Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics / H. Butterfield, M. Wight (eds). L., 1966a. P. 149–175.*

*Wight M. Why Is There No International Theory? // Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics / H. Butterfield, M. Wight (eds). L., 1966b. P. 17–34.*

*Wight M. De Systematibus Civitatum // Wight M. Systems of States. Leicester, 1977a. P. 21–45.*

*Wight M. The Origins of Our States-System: Chronological Limits // Wight M. Systems of States. Leicester, 1977b. P. 129–153.*

*Wight M. Power Politics / H. Bull, C. Holbraad (eds). Leicester, 1978.*

*Wohlfel R. Das Heerwesen im Übergang vom Ritter- zum Soldnerheer // Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit / J. Kunisch (Hrsg). Berlin, 1988. S. 107–127.*

*Wolf E.R. Europe and the People without History. Berkeley, CA, 1982.*

*Wood E.M. The Pristine Culture of Capitalism: A Historical Essay on Old Regimes and Modern States. L., 1991.*

*Wood E.M. From Opportunity to Imperative: The History of the Market // Monthly Review. 1994. Vol. 46. No. 3. P. 14–40.*

*Wood E.M. The Separation of the “Economic” and the “Political” in Capitalism // Wood E.M. Democracy against Capitalism: Renewing Historical Materialism. Cambridge, [1981] 1995a. P. 19–48.*

*Wood E.M. Rethinking Base and Superstructure // Wood E.M. Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism. Cambridge, 1995b. P. 49–75.*

*Wood E.M. Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism. Cambridge, 1995c.*

*Wood E.M. The Origins of Capitalism: A Longer View. L., 2002.*

*Wood E.M.* Capitalism, Merchants and Bourgeois Revolution: Reflections on the Brenner Debate and its Sequel // *International Review of Social History*. 1996. Vol. 41. No. 2. P. 209–232.

*Wright Q.* A Study of War. 2nd ed. Chicago, [1942] 1965.

*Wrigley A.* Urban Growth and Agricultural Change: England and the Continent in the Early Modern Period // *Journal of Interdisciplinary History*. 1985. No. 15. P. 683–728.

*Zech R.* Nationalökonomische Theorien: Merkantilisten, Physiokraten und Klassiker: Die Merkantilisten // *Pipers Handbuch der politischen Ideen / I. Fetscher, H. Münkler (Hrsg). Bd. 3. Neuzeit: Von den Konfessionskriegen bis zur Aufklärung*. Munich, 1985. S. 561–579.

*Zolberg A.* Strategic Interactions and the Formation of Modern States: France and England // *International Social Science Journal*. 1980. Vol. 32. No. 4. P. 687–716.

*Zolberg A.* Origins of the Modern World: A Missing Link // *World Politics*. 1981. Vol. 33. No. 2. P. 253–281.

*Научное издание*  
Серия «Социальная теория»

**БЕННО ТЕШКЕ**

**МИФ О 1648 ГОДЕ:  
КЛАСС, ГЕОПОЛИТИКА  
И СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

*Главный редактор*  
**ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ**

*Заведующая книжной редакцией*  
**ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА**

*Художник*  
**ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ**

*Редактор*  
**ГАЛИНА КОРАБЛЕВА**

*Компьютерная верстка*  
**НАТАЛЬЯ ПУЗАНОВА**

*Корректор*  
**ГАЛИНА СТАРИКОВА**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
125319, Москва, Кочновский проезд, д. 3  
Тел./факс: (495) 772-95-71**

**Подписано в печать 06.12.2010. Формат 60×90/16  
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 26,0. Уч.-изд. л. 22,4  
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.  
Изд. № 1274. Заказ № 2183**

**Отпечатано в ГУП ППП  
«Типография „Наука“»  
121099, Москва,  
Шубинский пер., 6**

Бенно Тешке

Миф о 1648 году:  
класс, геополитика  
и создание современных  
международных  
отношений



В

В Ы С Ш А Я  
Ш К О Л А  
Э К О Н О М И К И